ФЕДОР ПАНФЕРОВ

В СТРАНЕ ПОВЕРЖЕННЫХ



ФЕДОР ПАНФЕРОВ

В СТРАНЕ ПОВЕРЖЕННЫХ

РОМАН

Советский Писатель
МОСКВА · 1952

Постановлением Совета Министров Союза ССР
Панферову Федору Ивановичу
*за роман **„В стране поверженных“** присуждена*
Сталинская премия третьей степени
за 1949 год

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Шла весна...

В лесах еще пыхтели сырые мхи, чавкали под ногами зверя мочежины, но поля уже подсохли, покрылись тонкой коркой, и по ним забегал бездомный ветер. Вот он налетел на столетнюю сосну, встряхнул ее так, что она вся заскрипела, а затем, покрутившись у ее подножья, приминая сыроватую осыпь побуревших игл, кинулся на осину, пригнул ее и со всего разбега начал мять и давить сорняки-травы, одновременно задирая на тощих грачах черное перо.

Грачи прилетели совсем недавно и, будто монахи, рассыпались по полям, высматривая пахаря: на свежей борозде пища.

Пахарь не появлялся, а земля черствела, как черствеет хлеб...

Весна! Весна!

Она пробивается всюду: через прошлогоднюю листву зеленями трав, через пушистые почки вербы, липы, березы... и распаренная солнцем земля зовет Петра Хропова домой — в Белоруссию, где он четыре года проработал агрономом.

Он даже видит: вон отправляют в поле сеялки, семена, следом за ними двинулись отремонтированные, обновленные тракторы, а из конюшни Настя, дочь вдовы Варвары, выводит коня в бело-черных пятнах.

Конь застоялся за зиму и теперь, чувствуя весну, дрожит всем телом, вытягивает морду, вбирая воздух красными, как кумач, ноздрями. Настя запрягает его в борону, опрокинутую вверх зубьями, кладет ему на спину широкие вожжи, похожие на ламповый фитиль, — и конь, приплясывая на все четыре точеные копыта, тронулся с места. Тронулся и призывно заржал, как бы оповещая своих собратьев о том, что весна наступила в самом деле и теперь ее вспять не повернешь.

Ах, Настя, Настя!

Разве Петр Хропов забудет, как вместе с ней в раннюю весну ходил по лесным тропам! Тропы устланы своеобразным ковром — пожелтевшим листом клена. Идешь, а лист пристает к ногам. Повернешься — и видишь свой след. Свой и ее — Настин.

— Товарищ агроном, красота какая: клен набухает почками, — затаенно шепчет Настя.

Она так и зовет его: «товарищ агроном», а ему хочется, чтобы Настя сказала: «Петя».

Весна! Весна... и Настя!

Задыхаешься от радости!

Лицо Петра Хропова молодеет, поэтому кажется: широкая золотистая борода нарочно приставлена к подбородку. В этот миг, глядя на него, можно сказать: «красивый парень». Но вдруг его лицо снова тускнеет, глаза становятся злыми, неподвижными.

— Чорт бы их сожрал со всеми потрохами, — проворчал он и на легкий, еле уловимый скрип веток круто повернулся: к нему неслышным шагом, будто по воздуху, приближался отец, Иван Хропов.

Понимая, кого «стеганул» сынок, старик все-таки спросил:

— Кого это ты, Петя, с потрохами к черному-то послал?

— Не знаешь? — Петр Хропов тронулся было в сторону партизанского становища, но отец остановил его:

— Эх, весна-то какая!

— Не береди.

— Чего уж там «береди». Одно могу сказать,

будто в гроб ее заколотили, землю. А она живая: стонет. Слышишь? Гудит и гудит.

— Придет время — вспашем.

— Придет! Когда еще придет!

— Не ной. Оставался бы дома: никто силой не тянул.

— Да ведь и вас всех не на аркане.

— Ладно. Перестань. А то мы с тобой заскулим — за нами заскулят все: одни соскучились по земле, другие — по фабрикам, заводам, третьи — по школам и университетам... Как у тебя там кони?

— Порядок стопроцентный.

— Иди приготовь Савраску: генерал меня вызывает.

— Ну! Сам?

— Нет. Лик его. Чему обрадовался?

— Да как же! Генерал зовет, — и Иван Хропов, семеня ногами, направился в глубь леса.

Петр Хропов еще некоторое время смотрел в синеющее небо, на поля, затем все его сильное, сбитое тело потянулось, хряснуло в суставах, и он зло бросил:

— Всю душу изранит такая весна!

2

Вскоре, следом за отцом, с опушки скрылся и Петр Хропов. Он шагал, пересекая лес, овраги. Иногда дорожка разбивалась на несколько троп, но он выбирал нужную, зная, что все вокруг заминировано, а мины тщательно замаскированы.

Выйдя из лесу на полянку, он остановился. Отовсюду на него смотрели черные зевы блиндажей, землянок, крыши которых были покрыты весенней серостью, словно рыбацкими сетями. Много их тут — землянок и блиндажей. И с каждой неделей все прибавляются: люди в отряд идут со всех сторон. Идут измученные, изможденные, повидавшие смерть. Всех, кто неспособен носить оружие, Петр Хропов отправляет в глубь Брянских лесов, где расположился центр

партизанского соединения под командованием генерала Громадина, человека дотошного и кропотливого.

«Дотошный, именно дотошный», — с чувством гордости к своему генералу думает Петр Хропов, невольно останавливаясь глазами на блиндаже под березками, вспоминая то, что произошло здесь совсем недавно.

В январе тысяча девятьсот сорок третьего года Петр Хропов, вернувшись из обхода, задержался почти на этом же самом месте и увидел, как девушка Глаша, потерявшая родителей где-то под Смоленском, вывела из блиндажа Татьяну Половцеву. На той была беличья шубка-коротышка, пуховый платок, на ногах — унты. Лицо у нее свежее, даже с румянцем. Кажется, она совсем здорова, но идет, ведомая за руку Глашей, как лунатик.

В состоянии тихого забытья она находилась уже несколько месяцев, с того часа, когда при переходе через болото потеряла мать и сына. И в первый же день Петр Хропов оказался в затруднительном положении, — что ему с ней делать? Можно было бы переправить на самолете в Москву, но никто не знал ни адреса Татьяны, ни ее родных: документы погибли в болоте. Тогда было решено лечить ее на месте, за что и взялся фельдшер Иван Егорович, человек пожилой, опытный. Но он вскоре заявил Петру Хропову:

— Бессилен я, товарищ командир. Неподалеку от нас в деревушке проживает доктор. Его бы пригласить.

Партизаны привели доктора. Тот лечил Татьяну месяца два и под конец объявил:

— Вы ее не тревожьте: сама отойдет.

Верно, иногда Татьяна как будто приходила в себя: расспрашивала, где она, что с ней, но как только Глаша покидала блиндаж, чтобы сообщить Петру Хропову радостную весть, больная снова впадала в тихое забытье и, протягивая руки, каждого спрашивала:

— Да где же? Где? Где? — И все знали — это она ищет маленького сына.

— Придется отправить ее в центр, — как-то сказал своему адъютанту Петр Хропов.

Тот передал мнение командира партизанам, и от них посыпались протесты:

— Больную-то?

— А если гитлеровцы по дороге перехватят?

— Да и морозы-то какие!

— Январь ведь, и мороз свирепствует!

Петр Хропов усомнился в таких доводах: гитлеровцы не могли перехватить по дороге Татьяну, а морозы отправке никак не мешали. Но он в быту ничего наперекор партизанам не делал, во всяком случае не рубил сплеча, поэтому и тут прислушался и вскоре подметил, что у всех за эти месяцы к Татьяне появилось какое-то особое чувство. Его никак нельзя было назвать любовью, или благоговением, или просто дружбой. Нет. Это было что-то другое, чего вначале Петр Хропов разгадать не мог. Однако он часто видел, как партизаны, возвращаясь из боя или по сигналу поднимаясь утром, собирались около блиндажа под березками, некоторое время смотрели на больную и, глубоко вздыхая, расходились.

«Да что это такое?» — часто думал Петр Хропов, хотя и сам относился к Татьяне с бережно-нежным чувством.

И недавно отец разъяснил ему. Показывая на Татьяну, сидящую на скамеечке под березками, он произнес:

— Сердце кровью обливается: как Гитлер-то ее изуродовал. Ребята соберутся, посмотрят на нее, и на душе у них еще пуще закипит: допусти — и враг всех изуродует. Вот почему они в бой рвутся и фашиста так колотят, что из него пух летит. Ты ведь знаешь, Яня Резанов дня дома не сидит. Вон, кстати, опять в поход отправляется.

Яня Резанов крадучись подошел к ним — высокий, тощий, в плешинистом полушубке, подпоясанном стареньким кушаком.

— Как с душой-то? — спросил он и, видя, что Татьяна все в том же состоянии, будто между прочим, проговорил: — Пойду уж, товарищ командир.

Петр Хропов намеревался было дать ему разрешение, зная, что Яню все равно не удержать и что через несколько дней разведка донесет: там-то он подорвал мост, там-то повредил полотно железной дороги, там-то

поджег дом, полный гестаповцев, но в эту минуту пикетчики сообщили:

— Едет генерал!

— Яня! Погоди, — произнес Петр Хропов и взволнованно добавил: — Что ему понадобилось? В такие морозы нагрянул!

3

У Громадина своя лошадь — огромная, длинная, как корабль, да еще седая, косматая, и когда он, маленький, взбирался на нее, то всем казалось — в седло садился зайчик. А Громадин хвалился:

— Вот конь: меня увезет и пушку утащит.

На таком коне, в сопровождении адъютанта, двух бойцов и человека в гражданском пальто, он рано утром в первых числах января и прибыл к Петру Хропову.

В бою Громадин был сурово строг, даже жестоко требователен, но в быту, особенно когда появлялся на становище, всегда шутил, даже балагурил, понимая, что здесь партизан не солдат, а просто человек, — за эти качества его все и любили. Вот и теперь, въехав на становище, увидав Петра Хропова, партизан, сгрудившихся в сторонке, он сердито, хотя губы у него расплывались в улыбке, заворчал:

— Что же это у вас, головушка садовая, глаз нет? Нас по пути даже никто не окликнул. Так враг залетит — и, как куренка, в кипяток. Не хочешь в кипяток?

— Товарищ генерал, — стоя навытяжку, отчеканил Петр Хропов, — мы по воздуху чуем, кто к нам едет.

— Ишь. Ишь. Хитер у меня командир.

— У вас учимся, товарищ генерал.

— Ух ты! Ай я хитрый? Ну что вы, что вы, Петр Иванович? При партизанах — и такое про меня, — и Громадин неожиданно захохотал так раскатисто, басовито, что сначала все с удивлением посмотрели в сторону, отыскивая обладателя могучего голоса, затем глянули на генерала и рассмеялись. Громадин оборвал хохот, посуровел, как бы говоря: «Ну, вы от меня

этого больше не услышите», и слез с лошади. Слез, и около огромного коня показался ростом еще меньше.

«Что ему понадобилось у нас? — с тревогой думал Петр Хропов. — Видимо, о Татьяне Яковлевне проведал? — и, подозвав к себе Яню, еле слышно шепнул, чтобы тот незаметно перевел больную в другой блиндаж. — А то увезет в центр, и партизаны мои загрустят», — решил он.

Но Громадин круто повернулся к нему, спросил:

— О чем шуры-муры?

— Да так, товарищ генерал... покушать чтобы вам приготовили, — вспыхнув, ответил Петр Хропов.

— Ишь. Ишь, — снова пустил в ход свое любимое словечко Громадин.— Покушать? Вот что, товарищи,— серьезно обратился он ко всем: — Мне известно, у вас живет Татьяна Яковлевна Половцева. Герой женщина. Лечили вы ее, да не вылечили. А я привез профессора. Любите, жалуйте, — и показал на человека в гражданском пальто.

— Это очень хорошо, товарищ генерал, — обрадованно, отвечая за всех партизан, произнес Петр Хропов.

— Ну, и покажите ее нам.

Глаша вывела больную, усадила на скамеечке. На Татьяне была беличья шубка-коротышка, голова окутана шалью, на ногах — унты. Партизаны, притихнув, стали позади Громадина и Петра Хропова, а профессор Ягломин — высокий, согнутый, походивший со спины на гигантскую деревянную ложку, опрокинутую вверх донышком, — направился к Татьяне, сел рядом, прослушал пульс и задал какой-то вопрос. Та долго молчала, улыбаясь, словно сытый ребенок, затем, протягивая руки, спросила:

— Да где же? Где? Где?

— Одно и то же заладила, — нарочито прикрикнула Глаша. — Генерал ведь перед тобой. Ну, ты и говори ему.

Громадин долго стоял поодаль, вцепившись пальцами в подбородок. Пальцы у него — коротышки, словно обрубленные, и ровные, как вилка. Под конец сказал:

— Да-а! Тяжело на нее смотреть. Вылечить бы. Ну как, товарищ профессор?

— Все сделаем, — уклончиво ответил профессор, — но нужна обстановка: придется больную переправить в центр.

— Что ж, раз надо, значит надо: мы медицине подчиняемся, — сказал Громадин и, услышав, как партизаны встревоженно загудели, посмотрел на них. Их лица в эту минуту почему-то напомнили ему полянку под солнцем: яркая, веселая, и вот на солнце налетела тучка — все потускнело. И снова — яркая, веселая, и опять хмурь.

— Не делайте этого, товарищ генерал... не увозите, — прошептал Петр Хропов. — Смотрите, что с ребятами творится.

— Я понимаю. Очень, — так же тихо ответил Громадин и вдруг взволнованно заговорил: — Эх, какие вы хорошие! Любите, значит, ее? Ее следует любить, — и, повернувшись к Ягломину, приказал: — Нет. Лечите здесь: обстановка такая же, как и у нас.

Но и профессору не удалось быстро помочь Татьяне. Он применял к ней все имевшиеся у него средства, лечил ее и месяц, и два, и три, а она находилась все в том же состоянии тихого забытья. Это вызвало у партизан недоверие к Ягломину, и кто-то с досадой сказал:

— Профессор кислых щей!

Но Ягломин был человек настойчивый, упрямый, и недавно в раннюю зарю, когда на токах уже играли тетерева, он вместе с Иваном Хроповым снова направился в блиндаж, где жила Татьяна, говоря по пути:

— Теперь, дедок, непременно вылечим: я достал препарат, — и произнес по-латыни что-то такое непонятное для Ивана Хропова. Тот покрутил головой, намеренно ковырнул:

— А насморк вы, товарищ профессор, лечить умеете?

— Я такую дрянь не лечу.

Партизаны, присутствовавшие при этом, рассмеялись, а Ягломин, обиженный, проворчал:

— Насморк. Насморк — ерунда. Возьми стакан теп-

лой воды, ложку соли, размешай и промой нос. Вот и насморк твой. А тут дело серьезное — мы имеем дело с душой человека.

— Согласен, с душой. Однако должен вас предупредить: если подпортите Татьяну Яковлевну, мы вас ославим на весь партизанский край.

— Это за что же? Душа человека — дело темное.

— Светлое, темное ли, а ославим. Так что, уверен — делай, не уверен — убирайся прочь. Такой наказ от партизан имею. И еще наказ — быть мне около неотлучно.

— Уверен, — твердо произнес профессор.

— Тогда другой разговор.

Татьяна еще спала. Сон ее был тихий. Потревоженная Глашей, она проснулась, приподнялась, посмотрела на всех невидящими глазами и чему-то улыбнулась.

— Лечь вам надо, — настойчиво произнес Ягломин, вдруг став чересчур строгим, собранным, удивляя этим Ивана Хропова.

Татьяна покорно легла. Ягломин взял ее руку — тонкую, иссиня-белую, с прожилками на сгибе, сказал:

— Красивая рука.

— Душа у нее красивая, а не рука, — прервал его Иван Хропов.

— Это верно. Что верно, то верно, — профессор сделал больной укол чуть пониже плеча, затем, затирая маленькую ранку спиртом, произнес: — Теперь будем ждать. Пойдем, старина, погуляем.

Холодный ветер за ночь подморозил землю, листву, прошлогодние травы; и все это похрустывало под ногами, как молодой ледок.

Когда они сели на скамейку, Иван Хропов решил:

«Подпортит — ославим: четвертый месяц канителится».

Ягломин тоже в тревоге думал:

«А ведь оскандалят. У них какое-то особое отношение к больной. Сорвется у меня — ославят. А гнев народа — хуже огня», — и чтобы не сидеть в томительном ожидании, спросил:

— Откуда она попала к вам, красавица?

— Вы ее так не зовите — красавица. Красавицы в балаганах, а для нас она — душа наша, — и, чуть подождав, Иван Хропов снова начал: — История длинная...

— Ну-ну?

— Не нукайте: я не конек-скакунок.

— Задиристый старик.

— Такой уж. — Иван Хропов некоторое время молчал и начал, будто передавая сказание: — Было это дело вот как. В начале войны Татьяна Яковлевна застряла в селе Ливны, километров восемьдесят, поди-ка, от нас. Жила у директора совхоза. Но тут нагрянул отряд карателя Ганса Коха. Директора совхоза он, то есть этот Кох, повесил, а сам стал жить в его доме, имея вид на Татьяну Яковлевну. Но Татьяна Яковлевна не из тех красавиц. Нет! Она большой души человек. Выхватила нож и по глотке тому псу. После этого народ собрала, вместе с народом согнала всех остальных карателей в избу и подожгла их. — Тут Иван Хропов уже передавал легенду, вполне веря в нее. — Затем всем народом двинулись к нам, к партизанам. Новые каратели настигли их у болота ночью и стали палить из танка, из автоматов. И люди кинулись через болото. Многие утонули, многие пали от пуль, снарядов. Татьяна Яковлевна при переходе через болото потеряла мать и сына — почти младенца. С тех пор такая — руки протянет и спрашивает: «Да где же? Где?» — О сыне, стало быть, спрашивает, ведь на руках держала сына, а его нет... и потому: «Где же? Где?»

— А муж у нее есть?

— Как не быть, раз сына имела.

— Да ведь бывает так: сын есть, а мужа ветер утащил.

— То шелапутные. До нас недавно из села Ливны, где она жила, другое дошло. Муж у нее — директор моторного завода на Урале, Николай Степанович Кораблев.

— Чего же вы ее туда не отправите?

— Шутка сказать! Как ее такую отправить? В разум придет, тогда свою волю выскажет. — Иван Хропов

еще что-то хотел сказать, но в эту минуту из блиндажа выскочила Глаша и, потрясая кулачонками, выкрикнула:

— И чего... и чего вы, проклятые, с ней наделали? Плачет. Навзрыд плачет!

Иван Хропов поднялся со скамеечки и тронулся на Ягломина, видимо намереваясь сказать что-то злое, но тот воскликнул:

— Вот оно как! Это тебе, дедок, не насморк, — и к Глаше: — Пусть выплачется. А мы дадим знать генералу: медицина победила.

4

Только на пятый день к вечеру профессор разрешил посещение Татьяны и уехал в центр. Следом за ним, получив приказ от Громадина, отправился и Петр Хропов. Он вернулся недели через две, чем-то очень недовольный, и прошел прямо в блиндаж, где жила Татьяна Половцева.

У Татьяны перед этим уже побывали Яня Резанов, Иван Хропов и другие партизаны. Они многое порассказали о своем командире.

— Вон вы какой! А я представляла вас другим — во всяком случае, без бороды,—произнесла она, сияющими глазами глядя в лицо Хропова. — Спасибо вам, родной мой... Спасибо! — и заплакала.

— Знаю. Все знаю, Татьяна Яковлевна, — с дрожью в голосе проговорил он. — Большое горе! И утешить нет слов.

— Да. Горе мое безысходное.

Они долго молчали, затем Петр Хропов сказал:

— Мы все вас очень... очень... — он некоторое время подбирал слово и все-таки произнес: — любим... за ваше горе, за ваш поступок в селе Ливны... и вы должны, обязаны подавить в себе свою боль. У вас, вероятно, был Яня Резанов?

— Да. Такой славный!

— У него погибли жена и двое ребят. Большая беда! Да и у кого ее нет?

Татьяна, сложив руки на груди, быстро заходила из угла в угол.

— Витенька мой! Сыночек мой! Мама моя! Какая страшная смерть... — и снова заплакала навзрыд, давясь, вскрикивая: — Чем заменить это? Чем?

— Есть такое, Татьяна Яковлевна, — чуть погодя, проговорил Петр Хропов. — Пусть ваша душа сама найдет это.

Татьяна, как бы не слушая его, ходила из угла в угол, крепко прижав руки к груди. Петр Хропов поднялся, сообщил:

— Генерал Громадин просил вас прибыть к нему. Простите, — заторопился он, отвечая на недоуменный взгляд Татьяны, — вы ведь еще не знаете: у нас есть центр, в глубине Брянских лесов, — там генерал Громадин. Он просит вас прибыть завтра же, если вам можно. Он вылетает на Большую землю, то есть туда — за линию фронта... и если что вам нужно, если вы... — Петр Хропов не договорил: голос его задрожал тревожной ноткой.

— На Большую землю?! На родину? А почему завтра? Можно и сегодня, — торопливо заговорила Татьяна, вцепясь пальцами в руку Петра Хропова. — Помогите мне сегодня. Далеко до центра?

— Не близко, — весь увядая, ответил он. — Но не повредит ли вам дорога?

— Нет! Нет! Мне нужно движение... чтобы забыться... чтобы отвлечься и чтобы душа моя нашла то, о чем говорили вы, — и Татьяна увидела, как на обветренном, бородатом лице Петра Хропова скользнула болезненная улыбка. — Я чем-то обидела вас? — чутко спросила она.

— Не только меня, но и всех партизан. Разве они вас так отпустят? Проститься надо. Неизгладимую обиду нанесете, если не проститесь.

5

Прощальный «бал» был старательно подготовлен Иваном Хроповым, в чем ему помогали все партизаны: расчистили площадку в лесу, содрав с нее прошлогоднюю листву, убрав гнилые пни, затем утрамбовали

землю, превратив в ток; после этого закололи трех баранов, и повар зарумянил их на огромных противнях. А Иван Хропов по такому случаю открыл неприкосновенный и никому не ведомый запас — бочку спирта. Приготовив все для «бала», партизаны целую ночь мылись, брились (в том числе сбрил бороду Петр Хропов), переодевались во все лучшее, занимая друг у друга одеяние, разучивали песни, и особенно долго Яня Резанов «впрягал» свой неукротимый бас.

В условленный час они собрались на поляне, сели полукругом, постелив чуть в отдалении коврик, и пригласили на него Татьяну Половцеву.

Когда она села на коврик, а Иван Хропов ударил молотком по обломку рельса, привязанному к дереву, — незамедлительно появились девушки в белых халатах и повар. Он длинным ножом отхватил кусок баранины килограмма на три. Одна из девушек, положив баранину на тарелку, поставила ее перед Татьяной. Та, взволнованно смеясь, сказала:

— Да куда... куда вы столько?

— От всех партизан помаленечку, Татьяна Яковлевна, — ответил повар.

Партизаны зааплодировали.

Татьяна посмотрела на них, прибранных, чистых, и они на нее, да с той тоской, с какой смотрят люди на отплывающий пароход, на котором им не досталось места. Татьяна взгрустнула: ей стало жаль покидать их, но тут же в ней вспыхнуло другое.

«Домой! Домой! Домой! — вскрикнула она про себя, искренно желая, чтобы и они поскорее отправились к своим семьям, к своим ребятишкам, к излюбленному труду. — Вот я через три-четыре дня буду на Урале... В Москве зайду в наркомат к Илье. «Кум, скажу, дайте мне самолет: ведь Николай изболелся, наверное...» А они? Как мне хочется, чтобы и они скорее — домой».

— Сердце громче стонет, когда молчишь, — нарушая тишину, проговорил Иван Хропов. — Гармонист! Давай делай свое дело!

Со стороны, из зарослей кустарника, послышались звуки гармошки. Сначала что-то неразборчивое, разо-

рванное — гармонист зачерствелыми пальцами перебирал лады. Затем ахнули басы, как бы расправляя плечи, и оборвались. Снова наступила тишина. И вот бас Яни Резанова кинул слова:

На просторах родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.

И опять наступила секундная тишина, точно невидимый руководитель хора поднял успокаивающую руку... И вдруг сотни голосов подхватили песню:

Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полет.
С песнями борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет...

Сколько раз... сколько раз Татьяна слышала эту песню там — на Днепре, в Кичкасе. Ее пели ребята около школ, ее пели рабочие, идущие с заводов, ее пели колхозники на полях... и никогда она не волновала ее так, как теперь. И когда Яня Резанов снова басом кинул слова:

Солнечным и самым светлым краем
Стала вся советская земля,
Сталинским обильным урожаем
Ширятся колхозные поля, —

у Татьяны брызнули слезы.

Слезы блестели и на глазах партизан...

6

После прощального лесного «бала» Татьяна подошла к рыженькой, смирной и веселой лошадке. Та сразу потянулась к ее руке, видимо намереваясь ущипнуть, но Татьяна доверчиво протянула руку, и лошадка прикоснулась к ней губами.

Устроившись в седле, Татьяна посмотрела вокруг. Рядом с ней на саврасом жеребчике сидел Петр Хропов. У жеребчика густая грива свисала почти до земли. Тут же стояли партизаны. Они молча смотрели на нее,

и ей показалось все это — и Петр Хропов на косматом коне, и партизаны в разных одеяниях, и лес, тихий, примолкнувший, — все это показалось чем-то необычным, сказочным. Она еще раз посмотрела на партизан и увидела только их глаза, грустные, тоскующие. Тогда она дрогнула и в тишине произнесла:

— Спасибо, товарищи, за ласку, — затем неожиданно для себя проговорила: — И скоро... наверное, скоро я вернусь.

Петр Хропов тронул жеребчика. Тот весь подтянулся, разрезал грудью полукруг партизан и пошел по тропе. За ним тронулась рыженькая лошадка Татьяны и побежал Яня Резанов.

Когда они углубились в лес, Петр Хропов сказал, обращаясь к Яне:

— А ты опять пешком?

— Да. Обгоню и перегоню. Я сторонкой, товарищ командир, — и Яня скрылся в густом кустарнике.

Солнце было на закате. Сосны, золотистые в верхушках, чернели мокрыми, будто обожженными стволами. Липняк порозовел, налился почками. Неожиданно что-то треснуло, загремело: с дерева сорвался глухарь и упал в гущину. Пробежала, пересекая дорогу, лиса. Остановилась за деревом, посмотрела на всадников и, взмахнув хвостом, скрылась.

Все дышало весной. Весна заполняла и Татьяну, она ощущала, как все ее тело оживает. До этого оно находилось в каком-то застывшем состоянии, теперь вдруг Татьяна почувствовала его, свое тело, материнское, тоскующее. Сердце учащенно и радостно забилось.

— Коля, родной мой, — прошептала она. — Как мне хочется к тебе...

Жеребчик под Петром Хроповым шарахнулся, обдавая рыженькую лошадку и Татьяну холодными брызгами. Со стороны неожиданно вынырнул Яня Резанов.

— Перепугал коня, — сердито проворчал Петр Хропов. — Ну, что?

— Спокойно. Только, думаю, надо наискосок, окрайком болота: надежней.

— Да ведь топко.

— Топко? Я-то иду.

— Ты пеший, а мы на конях.

— И кони пройдут. Айда за мной, товарищ командир! Айда! — И Яня Резанов шагнул в сторону.

7

Как и все весенние ночи, так и эта сразу пала тьмой на землю. За несколько минут перед этим еще виднелись почерневшие от дождей стволы сосен, серые кусты, розовеющий липняк, а тут вдруг все окуталось такой тьмой, что Татьяна впереди себя уже ничего не видела. Но лошадка куда-то шла, чавкая ногами, иногда ступала, валясь то на одну, то на другую сторону, и тут же выпрямлялась, идя все тем же равномерным шагом за жеребчиком Петра Хропова. Но вот из тьмы протянулись невидимые руки и схватили под уздцы коня Петра Хропова. Затем послышались голоса:

— Стой! Кто?

— Свои, свои! — ответил он. — Ружье на плечо.

Руки отпустили коня.

«Как все это необычно! — подумала Татьяна. — И этот темный лес и эти голоса. «Стой! Кто?» — старалась она повторить про себя окрик. — «Стой! Кто?» — еще раз попробовала она. — Не выходит. Ничего. Можно научиться. Всякая жизнь на земле интересна! Ой! Нет! Нет! Бывает так, что лучше умереть. Но я не буду о том думать. Не буду, не буду, не буду», — и тут она услышала совсем рядом с собой голос Петра Хропова:

— Устали?

И голос Яни Резанова:

— Ничего. Скоро будем... Вот еще только одно местечко.

Татьяна хотела было спросить, что за местечко, но по звукам шлепания лаптей определила, что Яня уже удалился.

И снова невидимые руки схватили под уздцы коня, и опять: «Стой! Кто?» Татьяна ждала, что сейчас

Петр Хропов ответит: «Ружье на плечо», — но он кинул: «Штык в груди».

«Значит, другой пароль. Значит, вторая линия охраны», — решила Татьяна и чуть не вылетела из седла: лошадка, будто наехав на стену, остановилась.

— Пойдемте, — предложил из тьмы Яня Резанов, а когда Татьяна спрыгнула с седла, он взял ее за руку и повел куда-то.

Вскоре со стороны донеслись говор, смех, игра на гармошке, и ветром принесло горьковатый запах дыма.

— Куда ехали, туда и приехали. Хорошо, что наискосок-то тронулись. Теперь признаюсь — робел я, — проговорил Яня Резанов и с шутливостью крикнул: — Масленица! Отворяй ворота, едут пьяны некрута!

Дверь со скрипом открылась, и Татьяна следом за Яней Резановым вошла в огромный блиндаж, освещенный электрической лампочкой. Внутри блиндажа все походило на крестьянскую избу: длинные скамейки, полати, печь, стол, изрезанный и выскобленный ножом. За столом сидит человек — бородатый, широченный, в шляпе и куртке немецкого полицейского. Татьяна невольно дрогнула и попятилась: перед ней встали село Ливны, Ганс Кох, гестаповцы-каратели и полицейские вот в таких же куртках.

Яня Резанов, заметя оторопь Татьяны, проговорил:

— Не бойтесь! Это наш полицейлов Масленица.

— Не понимаю, — растерянно пролепетала она.

— Поживете — узнаете, — неожиданно мягким голосом откликнулся Масленица и, выхватив из-под стола табурет, сдул с него пыль. — Садитесь, пожалуйста. Вы та самая Татьяна Яковлевна? Генерал скоро будет, — и обратился к Яне Резанову: — А ты, Яня, все такой же. И не стареешь.

— Работка есть, вот и не старею.

8

Татьяна за эти дни подметила, что партизаны рассказывают ей о себе с особенной откровенностью. Даже Масленица, и тот, не вытерпев, сообщил:

— Как выпью, так за «Масленицу» — песня есть такая. Шаляпин ее здорово пел. И я норовлю, как он, а...

— Кишка слаба, — подхватил Яня Резанов и, посмотрев на дверь, прислушался, сказал: — Идет Петр Иванович и с ним генерал.

Вскоре в блиндаж вошли Петр Хропов и Громадин. Выставив вперед правую ногу, Громадин так захохотал, что Татьяна дрогнула, подумав: «Вот горластый», — а Петр Хропов произнес:

— Товарищ генерал! Перепугаете.

Громадин, не обращая на это внимания, крикнул:

— Ну вот! Воскресла! — и, взяв Татьяну за руки, потряс их, затем, отступив, снова посмотрел на нее: — Ух! Если бы я был такой красивый, да с таким сердцем, я показал бы фашистам, почем сотня гребешков! — Заметя, что Татьяна смутилась, он добавил мягче: — Не поймите меня плохо. Видите ли, здесь каждый человек по-своему ценен, — и резко переменил разговор: — Сегодня ночью лечу на Большую землю. Хотите туда — давайте туда. Муж есть? Где?

— На Урале. Директор моторного завода.

— Ага! Значит, оттуда бьет врага. Молодец! Ну, а вы как? Ежели к мягкой постели тянет... ежели сына и мать не жалко... А впрочем, давай полетим. Давай-давай. Пускай другие защищают родину, умирают за нас... а мы плакать будем. Давай полетим. Давай-давай! А там скажут: сын где, мать где? А-а-а? Забыла? К мягкой постели потянуло?

Татьяна, тепло глядя на него, думала:

«Какой он... какой он интересный: подбородок узкий, скулы выдались. Татарин, что ль? И как меняется: то весь сияет, то суровый до страшного. И что он мне говорит? Ах, постель! Мягкая постель. Сменили белье. От него исходит особый запах свежести... и рука Николая на подушке, большая, сильная. Я кладу свою голову на его руку, и мне кажется: я маленькая-маленькая. Но не страшно: такая рука защитит меня. Что он еще сказал? И почему так сердито? Ах, вон что! «Давай... Давай полетим. А там скажут: сын

где, мать где? А-а-а? Забыла... к мягкой постели потянуло?»

Бывает так, человек долбит землю день, два, три: отбрасывает глину лопатой, киркой выворачивает камни... Тянутся недели, может быть месяцы... и вдруг появилась чистая слезинка, а затем хлынул освежающий ручей. Что-то такое же происходило в эти минуты с Татьяной: она вспомнила партизан, их тоскующие глаза... а вот перед ней Николай Кораблев и его глаза — с упреком и болью... И как она скажет ему про сына, про мать?

«Нет! Домой! Домой! — требовательно закричало в ней. — Несмотря ни на что, домой!» — это она хотела было сказать генералу, но сжигающий стыд опалил ее, и тут же поднялось другое чувство, незнакомое ей до войны, — чувство мести.

— Дайте мне... дайте мне что-нибудь... написать, — заикаясь, попросила она.

Масленица с охотой выхватил блокнот и карандашик.

В общем молчании Татьяна присела к столу и написала:

«Коля! Родной мой! У меня такое огромное горе, что с ним я не могу явиться к тебе. Я должна отомстить, чтобы жить. Навсегда, навсегда, навсегда твоя Татьяна». Сложив листок, она добавила: «Урал. Чиркуль. Директору моторного завода Николаю Степановичу Кораблеву», — и подала записку Громадину.

9

На улице кучилась тьма: тропы, деревья, небо — все словно было залито нефтью. Но Громадин, выйдя из блиндажа и радуясь тому, что Татьяна осталась, сказал:

— А ведь посветлело. Право же!

Масленица, понимая, почему для Громадина «посветлело», произнес:

— Еще бы... хоть глаз коли, — и чуть погодя: — А на какую работку вы думаете ее, товарищ генерал?

— Кого это?
— А ее... товарищ генерал.
— Тьму?
— И темная ночка — друг партизану.
Громадин о чем-то подумал, затем:
— Ты, Масленица, часто нос суешь не туда, куда следует. Смотри, отхряпнут, останешься без сморкалки, — и остановился.
Петр Хропов, Масленица, Яня Резанов, адъютант, идущие за ним по тропе, от неожиданности толкнулись друг другу в спину, а от Громадина донеслось:
— Партизаны, а шага не слышите. Надо иметь слух птицы... Адъютант! Пиши в уме приказ: «Отозвать в центр Петра Ивановича Хропова, Якова Резанова. Командиром в отряд послать Масленицу». Приказ подпишет комиссар.
— Товарищ генерал, — робко, вкрадчиво и не сразу заговорил Масленица. — Ну... ну, подчиняюсь.
— Попробуй не подчинись!
— Даже не думаю. А только как же с полицаями?
— Эту тварь другие выведут, — затем, немного подождав, генерал добавил: — Лягу спать. Как только взовьемся, лягу спать.
Дальше они шли молча.
Петр Хропов с сожалением думал:
«Значит, прощай ребята. Я погрущу о них, они обо мне. И что-то предстоит впереди?».
Масленица тоже думал:
«Ох, куда он меня! Может, спросить его, зачем?» — и хотел было задать генералу несколько наводящих вопросов, как тот, снова перейдя на шутливый тон, крикнул:
— Эй! Вы! Летчики! Куда вас бес попрятал?
— Не натолкнитесь на машину, товарищ генерал, — ответил кто-то из тьмы. — Ждем вас больше часу.
— Ничего! Без меня не улетите: я драгоценный груз.
Все засмеялись, а Громадин похлопал влажное, в росе, крыло самолета.

— Экое человек смастерил и кидает в небо! В этой птичке, поди-ка, с тонну будет.

— Горючего, и то больше, — ответил летчик, помогая Громадину забраться в самолет.

Внутри многоместного самолета было просторно и зябко, точно в продуваемом каменном коридоре. Горели маленькие электрические лампочки. Круглые окошечки занавешены. Все это, а главным образом то, что на длинной лавочке сидит комиссар Гуторин, Громадин сразу схватил своим зорким глазом.

— Ага! Комиссар здесь, — тихо, только для себя произнес он и, повернувшись к сопровождающим, проговорил: — Товарищи, вы погуляйте маленько, — затем быстрым шагом направился к комиссару.

Гуторин давным-давно изучил все привычки, приемы Громадина и знал: за шуточками у него скрывается непреклонная воля. Кроме того, он никогда не распускается, помня, что является командиром партизанского соединения, ненавидит панибратство: «Сие панибратство в нашем деле — как соль на рану: все разъест». И особенно не любит, когда его в разговоре перебивают, нахально втискиваются в беседу, домогаясь что-то узнать, — вот почему Гуторин был всегда с генералом вежлив, внимателен, однако не допускал, чтобы тот свел комиссара на роль адъютанта, что в первые дни и попытался было Громадин сделать. Гуторин сразу осадил его, дав понять, что он не просто комиссар, а представитель подпольного обкома партии. Громадин замкнулся, стал официально холоден.

«Представитель — это еще не все, а вот как ты разбираешься в политике, в военных делах? Посмотрим». Но вскоре, убедившись, что Гуторин разбирается не только в политике, но и в военных делах, сказал: «Хорошо», и после этого по каждому более или менее крупному вопросу советовался с комиссаром. И сейчас, увидав Гуторина, он направился в угол самолета.

— Добрая ночь, товарищ комиссар!

Гуторин поднялся, заговорил мягко, с белорусским акцентом:

— Здравия желаю, товарищ генерал.

— Присядем, товарищ комиссар... — Другому бы Громадин сказал «садитесь», а тут «присядем». И, присев рядом с Гуториным, он некоторое время осматривал внутренность самолета: отверстие в крыше, ящики, привинченные к полу, пулемет на ящиках, а около — пулеметчик. «Вот так вооружение», — подумал генерал и, повернувшись к комиссару, тихо заговорил: — Сегодня приехала Татьяна Яковлевна. Да, да, выздоровела, — ответил он на внимательный и вопрошающий взгляд Гуторина. — Ну... тянет ее домой, вполне нормально. Однако, несмотря на то, что я не оратор, осталась: видимо, еще до моего вмешательства в душе созрело решение. Я приказал поселить ее в моем блиндаже, вызвать туда Петра Ивановича Хропова и Васю: Васю она знает еще по Ливнам, Петра Ивановича — по партизанскому становищу. Пусть лучше ознакомятся. Понимаете, она ведь для нас настоящий клад!

— Да. Ценю, — задумчиво ответил Гуторин, зная, что у Громадина есть приказ от центрального партизанского штаба подготовить людей для переброски в глубокий тыл врага, даже в Германию. — Я думаю, Васе надо посоветовать, чтобы он ее кое-чему обучил.

— Правильно. А вас я прошу, возьмите ее под свое покровительство: в минуту тяжелого раздумья — а такое безусловно будет — поддержите, развеселите. Вы это так мастерски умеете.

— Какое задание хотите ей дать? — пропустив мимо ушей похвалу Громадина, сурово спросил Гуторин.

— Центральному штабу нужны сведения о настроениях немецкого населения.

— Не разведка?

— Нет. Этим делом займется Вася. А ей полагается проникнуть во все слои немецкого общества и через Васю информировать меня. — Громадин чуть подумал и, глядя на ящики, на примитивное сооружение для пулемета, добавил: — К тем тройкам, какие мы с вами уже создали, пусть прибавится еще одна — Татьяна Яковлевна, Вася и Петр Иванович Хропов. Хропов работал и вырос в Белоруссии, прекрасно знает места. Он доведет Татьяну Яковлевну и Васю до

польских партизан, а там они получат явки. Вот и прошу вас, подготовьте к моему приезду эту тройку.

— Слушаюсь, товарищ генерал.

— А теперь пора и в путь, — Громадин поднялся, крикнул могучим басом, пугая пулеметчика: — Входите, товарищи! — а когда сопровождающие вошли, он, скрывая улыбку, обратился к пулеметчику:

— И что ж... думаете сбить?

— Охота, товарищ генерал. Страсть. На днях мой товарищ укокошил.

— Все это временное у нас, товарищ генерал, — заметил командир самолета. — Прилетим в Москву — перевооружимся, — и, смеясь, добавил: — А пулеметчик даже ворчит, когда я удираю от врага: не даешь, слышь, мне укокошить.

— Охотник? Знаете, что Тургенев сказал про охотника? Если, дескать, охотник, значит хороший человек. Впрочем, я не совсем ему верю: и дрянь есть... А этот, вижу, хороший. Отдайте мне.

— А как же я без него?

— Жалко? То-то! А парашют есть?

— Зачем, товарищ генерал?

— Как зачем? А если бякнемся?

— Не бякнемся.

— Костромской?

— А откуда вы знаете, товарищ генерал?

— Словцо костромское: бяк — и мокренько. Ну, а ежели стукнут?

— Стукнут, тогда костей не соберем.

Громадин задумался.

— Нет, знаете что? Вы это не надо — насчет костей. Мне их не жалко: шестьдесят годков поскрипели, и хватит, пожалуй. Но сейчас они очень нужны: ведь в Кремль вызвали. И вы это подождите, однако.

— Подожду, — также в полушутку ответил летчик. — Разрешите отрываться, товарищ генерал?

— Нет. Один парашют дайте. Нечего форсить!

Все недоуменно переглянулись, полагая, что Громадин и в самом деле перепугался, а Масленица заговорил ласково, мягко, но со скрытым упреком:

— Что ж вы меня не предупредили, товарищ генерал? Да я бы вам такой достал, ахнешь!

— А не мне! — ответил Громадин, беря из рук летчика парашют и передавая его Яне Резанову. — На-ка, надевай, Яшенька, — а когда тот быстро надел, спросил: — Прыгал с этой штукой?

— На войне всему научился, товарищ генерал, — ответил Яня Резанов, еще не понимая, зачем его заставили надеть парашют.

— Это хорошо, что прыгал. Со мной полетишь, — и Громадин приказал командиру самолета: — Прощайтесь с гостями, начальник!

Провожающие вышли.

Самолет весь задрожал, как человек, промерзший на улице, затем качнулся туда-сюда, стукнулся о землю, и вдруг показалось, будто машина погрузилась в воду: слышен только гул моторов, да чувствовалось легкое покачивание.

— Вы ложитесь, — прокричал командир самолета. — Вот на эту кроватку. Меньше качать будет.

Громадин лег на подвесную кроватку.

— Убаюкивает, — сказал он, ни к кому не обращаясь.

10

Громадину было под шестьдесят, но он почему-то намеренно прибавлял себе годы, подчеркивая при этом, что два его сына, инженеры, работающие на Дальнем Востоке, — «тоже старики».

— Да и старуха моя лет десять тому назад в могилку сошла. Чего уж там! Через горку я перевалил, теперь под горку легче итти. — И внешне казалось, он даже рад, что идет «под горку», внутренне же нередко скорбел: хотелось жить, быть бодрым, но по утрам набухали мешки под глазами, ныло сердце; если когда-то он легко взбегал на пятый этаж, то теперь, спускаясь с пятого этажа, чувствовал, как ноги, утеряв гибкость, не просто подкашиваются, а подламываются. Иногда даже казалось, стоит только оступиться, как они треснут. Кроме того, измерителем фи-

зических сил являлся огромный ковер, разостланный в одной из комнат. Лет двадцать тому назад (Громадин как сейчас помнит) он купил его в комиссионном магазине на Арбате за сто восемьдесят два рубля. Ковер был настолько тяжел, что из магазина вынесли его два продавца и положили на таратайку извозчика. Но с таратайки Громадин сам взвалил ковер себе на плечи и один втащил на пятый этаж. Потом он каждый год вытаскивал ковер во двор, выбивал из него пыль... но постепенно стал отставать: чтобы вытряхнуть из него пыль, надо уже было приглашать дворника, а лет шесть-семь тому назад ковер окончательно «отбился от рук». Они вместе с дворником взялись за углы, чтобы стащить его вниз, и остановились: у обоих задрожали руки и ноги.

«Да. Старею», — горестно подумал тогда Громадин и, оставив в покое ковер, подошел к окну, посмотрел вдаль, на Воробьевы горы, решив: «Прочь из канцелярии... Отправляйся в первобытность».

Он все детство провел в Белоруссии, среди Пинских болот. Его дед, отец, братья занимались пушниной, дни и ночи проводили в лесах. В годы гражданской войны Громадин с частями Красной Армии дошел от Крыма до Дальнего Востока, партизанил там, а потом переправился в Москву и работал в военных учреждениях... Почувствовав, что старость основательно села ему на плечи, он демобилизовался и вскоре был избран председателем областного союза охотников. Утвердившись таким руководителем, он во время сезона неделями пропадал на болотах, озерах, в лесах и тут снова приучил себя спать в трескучие морозы под открытым небом, отыскивать путь по особым приметам, ходить безустали, маскироваться. В свободное же время много читал. Читал все, что попадалось под руку, вплоть до романа «Тайны мадридского двора». О таких книгах он со смешком говорил: «Ну и штука мне попалась... прямо как леденец!» К серьезным книгам относился священно: читал, перечитывал отдельные места, делал выписки, произнося: «Сколько разуму в этой книге: золотая жила, а не книга». И еще тайно писал о своем походе на Дальний

Восток. Писал «под Максима Горького», даже название позаимствовал у него: «Мои университеты в годы гражданской войны».

Так Громадин Кузьма Васильевич и хотел было прожить до «гробовой доски».

Война все изменила...

Двадцать второго июня он явился к Ворошилову и сказал:

— Кости мои окрепли, глаза мои стали видеть лучше, сил я набрался, отдаю себя в ваше распоряжение.

С Ворошиловым Громадин был знаком в годы гражданской войны, затем иногда встречались на охоте под Москвой, и в этот час они вскоре от официального «вы» перешли на «ты».

— Возьми крупный госпиталь.

— Что я, врач, что ль?

— Комиссаром будешь. Руководить.

— Как руководить, когда дела не знаешь? Я умею только пластырь накладывать.

— Политически руководить.

Госпиталь расположился в Гомеле. Но вскоре больных и раненых пришлось срочно эвакуировать в глубокий тыл страны — на Урал: враг наступал стремительно. Громадин не успел выехать и с группой бойцов, врачей, фельдшеров, сестер очутился в окружении. Вот тут-то и понадобились знания былой партизанской борьбы, охотничьи навыки. Собрав окруженцев, он в ночь вывел их из города и по каким-то приметам, одному только Громадину известным, через несколько дней привел всех в Брянские леса. Здесь, как человек знающий, начал сколачивать отдельные, разрозненные, иногда даже чуждающиеся друг друга группки партизан, и месяцев через пять-шесть его маленький отряд превратился в мощную силу. Еще задолго до этого, услыхав о боевых подвигах Громадина, к нему прибыл секретарь брянского обкома Матвеев. Подробно ознакомившись с отрядами, Матвеев под конец, показывая на Гуторина, сказал:

— Вот вам комиссар.

Громадин улыбнулся.

— Что ж, перед комиссарами гражданской войны я всегда шапку снимаю. Какой этот будет — посмотрим... — ответил он.

— Теперь-то уж что, — глядя в темный потолок самолета, прошептал Громадин, лежа на подвесной кроватке. — Теперь у нас самое настоящее войско — дисциплинированное, обстрелянное. И связь хорошая. Только вот Ковпак... — вспомнил он своего соседа, тоже командира партизанского соединения, — говорил ему: сливаться, мол, нужно. Увильнул: «Я, слышь, подчиняюсь Украине». А сам на Карпаты махнул. Хитрый! И бородка у него хитрая. Да ведь и я хитрый, — и он захохотал раскатисто, будто стреляя из пушки, затем оборвал, с тревогой подумав: «А зачем меня вызывают? Зачем? Ну, что будет, то и будет. А вот Яню надо к Горбунову направить. Обязательно. Пусть информирует и прочее».

Громадин был связан с армией Анатолия Васильевича Горбунова и теперь решил через Яню Резанова кое-какие сведения передать в армию, тем более, что Яня недавно вернулся из глубокой разведки: он был за Белостоком и видел движение немецких частей к Орлу, знал настроения людей как во враждебной армии, так и среди мирного населения.

— Яков! — крикнул генерал, показывая на отверстие в потолке самолета. — Как только линию перелетим, прыгай вон через ту дыру. Понял? Лезь туда, на крыло переправишься и валяй на землю. Там отыщешь генерала Горбунова. Командующего армией. Стоял в деревне Грачевке. Понял? Горбунов — горбун, значит. Грачевка — грач, значит, весенняя птица. Вот ему все и расскажешь, что видел. А от меня поклон. В Кремль, мол, вызвали.

Яня Резанов затоптался на месте.

— Что? Боишься? — участливо спросил Громадин.

— Не-ет! А ежели меня сцапают?

— Ну! На этой земле не сцапали, а на той сцапают?

— Как раз на той и сцапают.

— Еще легче: скажи — доставить меня к генералу

Горбунову. Значит, не шлепай пешком. Ну, прощай! Поцелуемся. А то скоро линия.

Они поцеловались просто, как будто пожали друг другу руки. И не успел Яня отойти от генерала, как по небу забороздили прожекторы. Увидав это через отверстие в потолке, Громадин закричал командиру корабля, намереваясь перекрыть гул моторов:

— Что? Враг палить собирается? Пускай подождет!

Но моторы в ту же секунду заревели еще мощней, а самолет ринулся вверх так, что Громадин еле удержался на подвесной кроватке. Приоткрыв занавесочку на окошечке, он посмотрел на небо. Там стремительно нервно бегали серебристые полосы, перекрещиваясь, расходясь и снова сбиваясь в пук. Всюду рвались снаряды... и вдруг самолет накренился и пошел вниз.

«Беда!» — мелькнуло у генерала.

Он соскочил с кроватки, покатился на ногах и привалился к стене самолета. И опять не выдержал, потянулся к занавесочке, приоткрыл ее и, глянув в окошечко, отшатнулся: снаряд разорвался, казалось, перед глазами: огненный взрыв ослепил его, и он, прикрыв лицо руками, присел на ящик около пулемета.

Минут через десять самолет, весь содрогаясь, зарылся в густые облака и вскоре вынырнул... Громадин поднялся с ящика, посмотрел в окошечко: на востоке всходило солнце. Оно крылось где-то за горами, но яркие лучи уже бились в небе, заливая облака.

«Ах, сейчас на селезня бы посидеть! Ведь уже начался перелет», — мелькнула мысль и, заметив командира корабля, виновато улыбаясь, сказал:

— Перепугался. Ничего не поделаешь!

— С непривычки, товарищ генерал. Я бы тоже перепугался, если бы меня в пехоту или артиллерию. А тут привык. Ну, мы теперь на Большой земле.

— Да ну-у! — Громадин всполошился и, обращаясь к Яне Резанову, показывая на отверстие в крыше самолета, прокричал: — Давай! Давай! — и пулеметчику: — Отодвинь свою штучку. Дай человеку подышать свежим воздухом, — затем опять к Яне: — Смотри, не зацепись за хвост.

Яня потрогал лямки парашюта, как ремни рюкзака, козырнул генералу и через отверстие в потолке полез в небо. Вот он уже наполовину скрылся. Вот мелькнули его тонкие, в посконных штанах, ноги и поношенные лапти. Пулеметчик заглянул в отверстие и вскоре доложил:

— Пошел на землю, товарищ генерал. Сначала кувырком, потом ничего... вроде белый гриб.

— Хорошо, — прокричал Громадин, снова взбираясь на кроватку. — Только бы в болото не попал. Сейчас разлив. Утонуть может. Ну, он выберется, Яня, — и вдруг с томяще приятной болью на сердце вспомнил о Татьяне. «Да-а. Красивая. Бывают красивые, но пустые. А эта умная. Ох, старый дурак! Что это ты так чужую жену расхваливаешь? Вот бы кто подслушал. Позор!» — Но, сказав слово «позор», он ласково улыбнулся своему хорошему, теплому чувству. «А в самом деле: что ж тут плохого, в этом чувстве? Ходу ему только не давай. В бараний рог согну! — с остервенением пригрозил он себе и тут же ахнул: — Записку? Записку-то я забыл в столе?! И как звать мужа... на Урале... директор. Разве только один там — директор. Дурак! Дурак! Старый дурак!» — и сразу покрылся пóтом.

11

Над Большой землей самолет летит спокойно.

Громадин пробрался в кабину к летчикам. Разве он мог спать, такой дотошный человек? Летчики были все молодые, веселые. Они над чем-то громко смеялись, но как только появился генерал, притихли. Командир самолета подмигнул сидящему рядом с ним летчику, и тот, поднявшись, предложил:

— Товарищ генерал! Поуправляйте.

Громадин в годы гражданской войны дела с самолетами не имел, военной академии не кончил и потому не разбирался в авиационной технике.

— А смогу? — спросил он сейчас и сел на отдельный стульчик. — Как? Говори.

Командир самолета, показывая на щит с множеством приборов, стал объяснять систему вождения. Она была довольно сложная, сразу усвоить ее, конечно, Громадин не мог, а когда узнал, что имеется автолетчик, то полушутя и полусерьезно воскликнул:

— Вот здорово! Нуте-ка мне его на помощь, — и через какую-то минуту, когда был включен автолетчик, а командир самолета, однако, не выпускал руля из рук, Громадин восхищенно произнес: — Вот это я понимаю! — А потом, расспросив еще кое о чем, стал смотреть в окошечко.

Землю под утренним солнцем словно кто вычистил, прибрал, а линии выровнял: как по линейке тянулись окрайки лесов, берега рек, озер. Голубизна весны лежала всюду. Местами виднелись низкие облака, серые, как дым. Издали они казались мертвыми, неподвижными. Но вот самолет приблизился — и облака ожили, побежали. А эти высокие, через которые самолет иногда нырял, все залиты ярчайшим светом солнца, таким, какого с земли не видно...

— Через полчаса будем в Москве, товарищ генерал, — сообщил командир самолета.

С этой минуты Громадин сосредоточился только на Москве.

12

В Москве Громадина никто не встретил, а он представлял себе, что как только выйдет из самолета, к нему, как несколько месяцев тому назад, подбежит связной офицер и, отдав честь, скажет:

— Приказано прямо в Кремль, товарищ генерал.

Но на аэродроме никого не было. Только злой ветер трепал прошлогоднюю траву да в отдаленности стояли молчаливые, огромные, похожие на чудовищных акул самолеты. Даже летчики, и те обиделись за генерала.

— Может, вы рано прилетели? — проговорил один из них.

Командир самолета, посмотрев на часы, сказал:

— Да нет. Как раз во-время.

Громадина такая встреча очень расстроила, но он, прощаясь с летчиками, произнес:

— Очень хорошо! Пройдусь по Москве. Посмотрю. Я ведь охотник: для меня десять верст — пустяк, — и, нагнувшись, защищаясь от злого ветра, зашагал к аэропорту. Выйдя за ворота, он приостановился и с тревогой подумал:

«Да ведь ясно: меня вызывают для нахлобучки. Вот тебе на! Прилетел похвалиться делами, а тут нахлобучка. Ай-яй-яй! Ну, ясное дело — нахлобучка: не встретили. Только за что же? Дела? Дела у нас как будто неплохие. Мы за один год... — И тут перед ним замелькали цифры: сколько было уничтожено паровозов, вагонов с боеприпасами, гитлеровских солдат и офицеров, сколько взорвано складов, штабов, рельсов. — Да мы же на шее у них сидим. Они хотели бы стряхнуть нас, а мы в загривок им вцепились и не пускаем», — и зашагал дальше, все так же сопротивляясь злому ветру. Навстречу попался лейтенант, молодой, видимо только что выпущенный из школы: на нем все новенькое, погоны золотились на солнце. Он прошел, не обратив внимания на Громадина, и тот снова приостановился, думая: «Ну да, для нахлобучки вызвали: даже лейтенант не приветствует», — и хотел было остановить лейтенанта, сказать: «Что ж, братец, или в Москве вы устав не признаете: генералу не отдаешь честь», — но тут же спохватился: на нем были пальто и кепи. «Разве снять пальто? Ведь на мне генеральский китель. Ну, это будет дико: в генеральском кителе и кепке. Пойду-ка лучше домой. Посмотрю, что с квартирой и как там ковер поживает. Пыли, поди-ка, в нем!»

Москва, яркая в утреннем свете, была еще совсем тиха. Кое-где над недостроенными домами торчали подъемные краны. Будто гигантские металлические пальцы, они указывали в небо, напоминая о днях мирного труда.

«Когда-то они заработают!» — с грустью подумал Громадин и ускорил шаг.

Вскоре прогремел первый трамвай, затем проплыли троллейбусы, промчались грузовые машины, понеслись

велосипедисты. Через какие-нибудь полчаса Москва зашумела на разные голоса и во все стороны двинулись люди.

Москва! Москва!

Еще опущены шторы — затемнение на твоих глазницах-окнах, еще размалеваны разными красками дома, в которых голодно и зябко жителям твоим... Но недалек тот час, когда ты сбросишь с себя это принужденное. Недалек тот час. Ведь совсем недавно враг был на твоих подступах, готовя удар в лицо...

Москва! Москва!

— И улицы родные, и тротуары родные... и дома родные. Все и всё родное, мое, любимое, — проговорил он, всходя на мост.

По мосту бесконечным потоком неслись машины: грузовые — облупленные, как медведи после зимней спячки, легковые — юркие, как лайки... и шли люди с бледными лицами, а глаза у всех хотя и пасмурные, но строгие, упрямые, как у бойцов-партизан во время наступления.

«Устала Москва», — мелькнуло у Громадина, и он невольно задержался: на боковине моста из расщелины гудрона таращилась молодая травка. Глядя на травку, он подумал:

«Вот какая сила к жизни: миллион ног рядом, а она, вишь ты, тянется к солнцу. Жить — это надо уметь, братцы мои! — воскликнул Громадин про себя. Вдруг травка чем-то напомнила Татьяну Половцеву, и он горестно покачал головой: — Ах ты, как же это я записку-то забыл? Вот нехорошо-то! Как нехорошо-то! — однако чувствовал совсем другое, намереваясь сказать: «Как хорошо-то я сделал, что забыл записку: нето узнает муж, примчится за женой... и пропало наше дело».

Так он стоял несколько секунд, рассматривая травку, думая о Татьяне Половцевой.

—Товарищ генерал, извините, опоздал, — прервал его думы связной офицер. — Не моя вина: покрышка два раза спускала. Садитесь, пожалуйста, — и офицер открыл перед ним дверцу машины.

Громадин не сразу ответил. Он некоторое время

смотрел на офицера, желая по его глазам угадать: нахлобучка будет или не нахлобучка, затем спросил:

— Куда?

— В Кремль приказано, товарищ генерал.

— Ага! — садясь в машину, кинул Громадин и снова спросил: — Значит, у вас с этим туго, с резиной?

— А у вас, товарищ генерал?

— У нас? У нас все больше на собственной резине, то есть на своих на двоих, — и тут он вспомнил Яню Резанова.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Вечером командарм Анатолий Васильевич Горбунов пригласил Яню Резанова к себе на квартиру, чем Яня был немало удивлен: он все утро просидел в штабе, рассказывая Анатолию Васильевичу и начальнику штаба Макару Петровичу о том, что делается в глубоком немецком тылу, какие части и куда двигаются. После длительной беседы командарм подошел к карте и, ткнув карандашом в городок Рыльск, произнес, обращаясь к начальнику штаба Макару Петровичу:

— Сюда стягивают... значит?

Тот пожевал ядреными губами:

— Сомнительно.

— Для тебя не сомнительно, генерал, когда на место придут? Такое шутя разгадать. — Затем командарм вызвал своего адъютанта Галушко и приказал: — Кормить Якова Ивановича вдосталь... и вина не жалеть.

Яня и направился было в столовую, намереваясь забраться прямо на кухню и вволю поесть: он три дня блуждал по болотам, лесам, пока не разыскал штаб армии, и весьма изголодался. Но только он присел за стол, как явился тот же самый Галушко, сказал:

— Кончай тут, Яков Иванович... генерал требует.

— Ну что ж, дело прежде всего, — с сожалением отодвигая от себя алюминиевую миску со щами, ответил Яня и попросил повара: — Ты, милый, имей

в виду, я скоро явлюсь и доем... Значит, еще чего-то нехватка от меня, — добавил он, шагая рядом с Галушко, но когда вошел в комнату, то попятился: за столом, уставленным тарелками и закусками, сидели Анатолий Васильевич, Макар Петрович и какая-то женщина; Яня, смутясь, забормотал. — Извиняемся. Видно, не в час попал. Кушайте, а я обожду.

— Да нет, как раз в час вы попали.

Из-за стола поднялась женщина в цветистом сарафане, небольшого роста, вся складная, простая и энергичная. Она, крепко подхватив Яню под руку, усадила за стол против себя и певуче сказала:

— Не стесняйтесь, Яков Иванович.

«Эх, родственная какая!» — подумал Яня, неотрывно глядя на нее, и вслух:

— Спасибо за ласку. А звать-то как вас?

— Нина Васильевна, жена командарма, — с улыбкой проговорила она, кладя на тарелку пару котлет и жареную картошку. — Вы, наверное, там отвыкли от тарелок да вилок?

— Где уж! — все еще смущаясь, но смеясь, ответил Яня. — Чаще приходится вот так — ладошкой, а то из банки... консервной... И мыла нет, — со вздохом добавил он.

— Да как же вы без мыла-то? — спросила Нина Васильевна.

— А так уж. Белье в больших железных чанах кипятим. Комиссар, товарищ Гуторин, сердитый приказ издал: каждую неделю белье в кипятке держать.

— И что же?

Яня наморщил лоб, и маленькое лицо его стало походить на кулачок.

— Белье? Значит — белое? Таким ему полагается быть, а оно у нас серое. Зато того добра не водится, не за столом будь сказано, — и он вдруг весь вспыхнул, завозился на стуле, готовый подняться и уйти.

— Ничего, — решительно заявил Анатолий Васильевич, — говори все, что думаешь: не белоручки мы, а старые солдаты.

Нина Васильевна за «старые солдаты» неодобри-

тельно посмотрела на Анатолия Васильевича, затем сказала:

— Очень хорошо делаете, Яков Иванович. Ведь если ту пакость не уничтожить, она вас уничтожит: тиф заведется.

— И всякая прочая дрянь, — жестко кинул Макар Петрович.

Анатолий Васильевич одобрительно кивнул Нине Васильевне, а Макар Петрович, скупой на слово, с удивлением посмотрел на нее, думая: «Экая мастерица: сразу расположила человека! Я так не умею».

Вдохновленный таким обращением, Яня осмелел и, уже посматривая на генералов, начал рассказывать о быте, нравах партизан. Рассказывал он просто и откровенно, как будто сидел в кругу своих родных и знакомых. Затем перешел к карателям и тут даже позеленел:

— Нет моего понятия о них. Нет. Ну, волк — зверь лютый, да ведь и тот столько не напакостит, сколько они! К примеру, мы одного такого, по фамилии Кап, словили. Что наделал? Заявился с карательным отрядом в одну деревушку, где жили женщины с грудными ребятами, ребятишки да старики... остальные в партизаны ушли. Так этот Кап что сделал? Согнал всех в две избы, будто для переписи, затем двери припер кольями, облил бензином и поджег. Все сгорели. На допросе спрашиваю его: «Ну, взрослых поджег — туды-сюды, и то в голове не укладывается, а детей-то зачем казнил? Их-то за что?» — «Приказ, слышь, выполнял». — «Какой приказ?». Молчит. Потом спрашиваю: «Ну, а что ты будешь делать, отпусти тебя?» — «Слышь, работать». Эх, нет, к труду мы такую зверюгу не подпустим... и повесили. В селе одном. Народу было! — Яня неприязненно улыбнулся. — А вешать-то не умеем. Подвезли его на грузовике, петлю закинули, да не так. Грузовик дернулся, а гад из петли на землю — бряк! Мы его, значит, опять на грузовик.

Рассказывал Яня долго, интересно, и все слушали его с большим вниманием, уже не перебивая вопросами. Но тут в комнату вошел Галушко и доложил:

— Москва, товарищ командарм.

Анатолий Васильевич сразу подбодрился, мелким шажком подбежал к особому телефонному аппарату, взял трубку:

— «Лавина» слушает. Да. Командарм Горбунов. А-а-а! Кузьма Васильевич. Здравия желаю! — и всем пояснил: — Громадин, из Москвы, — и опять в трубку: — Да, здесь. Здесь он. Рукой дотянусь. Что ему передать? Ага. Отправиться за Днепр, на реку Друть. Друть? Дуня-Рыдай-Угар-Тима? Так? Друть. Хорошо. И ждать... вызовешь его. Познакомиться с обстановкой, с людьми. Хорошо. Передам. Постой! Постой! Что новенького? Ну, как ничего нет! Еще бы! Скрываешь. Нет. Ты расскажи, расскажи. Эко как грохочешь! — Анатолий Васильевич отвел трубку от уха и снова приблизил. — Оглушил было меня. Ну что ж, не хочешь новенькое сказать, всего тебе хорошего, — и, положив трубку, обратился к Яне Резанову: — Слышали, какое новое задание вам... и нелегкое. Друть? Это вот здесь, — он подвел Яню к карте и показал сначала на Днепр, на город Рогачев, затем на реку Друть. — Вот где. Тяжеленько будет вам.

Яня Резанов отошел от карты, потоптался на месте и, почему-то виновато улыбаясь, произнес:

— Жалко... уходить: будто дома я.

— Как? Вот сейчас? Вы переночуйте, отдохните, — предложил Анатолий Васильевич.

Яня настойчиво посмотрел куда-то в сторону:

— Нет. Приказ дан от генерала — значит, выполняй не медля.

— Ну, это по-солдатски. Желаю счастья, — и Анатолий Васильевич спохватился: — Ах да, вам надо человека, чтобы проводил по ту сторону. Я сейчас позвоню полковнику Плугову.

— И-и! — протянул Яня. — Меня только выпусти, я и пошел: везде мои тропы, везде мои дороги. Доберусь, товарищ командарм.

Простившись со всеми за руку, он вышел из хаты и окунулся в темную ночь.

2

Ночь темная, непроглядная...

Выйдя со двора, Яня остановился, прислушался: по еле уловимому шороху шагов догадался, что неподалеку передвигаются часовые.

«Мимо них прошмыгну, а то опять в штаб потащат!» — решил он и потянул носом.

Справа несло особой, фронтовой гарью.

«Значит, там линия», — решил он и, крадучись, неслышно пошел на запах гари. Иногда останавливался, вытягивая шею, вертя головой, как это делает птица, сидя на дереве, отыскивая себе пищу. Временами запах гари пропадал, тогда Яня мусолил палец, поднимал его вверх и по легкому холодку определял, откуда дует ветер, и шел на него.

К утру он уже был в дивизии полковника Михеева. Тот позвонил в штаб армии и, убедившись в том, что партизан идет по особому заданию, накормил и уложил Яню спать в своем блиндаже. А как только стемнело, Яня снова вышел на волю и скрылся в темной ночи.

Не немцев боялся он во время перехода линии фронта, а мин. К любому часовому Яня приближался бесшумно и, если надо было, снимал его. Подкравшись со спины, он выхватывал сапожный нож и насмерть бил меж лопаток. А мин боялся.

— На нее, на собаку, нарвешься — и полетишь вверх тормашками, — всякий раз бормотал он, переходя через линию фронта, и, чтобы не наскочить на мину, всегда выбирал берег глухой реки или лес с завалами.

Вот и сейчас он идет заросшим берегом речушки, по-кошачьи ступая на землю. Иногда кажется, он двигается на лыжах: приседает, изгибает спину и толкается вперед... Но вот послышался какой-то посторонний скрип. Кто это: зверь или человек? Яня опустился на корточки и запищал, как заяц, когда его душит лиса. Через минуту послышался смех и кто-то благодушно о чем-то заговорил на немецком языке.

«Значит, они тут», — догадался он и тронулся в другую сторону.

Скоро ему на пути попался овраг. Яня осторожно

спустился в него и пополз, ощупывая впереди себя землю, боясь натолкнуться на мину. Со стороны немцев взвилась ракета и осветила дно оврага. Яня глянул вперед и, не видя ничего подозрительного, прошептал:

— Вот спасибо-то вам: осветили путь мой!

Он прополз метров сорок — пятьдесят и остановился, дожидаясь, когда снова взовьется ракета. Ракета взвилась, осветила овраг, и Яня опять пополз. Затем снова задержался, дожидаясь, когда взовьется новая ракета. Так он проделал несколько раз и заторопился: на востоке побледнели звезды — значит, скоро заря.

«Не успею до зари, пропаду», — решил он и пополз быстрее, но в эту минуту разорвалась ракета, и Яня замер: впереди колючая проволока и рядками небольшие бугорки — мины.

— Стервы-ы-ы! — прошипел он и выбрался из оврага, предполагая, что на поле подобных бугорков нет, но и здесь, при слабом свете зари, увидел колючую проволоку и бугорки — мины!

«Значит, фрицы длинно их разложили... Надо лезть тут», — решил он и, точно змея, прополз, перерезал колючую проволоку, затем выскочил на ту сторону.

Уже светало, когда Яня очутился, как он называл, «в неопасной зоне»: передовая осталась позади, а тут, за передовой, немецкие части стояли в деревнях или в лесах, в наскоро сооруженных землянках, блиндажах. Он вышел на опушку березового леса и, присев за пень, осмотрелся.

Впереди виднелась деревушка. По улицам двигались машины и солдаты, вооруженные автоматами. Вправо, в лесочке, вспыхивали дымки: это курят. Влево тянется неглубокий овраг. Он огибает деревушку и далеко в поле сходит на нет.

«Значит, край: ползи оврагом. Припоздал я малость, да ничего. Однако шурум-бурум прочь!» — Яня закопал под деревом нож, очистил карманы, даже выбросил кусок хлеба и пополз овражком.

Полз долго. Носки лаптей пробились, протерлись портянки, и двигаться стало труднее: пальцы, цепляясь

за гальку, начали кровоточить. А тут еще взошло солнце. В овражке оно жгло немилосердно. С Яни полил пот, тело пересохло: постучи пальцем — и оно загремит, как барабан. Так он полз долго, уже радуясь тому, что вот сейчас переправится через «неопасную зону», а там ему все друзья... и вдруг над головой раздался грубый окрик:

— Хальт!

Яня от неожиданности опрокинулся на спину, задрав руки и ноги: над ним стояли два гитлеровца и, смеясь, наводя автоматы ему в живот, что-то кричали. Он непонимающе заморгал. Тогда солдат ткнул его автоматом и показал рукой в сторону.

«Ага, — догадался Яня, — они меня приглашают к своему начальству».

Вскоре он очутился в комнате перед столом, за которым сидели двое: один — тщательно побритый, в военном костюме, а другой — заросший бородой, в гражданском. Солдаты, приведшие Яню, о чем-то долго рассказывали военному. Тот выслушал и, протянув «О-о-о!», повернулся к человеку в гражданском костюме и тоже что-то сказал.

«Гад несусветный!» — Яня остервенело глянул на переводчика, затем неожиданно сделал глупое лицо и закрестился.

— Ты что там искал? — спросил вялым, уставшим голосом человек в гражданском костюме.

— Молился, ваша милость.

— То есть как «молился»? — удивленно и оживленно проговорил переводчик. — Ты же полз лицом в землю?

— Обет богу отцу, сыну и духу святому дал, ваша милость: проползу на брюхе сорок верст, пускай только простит.

— Что простит?

— Грех великий: в большевиков верил.

Переводчик, ухмыляясь, о чем-то долго советовался с военным, затем незаметно подмигнул Яне, как бы говоря: «Валяй. Давай так».

«Ага! Из наших!» — обрадовался Яня и еще пуще закрестился, говоря:

— Что ж, и богу не дадут помолиться? А я думал, вот пришла власть верующая. Отмолюсь за грех свой — и делу капут.

— Где ты живешь? — спросил его переводчик.

— Елки. Деревня, — наобум ответил Яня.

Каратель долго смотрел на карту, поводя пальцем, и, не найдя деревни с таким названием, зло крикнул:

— Найн! В-врешь!

— Да ведь она далеко.., далеко отсюда... Тамо... тамо, — Яня почему-то замахал рукой в потолок. — Далеко.

Каратель брезгливо глянул на него и махнул рукой. Новые солдаты подхватили Яню, стащили по лестнице и втолкнули в подвал.

3

Тяжелая, дубовая, на ржавых петлях дверь захлопнулась.

Яня несколько минут стоял, не трогаясь с места, пока «не привыкнут глаза», и вскоре увидел: перед ним рыжеватая, замасленная дыба, за ней в потолок ввернуты два железных кольца, и к ним привязаны полотенца.

«Видно, пытают, а потом руки моют», — решил он и осторожно подошел к дыбе.

То, что казалось ему перед этим маслом, оказалось застывшей кровью. Он ногтем поддел ее, и она потянулась, как мокрая бумага.

«Ой, крови сколько пролили! Значит, и меня попробуют на этой штуке! — с ужасом подумал он и шагнул к маленькому, узенькому окошечку; стекло в окошке было выбито, осколки тщательно убраны, только торчали из углов, как пики, железины. — Даже зарезаться не дадут. А повеситься можно, — и Яня снова пристально посмотрел на полотенца, затем подошел к ним, примерился. — Вполне можно. Я это и сделаю. Только жалко, вот ведь чего!».

В это время дверь отворилась и вошли два солдата. Яня отпрянул от полотенец, боясь, что солдаты

разгадают его затаенные мысли. А те поманили его к себе.

«Перервать глотки? Шумно будет: сбегутся другие», — подумал Яня и шагнул к солдатам.

Солдат поставил под кольцами скамеечку и показал Яне, что ему полагается на эту скамеечку встать.

«Значит, повесить хотят. Встану, — решил Яня. — А как только петлю на шею, сорвусь и скамеечкой по башкам!»

Солдаты быстро поддели полотенце ему подмышки, завязали.

«Эка! Шуточки!» — подумал Яня усмехаясь, но в этот миг солдат выбил скамеечку из-под его ног, тело Яни дернулось, хрястнуло что-то в спине, и он потерял сознание.

Очнулся он в углу, на холодном полу. Сначала не сразу понял, где он и что с ним. Потом в памяти восстановилось то, как полз по оврагу, как его схватили каратели, как втолкнули в подвал и подвесили на полотенцах.

«Эх, игрушку какую приловчили! — с горестью подумал он и посмотрел на потолок: там торчали ржавые кольца. — Значит, унесли полотенца. Ну, я рубашку разорву и повешусь, — и опять Яне стало жаль себя. — Повешусь, и никто не будет знать, где я и что со мной. Выкинут в овраг, как собаку. А генерал будет ждать меня. Эх, Кузьма Васильевич!.. Поглядел бы ты на меня, как я влопался! Не-ет, это что — повешусь! А вот выкрутиться надо. Да ведь замучают и все одно повесят. Уж лучше я сам, Кузьма Васильевич... Ты меня не брани: не смог выполнить твоего приказа! И еще я не выполнил одно задание: хотел товарища Сталина повидать. Готовил хороший урожай в колхозе... — и, рассуждая так, Яня потянулся было к вороту рубашки, намереваясь снять ее, разорвать и сделать петлю, но, сказав про урожай, вдруг почувствовал, что голоден до тошноты и очень хочет пить. — Эх, картошки бы сейчас! Поел бы, и прощай, товарищи!»

Дверь заскрипела, снова вошли два солдата, и один из них поставил на пол чашку с водой.

— Значит, милосердные, — с издевкой произнес Яня и, когда солдаты вышли, потянулся к чашке, обмакнул палец, лизнул. — Ух-ух, гады-ы! Соленая! Гады милосердные! — прогудел он и, подойдя к окошечку, выплеснул воду наружу, и тут же в нем поднялся всесокрушающий, сосущий голод.

— Есть! — простонал Яня и опустился на пол около окошечка.

«Видно, давно я тут валяюсь», — еще подумал он и покатился в какой-то сон-полубред. Грезилось ему, что ходит он по широченным колхозным полям. Волнуется, переливается золотом на полях густая рожь, а в ней женщины. Их много. Очень много. Все они в голубых нарядах, и каждая из них преподносит Яне хлеб — черный, с твердой, поджаренной коркой. Яне хочется есть, но он говорит:

— Спасибочко, бабочки. Приму только от Глаши: обидится она, ежели я из чужих-то рук! А у нее руки-то какие, все одно что вальки! — с восхищением произнес он.

В эту минуту изо ржи показалась рука Глаши — крупная, сильная, как мужская. Да ведь у Глаши и плечи широкие, сильные, как мужские.

— И где мои сыны? — радостно кричит Яня, обращаясь к высунувшейся изо ржи руке, а женщины, опустив глаза, отвечают ему:

— За границу уехали твои сыны, Яков Иванович.

— А не могли они без моего права ехать за границу. И пойду я голодный и буду искать малых сынов моих.

И вот он за границей: ползет по оврагу, заваленному трупами. Нечем дышать. Он задыхается. Откуда-то несутся насмешливые голоса:

— Яня за границей! Поглядите, люди добрые!

Очнулся он поздней ночью, потянулся, расправляя зазябшие ноги и руки, затем встал, подошел к окошечку, заглянул во двор. Далеко через открытые ворота виднелось звездное небо.

— В ночку бы мне! — со вздохом прошептал он, и его снова кинуло не то в сон, не то в бред.

Так Яня пробыл в подвале четыре дня. На пятый

утром к нему вошли солдаты и обессиленного втащили на второй этаж, в комнату, в которой его допрашивал каратель. Здесь Яне ударил в нос запах русских щей с мясом. Запах тянулся из другой комнаты через перегородку, и Яня полной грудью вдохнул этот запах. Вдохнул и сел на стул против стола, произнося одно и то же:

— Эх, щец бы! Эх, щец бы!

Вскоре вошли тот же каратель и тот же переводчик. Не обращая внимания на запах щей (вот чудаки!), они уселись каждый на свое место. Переводчик, выслушав карателя, уныло и устало спросил Яню:

— Ты жрать хочешь? Вот сейчас и пожрешь, — он что-то крикнул по-немецки.

В комнате появился солдат и поставил на стол чашку со щами, затем положил кусок хлеба и ложку. От щей валил пар, а главное — шел такой вкусный запах, что у Яни затряслись поджилки.

«Съем-ка я их! Хрен он меня за них купит!» — решил он и, схватив ложку правой рукой, а левой — кусок хлеба, обжигаясь, начал быстро хлебать щи.

Каратель наблюдал за ним, еле заметно улыбаясь, а переводчик все мрачнел и мрачнел. Но вот каратель протянул руку и потянул чашку со щами к себе, Яня вцепился в нее, в то же время думая:

«Играет, как с голодной кошкой! Ишь, ржет!»

— Найн. Найн. Кушайть, — перестав смеяться, успокаивающе произнес каратель.

А переводчик в сторону проговорил:

— Валяй, разыгрывай из себя дурака. Я этого почти убедил, что ты идиот, — и, повернувшись к карателю, заговорил на его языке, то и дело повторяя: — Идиот. Идиот.

Яня, съев щи, хлеб, даже собрав крошки и кинув их в рот, вдруг упал на пол и начал колотиться лбом, выкрикивая:

— Окаянные! Окаянные! На грех навели! А еще божеская власть!

Переводчик крикнул:

— Встать!

Яня приподнялся на колени и заплакал. Слезы ручьем лились из глаз, образуя белесые потоки на грязном, неумытом лице. И, плача, он выкрикивал:

— Обет дал: сорок верст проползти, сроду горячего не есть, особо мяса... а тут... а тут на грех навели вы меня, голодного! И бог... он вам задаст на том свете!

— Идиот, — разочарованно проговорил каратель и, подойдя к Яне, брезгливо, двумя пальцами схватив за ворот рубашки, дернул, затем подтолкнул к двери и что-то сказал солдатам. Те схватили Яню и поволокли.

«Опять, значит, в подвал!» — мелькнуло в мыслях Яни, но часовые на крыльце расступились, а каратель дал ему под зад пинка.

От пинка Яня слетел с лестницы и, стараясь не падать, топыря руки, как бы за что-то цепляясь, все-таки упал на пыльную дорогу, одновременно слыша, как крикнул переводчик: «Пошел к чортовой матери!» Он вскочил и зашагал, ожидая, что сейчас каратель выстрелит ему в спину. Вот сейчас, сию минуту разразится гром, и он, Яня, упадет на выстрел. Вот сейчас. Вот-вот. Еще секунда. По спине забегали мурашки... Но выстрела не было. До Яни докатился хохот. Завидя впереди себя хату, он невольно прибавил шагу. И тут, у хаты, не выдержал, обернулся: на крыльце, воткнув руки в бока, стоит и хохочет каратель, рядом с ним солдаты и бородатый переводчик. Яня часто закрестился, произнося:

— Дурак... Ежа бы тебе в глотку! — и, круто повернувшись, скрылся в переулке.

4

Генерала Громадина в Кремле встретили тепло. Его сначала ввели к Ворошилову. Ворошилов поднялся из-за стола, обнял, сказал:

— Кузьма Васильевич! Из комиссара госпиталя в партизанские герои попал. Ну, рад тебя видеть. Посидел бы, потолковал бы, да срочно еду на Урал — ковать резервы на Берлин.

— Уже на Берлин? А немцы под Орлом.

— Что, не веришь?

— Как не верить, товарищ маршал: еще в начале войны верил — будем в Берлине, — и Громадин, чтобы узнать, зачем его вызвали в Москву, оголяя крупные сахарные зубы, сказал: — Только я-то тут при чем?

— Как при чем? Партизаны твои находятся по ту сторону. Ну, все объяснит Уваров. Знаешь его?

— Каждый день из центрального штаба теребит меня. Тот?

— Тот самый. — Ворошилов позвонил, и вскоре появился Уваров.

Это был человек гигантского роста, что, видимо, стесняло его: он носил сапоги почти без каблуков, ходил намеренно сутулясь, а при разговоре с людьми всегда склонялся так, как склоняется взрослый, выслушивая малыша. У него были густые, золотистые, чуть с проседью великолепные усы: они вначале тянулись по линейке, затем чуть вскидывались и опускались пышными концами.

«Казачина! Донец!» — с восхищением решил Громадин.

А тот, не замечая постороннего человека, обратился к Ворошилову:

— Я вас слушаю, товарищ маршал.

— Познакомьтесь: Кузьма Васильевич Громадин.

Повернувшись так, что под ним заскрипел паркет, Уваров воскликнул:

— А-а-а! Вон кто прибыл. Наконец-то! Да мы с ним, товарищ маршал, знакомы... верно, по радио, — и не просто пожал, а с уважением потряс руку генерала.

— Ведите к себе и потолкуйте, — предложил Ворошилов.

Войдя в свой кабинет, Уваров сел за массивный, раза в полтора больше обыкновенного, письменный стол. Громадин, окунувшись в кресло напротив и глядя на сильные, особенно в запястьях, руки Уварова, снова с восхищением подумал:

«Рубака. Непременно казачина. А голосок тоненький. Мой бы ему!» — и спросил:

— С Дона, товарищ Уваров?

— Нет. С Волги. Село есть такое — Батраки. А зачем это вы меня в донцы-то? — удивленно в свою очередь спросил Уваров.

Громадин растерялся: он так был уверен, что перед ним «казачина», а тут нате-ко вам — с Волги, да еще из села Батраки, и, рассердившись на себя, невольно грубовато сказал:

— Зачем вызвали меня?

Уваров понял, почему буркнул Громадин, и, желая, чтобы он успокоился, взял спички; ставя коробок то на попа, то стараясь запустить его, будто волчок, долго молчал. Затем, видимо о чем-то задумавшись, так сжал коробок, что тот хрустнул, словно скорлупа пустого яйца. И вдруг, спохватившись, мягко и взволнованно заговорил:

— Жаль, что вы не смогли быть у товарища Сталина в прошлом году, когда он принимал руководителей партизанских соединений.

— Воевал, — ответил Громадин, одновременно думая про Уварова: «А ведь он славный парень, хоть и не казак». — Воевал. Гитлеровцы бросили на нас три дивизии, вооруженные первоклассной техникой. Мы затянули их в леса, болота, да так шарахнули, что от них дым пошел. — Глаза у Громадина вспыхнули. — Партизаны дрались, знаете, как? Полоснут — и в болота. Вдарят — и в леса. Враг туда-сюда, а партизан нигде нет. Растрепали три вражеских дивизии и прекрасно вооружились за их счет.

Уваров очень внимательно выслушал рассказ Громадина о том, как были разгромлены три гитлеровские дивизии, потом спросил:

— Ну, а еще что?

— Рвем мосты, рельсы, паровозы... делаем набеги на продовольственные склады... Дороги оседлали... А главное, ждем больших событий и к ним готовимся.

— К каким? — В уголках губ Уварова задрожала легкая улыбка.

— Двинется наша армия на Орел, а мы в затылок гитлеровцам всеми силами.

Громадин долго развивал план удара «в затылок

врагу». Уваров, выслушав его, проанализировав сказанное, заговорил сам:

— Вам, Кузьма Васильевич, ведь известно, что в годы гражданской войны Красная Армия разбила интервентов, белогвардейцев на всех фронтах благодаря вооруженной борьбе всего народа, который смог организовать партизанское движение в тылу врага?

— Как не известно! Сам партизанил.

Уваров продолжал:

— Теперь, когда враг вторгся глубоко в пределы нашей страны, партизанское движение, руководимое нашей партией, должно стать всенародным. Всенародным, — подчеркнул он и взволнованно заходил по кабинету. — Вера народа в правоту нашего дела является животворящим источником партизанского движения. Где нет веры, там нет победы, Кузьма Васильевич.

Громадин понял, что Уваров произнес не свои слова. И потому, что они были переполнены величайшей мудростью, — взволновали Громадина так, что он уже почти не слышал того, как Уваров говорил о методах борьбы с врагом, о том, что надо вести и созидательную работу, информировать население о победах Красной Армии, помогать ему сплачиваться, издавать газеты, листовки, организовывать подпольные ячейки.

«Да-да-да, — думал Громадин. — Идя только таким путем, мы победим: без народа, без его веры в правоту нашего дела мы, партизаны, превратимся в жалкую кучку, которую в конце концов растопчет гитлеровский каблук», — и, поднявшись, глядя на Уварова просветленными глазами, сказал: — Спасибо. — Он хотел было распроститься, но тот, тепло улыбаясь, безобидно произнес:

— Так что, Кузьма Васильевич, вы должны перестать быть человеком леса. Действуете, сидя в лесу, на дорогах, а штабы противника находятся в крупных селах, городах: там куются замыслы врага, там главный нерв военной машины. Вы должны ударить по штабам!

— Понимаю, Елизар Петрович, и с величайшей радостью приступаю к исполнению. Будьте уверены и,

если есть возможность, передайте товарищу Сталину: мы его задание выполним с честью! — Громадин встал, по-военному вытянулся. — Разрешите отправиться и приступить к делу?

— Ан нет, — пошутил Уваров. — Давайте-ка сначала посмотрим карту. Я заметил, вы все время присматривались к ней, — он подошел к карте, дружески держа генерала под руку. — Видите, сколько красных точек, — это все партизаны. Смотрите, вот Краснодар. Неподалеку от него курорт Горячие Ключи. Рядом горы. Видите, сколько тут партизан? Вот это Крым. Пока там немцы. А партизан сколько? А на Украине смотрите, что творится. Но я хочу ваше внимание обратить на Белоруссию. Ба! Ба! Здесь почти все усеяно точками. Видите, что делается на Пинских болотах, на реке Друть? — и неожиданно спросил: — Вы, кажется, выросли на Пинских болотах?

— Точно.

— Как хорошо-то, — загадочно произнес Уваров, поджимая тонкие губы. — А реку Друть знаете?

— Еще бы: глаза завяжи, все равно все тропы найду, — и Громадин тут же подумал, еле заметно улыбаясь: «Хитер ты, да ведь и я не лыком шит. Чую — намеревается в Белоруссию перекинуть». Вот почему вечером того же дня он связался с командармом Горбуновым и через него приказал Яне Резанову отправиться на реку Друть, разведать там все и ждать дальнейших указаний.

А Уваров заинтересовался тем, как живут партизаны, да не вообще, а детально: посылают ли письма домой, есть ли бумага, устраиваются ли культурно-развлекательные вечера, есть ли медицинская помощь и какая? Тут, конечно, Громадин не вытерпел и сообщил о том, что у них теперь имеется знаменитый профессор, а сказав об этом, невольно добавил:

— Недавно вылечил одну тяжело больную... Ну, просто клад открыл.

— Что такое?

— Женщина прекрасно владеет немецким языком; образованная, энергичная, и мести к врагу в ней — гора: от рук фашистов погибли ее сынишка, мать...

Ну, мы ее посылаем поглубже в Германию, — говорил Громадин, намеренно не произнося имени и фамилии Татьяны.

— Хорошо. Нам это очень нужно. Особенно, когда приблизимся к границе немецкой империи, — одобрил Уваров.

На такие беседы у Громадина ушел не один вечер. Затем несколько дней ему пришлось просидеть в Генеральном штабе Красной Армии, где его подробно расспрашивали о движении материальной и людской силы врага, о том, какое вооружение гитлеровцы стягивают к Орлу, что это за танк — «тигр». Потом его снова попросил к себе Уваров.

Он явился к Уварову, и тот увидел, что глаза у генерала болезненно-красные, и тревожно воскликнул:

— Что с глазами-то у вас?

— От желудка. Шут его знает, что с ним. Но иногда вдруг такие боли поднимутся, хоть караул кричи: сегодня всю ночь не спал.

— Значит, сказались «первые денечки». Знаю: туго приходилось с продуктами.

— Липовой корой питались, мхами. Хорошо, что у меня зубы крепкие: гвозди перегрызут, — пошутил Громадин, хотя ему было вовсе не до шуток: в желудке снова поднялась режущая, острая боль, и лицо болезненно передернулось.

Уваров заторопился, беря трубку телефона:

— Немедленно в Кремлевскую больницу, Кузьма Васильевич. Немедленно.

— Воевать надо, — через силу произнес генерал.

— Нет. Нет. Время еще терпит. Вы ложитесь. Не возражайте. Если товарищ Сталин узнает, что вы не легли в больницу, а я вас не уложил, — обоими останется недоволен. Вы полечитесь, а мы за эти дни кое о чем доложим товарищу Сталину. А может, и решение какое-нибудь будет, — намекнул он на что-то и поджал тонкие губы, видимо боясь, что с них может сорваться лишнее слово.

В Кремлевской больнице Громадин пробыл около четырех недель. И сейчас, шагая к Уварову, с тревогой думал:

«Чего он так долго держит? Ведь уже июнь месяц. Меня там ребята, наверное, заждались, та же Татьяна Яковлевна... Ах, бедная, бедная: записку-то я ее позабыл. Может, сходить в наркомат и расспросить про мужа. Половцева... А он ведь, как помнится, не Половцев, кажется — Пароходов. Да нет, и не Пароходов. Пароходов, Лодкин, Баржов... Что-то на воде, а что?» — Так и не припомнив фамилии мужа Татьяны, о чем, впрочем, не особенно печалился, он через пропускную вошел во двор Кремля.

5

Татьяна вместе с Петром Хроповым и Васей обживали блиндаж.

Вася — все такой же толстогубый, веснушчатый, тихо улыбчивый — достал несколько простынь и отделил угол для Татьяны. Петр Хропов спал на полатях, а Вася устроился на кровати адъютанта генерала.

Первые дни Петр Хропов скучал от безделья. Он привык вставать рано утром, осматривать блиндажи, землянки партизан, изучать донесения, делать вылазки на немцев, а тут — лежи, слоняйся... И Петр Хропов никак не мог свыкнуться с таким положением. Подметив это и памятуя о том, что комиссар Гуторин приказал ему кое-чему обучить Татьяну, Вася предложил:

— Петр Иванович, давайте-ка займемся делом.

— Каким?

— Поучим Татьяну Яковлевну стрелять.

— Надо ли ей это?

— Как же? Вдруг что случится. Давайте! — вступилась Татьяна.

— Ну что ж, с удовольствием, — охотно согласился Петр Хропов, и они вышли из блиндажа.

— Здесь, конечно, нам стрелять нельзя. Пойдемте на опушку, — сказал Вася.

Они пошли по дороге, местами выстланной камнем, утрамбованной, и тут впервые Татьяна увидела столовые, пекарни, больницу, школу и даже детские ясли. Верно, все это было примитивное, закопанное в землю,

однако висели надписи: «Столовая», «Пекарня», «Школа»... А за всем этим в глубине леса поднимались заросшими верхушками блиндажи, землянки, около бегали ребятишки, ходили женщины. На привязях крутились козы, а кое-где на полянах паслись коровы.

— Батюшки! Да здесь целый поселок! А где же партизаны?

— На окрайках, — пояснил Вася.

— Вот пройти бы туда!

— Пройти — далеко. Надо проехаться. Мы это как-нибудь сделаем. Вот генерал прибудет, разрешение возьмем.

— А у комиссара?

— Можно и у комиссара, — и Вася показал рукой в сторону: — Там есть полянка, мы и постреляем.

Когда они вышли на поляну, Петр Хропов, прихвативший с собой кусок фанеры, начертил на ней круг, приставил к дереву; затем вынул из кобуры небольшой пистолет и, показав Татьяне, как надо его брать, как держать руку, как спускать курок, выстрелил. Татьяна, вздрогнув, моргнула и неумело взяла пистолет. Петр Хропов дотронулся до ее руки, затем охватил ладонью ее маленький кулачок, и Татьяна почувствовала, как его мужественные, жесткие пальцы задрожали. Она внимательно посмотрела на него и, поняв все, нахмурилась, сказала:

— Петр Иванович, у вас-то уж не должны дрожать руки, — и этим навсегда оборвала в нем то, что, помимо его воли, закралось к нему в эти дни, а Татьяна обратилась к Васе: — Покажите-ка вы мне... Вы же, Петр Иванович, наблюдайте: судья.

Петр Хропов, внутренне пристыженный, вовсе не обижаясь на Татьяну, отошел в сторонку. Вася стал показывать Татьяне, как надо держать пистолет, как нажать спуск, как выстрелить. И Татьяна выстрелила, крепко зажмурясь, нелепо вытянув руку. Все засмеялись, а громче всех — сама Татьяна. Она подбежала к куску фанеры и, не увидав дырочки от пули, еще громче засмеялась, говоря:

— А мне-то казалось, я прямо в круг попала!

— Так вы можете и судью застрелить! — хохоча, выкрикивал Вася.

Петр Хропов, оборвав смех, добавил:

— Смелее, Татьяна Яковлевна. Глаза не закрывайте, не моргайте. Прямо бейте, вот так, — он, взяв пистолет из ее руки, навскидку несколько раз выстрелил в фанеру, укладывая пулю в пулю. И показалось ему, что вместе с выстрелами он высвободил свою душу от чего-то ненужного, помимо его воли пришедшего, что могло бы испортить дружеские отношения не только с Татьяной, но и с Васей.

— Хорошо! Мастерски! — одобрила Татьяна, беря у Петра Хропова пистолет, и так же, как и Петр Хропов, вскинула руку, выстрелила и не попала.

Но она была упряма еще с детства: все, за что бы ни бралась, доводила до конца, и тут, обругав себя бабой, упорно и упрямо начала выпускать из пистолета пулю за пулей, пока не добилась того, что те стали ложиться в круг.

На овладение стрельбой из пистолета было потрачено несколько дней, после чего Татьяне дали винтовку, затем автомат, потом ее научили метать гранаты, обезвреживать мины, по́-пластунски подкрадываться к врагу, делать перебежки, маскироваться, по случайно оброненным словам разгадывать смысл сказанного. Но Васе и этого было мало: он не навязчиво, но упорно прививал Татьяне приемы разведки, рассказывая случаи из этой заманчивой и весьма опасной жизни. А однажды, сидя за столом в блиндаже, спросил:

— Вы умеете намеренно смеяться, плакать, грустить, сердиться и так далее?

— Не-е-т, — вся оживая, произнесла Татьяна. — Интересно. Научите.

— Ну, давайте заплачем. Приступаем.

Татьяна склонила голову, сделала лицо печальным, но оно, помимо ее воли, заулыбалось.

— Не умею, — тряхнув головой, произнесла она.

— Тогда смотрите, — Вася тоже склонил голову, и через какую-то минуту на стол закапали слезы... и вдруг его лицо ожило, засмеялось, затем по нему про-

шла смертельная тоска, и снова оно вот-вот разорвется от хохота.

— Ну-у, — удивленно протянула Татьяна. — Вы же артист, Вася. Петр Иванович, а вы так умеете? Ох, Вася, вам бы на сцену!

Когда она усвоила и эти приемы — научилась по заказу плакать, смеяться, грустить, выражать презрение, недовольство, они вместе с Гуториным поехали по партизанским становищам. Побывали и там, где около года проболела Татьяна. Здесь их встретил Масленица. Он так обрадовался Татьяне, что даже не обратил внимания на комиссара Гуторина. Завидев Татьяну, Масленица сорвался с места, побежал вдоль блиндажей и землянок, крича:

— Э! Ребята! Татьяна Яковлевна приехала! Да. Да. Та самая. Айда встречать!

Партизаны высыпали из своих нор, обступили гостью, глядя на нее восхищенными глазами, забрасывали ее вопросами, одобрениями, похвалами.

— Что? — кричал кто-то. — Дорогу в Москву не нашла, что ль?

— Заплуталась?

— Осталась, стало быть, с нами?

— Вот молодец-то!

— Значит, про нас не забыла!

— Эх ты, Татьяна Яковлевна!

— Знай, рады мы!

Когда вопросы, похвалы, поощрения оборвались, Татьяна, не сходя с седла, еще пристальней посмотрела на партизан, сдерживая душившие ее слезы. Затем с дрожью в голосе сказала:

— Я не смогла, товарищи, уехать. Не могу, как не можете и вы: нашу родину надо очистить от фашистской мерзости...

Так в занятиях, разъездах по партизанским становищам незаметно промчался май месяц.

Последние дни Татьяна никуда не выезжала, даже забросила занятия: она ждала Громадина, будучи уверена, что тот передал записку Николаю Кораблеву и, конечно, везет ответное письмо. Она часто и ярко

представляла себе, как муж, прочитав записку, улыбаясь, радостно кричит кому-нибудь из знакомых:

— Жива! Жива! Только какая-то беда. Что-то она пишет? — и хмурится, печально смотрит большими карими глазами вдаль, затем перебарывает тоску и снова кричит, показывая записку: — Жива! Жива! Таня жива!

В такие минуты Татьяна уходила куда-нибудь на полянку и, прислонившись к стволу дерева, шептала:

— Родной мой! Я приеду к тебе! Обязательно приеду! Только освобожусь от того, с чем к тебе ехать нельзя: оно во мне, как болезнь!

И томительно ждала Громадина.

6

Громадин прилетел поздно ночью и, чтобы не тревожить Татьяну, отправился в блиндаж Гуторина. Из Москвы по радио он дал распоряжение начальнику штаба полковнику Иголкину созвать совещание строевых командиров партизанских отрядов и работников штаба.

— Будет серьезное дело. Понятно?

— Понятно, — ответил Иголкин.

— Чтобы и запаха о совещании не выносили. Понятно?

— Понятно.

Командиры собрались в блиндаже Гуторина. Все они были внешне разные: бородатые, бритые, пожилые, молодые, крупные, маленькие, но на всех лицах виднелось одно и то же — суровость, неприступность. Они сидели за столом, на лавках, а кое-кто, не уместившись здесь, забрался на полати и, свесив голову, посматривал оттуда. И курили: дым клубами плавал над столом, лепился по углам, как утренний зябкий туман.

Когда Громадин вошел в блиндаж, Иголкин шагнул было, намереваясь приветствовать генерала, но тот сразу приступил к делу. Отвесив общий поклон, блеснув сверкающими зубами, как бы этим говоря: «Рад вас, друзья, видеть», — он передал приказ о том, что

в ближайшее время партизанам полагается сняться с места и отправиться на Днепр.

— Слышали? Ну, прикусите язык так, как будто ничего не знаете. Проболтаетесь — сочту за провокацию... и не пожалею. Моя рука не дрогнет и на друга. А теперь по местам. Готовиться, и без сигнала — ни шагу. Останутся здесь комиссар, начальник штаба и Вася.

После того как партизаны вышли из блиндажа, Громадин, скрывая смешок, глядя на Иголкина, сказал:

— А ты, браток, опять похудел.

Иголкин от сидячего образа жизни, от крепкого здоровья и аппетита был полноват и с каждым месяцем прибавлял. У него не было того живота, который выпячивается, как барабан. Нет. Он полнел весь: полнели руки, ноги, бока, щеки, губы, нос. Казалось, Иголкина накачивали воздухом, и это расширяло его, как резинового человечка.

— Опять, говорю, брат, тут без меня похудел. Что, комиссар, плохо кормят, что ль, полковника? А?

Поняв шутку генерала, Гуторин тоже улыбнулся:

— Сон у него плохой, товарищ генерал. Прямо скажу: бессонница.

— А кушает как? — с шутливой озабоченностью спросил Громадин.

— Да так, — юношески задорным голоском заговорил Иголкин. — Да так... малость, товарищ генерал. Ну, курочку в день.

— С костями?

— Грызу. Которые, конечно, поддаются. После меня со стола нечего убирать, — простодушно закончил Иголкин.

А Гуторин, глядя на генерала, подумал:

«Чего это он прохлаждается? Ведь приказ-то надо выполнять!» — и сказал:

— Товарищ генерал, может, карту прикажете подать?

— Карту? Нет, самовар.

Громадин еще не все продумал. Приказ о переправе через Днепр он принял безоговорочно, но, сев в самолет, спохватился: «А куда я дену тех, кто неспособен

носить оружие, — женщин, детей? Какой смысл тащить их всех за Днепр! Передать соседу? Ну, это, знаете ли, товарищ Громадин, будет такая чепуха: во-первых, сосед может не принять; во-вторых, поднимутся плач и галдеж, и тогда весь твой секрет выплывет наружу. Ай-яй-яй! Затем, допустим, что сосед примет детей, женщин, с коровами, козами, а ты уведешь всех партизан за Днепр... Тогда что? Тогда, товарищ генерал, оголишь местность и откроешь ворота к соседу. Что же делать?» И еще было известно Громадину, что гитлеровцы перед генеральным наступлением на Москву решили попутными частями «ликвидировать партизанское гнездо» в Брянских лесах. Таких попыток с их стороны было уже несколько, но всякий раз они нарывались на непреклонное упорство партизан. А теперь — это было ясно из всех донесений, с которыми по радио ознакомил Громадина Иголкин, — фашисты всюду расставили войска, вооруженные с ног до головы первоклассной техникой. Узнав об этом, генерал из Москвы приказал пилить деревья и устроить завалы. Завалы устроены такие, что через них не только танк, но и человек не переползет. Кроме этого, нарыты ямы-ловушки, построены доты, дзоты, подступы усеяны минами, умело расставлены отряды партизан, и Громадин даже думал: «Вот бы они сейчас сунулись на нас! Мы бы их тут пощипали, а наши за Орлом доколотили бы!»

Все сделано, чтобы принять бой... и вот новое задание — сняться и переправиться за Днепр. Сняться? Это значит бросить все: склады, блиндажи, доты, дзоты, завалы, — оголить место и дать возможность тут засесть немцам.

Что же делать?

— Так прикажете, товарищ генерал, подать самовар? — перебил мысли Громадина Иголкин.

— Да. Самовар.

А когда самовар, фырча, бушуя и ударяя горячим паром в потолок, водрузился на столе, генерал, обращаясь к своему повару, застенчиво, как это делают ребята, когда просят сладенького, попросил:

— Ты, дорогой мой, погрел бы нас чем-нибудь... и с приездом поздравил бы.

Повар — человек лет под пятьдесят, тощий и юркий, — ухмыльнулся:

— Не стоит вам беспокоиться, товарищ генерал: Иван Акимыч всегда готов, — и, вынув из карманов две бутылки коньяку, поставил их на стол, затем у него откуда-то появились рюмки.

Расставив аккуратно все это на столе, он махнул рукой, и помощник торжественно подал вареную картошку — любимое блюдо Громадина. Повар же, разлив по рюмкам коньяк, глядя на Громадина, произнес:

— С приездом вас, Кузьма Васильевич.

— А сам чего ж?

— Не пью. Зарок дал.

— Что, не пьешь эту влагу? И самогон тоже?

— Нет. Самогон — он, как рашпиль, в горло идет. А это что? Масло.

Все потянулись к рюмкам, но, увидав, что Громадин оттолкнулся от стола, став опять каким-то далеким, отпрянули, а Гуторин подумал: «Зачем он это затеял в такой час?»

«Как же быть? Как быть? — напряженно думал в это время Громадин. — Приказ-то надо выполнить, но ведь его и по-глупому можно выполнить! А почему нам всем сниматься?» — мелькнула у него мысль, и он посмотрел на Иголкина:

— Карту!

На втором столе начальник штаба быстро расстелил карту. Все сгрудились около нее.

— А почему всем? — как бы про себя проговорил Громадин и спросил: — Сколько у нас... народу?

— Бойцов, женщин и детей около сорока тысяч, — ответил Иголкин.

— «Около» начальнику штаба не полагается говорить.

— Тридцать девять тысяч четыреста два человека, товарищ генерал. Это на вчерашнее число. Сегодня, возможно, новые прибыли.

— Вот это хорошее «около»... Так. А бойцов?

— Двадцать семь тысяч шестьсот восемь.

— Многовато неспособных-то. Хвост-то какой! — протянул Громадин и снова подумал: «А почему всем?

А если пять тысяч поднять? Ну, семь, десять? Об этом бы надо поговорить с Москвой. А там тебе скажут, что ты не знаешь, как быть и как бить!» — и, обращаясь ко всем, спросил: — Как же быть, товарищи?

Гуторин, уловив основную мысль Громадина, сказал:

— Правильно. Зачем всем? Половину снимем, ну, две трети.

— Одну треть, — решительно кинул Громадин. — Одна треть — это тоже ведь лавина. Так приказываю: одну треть. И главным образом молодых: в таком походе ноги нужны.

И штабная машина закрутилась.

Иголкин начал подсчитывать, сколько следует взять с собой пушек, пулеметов, гранат, автоматов, откуда взять, где снять пушки, а Гуторин сел за рацию и, вызывая того или другого командира отряда, певучим голосом приказывал:

— Выделить одну треть. Лучших. Молодых. Вооружить. На смотр. Завтра вечером прибудет генерал — смотр устроим. Да. Да. Смотр. Конец.

На это понадобилось часа два или три, но тут возник новый вопрос: как сняться? Можно сняться с боем: обрушиться на какую-либо немецкую часть, сокрушить ее и двинуться дальше. Но в данном случае зачем такой шум? А нельзя ли сняться тихо, незаметно для врага?

— Главное, — заговорил Гуторин, — нам надо пробиться через первую линию, а там мы как дома.

— Да, комиссар. Пробиться. Но как пробиться? С шумом или без шума?

Гуторин долго думал и вдруг спохватился:

— А через полковника Киша? Ведь он, как вы недавно сказали, без пяти минут наш.

— «Без пяти-то» и бывают самые трудные. Знаете, что значит во время хлебозаготовок пять процентов, три процента? Так вот идет хорошо, хорошо, и вдруг область споткнулась: три процента не добрала.

Все знали, что неподалеку в селе стоит мадьярский полк под командованием полковника Киша. Известно было и другое. Киша немецкий генерал-эсэсовец Виль-

демут на вечеринке ударил по лицу, и с тех пор тот затаил не только на него, но и на всех эсэсовцев сокрушительную злобу. Он уже несколько раз тайно засылал к Громадину людей, предлагая заключить союз с партизанами.

— Подождем. Пусть они его еще вздрючат, тогда злее будет, — говорил Гуторину Громадин.

— А вот теперь в самом деле лучшего и желать не надо.

— Угу. Пожалуй, — сказал генерал и подумал: «Надо послать Татьяну Яковлевну и проверить: приготовил ее Вася или нет? А вдруг Киш бабахнет из пистолета ей в лицо. Ведь я его представителей давно не видел. Может быть, уже крест получил и пощечину забыл. Ну, мы тогда с него с живого шкуру спустим», — и приказал: — А нуте-ка, Вася, позовите Татьяну Яковлевну.

— Спит еще, наверное, товарищ генерал, — вступился Вася.

Громадин заглянул в окошечко:

— Уже заря. Виноват я перед ней, перед Татьяной Яковлевной. Ох, как виноват! Но перед родиной нет, — он еще раз заглянул в окошечко. — А ведь придется разбудить, ежели спит. Вася! Сходи-ка!

Как только Вася вышел из блиндажа, Громадин обратился к комиссару и начальнику штаба, тихо говоря:

— Я обязан вас информировать о беседе с Уваровым, — он чуточку подождал, собираясь с мыслями. — Дело в том, что в прошлом году на приеме руководителей партизанских соединений, на который мы с вами не могли попасть, товарищ Сталин дал программу действия партизанам. — Громадин подробно передал то, что сообщил ему Уваров; затем, выхватив из всего основное, подчеркнул: — Товарищ Сталин сказал, что вера народа в нашу правоту является животворящим источником партизанского движения. Что в борьбе с оккупантами надо применять все доступные формы борьбы, чем и создать для фашистов невыносимые условия. Все, — басом кинул Громадин. — Все. Они бывают крупные, значительные, но есть и такие — мелкие, а разберешься — оказывается, весьма тонкие.

Я задержался с прилетом потому, что нас во время пути немного пощипали: пришлось приземлиться в лесу на поляне и оттуда с одним бойцом пешком пробраться на другой аэродром. В дороге сбились и попали в деревушку. В крайней хате горел огонек. Мы решили хозяина спросить, как нам пробраться на Козье болото: там аэродром. Зашли. Встретила старушка. Ее мы и спросили. Она посмотрела, посмотрела на нас, да и ответила: «Чего вы меня-то расспрашиваете? Вон через улицу в школе сегодня шестьдесят немцев остановились. У них узнайте». Ну, боец за пистолет. Я отвел его руку, шепнул: «Бежим». А когда выбежали из деревушки, мой сопровождающий сказал: «Почему, товарищ генерал, не позволили прибить ту старуху?» — «Ты хотел свершить неразумное: откуда она знает, кто мы?.. Подосланные ли немцами или настоящие партизаны? И решила очень мудро: если настоящие партизаны, то я дам им знать, что в деревне немцы; если подставленные, пусть идут и спрашивают у палачей». Умная старуха, как вы думаете, товарищ комиссар?

— Да, мудрая.

— Так вот, следует использовать все формы борьбы — от мелких до крупнейших. И еще нам надо проникнуть в широкие массы, заняться созидательной работой: развеять перед народом миф о непобедимости немцев, издавать газеты, листовки; в противовес гитлеровской пропаганде, вести свою, опрокидывая фашистов. Ну, мы с вами еще поговорим, а то сейчас, вероятно, войдет Татьяна Яковлевна.

Татьяна не спала. Разве можно спать, когда совсем рядом, в двадцати—тридцати метрах, у Громадина для нее письмо от Николая Кораблева!

«Что он пишет? Что пишет? И почему они такие жестокие — и Вася, и Петр Иванович, да и генерал? Разве помешало бы совещанию, если бы они переслали мне письмо? Ах, Коля, Коля!» — и она снова принималась ходить из угла в угол, глядя себе под ноги, что-то толкая сапожками так, как будто шла берегом Днепра у Кичкаса вместе с Николаем Кораблевым и носками туфель толкала мелкую гальку. Временами она останавливалась, чутко прислушиваясь к каждому

звуку за дверью блиндажа, потом садилась за стол и «уходила» туда — на места, далеко-далеко на рыже-скалистый берег Днепра, где они последний раз гуляли с мужем.

На заре послышались шаги, затем в блиндаж тихо, боясь разбудить Татьяну, вошел Вася и, увидев ее за столом, оживленно сказал:

— А вы не спите? Вот хорошо-то! Генерал просит к себе.

Татьяна — это было даже грубовато — оттолкнула Васю и вихрем вырвалась на волю. Тут она пронеслась по дорожке, и Вася не успел моргнуть, как Татьяна влетела в блиндаж Гуторина. Здесь она, вся сияющая, румянощекая, блестя глазами, остановилась, глядя только на Громадина, ожидая, что тот сейчас же протянет ей письмо. А Громадин, догадавшись о ее состоянии, нагнулся, опустил глаза и сказал:

— Здравствуйте, Татьяна Яковлевна! Здравствуйте! Поправилась? Ну, молодец! Садись. Рядом со мной садись, — и, усадив ее рядом с собой, снова озабоченно заговорил: — Вот что, Татьяна Яковлевна, поблизости от нас стоит полковник Киш. Его выставили против партизан, а у него червячок на душе. Вот этого червячка бы расшевелить, превратить в дракона... и на немцев! Вот бы! Вот бы! Вот бы! — виновато забормотал он, видя, как глаза Татьяны просят его о другом — о письме.

Татьяна, задыхаясь, бледнея, почти ничего не сознавая, сказала:

— Не знаю, как. Я готова, товарищ генерал.

— Вы меня генералом не зовите, — опять перейдя на «вы», проговорил Громадин. — Я для вас Кузьма Васильевич. Заметьте это себе. Так вот, пробраться бы к этому полковнику и поговорить с ним... крутенько. Так и так, сдавайся, мол, на милость победителя, то есть на нашу милость, не то косточек не соберешь. А-а-а? Вот бы! Вот бы! — снова как-то виновато забормотал Громадин.

— Смогу ли? — еле слышно спросила Татьяна.

— Сможешь, — уверенно сказал Громадин. — Только выдержишь ли, ежели что? Вдруг он пытать тебя

начнет. Тогда одно надо говорить: «Сама придумала. Никто меня не посылал, ничего не знаю, хоть огнем пали».

— А письмо? Письмо? — болезненно, с тоской вырвалось у Татьяны. — Почему вы молчите? Почему? Ведь это жестоко!

В блиндаже все стихли. Только слышно было, как за блиндажом скрипит надтреснутая береза да откуда-то издалека доносятся глухие удары артиллерии. Так тянулись, может быть, минута-две, затем Громадин поднялся, прошелся и, встав перед Татьяной, которая не отводила от него своих больших с синевой глаз, с дрожью в голосе произнес:

— Если можете простить меня, простите. Я ваше письмо забыл здесь. Я его сегодня же отправлю с доверенным человеком. Хотите, прямо на Урал?

Татьяна вся осела на скамейке и стала маленькой-маленькой, затем положила руки на стол. И все увидели, как ее пальцы мелко-мелко дрожат.

Снова наступила тишина, и опять послышались скрип березки, отдаленные удары артиллерии.

Татьяна, давясь слезами, спросила:

— А вы... вы не обманываете? Может, там что случилось? Может, его уже нет?

Конечно, ни Громадин, ни тем более Татьяна не знали о том, что Николай Кораблев в это время находился под Орлом, в армии Анатолия Васильевича Горбунова.

7

Яня Резанов, вызванный Громадиным с реки Друть, подошел к блиндажу в тот момент, когда в тарантас, запряженный двумя серыми рысаками, взбиралась Татьяна Половцева. Она была в длинном синем платье, на голове под цвет платья шляпа, на руках черные, по локоть, перчатки. Рядом с ней сел Вася в форме немецкого офицера, а на месте кучера пристроился Петр Хропов. Увидав Татьяну, Яня радостно закивал ей, затем хотел подойти и поздороваться, но Громадин скомандовал:

— В путь-дорогу!

Предупрежденные пикеты видели, как рысаки пронеслись лесной, расчищенной от завалов дорогой, затем промчались полем и скрылись в деревушке.

Когда рысаки, нетерпеливо перебирая ногами и грызя удила, остановились перед школой, Татьяна глянула на дверь и прочитала: «Штаб». На крыльце стояли часовые, привалясь каждый в свой угол.

«Через них надо пройти!» — мелькнула у нее мысль, и она, выпрыгивая из тарантаса, подобрав левой рукой платье, гневно, на немецком языке, крикнула Васе:

— Лейтенант! Немедленно проводите меня к господину полковнику! — затем ринулась мимо часовых, а за ней, по-настоящему бледнея, кинулся Вася.

В бывшей директорской за столом сидел Киш. Около него еще кто-то. У полковника широкий, нависающий лоб. Глаза голубые, спрятанные под белесыми, выцветшими бровями. Он очень широк в плечах. Китель в ряде мест неумело, видимо мужскими руками, заштопан. И это заметила Татьяна женским глазом.

— Мне надо с вами поговорить наедине, господин полковник, — все так же гневно, распорядительно и напряженно произнесла она. — Прошу лишних убрать. Лейтенант! Вы тоже не нужны.

Вася попятился, скрылся за дверь, приготовив пистолет, памятуя слова Громадина: «Если Киш хоть пальцем тронет Татьяну Яковлевну, пристрели его на месте», а Киш внимательно посмотрел на Татьяну, затем криво улыбнулся, как бы говоря: «Самодурство барыньки!» — и тут же подумал: «Наверное, ее кто-то обидел: пожил с этой, нашел другую».

— Как видите, мы тут вдвоем, — произнес он.

В кабинете в самом деле, кроме них, никого не было: то, что Татьяна приняла было за людей, оказались портреты Гитлера, Геббельса, развешанные на стене справа. И она чуть-чуть дрогнула. Киш, подметив это, сказал про себя: «Нет. Не самодурство. Что-то другое», — и, положив на стол парабеллум, спросил:

— Каким языком с вами будем говорить? Этим? — он поднял пистолет.

— До какого договоримся, — ответила Татьяна,

приближаясь к столу. — Я не вооружена. Вот, — она вскинула руки так, что платье обтянуло все ее тело. — И вам не стыдно говорить с женщиной, показывая на «пушку»?

— Я вас слушаю. А стыд? Что ж, мы с вами не на балу, — и Киш погладил оружие.

— Я передаю вам, — почти шопотом проговорила Татьяна, — от имени генерала Громадина: сдавайтесь.

Киш схватил парабеллум, навел было его на Татьяну, затем, помахивая им, бледнея, сказал:

— Не понимаю ваших условий.

«Ага, сдается!» — подумала Татьяна, и вслух:

— Условия простые: все вооружение передадите нам. Сами? Хотите — идите к нам, не хотите — как хотите.

— Наивно, мадам, — чуть подождав, ответил полковник. — Наивно, — подчеркнул он.

— Но... честно, — упрямо произнесла она.

— А если я вас сейчас же расстреляю? — вдруг грубо сказал он, одновременно думая: «А может, она от немцев?»

У Татьяны выступили капельки пота на розовых висках, но улыбнулась, произнося твердо:

— Я шла на это. Но если вы меня тронете, завтра от вас и помина не останется.

— Вы так и хотите?

— То есть?

— Чтобы от нас и помина не осталось. Ведь все наши семьи переписаны. И если мы сдадимся, наши семьи будут повешены, расстреляны, задушены! — выкрикнул последнее слово Киш и тише добавил: — Наивно. — Он некоторое время думал, глядя куда-то в сторону, совсем забыв про пистолет, потом раздельно, отчеканивая, произнес: — Нейтралитет. Понимаете? Нейтралитет. И помощь от нас — информация. Вот, пожалуйста, передайте генералу: на него через два дня будет наступление... и час скажу: семь ноль-ноль утра.

— Это ему известно и без вас. Что еще?

— О-о-о! — удивленно воскликнул полковник.— Вы настойчивая!..

— Мы все такие.

— Красивые?

— Да.

— Красивые, как вы? Не верю.

Татьяна задумалась. Перед ней пронеслось: партизанские становища, на которых она побывала вместе с Васей, Петром Хроповым и Гуториным; партизаны, суровые, обожженные войной, тоскующие по родным местам, стойко защищающие родину, и горестно, с хорошей завистью произнесла:

— Нет. Те красивей меня... Так что же, полковник?

Киш тоже задумался, затем сказал:

— Я к вашим услугам. Но тонко... По-женски — тонко, по-мужски — умно.

— Прошу проводить меня, — и Татьяна так же шумно покинула кабинет. При помощи Васи взобравшись на тарантас, она игриво, не для Киша, а для окружающих, улыбнулась и прошептала: — Плохо у вас: никто нас не остановил.

Полковник, склонив голову, тихо ответил:

— Да ведь у вас тарантас и кони такие же, на каких разъезжает наш шеф, генерал Вильдемут.

«А-а-а! — про себя воскликнула Татьяна. — Громадин и тут все предусмотрел». — И, неожиданно даже для себя, предложила:

— Господин полковник, садитесь рядом. Поедемте к нам.

Киш дрогнул, посмотрел на часовых, ощупал бок, отыскивая кобуру с пистолетом, затем снова посмотрел на Татьяну, а та, взяв его за руку, потянула к себе, произнося:

— Не надо. Вот так, как я, невооруженная. Садитесь.

— Только головной убор, — сказал Киш и, крупными шагами взбежав на крыльцо, скрылся в школе.

«Придет? Нет, не придет. Нет, придет. А если он сейчас выскочит и начнет палить в нас?» — мелькнуло у Татьяны, и она посмотрела на дверь школы.

Оттуда показался Киш, обеими руками прилаживая на голове картуз с горделивым околышем. И Вася, поняв все, пряча под сиденье автомат, сказал:

— Я на козликах, Татьяна Яковлевна.

8

— Э-э-э, родные! — с визгом выкрикнул Петр Хропов, и кони рванулись, побрякивая шлеями, колечками.

Они вырвались из деревни, оставляя за собой клубы пыли, и понеслись по равнинной долине, заросшей прошлогодней полынью и репейником.

— Э-э-э! Родные! — гикал Петр Хропов, все туже и туже натягивая вожжи.

Промчавшись километров семь, перед горкой Петр Хропов отпустил вожжи, и кони пошли вразвалку, роняя с себя хлопья пены, а он, повернувшись, посмотрел сначала на Татьяну, потом на Киша. Татьяна вся пылала румянцем, Киш, нахлобучив картуз, придерживая ее под руку, сидел иссера-бледный.

— Ну, как крещение, Татьяна Яковлевна? — спросил Петр Хропов.

— Хорошо. Очень!

— А у молодца, видно, поджилки трясутся?

— Да, затрясутся, — по-детски ответила Татьяна и звонко засмеялась; затем, повернувшись к полковнику, произнесла на немецком языке: — Даю вам честное слово, вы будете живы.

Киш некоторое время смотрел в сторону, потом сказал:

— Я солдат, к смерти давно приготовлен и не боюсь ее. Меня терзает другое — совесть.

— Совесть? — удивленно спросила Татьяна. — Совесть — это хорошее чувство... и очень хороший помощник человеку.

— Но я покинул пост.

— Покинул пост? — Татьяна снова разразилась звонким смехом. — Ну, это не совесть в вас заговорила, господин полковник. Это страх — дрянное чувство. Совесть — большой и честный советник. Она диктует человеку: люби народ, будь ему предан и, если ты получил образование, передай его народу. Вот что диктует совесть. А вы что делаете, полковник? Вам народ дал образование, а вы идете и служите, как раб, врагам своего народа. И душите его, народ свой. Пост? На

каком посту вы стоите? Об этом вам совесть ничего не говорит?

— Коммунистическая мораль... далекая и чуждая нам!

— Хорошая мораль, — ответила Татьяна и, показав на дорогу, где были расставлены маленькие крестики, на которых виднелись каски, сказала: — Как вы, господин полковник, смотрите на это?

— Безразлично: то немцы.

— А мне моя совесть подсказывает другое — мне их жаль: то люди.

— Зачем же вы их бьете? — оскалив зубы, задал вопрос полковник.

— Мы вынуждены: они отравлены другой моралью — звериной.

— И тут у вас жалости нет?

— Нет. Мы вынуждены их бить: иначе...

— Око за око, зуб за зуб, — перебил Киш.

— Э-э! Нет! Это не наша мораль. Мы их бьем потому, что хотим честно жить, трудиться, работать и уважать друг друга.

Киш некоторое время молчал.

— Я это понимаю. Я это понимаю, когда сбрасываю с себя полковника и становлюсь просто человеком.

— А вы сбросьте и останьтесь просто человеком, тогда ваша совесть вытеснит ваш страх, — Татьяна еще что-то хотела сказать, но кони рванулись, и говорить стало невозможно.

Вот и лес. На кленах крупные, ушастые листья с сизо-розовыми черенками. Сорвать бы! Пожевать бы! Ведь Татьяна так любит жевать зелень: листья, траву, молодую шкурку липы...

Кони вскоре остановились у блиндажа. Здесь, как будто поджидая их, на скамеечке сидел Громадин. Увидав рядом с Татьяной полковника, он вскрикнул:

— Ох ты-ы-ы! — и хотел было кинуться к Татьяне, но сдержался, глядя на то, как Киш выбирается из тарантаса.

— Прошу провести меня к генералу, — сказал он.

Татьяна растерянно посмотрела на Громадина —

тот был в простом костюмчике, поношенном, даже помятом, — и, не зная, что делать, пролепетала:

— Полковник просит провести его к генералу.

— А-а-а. — Громадин потрогал полу своего костюмчика и сказал: — Ведите его в блиндаж Гуторина. А я сейчас, Татьяна Яковлевна. Останемся там вчетвером. — И Громадин скрылся в своем блиндаже.

Вскоре он, надев генеральскую форму и даже нацепив ордена, сначала о чем-то переговорив с Васей, спустился в блиндаж комиссара и тут за столом застал Татьяну, Гуторина и полковника. При появлении генерала все встали.

Познакомившись с полковником, Громадин, не отрывая взгляда от его лица, сразу приступил к делу. Киш передал условия, закончив тем же:

— Нейтралитет и информация.

— С паршивой собаки хоть клок шерсти. Вы это ему не передавайте, Татьяна Яковлевна, — попросил генерал и, весь улыбаясь, даже как-то светясь, сказал: — Очень хорошо. Нейтралитет — великое дело. Только пусть он пропустит через деревушку тысчонку наших партизан. Тысчонку.

Татьяна улыбнулась:

— Трудно перевести «тысчонку»... такого слова я не знаю на немецком языке. Тысячу?

— Нет. Тысяча его перепугает. Тысчонку. Вы скажите ему так... — Громадин подумал, — маленькую тысячу.

Киш, выслушав Татьяну, закивал, рассмеялся и на русском ломаном языке произнес известные ему слова:

— Хорошо, хорошо, генераль.

— Ну вот, милый-то какой! — похвалил его Громадин.

Вскоре они вышли из блиндажа, и Киш сел в тот же тарантас, а с ним вместе — Вася.

Громадин приказал:

— Доставить полковника в целости. Смотрите у меня! А дорогу завалить, — и когда кони тронулись с места, он добавил: — Ничего мужик. Совсем бы его к нам, — и, вдруг встрепенувшись, потряс слабенькие, почти детские плечи Татьяны. — Молодец! Вот моло-

дец... не знаю, как сказать! Ну, иди отдыхай. Потом поговорим, — и с восхищением посмотрел в глаза Татьяны, но та потускнела, как иногда от ветра тускнеет лампа, и снова вспыхнула:

— А письмо? Письмо, Кузьма Васильевич? Я ведь обещание выполнила, а вы? — с легким упреком закончила она.

— Письмо? Письмо сегодня же пошлю. Непременно. А как же? — и тут же с тоской, с какой иногда отец отправляет любимого сына в дальнее плавание, подумал: «Отошлю — муж получит и скажет: давай жену ко мне, домой. А там, глядишь, жена потребует мужа-партизана. По-человечески, конечно, это надо, но ведь перед нами враг лютый... да и стоит еще на нашей земле. Ишь-ишь-ишь, чего захотели! Домой! Тоже, нашли дурачка... Надо ее зарядить, вот что», — он снова глянул в глаза Татьяны и предложил ей осмотреть партизанское хозяйство. — А отдохнете потом.

— Да я за эти два месяца все уже осмотрела.

— Без меня? А теперь со мной.

9

День был тихий.

Леса и травы стояли недвижно, а просторы меж деревьев словно залиты свинцом.

«Так бывает перед грозой, — подумала Татьяна, и ей впервые захотелось сесть за полотно и писать. — Вот это нарисовать — перед грозой. Партизанское становище перед грозой. Они мне хотя и не говорят, но я вижу и чувствую: все перед грозой. Разве пойти к Васе и попросить его, чтобы достал краски и полотно? Ведь это, наверное, можно», — она хотела было так и поступить, но впереди шел генерал, что-то нескладно напевая: у него не было слуха.

И Татьяна шагала за Громадиным по тропе, мимо партизанских землянок и шалашей, сооруженных на скорую руку. Всюду висело белье — серое, застиранное, стояли огромные железные баки, под которыми пылали костры. Кое-где на привязях бродили козы. Иногда из землянок, шалашей выглядывали мужчины

или женщины. Громадин как будто не обращал внимания, но Татьяна видела, как партизаны смотрели на него доверчиво, восхищенными глазами, и думала: «Ну, эти пойдут за ним в огонь и воду».

Вдруг Громадин круто повернулся и, показывая на коз, сказал:

— Это индивидуальное владение: козы. Но есть и свое — общее. Пойдемте-ка посмотрим на наших свинок. Вот сюда, — и стал спускаться в глубокий блиндаж-свинарник. Не успел он открыть дверь, как послышался окрик:

— Ноги! Ноги! Эй!

— Ух ты! — поспешно отступая, пробормотал Громадин, а когда вышла свинарка — дородная басовитая женщина, Громадин, топчась в ящике с известью, в полушутку сказал:

— Что ж это ты на меня кричишь: я же генерал!

— И генералу ноги надо травить: зараза на всякие подошвы пристает.

— А-а-а! Это точно. Ну, кажи своих ребятишек. Кажи мне и вот Татьяне Яковлевне.

В длинном узком свинарнике горел электрический свет. В клетках на соломе лежали поросята — розовые и жирные. Войдя в одну из таких клеток, генерал нагнулся и начал похлопывать поросят по задкам. Те встревожились, забегали, завизжали, но вскоре приблизились к ласковым рукам, развалились, как бы говоря: «На, чеши!» И генерал, почесывая за ушками, похлопывая ладошкой по жирным задкам, приговаривал:

— Ух, дьяволята! Каких Васена вырастила! Ай да Васена!

В эту минуту раздался басовитый голос Васены:

— Генерал, уходи: мамаши идут.

Дверь отворилась, и в свинарник потянулись одна за другой свиньи-матки. Было их штук шестнадцать, и все они крупные, жирные, золотистые, с отвислыми сосками. Входя, они поднимали морды и издавали тревожное хрюканье, как паровозики, а тут, в свинарнике, поднялся такой визг, что матери захрюкали еще громче. Громадин расхохотался:

— Вот! Окороковый концерт!

Вскоре свиньи-матки разбрелись по клеткам, и поросята, каждый отыскав свой сосок, успокоились. Обходя клетки, Громадин произнес непонятное для Татьяны:

— На одних нервах далеко не ускачешь!

Татьяна недоуменно посмотрела на него.

Привыкнув отдавать распоряжения, которым подчинялись беспрекословно, Громадин, узнав от Васи, как себя вела у Киша Татьяна, не мог ей с откровенной резкостью сказать: «На нервах держалась» и все искал, как бы все это передать, но в более мягкой форме. Посмотрев на поросят, свиней, он вдруг сказал:

— Сегодня в ночь все это пойдет под нож.

— Почему? — спросила Татьяна.

— Догадаться надо, — раздельно подчеркнул он. — По паре оброненных фраз надо уметь догадаться. Подумай, почему я так сказал. Что, свадьбу, что ль, затеваю или чумы боюсь! Почему? Вот догадайся, — и, чуть подумав, мягко добавил: — Знаю, как вела себя у Киша. На нервах держалась. А нужны разум, расчетливость. Надо уметь играть. Артисткой быть. Поняла? Как говорят, все свои чары пустить в ход. Ты ведь у нас не истеричка, а крупный работник. Генерал — тебе цена, если не больше. А ты как себя вела? Девчонка! Я бы на твоем месте Киша ласково, приветливо обкрутил. Во-первых, попросил, чтобы доложили, а сам к окну и глазки в уголок. Вот, например, — он, кокетничая, смешно скосил глаза. — Киш увидел бы и сейчас: «Мадам, ко мне немедленно». «Позвольте, мадам, ручку поцеловать». «Ах, мадам! Садитесь, мадам!» А тут он сразу за револьвер? А ты ему тоже хлоп: «Генерал Громадин предлагает сдаться». Хорошо, что на такого нарвалась! А другой бы бах из револьвера в лицо... и мы плачь: какая женщина погибла! Играй, милая! Вон учись играть у Васи. При тебе ведь он в Ливнах-то был. Как играл! К самому главному карателю в денщики затесался.

— Я восхищаюсь им.

— Восхищаться легко: это каждый может... а вот учиться — дело трудное. Ну, догадалась, почему я сказал: «Под нож пойдут»?

— Нет.

— Подумай... и утром мне скажи. Разгадай. А теперь вот что: немецкий ты знаешь хорошо. Очень славно. Так я тебя, Васю и Петра Ивановича Хропова направлю в Германию. Это не прогулка, а война, и очень большая. Я бы пустил тебя под твоей фамилией, но ведь ты в Ливнах вон какого пса убила, и фамилия твоя им, конечно, известна. Так будешь ты, ну, например, Татьяна Яковлевна Егорова, что ли... и еще — певица, например! Петь-то умеешь?

— Нет. Я художник.

— Ага! Еще лучше! Еще лучше! — обрадованно воскликнул Громадин. — Рисуй их! Они на это падки. Задание: сообщай о настроениях всех слоев населения. А разведкой займется Вася. Кстати, он поедет, переоденется в форму немецкого офицера... жених твой.

— Но он же моложе меня. Кто поверит?

— Ничего. Особая, дескать, у тебя страсть. Ничего. А без жениха они тебя затреплют, офицеры. Готовьтесь к свадьбе... увидишь по ходу дела — устрой свадьбу, да настоящую. Учись драться с врагом всеми мерами, дорогая моя! Играй! Ну-ка, покажи, как ты ненавидишь!

Лицо Татьяны вдруг дрогнуло, посинело, губы затряслись.

— Я ненавижу... я ненавижу их!

— Кого?

— Всех их... фашистов!

— Молодец! Выйдет дело, — успокаивающе произнес Громадин. — Но это ты сказала искренно, а надо играть. Ведь не бухнешь же ты им прямо в лицо: «Я ненавижу фашистов». Ты «фашистов» держи в уме, а говори «большевиков». Поняла? Вот это будет игра. Ну, иди. Утром встретимся.

10

Татьяна не спала.

Всю ночь лил дождь. Он лил заходами: стихнет и вдруг снова примется, хлеща потоками по крыше блиндажа. Таких заходов она насчитала четырнадцать,

и ей казалось, что на улице настоящий потоп: несколько раз слышала, когда дождь стихал, как у выхода землянки кто-то плескал водой и однажды даже крикнул: «Егор! Рой канаву, не то утонет наш генерал». А генерал лежал на своей широкой кровати, тихо посапывал, словно держал в зубах трубку, стараясь распалить ее.

Татьяна осторожно, чтобы не потревожить Громадина, переворачивалась с боку на бок на постели за занавеской или вставала, садилась на табуреточку, все думая о том же, о чем думала и весь вечер.

Германия? Что такое Германия?

Татьяна представила себе, что там все люди такие же, как Ганс Кох.

«Как он тогда мне показывал коронки от зубов... золотые, платиновые! Как восхищался! Убьет человека, стащит коронку с зубов и к себе в коробочку. Фу-у-у! У меня и сейчас тошнота, а он радовался. Лишь бы нажить золото, вещи. Убить человека за вещь? Можно. Уничтожить свою мать за золото? Можно. Кох однажды, хвастаясь, чуть не пел: «Музыка!.. Золото — вот музыка». Коля мне говорил: «Капитализм посеял...» Что? Ах, да, скверну на земле. Так вот она какая, скверна! И еду я в Германию, а там мне надо играть, как сказал генерал. Играть и догадываться. Ну, например, «пойдут под нож». Почему? Помоги мне, Коля. «Свадьба или чума», — вспомнила она слова Громадина и рассмеялась. — Какое чудно́е сочетание слов: «свадьба или чума»!

Так, не разгадав намека Громадина, она на заре и заснула. Но вскоре, разбуженная Васей, проснулась. Генерала на кровати уже не было, а через маленькое окошечко в блиндаж било светлое, омытое дождем солнце. Вася, одетый в костюм немецкого лейтенанта, был необычайно суетлив и весел.

«Мой жених!» — мелькнуло у нее, а Вася уже говорил ей о том, что следует надеть то же самое платье, в котором она ездила к Кишу, ту же шляпу, те же туфли и перчатки; что она бежала с Поволжья, жила в Баронске, переименованном потом большевиками

в Маркштадт; что с Васей они встретились совсем недавно.

Она оделась, посмотрела на свой уголок, завешенный простынями, на кровать генерала, на стены блиндажа и, отвесив низкий поклон, не в шутку сказала:

— Ну! Прощайте!

У блиндажа стоял тот же тарантас, запряженный теми же серыми рысаками, и на козлах сидел тот же Петр Хропов, но в простом крестьянском одеянии. На задке тарантаса привязаны чемоданы, ящик для красок и какие-то свертки.

— А это что? — спросила Татьяна, показывая на свертки.

— Да ж картины, ваша милость, — по-крестьянски окая, улыбаясь во все лицо, ответил Петр Хропов.

— Хоть бы показали мне их! Ведь они не мои. А каждый художник рисует по-своему.

— Не разберутся, Татьяна Яковлевна, — ответил Вася, помогая ей переступить дождевую лужу.

В эту минуту из блиндажа Гуторина вышли генерал и комиссар. У Громадина лицо пасмурное, помятое, испещренное резкими морщинами: казалось, он перед этим плакал в неутешном горе. Знал он, на какое опасное дело едет Татьяна, и по-человечески ему было жаль ее. Но ему было известно: в военном деле, как и во всяком, отступать нельзя. Подойдя к Татьяне, сказал:

— Все инструкции у Васи и Петра Ивановича. Они в пути вам, Татьяна Яковлевна, все перескажут. Ну, поцелуемся! — Они поцеловались, и Громадин строго крикнул: — Пошел! Пошел! Нечего топтаться на месте! А впрочем, — уже улыбаясь, спросил он Татьяну, — догадалась, почему под нож?

Она неожиданно даже для себя произнесла:

— Снимаетесь вы отсюда.

— Кто сказал?

— «Под нож», — уже задорно, радуясь тому, что отгадала тайну, и видя по глазам Громадина, что это так, сказала Татьяна.

— Молодчина! А теперь в дорогу. Петр Иванович,

и ты, Вася, без нее не приезжайте ко мне. Повешу! Поняли?

Те враз оба кивнули головами. Петр Хропов натянул вожжи, и кони ринулись вперед, разбрызгивая во все стороны теплую, разжиженную ливнем грязь. Вскоре кони промчались по той же лесной дороге, снова расчищенной от завалов. И опять пикеты видели, как кони вырвались из леса, пронеслись полем и далеко в деревушке на пригорке остановились около штаба.

Вася спрыгнул с тарантаса.

— Минутку, Татьяна Яковлевна. Мне нужен полковник Киш, — и взбежал на крыльцо. Путь ему преградили часовые, скрестив перед ним автоматы. — Срочное дело до полковника! — крикнул он на немецком языке, разводя перед собой скрещенные автоматы, с презрением глядя на венгерских солдат. — Прочь! — еще кинул он и шагнул в школу.

В кабинете за тем же столом сидел Киш, сморщенный и злой, но, увидав Васю, поднялся, улыбнулся, произнося:

— А я думал, немцы. Поразительно: хотят наших солдат сделать своими союзниками, а обращаются, как с собаками. Чем могу служить, господин лейтенант?

— Разрешите доложить, господин полковник, — по всем правилам военного устава начал Вася, — генерал сообщает, что сегодня, ровно в двадцать два ноль-ноль, партизаны двинутся к вашей деревне. Генерал приказал очистить деревню от солдат, чтобы партизаны могли беспрепятственно пройти по улице. Отведите своих солдат на маневры, километра за четыре отсюда. Там, где березовая роща.

— Тысяча партизан?

— Маленькая тысяча, — и Вася, подражая Громадину, показал кончик пальца. — Все, господин полковник. Разрешите итти?

— Вполне, — ответил Киш, опуская голову, глядя в стол, но когда Вася круто повернулся, ударяя каблуками, полковник спросил: — А-а-а! Послушайте. Вы вернетесь обратно?

— Нет.

— А куда?

— Нейтралитет, господин полковник.

— Но и полная информация?

— Это обещали вы: нейтралитет и полную информацию, господин полковник, — сдерживая смех, ответил Вася.

— Прошу без шуток, господин лейтенант, — с грустью произнес Киш, шагая за Васей. — Я ведь на костре.

— Так уберите его... костер, — посоветовал Вася так просто, как будто дело шло о пустяках.

— Ага! — воскликнул Киш, выйдя на крыльцо и увидав в тарантасе Татьяну. — Здравствуйте! Здравствуйте! — прокричал он.

Татьяна улыбнулась ему, кокетливо помахала рукой и с отвращением подумала: «Играю! Ах, Коля, Коля!»

Пара коней снова взяла в рысь, унося Татьяну, Васю и Петра Хропова в неизвестность.

11

Как только пара рысаков скрылась в зелени леса, Громадин вызвал к себе в блиндаж начальника особого отдела Пикулева, человека еще ниже ростом, чем Громадин, похожего на мальчика с бородой. В первую встречу, больше года тому назад, Громадин, глядя сверху вниз на Пикулева, не без злорадства сказал:

— Э-э-э! А я думал, ниже меня и людей на свете нет! А вишь ты!

Пикулев вскинул на него большие, навыкате, глаза:

— Знаете, товарищ генерал, как на такое ответил Наполеон: «Вы хотя и выше меня, но я могу вас на голову укоротить».

Громадин даже растерялся, потом сердито проворчал:

— Так вы что ж, укоротить, что ль, хотите меня? Эдак, милый, я бы всех партизан укоротил: все выше меня. Чего мелешь? Молола!

— Шутка, товарищ генерал, — бледнея, добавил

Пикулев, и только тут Громадин заметил, что маленький рост — самое больное место Пикулева, а потом он узнал и целую драму.

Несколько лет тому назад Пикулев влюбился в девушку, очень добрую, тихую, но ростом гораздо выше его. И она полюбила его. Потом они поженились... и с первого же шага началось то, чего Пикулев не ждал. В загсе, регистрируя их брак, женщина украдкой улыбнулась, а когда они выходили из помещения, кто-то вслед кинул:

— Хрулек какой, а она — вон она какая: большому мужику под стать!

Она, его Елена, рассмеялась по-доброму, по-хорошему, а он весь вспыхнул, засовестился, хотел было взять ее под руку, потянулся к ее руке — и опустил свою. Тогда она сама взяла его под руку и вывела на улицу. Отсюда они направились к фотографу. Как же, положено сняться! И Пикулеву казалось, все смотрят на него и на нее и все улыбаются. У фотографа повторилось то же самое, что и в загсе. Фотограф, мужчина крупный, с жирным загривком, сначала улыбнулся легонько, а когда они встали перед аппаратом, он улыбнулся уже открыто и сказал:

— Вам бы лучше сняться так: вы, молодой человек, сядьте на стул, а вы, барышня, стойте. Или наоборот. Так менее заметна разница в росте. Понимаете? Не то карикатура!

С тех пор Пикулев перестал появляться в городе вместе с женой. Они встречались только дома. Чтобы казаться старше и мужественнее, он отрастил бороду, но и это не спасло дела: червяк забрался в сердце и точил, точил его. С таким червячком на душе и отправился он на фронт, да не просто на фронт, а вот сюда — в Брянские леса. И когда опустился на парашюте, партизаны встретили его радостно и, совсем не желая оскорбить, прокричали:

— Ну-у! Такого парашюту легко держать!

А тут еще при первой же встрече и генерал: «Э-э-э! А я думал, ниже меня и людей на свете нет! А вишь ты!»

И сейчас, когда Пикулев вошел в блиндаж, Гро-

мадин улыбнулся, однако прикрывая лицо ладошкой, будто от бьющего через окошечко солнца, спросил:

— Ну как, майор, жена пишет?

— Пишет, товарищ генерал, — быстро ответил Пикулев, настороженно глядя в глаза генералу. — Пишет. Родила. Сына.

— Эх! Поздравляю! Значит, воина принесла. Поздравляю. Поздравляю. Я бы тоже радовался. Но... чего нельзя, того нельзя. Ну, давай выкладывай, что нового?

Пикулев и, разумеется, Громадин знали, что гестаповцам известно все: сколько партизан, какие блиндажи, сколько винтовок, автоматов, пушек, снарядов и даже не только свиноматок, но и поросят. Гестаповцам были известны фамилии приближенных генерала и даже то, что та самая Татьяна Половцева, которая в прошлом году убила Ганса Коха, уничтожила солдат, подожгла село и увела всех жителей в Брянские леса (это они уже подавали преувеличенно), тоже находится у Громадина. Одним словом, им многое было известно.

— Всё знают, — закончил Пикулев. — Одно им неизвестно — кто муж Татьяны Яковлевны. — Громадин в этот миг навострил уши и даже потянулся. — Муж Татьяны Яковлевны, — сделав короткую паузу, продолжал Пикулев, — находится под Орлом в армии Анатолия Васильевича Горбунова.

— Ну вот! Вот ведь как! — воскликнул Громадин и про себя добавил: «Значит, я прав. Зачем записку посылать, когда он рядом? Да и туда я ее не пошлю: еще скорее жену вытребует», — и произнес: — Значит, гестапо больше вас знает?

— Да нет, почему же! И мы всё знаем, — теребя бородку, сказал Пикулев.

— Ну да? — легонько подковырнул Громадин, уже зная обидчивость и вспыльчивость Пикулева.

— Точно, товарищ генерал. И мне известно, где и какие немецкие части стоят, из кого они — из немцев, венгерцев, шантрапы, набранной во Франции, из бельгийцев. Знаем мы всё это, товарищ генерал.

И знаем еще другое: завтра, в семь ноль-ноль, собираются ликвидировать нас попутными частями.

Гестапо всеми мерами и всеми средствами, а главное — под страшными пытками вербовало шпионов и засылало их в партизанские отряды. Но почти все такие «шпионы» приходили к Громадину и, рыдая, рассказывали, как их пытали, принудив служить гестапо, и с какой целью послали в партизанские отряды. Громадин, выслушав, пускал в ход «противоядие»: проверив такого «шпиона» в боях с немцами и видя, что такой-то дрался отлично, он вызывал его к себе и говорил:

— Вот что, надо искупить свое преступление. Под пыткой или не под пыткой, однако слово дал... а надо было умереть — и молчать. Кровью искупи свою вину перед родиной. Не то мы тебя за стол победы не посадим, а она не за горами.

Добровольцев-шпионов Громадин приказывал расстреливать, а вот таких — «принужденных» — вызволял, проверяя в боях, и однажды, вызвав Пикулева, сказал ему, почесывая за ухом:

— Вот что, майор. Эти «принужденные», которые хорошо дрались, пускай служат гестаповцам.

— То есть как это?

— А то есть вот как... Это, конечно, важно — разведка, контрразведка. Но важнее всего сила. К примеру, выйду я на богатыря драться и знаю: руки у него — силища, плечи — силища. Все знаю, а однако он меня придушит.

— Но вы можете на него с пистолетом, товарищ генерал.

Громадин задумался, затем сказал:

— Да ведь и он может с пистолетом. Вон у нас какой пистолет под Орлом! Попробуй, перешиби!

— Речь-то не о том, что под Орлом... О нас речь.

— О нас? Верно. Так вот и рекомендую я, — голосом приказа произнес Громадин. — Этим, которых мы тут испытали, скажи: «Служи немцам, то есть вид такой делай. Передавай им все, что я тебе позволю, но тащи оттуда и мне абсолютно все. А главное — вскрывай тех, кого мы еще не знаем. А они среди

партизан, безусловно, есть. Путай у немцев карты».

Сегодня Громадин решил окончательно спутать карты. Три дня тому назад, еще из Москвы, по радио он приказал никого за партизанскую черту не выпускать и не впускать. И сейчас спросил Пикулева:

— Твои все дома, майор?

— Многие дома, а иные там... не вернулись. Не понимаю, почему такой приказ — не выпускать и не впускать.

— Ничего. Скоро поймешь. Так дома они у тебя, «принужденные»?

— Большинство — да.

— Ты мне из них роту организуй, — и на недоуменный взгляд Пикулева ответил: — Кровью ведь надо преступление смывать. Кровью! Думаешь, жестоко?

Вечером Громадин, Гуторин и Иголкин произвели смотр отобранных партизанских отрядов. Партизаны были молодые, загорелые, улыбающиеся, хорошо обуты, вооружены. Они стояли на лесных полянах. Тут же виднелись пушки, минометы, пулеметы, подводы с продовольствием. Осмотрев отряды, Громадин, довольный, предложил:

— Тронемся, — и, повернувшись к Иголкину, добавил: — Я-то вернусь. Провожу немного и вернусь: завтра ведь, в семь ноль-ноль, надо гостей встретить.

И когда чуть стемнело, колонны двинулись по той же дороге, по которой утром умчались рысаки, увозя Татьяну, Петра Хропова и Васю.

Впереди шли те, «принужденные», под командованием Масленицы, за ними тянулись пушки, за пушками, как река, колыхались остальные отряды.

Часа полтора тому назад Громадин вызвал к себе Масленицу, сказал:

— Тебе управлять «принужденными», и тебе же с ними встретить первый огонь. Верю в тебя: не дрогнешь, умрешь за родину.

Ровно в десять вечера голова колонны вступила в деревушку на пригорке, где разместился штаб полковника Киша, и первыми в школу вошли Громадин, Гуторин, Пикулев, Яня Резанов, за ними четыре бойца, вооруженные автоматами.

Киш встал перед генералом, стукнул каблуками, но тут же тревожно улыбнулся, видя, как тот положил руку на телефонный аппарат. Киш на венгерском языке сказал:

— Не понимаю, генерал, почему такая охрана? Ведь нейтралитет?

Гуторин, немного знавший венгерский язык, перевел слова Киша примитивно и просто.

— Нейтралитет, нейтралитет! — ответил Громадин и покачал головой, как бы говоря: «Убивать не собираемся», — затем подал руку полковнику.

Киш успокоился и стал смотреть в окно. Так они все минут двадцать сидели молча, следя за тем, как движется по улице что-то серое, колыхающееся. Под конец полковник с возмущением сказал:

— Ведь это не тысяча... а больше! Гораздо больше!

— Чего это он? — спросил Громадин Гуторина.

— Говорит, тысчонка-то больно большая.

— А-а-а! Такая она у нас, — Громадин, посмотрев на часы, проговорил: — Уж двадцать семь минут, как мы вступили в деревушку. Большая часть прошла по улице. Та-ак, комиссар. Ты, Яков Иванович, веди, а вы, комиссар, командуйте. Благословляю. Рушьте по дороге все. Я встречу «гостей» и перелечу к вам. Найду. Да-а. Кстати, захватите-ка и этого молодчика с собой: потом благодарить нас будет, а здесь гитлеровцы завтра же ему голову отвернут. Нам же он пригодится: знает военное дело. И еще: венгерцы-то стоят там, у березовой рощи? По пути вам. Разоружите-ка их, товарищ комиссар!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Кони, промчавшись рысью километров двадцать пять — тридцать, приостановили бег и пошли вразвалку, роняя густую пену. Когда они неслись по проселочной, колеистой дороге, было не до того, чтобы смотреть по сторонам: Татьяна все время крепко

держалась рукой за обочину тарантаса — как бы на ухабах не вылететь из него. Однако и при такой езде она отметила в своей памяти, что они миновали две выжженные деревушки, два или три раза объезжали раздробленные танки. А вот теперь, когда кони пошли вразвалку, земля, как бы нарочно, открыла свои раны: обмытые дождями скелеты в канавах, на пригорке свежее кладбище, покинутые окопы-кувшинчики, леса, изуродованные артиллерией, глубокие воронки — страшные глазницы, высокую полынь, лебеду на полях.

Проехав так по израненной земле километров пять, Татьяна вдруг увидела, как из зарослей полыни, озираясь, выглянули старик и старуха. Одежда на них оборванная, волосы растрепанные, глаза отчужденные. Выглянув, они снова принялись что-то искать в заросли полыни.

— Петр Иванович, да что же это такое, — обратилась она к Петру Хропову, — сумасшедшие?

Тот сидел на козлах, согнув спину и опустив руки. По согнутой спине и по опущенным рукам было видно, что ему очень тоскливо. От ее голоса он вздрогнул, но не сразу ответил: некоторое время раскачивался, затем повернулся, посмотрел в лицо Татьяны грустными глазами и глухо проговорил:

— И какого чорта они полезли на нас, фашисты?

Сколько раз Татьяна слышала эти же самые слова — от колхозников, от партизан, от генерала Громадина, — и всякий раз они волновали ее! Да! Зачем полезли? Что им надо? Надо вот это — посеять смерть на земле и чтобы по полям и лесам бродили сумасшедшие?

— Ослы! — так же глухо закончил свою мысль Петр Хропов.

— Ослы-то ослы, а вон какой пожар зажгли! — вмешался Вася, тоже с грустью посматривавший по обе стороны дороги.

— Людей много пропадает. Простых, — как бы не слыша его, продолжал Петр Хропов. — А простой человек, будь то немец или француз, не виноват. Развратили их.

— Вас-то не развратили? — негодующе возразила Татьяна.

— Меня? И меня бы могли развратить, и вас бы могли. Но нам дали лучшую науку — без ржавчины, воспитали нас на самых высоких принципах, а тех — на звериных. Психоз.

— Это еще что за новая теория?

— А вот, к примеру, в пятом году рабочие пошли за попом Гапоном на поклон к батюшке царю. Это ведь все равно, что кролики пошли на поклон к удаву: «Не кушай нас». Что это было? Психоз. И тут. Европой завладели, покорили десятки государств. Вот-де мы какие. Мы и весь мир на колени поставим. Рабов заведем. Что это? Психоз.

Татьяна покачала головой:

— Нелепое сравнение, Петр Иванович! Русские рабочие тогда пролили свою кровь за лучшее будущее, осознали настоящий путь... А эти?

— Да и психоз-то надо из них выколотить! — задорно, по-ребячьи угрожающе воскликнул Вася.

— Точно, господин лейтенант! — Петр Хропов посмотрел на Васю, как на малыша, и, намеренно по-крестьянски окая, добавил: — Точно. Огнем и мечом пройдем, а психу выбьем. А ну, родные! — крикнул он и натянул вожжи.

Кони рванули, пошли нога в ногу, четко отбивая шаг, встряхивая густыми гривами. И опять замелькали поля, заросшие сорняками, раздробленные пушки, сожженные танки, скелеты в канавах...

Уже под вечер, когда кони, пройдя километров шестьдесят, стали заплетаться ногами, Петр Хропов, предложив Васе накинуть плащ-палатку, поменять немецкий картуз на кепи, сказал:

— Влево беру.

— Это куда же? — спросила Татьяна.

— К нашим.

— К кому? К немцам?

— Не-ет. К партизанам.

На следующий день, повидавшись с Матвеевым — секретарем подпольного обкома, побеседовав с ним, забрав явки и документы, они выехали на машине, за

рулем которой сидел Петр Хропов. Из предосторожности они ехали проселочной дорогой, но около Гомеля свернули на шоссе: мост через реку был сожжен.

— Опасно, — раздумчиво сказал Вася. — Но не возвращаться же назад. Поедемте. Как-нибудь вывернемся, тем более у меня вот что есть, — и он показал Петру Хропову и Татьяне удостоверение за подписью немецкого генерала. В удостоверении было сказано, что лейтенант Шмиттен по случаю женитьбы имеет трехнедельный отпуск и направляется со своей невестой к родителям в Новый Дрезден.

— О-о-о! С таким документом можно и на тот свет отправиться, — мрачно пошутил Петр Хропов и повел машину на шоссе.

Здесь, на тракте Москва—Варшава, тишина лесов сменилась скрипом, визгом, гулом, характерным только во время передвижения войск; по шоссе на восток двигались грузовые машины, заполненные снарядами, солдатами, ползли, иногда совсем открыто, танки, самоходные пушки, тянулись обозы.

— Нахально как прут! Будто по своей земле! — проговорил Вася, внимательно всматриваясь в танки, в самоходные пушки. — Это, видимо, и есть то новое, чем они хвастаются. Запомним! Запомним! Все запомним! И напомним!!

Машина шла тихо по обочинам шоссе. Иногда ее останавливали патрули-регулировщики, тогда Вася быстро подбегал к солдатам, показывая им удостоверение за подписью немецкого генерала. Солдаты, рассматривая документ, кидали завистливо-масленые взгляды на Татьяну. Ей такие взгляды были противны, но она, играя, гневно-ласково звала Васю:

— Да идите же скорее! Вы ведь с солдатами уже два года!

Петр Хропов выдавался за пленного, и на него немцы смотрели, как на изношенный, за ненадобностью выброшенный в канаву ботинок.

Проехав Гомель, пробившись через немецкую толчею и сутолоку, они свернули вправо, тронулись проселочной дорогой, а около деревушки Качан на пароме переправились через Днепр.

Татьяна, возможно, навсегда забыла бы эту деревушку, как и многие виденные ею и ничем не примечательные. Но в этой деревушке случилось вот что... Паромом управлял старичок, весь точно в узлах: пальцы узловатые, волосы на голове и борода скрученные, даже короткий нос — и тот покрыт вихреватыми морщинками. Во время посадки он всем старался помочь: то перенесет ребенка на паром, то усадит больную на хорошее место. А тут, когда машина застряла при въезде на паром, а Вася и Татьяна не в силах ей были помочь, старичок, глянув на Татьяну, сел у руля и застыл в безучастной позе.

— Помоги, дед, — открыв дверцу и не бросая руля, попросил Петр Хропов.

— Ну, я вам не помогальщик, — огрызнулся тот и еще сильнее задымил трубкой.

Татьяна сначала посмотрела на паромщика недоуменно, потом с любопытством.

— А чего же другим-то помогали, дедушка?

Когда она эти слова произнесла на русском языке, старичок даже хлопнул рукой по коленке и с нескрываемой ненавистью произнес:

— Вот догадка моя и налицо! Так и есть — русская ты, ваша милость. Те едут... Ну, что? Разве мало на земле гнусу всякого?.. А вот когда русский по ту сторону бежит, океан-море злости во мне поднимается. Отчего? Сам не знаю.

— Смел, — подчеркнуто угрожающе кинул Петр Хропов, когда машина вошла на паром.

— А тебя что туда потащило? — спросил его старичок.

— Пленный.

— Хорош лоботряс! — и как только Петр Хропов свел машину на другой берег, старичок схватил метелку и остервенело начал орудовать ею, хотя на пароме и соринки не было.

— Какой злой! — проговорил Вася.

— Славный, — опротестовала Татьяна. — Может быть, неграмотный, а душа-то в нем какая!

— Это вы его хвалите за то, что он с нами так обошелся?

— Он не с нами так обошелся, а с предателями,— и, еще раз вглядевшись в старичка, она спросила: — Дедушка, как вас звать-то?

— Донести хочешь? Валяй. Петр Егоров я.

— И я Егорова.

— Фамилия, может быть, одна, да корни разные,— ответил старичок, отчаливая от берега.

2

Только на четвертый день они очутились на территории бывшего польского государства, здесь разыскали в лесах польских партизан, которыми руководил бывший сельский учитель Шишко.

Он дал им явки в Варшаве. Сказал:

— На машине ехать нельзя: Варшавский округ — губернаторство, и гитлеровцы хватают все машины. Вплоть до Лодзи вам придется путешествовать в коляске.

— Но ведь я немецкий подданный? — возразил Вася.

— Не посчитаются: машина не военная — значит, забирай в армию...

— А как они узнают, что машина не военная? — спросил Вася, которому хотелось как можно быстрее попасть в Германию.

— Шофер-то у вас пленный?

— Да-а... — протянул Вася. — А где же нам взять коляску?

— Мы устроим.

И вот они снова катят в коляске, запряженной парой лошадок. Верно, эта совсем не походила на ту первую, на которой они выехали от Громадина. Та была на ошинованных колесах, а эта на резиновом ходу, лакированная, и кнут у Петра Хропова с длинным-длинным черенком.

Здесь, на бывшей польской земле, все для Татьяны было разительно новое, иное. Хотя она обо всем этом читала в книгах, журналах и знала, что такое же когда-то было и в России, но теперь ведь там нет той

России и нет того, что есть вот здесь: там широченные колхозные поля, тракторы, комбайны, общие гумна, а здесь земля порезана на мелкие, даже мельчайшие полоски, плужки-однопарки, крестьяне в обуви на деревянных колодках... и крестный ход.

Крестный ход!..

Татьяна и его знает только по картинам Репина и Перова. А тут вот он, наяву: впереди по пыльной дороге двигается ксендз, за ним — монашки в черных балахонах, с накрахмаленными белыми огромными, спадающими на плечи воротниками, похожие на обезьян-мартышек, а дальше, за монашками, мужчины, женщины, дети. Почти все босые: обувь несут, перекинув через плечи. И поют какую-то молитву. Поют натужно, напряженно, вытянув шеи: просят дождя.

— Бедная земля! — с грустью произносит Петр Хропов. — Нарушена структура. Одна пыль. Полупустыня.

— А у нас? — спрашивает Татьяна, жадно всматриваясь в крестный ход.

— Мы ведь, Татьяна Яковлевна, не просто уничтожили полоски. Мы, по выражению моего отца, землю усдобили. И как далеко мы ушли от них! На столетие!

— Я ничего не понимаю в структуре, — снова заговорила Татьяна, уже болезненно всматриваясь в польских крестьян. — Я только вижу, какая нищета... и как они все тощи!

Петр Хропов на это ничего не ответил, а перед Татьяной всплыла Варшава, шумная, торгующая, бренчащая шпорами, саблями, и тут же вспомнился вчерашний бал.

На бал к пану Сташевскому Татьяну ввел Вася.

Татьяна не расспрашивала Васю, но чувствовала, понимала, что у того масса явок. Дня три тому назад он, покинув ее в гостинице, где-то несколько часов пропадал и вернулся возбужденный, веселый.

— Радуйтесь! Нас пригласил к себе на бал пан Сташевский.

— Кто это, Вася? — с тревогой спросила она.

— Заядлый фашист, имеет звание немецкого полковника, заместитель начальника полиции Варшавы.

Татьяна хотела спросить: «Как же это вам, Вася, удалось достать такое приглашение?», но во-время сдержалась, зная, что Вася не любит, когда его расспрашивают, где и как он достает явки, приглашения, как проникает в места, куда, казалось бы, и дороги нет. И сейчас, по ее глазам поняв, о чем она намеревалась спросить, он сказал:

— Не надо, Татьяна Яковлевна. Имейте только в виду — у нас много друзей. Это досталось не легко — попасть на бал к такому псу. А теперь, побывав у него на балу, мы будем приняты в их поганый мир.

И вот они тронулись на бал к пану Сташевскому.

Был поздний вечер.

Над Вислой уже ползли черные тени, а особняк пана Сташевского горел огнями и откуда-то из глубины парка доносилась музыка. Потом они, Татьяна и Вася, вошли в круглый зал... Если слово «вертеп» в Советском Союзе потеряло всякое значение, здесь оно довольно точно определяло то, что они увидели: в круглом зале топтались в румбе пары — разряженные дамы с немецкими офицерами. Татьяна, познакомившись с хозяином и хозяйкой, тоже ринулась в этот вертеп. Сначала она вышла в паре с Васей. Потом ее перехватил кто-то из поляков, потом кто-то из немцев, потом опять поляк, и вскоре все узнали, что она, эта красивая дама, — перебежчица из России, невеста вот этого толстогубого лейтенанта. Тогда перед ней стали расшаркиваться, хвастаться, выкрикивать:

— Варшава! О-о-о! Варшава — второй Париж! Варшава — не Москва! Москва — большая и грязная деревня!

«Да ведь брешете: вам и Варшава не нужна. Нужны грабежи. Все равно, кого грабить: свой ли народ, чужой ли», — хотелось крикнуть Татьяне, но она улыбалась, кокетничала и говорила другое:

— О! Да! Да! При одном упоминании слова «Москва» по всему моему телу проходит дрожь!

— По вашему милому телу? — шепчет хозяин особняка, топчась с Татьяной в фокстроте, сжимая ее плечи.

Татьяна легонько, игриво высвобождается и, кивнув в сторону Васи, говорит:

— Мой жених! Очень ревнивый!

— Да-а? Как жаль, что отменена дуэль, — будто и в шутку, но довольно угрюмо произносит пан Сташевский и тоже смотрит в сторону Васи, окруженного молодыми офицерами.

«Да. Жаль, — думает Татьяна. — Очень жаль, а то вы все бы тут перестрелялись, и это было бы самое хорошее с вашей стороны. Бал в потерянной столице, бал в городе, где когда-то родилась «Варшавянка»! Бал, когда вся страна под пятой врага! Какой цинизм! Н-е-ет, дедушка Егоров с врагом за один стол не сядет, хоть убей: то советский человек!» — но произносит Татьяна совсем другое. Зная, что у нее красивые руки, она всплескивает ими перед лицом хозяина, восхищенно кричит:

— Боже мой! Боже мой! Как я рада, что вырвалась оттуда! Я ведь там не жила. Совсем не жила! Нет, нет! Вот она, жизнь, здесь! Отведите и посадите меня: у меня от танца и от радости кружится голова. — Пан Сташевский посадил ее за столик, и она снова восхищенно продолжала: — Когда мы подъезжали к Варшаве, я в полях увидела чарующие краски: полоски, полоски, полоски. Полоски ржи, полоски пшеницы, полоски ячменя! Сколько красок! Какие васильки! А там, в России, большие поля и все однообразно. А я художник!

Против нее сидел немец майор Бломберг. Он сидел на стуле, отодвинув его от столика, широко расставив ноги, упираясь руками в колени, и еле слышно постукивал о пол каблуком сапога.

— Ого! — сказал он. — Но большие поля — больше хлеба. Васильки кушать не будешь.

Татьяна разразилась хохотом:

— Да сколько? Сколько вам, майор, нужно хлеба? Разве вы так много кушаете?

Майор сначала надулся, но, завороженный неподдельным хохотом Татьяны, ее сверкающими зубами, улыбкой, игривыми глазами, тоже засмеялся и почему-то прохрипел:

— Солдатам. Солдатам нужен хлеб. Я интендант.

— Фи, майор! Я приехала к вам веселиться, а вы о солдатах!

— Это верно, — согласился тот. — На солдата требуется дисциплина, а на таких женщин, как вы, дисциплины нет...

— Ой! Ой! Майор!

— Я хочу сказать: для красивых женщин все пути открыты, — поправился майор.

— Вот за это я вас могу полюбить, — и Татьяна, засмеявшись еще более заразительно, сама предложив майору руку, затопталась с ним в фокстроте.

А Вася не без тревоги подумал:

«Чорт возьми! А не по-настоящему ли она так восхищается всем?»

Во время танца Татьяна сообщила Бломбергу, что через несколько дней она и ее жених отправляются дальше — в Лодзь, а когда они сели за столик и Татьяна подозвала к себе Васю, майор вдруг сказал:

— Я имею отпуск. И готов сопровождать вас. Предлагаю для этой цели свою машину.

«Влопалась... доигралась!» — решил было Вася.

Но Татьяна вывернулась:

— Нет, майор, не лишайте меня радости: я хочу дышать воздухом подчиненной вам страны. Я хочу видеть все: людей, поля, леса, это чудесное небо. А на машине, что ж? Пролетишь — и все. Нам, художникам, надо даже ходить пешком.

— Тогда и я с вами, верхом, — вдруг брякнул Бломберг.

«Не выкрутилась!» — подумал Вася, а Татьяна еле заметно искривила верхнюю губу, ответила:

— Что ж, это будет очень любезно с вашей стороны... Но мы выедем не раньше, как через две недели: в Лодзь нужен пропуск, там ведь Германия.

«Ага! Отделалась!» — обрадованно подумал Вася.

— Пропуск? — воскликнул Бломберг и тихо добавил: — У меня есть друг, завтра утром у вас будет пропуск.

И вот они, имея при себе рекомендательное письмо

от пана Сташевского, плетутся трусцой по асфальтированному шоссе Варшава—Лодзь.

Цокают копыта лошадей, неслышно катится коляска. По дороге редко-редко попадаются машины с военными. Большинство польской аристократии — в колясках.

Татьяна повернулась и, увидав, как за ними на коне скачет Бломберг, сказала:

— Туп, как камень. Пристал!

— Он может и не отстать, — не совсем любезно обронил Вася.

— Вы уже ревнуете, Вася? Вы, между прочим, очень плохо ревнуете: увлекаетесь разговорами с офицериками и забываете про меня. Я понимаю, вам все это очень надо. Но ведь я ваша невеста, и вы временами должны делать злые глаза.

— Не умею и не смогу, глядя на вас, делать злые глаза, Татьяна Яковлевна, — тепло ответил Вася.

— Учитесь. Давайте вот сейчас перед этим тупицей разыграем сцену. Ну! Отвернитесь от меня. Нахохлитесь. Вот так. А теперь громко прокричите мне то, что я вам скажу: «Что будет со мной, когда я стану вашим мужем? Если сейчас... я не хочу сказать — меняете, но-о-о!»

Вася все это громко повторил, с издевкой, с обидой, а Татьяна, смеясь, поманила к себе Бломберга и, когда тот поровнялся с коляской, крикнула ему:

— Он ревнует, этот мальчик! Он очень боится, что я увлекусь вами!

Бломберг прогрохотал:

— О-о-о! Я бы полмира отдал!

— Вот что значит быть мужчиной! — с гневом сказала Татьяна Васе, и снова к Бломбергу: — Я прошу вас, поезжайте вперед. Я люблю смотреть, когда вы скачете. Вы такой... такой мужественный, а не мальчик!

И Бломберг охотно поскакал впереди.

А тут, в коляске, началось своеобразное заседание.

— Рассказывайте. Рассказывайте, Петр Иванович. Где вы были? Что узнали? Неужели она, Варшава,

такая, какой видели мы ее? — нетерпеливо попросила Татьяна.

И Петр Хропов рассказал. Он был у железнодорожников Варшавы, разговаривал с рабочими, с руководителями подпольных организаций.

— Все ждут прихода Красной Армии. Но, знаете ли, тут появилась еще и другая партия... Чорт те как называется, не запомнил. Англия натаскала. Эти тоже ждут прихода Красной Армии, но с тем, чтобы выгнать немцев и все забрать в свои руки. Вот дрянцо!

— Кто это вас так информировал, Петр Иванович? — снова спросила Татьяна.

— Руководитель рабочей партии. Молодой, энергичный и очень приятный человек.

— А мы видели гадость, гадость, гадость! Сплошную гадость. Вертеп. Мы у себя в стране как-то забыли это слово — «вертеп». А тут столкнулись с ним! Ну, а что они здесь, в Польше, производят, Вася? Вы беседовали с офицериками?

— Ничего путного. Делают автоматы, части для танков. Ох-хо-хо! — по-стариковски вздохнул Вася. — Все равно нам курс на Германию.

— Надо узнать, где нам машину купить, хотя бы у этого... — Татьяна показала на майора. — Ишь, как гарцует! Я все-таки думаю, нам бы в Лодзи хорошо попасть на обувную фабрику: мне надо знать настроение рабочих. Вы скажите ему: «Моя невеста требует подвенечные туфли прямо с фабрики. Ну, такой каприз». Ведь он утверждал: «Перед красивой женщиной все пути открыты».

3

После Варшавы, внешне пышной, разряженной, Лодзь казалась тихим городком. Несмотря на вечер, улицы пусты, хотя где-то далеко играл оркестр. Иногда появлялись верховые военные да проходили женщины с базарными сумочками. А где дети? Молодежь? Может быть, траурный день сегодня? Но вот подобного ни Татьяна, ни Вася, ни Петр Хропов еще не видели. Они ехали улицей, пробираясь в центр, как вдруг

неожиданно натолкнулись на кричащую вывеску: «Вход и въезд воспрещен». Майор (он, как знаток города, гарцовал впереди) круто повернул коня и, подскакав к коляске, радуясь и улыбаясь, сказал:

— Юды. Гетто. Посмотрите, как их заковали! Так и так, так и так! — и он описал хлыстом в воздухе четырехугольник.

Дома в улицах, прилегающих к гетто, были взорваны, по углам высились сторожевые будки, маячили вооруженные автоматами часовые. Кварталы меж разрушенными улицами были обнесены кирпичной стеной, по верху которой натыканы стекла от битых бутылок и протянута колючая проволока. Там, за стеной, бродили люди, вялые, как тени. Они что-то искали в мусоре. Мусорные ящики опрокинуты, мусор растащен по земле. Видимо, его не раз перебирали... и вот теперь снова перебирают.

— Юды. Гетто! — снова радостно произнес Бломберг.

— О-о-о! — воскликнула Татьяна и, легонько толкнув Петра Хропова в спину, гневно сказала: — Пошел! Пошел, Петер!

Утром она поднялась часов в пять, надела халат и вышла на балкон. Отсюда, с пятого этажа гостиницы, далеко видны были уходящие здания города. На черепичных крышах лежала серая, как наждак, копоть. Такая же копоть блестела и на листьях деревьев. Торчали заводские трубы — маленькие и большие. По улицам иногда, звонко цокая подковами лошадей, проносились патрули.

Город еще спал...

Но вот откуда-то стали вырываться велосипедисты. Они хлынули широким потоком. Велосипеды в большинстве двухместные — впереди мужчины, позади женщины. И вдруг все это оборвалось. Тронулись пешеходы. Все они, как и велосипедисты, в потрепанных костюмах, в обуви на деревянной подошве, женщины без чулок... и у каждого на рукаве белая повязка. Вскоре и этот поток оборвался. Прогрохотал пустой трамвай. Еще и еще. Потом трамвай с солдатами и

опять пустой. Появились домохозяйки. Но они идут не по тротуарам, а по мостовой.

«Значит, за трамвай нечем заплатить, — подумала Татьяна. — И почему на них какие-то повязки и идут не тротуарами?» Она еще не знала, что всякий негерманец здесь был превращен в раба: ему запрещалось ходить по тротуарам, пользоваться трамваем, посещать театры, и чтобы он был отменно заметен, ему приказали носить на рукаве белую повязку. Не знала она и того, что из этой части Польши выселены все в Варшавский округ, все, кроме тех, кто насильственно оставлен на фабриках и заводах, и кроме тех, кому «все равно, есть Польша, нет ли Польши: был бы торг». Ничего этого Татьяна даже не представляла. Она смотрела на рабочих и шептала:

— А что думают они? Неужели забыли «Варшавянку»! «Варшава — второй Париж», — вспомнила она хвастовство тех, кто вместе с немцами топтались в румбе.

И еще она вспомнила художественную выставку современной живописи в Варшаве. Идет свирепая война, уничтожаются народы, поганый кнут Гитлера висит над раздробленной Польшей... а тут, на выставке, нагие женщины во всех видах: лежат на пляже, сидят в полуоборот на креслах, куда-то уходят...

— Вертеп! — проговорила Татьяна и ушла с балкона.

Часов в девять кто-то постучал в дверь.

«Вася или тот?» — мелькнуло у Татьяны, и она, приготовясь к встрече, крикнула:

— Войдите!

Вошел Вася и удивленно произнес:

— Вы уже встали? И чего такая... серая?

Татьяна некоторое время смотрела на город, затем заговорила тихо и задушевно:

— Я была воспитана в таких хороших условиях, что не знала ни ненависти, ни мести. Я была вся заполнена возвышенным: рисовала и радовалась. А вот теперь какая ненависть клокочет во мне!

— Это хорошо, — одобрил Вася. — А я вот как будто и родился с этими чувствами. Впрочем, нет. —

И он намеренно прервал разговор. — Так сегодня на фабрику? Я уже с тем договорился, — он кивнул головой на соседнюю комнату. — Сам поведет нас. А затем нам следует отправиться в Краков.

— Это зачем, Вася?

— Мы должны попривыкнуть, к нам должны попривыкнуть... и тогда в Германию, — шопотом произнес он последние слова. — А машину я купил, шоферские права достал, и лошадок сегодня рано утром Петр Иванович продал.

— Так быстро?

— Здесь продать-купить — дело быстрое! А знаете, у кого купил машину? У вашего поклонника, майора Бломберга, — и Вася расхохотался так, что даже присел. — Вчера разговорился с ним. Прошу: «Помогите мне приобрести машину, а то когда я на лошадях к родителям доберусь! Ведь свадьбу надо справлять». А он: «Купите у меня». Позвонил в Варшаву, и рано утром машина прикатила сюда. Посмотрел я ее. Хорошая, новенькая, а на спидометре больше сорока тысяч километров. Как же, говорю, старовата? Объяснил. Оказывается, для немцев Гитлер издал приказ: машины, которые прошли меньше двадцати тысяч километров, сдаются в армию. Так он накатал... на спидометр... Маленько обманул Гитлера. Ой! Он топает!

В коридоре послышались тяжелые шаги, затем стук в дверь, Татьяна кинулась в угол, прикрыла лицо платком, как будто ее застали в объятиях Васи, и, стесняясь, смеясь, крикнула:

— Войдите!

Майор был побрит, напудрен, маленькие глазки остро поблескивали через пенсне. Поздоровавшись с Татьяной, целуя ее руку, сказал:

— Любовь как птичка. Ее нельзя пугать: вспорхнет и улетит.

«Экая слащавость! Вот это и есть немецкая сентиментальность, а одновременно: продать машину и объегорить государство!» — подумала Татьяна и тут же снова залилась смехом:

— Вы поэт, майор. Вы читали Гете?

— Гете? — недоуменно переспросил он, сидя все

так же, широко расставя ноги, упираясь в них руками и постукивая каблуком. — Гете? — и вздернул плечи.

«Боже мой! — воскликнула про себя Татьяна. — Даже своих поэтов не знает!» — и снова спросила:

— Сколько вам лет?

— Тридцать восемь, — отчеканил Бломберг.

«Ага! Значит, воспитанник Гитлера!» — решила Татьяна и тут же сказала:

— Вам не до поэтов. Вы должны думать о том, как завоевать мир!

— Совершенно верно. Но я знаю... я знаю Канта. Это наш бог.

— Вы его читали?

— Читать? Не-ет. Я читаю устав. Но мне говорили: «Кант — наш бог».

— Значит, вы понаслышке бога своего знаете? — опять игриво смеясь, внутренне издеваясь над Бломбергом, проговорила Татьяна и, перепугавшись своей дерзости, быстро добавила: — Вам, конечно, надо в первую очередь знать устав... Пойдемте завтракать. А то я все перепутаю.

4

Надо было пройти через невысокие закоптелые ворота, затем узким двориком, замусоренным, загрязненным, с невысыхающей лужей.

— Свиньи! Свиньи! — с омерзением произносил Бломберг.

Но вот они натолкнулись на немецкого солдата — часового, и Татьяна незаметно подмигнула Васе, как бы говоря: «Ага! Видите? Туфельки-то охраняют!» Часовой, прочитав рекомендательное письмо от пана Сташевского, не стал проверять документы и отдал честь майору. В коридоре их встретил поляк, длинный, тощий. Он расшаркался перед Бломбергом, показал выгорбленную спину. Вскоре они очутились в небольшом кабинете. На стене — фотографические портреты. Семь портретов. На крайнем изображен старичок, дряхлый, хилый, вот-вот рассыплется, дальше — портрет,

изображающий тучную даму, затем уже пошли весьма похожие на поляка, который привел сюда Татьяну, Васю и Бломберга. Заметя взгляд Татьяны, он любезно пояснил, по очереди умиленно показывая на портреты:

— Это мой прадедушка: он первый открыл фабрику. У него было шесть рабочих, и он сам не вылезал из-за верстака. Это его дочь. Она уже не сидела за верстаком. Это мой дед. Это... — так он перечислил всех и под конец, ткнув себя пальцем в грудь, сказал: — А последний портрет — я. Был хозяин — теперь директор.

— Я хочу посмотреть, как делаются чудесные туфельки, — не дослушав, капризно потребовала Татьяна.

Директор испуганно глянул на Бломберга, и тот, чуточку подумав, сказал:

— Красивой женщине все пути открыты.

Директор бессильно развел руками и повел гостей по цехам.

Здесь за машинами сидели и стояли женщины. В другое время Татьяна из любознательности с большим вниманием изучила бы производственный процесс, но сейчас ее интересовало другое: почему у входа на фабрику стоит немецкий солдат. И она, делая вид, что ей приятно видеть, как вырабатываются туфли, все время с восхищением вскрикивала:

— Замечательно! Чудесно, майор! Я теперь на балу расскажу дамам, что я знаю, как создаются изящные туфельки. Вот смотрите, это же такая неприятная на вид вещь — кожа! Какая она скользкая!.. И как отвратительно пахнет!.. А туфельки? Майор, чем пахнут туфельки?

— Ландышем. — умиленно ответил Бломберг, глядя на туфельки Татьяны.

«Ландышем! — про себя передразнила его Татьяна. — Мерзавец!» — и снова заиграла, однако все время отыскивая то, ради чего стоит солдат у дверей.

Вот ступеньки в подвал и вывеска: «Вход запрещен».

— Ах! А что там? Почему «запрещен»? — вскрикнула Татьяна и ринулась было в подвал.

Директор двумя-тремя прыжками преградил ей путь, говоря:

— Вам туда не надо. Никак не надо. Грязно и душно.

— Как? Майор! Вы повели меня смотреть фабрику... и нельзя? — гневно произнесла Татьяна.

Директор отвел в сторону Бломберга, о чем-то долго шептал. Бломберг заколебался. Тогда Татьяна рассерженно крикнула:

— Так-то вы подчинили себе поляков! Вы, майор! — и, подхватив рукой подол платья, она пошла было к выходу, но Бломберг грубо произнес, отстраняя бывшего хозяина:

— Прочь! Ведь я сказал: красивой женщине все пути открыты, — и первый спустился в подвал.

Длинный подвал уходил куда-то во тьму. Неподалеку от двери стояли баки, опутанные белесыми трубками, словно накаленные электричеством.

— Жидкий кислород, — абсолютно без интереса, вяло и пренебрежительно сказал Вася, обращаясь к Татьяне. — Хозяин прав, вам тут не надо быть.

— Ах, это которым больные дышат? — разыгрывая из себя наивную девочку, спросила Татьяна. — Нет! Нет! Это тоже очень интересно. Не правда ли, майор? Я могу им подышать.

И бывший хозяин, заметив наивность Татьяны, смеясь, сказал:

— Таким воздухом дышать нельзя: один кубический сантиметр разорвет человека.

— А как же его делают, майор?

— Это?.. Это... — Майор охотно бы объяснил, но он ничего в этом деле не понимал и сказал: — Да, делают. Химия, сложнейшая, — и пошел за Татьяной, которая уже бежала в глубь подвала.

И тут, в глубине подвала, она увидела русских.

Измученные, видимо обреченные на гибель, они работали около каких-то котлов, ванн.

Татьяна спросила Бломберга:

— Пленные?

Он недоуменно пожал плечами и обратился к директору. Тот ответил:

— Нет. Мобилизованные. Недорого стоят. Десять злотых каждый.

— И это вам выгодно, — утвердительно произнесла Татьяна.

Бывший хозяин криво улыбнулся:

— Я за них платил злоты, я их кормлю, обуваю, даю ночлег. А сам? Сам я ничего не получаю: продукт бесплатно поступает в германскую армию. Так что один только страх я получаю.

А Татьяна уже поровнялась с русскими и спросила на родном языке:

— Откуда вы? — и чуть не сказала «товарищи».

Самый пожилой, у которого от бессилия тряслись руки, глухо ответил:

— Брянские мы, барынька.

Она, чтобы не выдать себя, бросила:

— Вот вам социализм!

— Да. Гитлеровский, — сурово кинул ей в ответ все тот же пожилой рабочий.

При выходе с фабрики Татьяну ждала коробка с тремя парами чудесных туфелек.

Вечером она и разомлевший от успеха Бломберг сидели в баре.

Танцовали полуголые женщины.

Сердился Вася, разыгрывая ревнивого жениха. Хохотала Татьяна, призывно посматривая на Бломберга, и тот лелеял надежду. Но наутро все пошло кувырком. Бломберг получил телефонограмму: его срочно вызывали на место работы в Варшаву. Прочитав телефонограмму, он, бледнея, произнес:

— Меня, видимо, хотят перевести из интендантства в действующую армию. У меня много врагов. Но я все равно устроюсь в гестапо.

Простившись с Татьяной, с Васей, пожалев, что приходится расставаться, он сел в попутную машину и отправился в Варшаву.

А через час Петр Хропов подал к гостинице машину. Только они выехали из города, Татьяна, положив руку на плечо Васи, спросила:

— Ну, как туфельки?

— Это еще только ниточка, Татьяна Яковлевна.

— Но удачная?

— Очень. Надо теперь узнать, куда они отправляют эти «туфельки».

— Я ведь тебе сказал — в Штеттин, — проговорил Петр Хропов. — Отправляют на грузовиках, в особых баках.

— Штеттин? В Штеттине был французский оружейный завод. Какие там теперь штучки выпускают? Интересно. Легко купить телефонограмму для майора, а вот эти штучки?

— Знаете новость? — чуть погодя заговорил Петр Хропов.

— Какую? — разом воскликнули Татьяна и Вася.

— Пятого июля немцы пошли в наступление на Курск со стороны Орла и со стороны Белгорода... Прорвали долговременную оборону.

— Прорвали? — с тревогой спросила Татьяна. — Значит?..

— Пока ничего не значит. Меня сегодня утром поляки информировали, что перечитали газеты: вначале немцы кричали о последнем наступлении на Россию. Затем тон стали сбавлять. А сейчас чего-то треплются о выпрямлении линии фронта.

— Э-э-э! — протянул Вася.

— Э-э-э! — подражая ему, весело и радостно вскрикнула Татьяна.

5

Краков походил на старичка из знатного рода, у которого было все: чопорность, напыщенность, великая история прадедов и дедов и их боевых подвигов, но не было главного: денег и независимости. Чопорность выпирала повсюду: полуоблупленными колясками, полицейскими картузами с высоким передком, одеждой. Вот идет женщина, на ней все, как на манекене в витрине модного магазина. Идет — гордыня! Но на руке белая повязка.

Вася где-то пропадал дня четыре, и Татьяне пришлось проводить время одной. Каждое утро ее будил звон колоколов, мелкий, назойливо тревожный, и она

поднималась, до завтрака гуляла по городу, присматриваясь ко всему, изучая все.

Город жил по часам, заведенным раз и навсегда: в такой-то час с минутами по улицам двигались ученики или ученицы, ведомые ксендзом или монашками, в такой-то час с минутами пачками шли конторские служащие, кухарки с сумочками, потом поднимались приказчики, торгаши, и вдруг все закрывалось: жители завтракали или обедали. Но и в этом, казалось бы, деловом движении просвечивали гордость, напыщенность, чопорность.

«Мы жители знаменитого Кракова!» — как бы говорил своим видом иной мещанин с белой повязкой.

А былого «знаменитого» Кракова уже не существовало: на всем лежала фашистская лапа, как гигантский утюг.

Когда Татьяна первый раз сошла позавтракать в небольшой ресторан при гостинице, поляк-официант, подойдя к ней, сказал:

— У вас что, пани, злоты или марки?

— И злоты и марки, — еще не понимая, ответила она.

— Лучше марки, — и официант подмигнул, как бы говоря: «Для вас теперь я могу сделать все», — и спросил, что она закажет на завтрак.

— Но ведь у вас норма?

— Для марок нет нормы, — шепнул официант.

«Продался», — решила Татьяна и заказала себе только норму, а когда официант стал ей предлагать «сверх нормы», она, чтобы услышали немецкие офицеры, сидевшие за столиком неподалеку от нее, громко и гневно произнесла:

— Я не хочу нарушать законы Великой Германии.

Офицеры стихли, повернулись к ней. Она мельком глянула на них. Они поднялись и все молча поклонились ей.

На четвертый день появился Вася и, к своему удивлению, застал Татьяну в компании молодых офицеров-штабистов. Она радостно и шумно отрекомендовала его как своего жениха. Офицеры поздравили Васю, кидая на Татьяну завистливо-липкие взгляды.

«Как ловко придумал генерал: жених и невеста! Не то они вели бы себя еще пакостней!» — вспомнила Татьяна советы Громадина и нетерпеливо, как и полагается невесте, долго не видавшей своего жениха, подхватила Васю под руку и увела к себе в комнату.

Здесь Вася, подавая визитную карточку, сообщил:

— Вас сегодня на девять вечера приглашает профессор Станислав Пшебышевский. Известный химик... Что нам очень надо. Возможна разгадка «туфелек», — ответил он на вопросительный взгляд Татьяны. — Ведь те «туфельки» производят химики.

— А-а-а! — догадалась она. — Куда же приглашает, в университет?

— Нет. Домой.

— О-о-о!

— Готовьтесь. Я за вами зайду.

— А кто это такой — профессор Пшебышевский?

— Разве забыли? Я вас познакомил с ним на балу в Варшаве... такой — с усищами.

— Я была бы рада все забыть, что видела там.

Вскоре Татьяна и Вася сошли вниз. У гостиницы уже стояла наготове машина. Петр Хропов открыл перед ними дверцу. Они сели, и машина плавно взяла с места. Татьяна, тихо смеясь, проговорила:

— Здравствуйте, Петр Иванович. Давненько я вас не видела. Как жили?

— Расскажу потом, Татьяна Яковлевна: подъезжаем к особнячку профессора.

Небольшой особняк профессора Станислава Пшебышевского был втиснут в зеленый садик и выглядывал оттуда розовой черепичной лысиной. Домик весь был опутан диким виноградом. Ветви винограда свисали над карнизами окон, и потому окна походили на глаза под лохматыми бровями.

Когда машина уперлась в железные ворота, они бесшумно раздвинулись, и машина вошла в небольшой, чистенький дворик.

— Ну, я тут побуду на страже, — проговорил Петр Хропов.

На парадном крыльце появился Станислав Пшебышевский. Это был уже пожилой человек, с унылым ли-

цом, с седыми висками и с такими пышными, тянущимися чуть ли не до ушей усами, что Татьяне показалось — не приделаны ли они. Рядом с ним стояла женщина, по виду лет двадцати пяти. Она скромно опустила глаза, держась за локоть Станислава Пшебышевского.

«И до чего, чертовка, красива!» — подумал Вася.

6

Станислав Пшебышевский легким шагом сошел со ступенек, протянул обе руки Татьяне и заговорил на русском языке:

— Вы видите мою радость: я обеими руками принимаю Русь. Прошу вас любить меня и мою Лизу. Вот она, — он подвел Татьяну к своей Лизе.

Та скромно, медленно подняла глаза на гостью и произнесла:

— И я рада: все, что любит мой Станислав, люблю я.

— А это мой жених, — отрекомендовала Татьяна Васю.

Профессор надменно, вприщур посмотрел на Васю и, не подавая ему руки, как бы спохватываясь, проговорил:

— Ах, да! Да! Я слышал: у вас свадебное путешествие.

— Предсвадебное, пан профессор, — поправила его Татьяна, а про себя сказала: «Ага! Не любит немцев. Это очень хорошо», — и, подхватив Васю под руку, вошла в дом, по пути шепнув: — Вася! Держитесь: этот усач съест вас!

Васе и Татьяне отвели отдельные комнаты. Вскоре в комнату Татьяны вошла горничная и поставила тазик с водой, мыло и полотенце. Татьяна освежила лицо и вышла в столовую.

За столом сидели Вася, Станислав Пшебышевский и Лиза. При появлении Татьяны профессор воссиял, пошел ей навстречу, снова взял за обе руки, потряс и, усадив против себя, сказал:

— В России, на Волге, под Самарой, у меня, вернее у моего отца, было имение. Я свои детские годы провел там. О, детство — самое дорогое в жизни! Мне уже за пятьдесят, — с безнадежной грустью добавил он. — В эти годы всегда думаешь о прошлом. О будущем думать тяжко и... как это по-русски?... Скучнее... Нет, нет, тоскливей: в недалеком будущем виднеется сырая земля.

— Что ты, что ты, Станислав! — встревоженно проговорила Лиза и скромно подняла на него глаза, но Татьяна уже заметила, как в ее глазах шевельнулся бесенок.

— Начнем, пожалуй, как сказано у Пушкина, — проговорил профессор, и сам первый взялся за нож и вилку.

Стол был убран богато: красовались хрустальные бокалы, рюмки, солонки, чудесные именные тарелки саксонского фарфора, лежали ножи, и тоже всех видов — для мяса, для рыбы, для фруктов. Казалось, сейчас начнется пир, напоминающий былые времена польской шляхты. Но... но на цветистой скатерти поблескивала одна бутылка вина, на тарелке было несколько ломтиков колбасы, на другой — аккуратно нарезанные кусочки черного хлеба, и еще перед каждым на маленьких тарелочках белело по паре яиц. Все это при таком сервизе и таком убранстве выглядело смешно и тоскливо.

Заметя еле уловимое недоумение на лице Татьяны, профессор, искоса глянув на Васю, спросил ее:

— Ваш жених, Татьяна Яковлевна, понимает по-русски?

— Ни словечка.

Станислав Пшебышевский о чем-то подумал и дипломатически тонко произнес:

— Так кормит нас Гитлер: война, — и развел руками, добавляя: — Ничего не поделаешь.

Но Вася, услыхав слово «Гитлер», потянулся к бутылке и с той бесцеремонностью, какую немцы проявляли у побежденных поляков, налил вина в бокалы. Затем, видя, как хозяин недовольно заморгал и даже

поперхнулся, Вася поднялся и, тараща глаза, дергая верхней губой так, будто на нее села муха, крикнул:

— Хайль Гитлер!

Все встали, потянулись к бокалам:

— Хайль Гитлер! — как бы чем-то давясь, прохрипел Пшебышевский.

— Хайль Гитлер! — прокричала Татьяна, так же как и Вася, тараща глаза.

— Хайль Гитлер! — пропищала Лиза, и тут Татьяна увидела, что бесенок в ее синих глазах прямо-таки привскочил.

Выпив вино, все сели на свои места, и профессор еще больше опечалился. Татьяна украдкой глянула на Васю и кивнула на дверь. Тогда тот вдруг вцепился руками в виски и проговорил:

— Не могу сидеть: трещит голова. Пойду полежу, — и шумно, будто в кабаке, отодвинув стул, вышел, даже не посмотрев на Станислава Пшебышевского и его Лизу.

После ухода Васи наступила тишина.

Пшебышевский с пребольшим усердием разрезал на тоненькие ломтики краковскую колбасу. От сильного нажатия нож скользил по тарелке и издавал звуки, похожие на мышиный писк. Затем профессор встряхнулся, как встряхивается долго дремавший лев, и заговорил, будто ни к кому не обращаясь:

— Два огня. Один с Запада, другой с Востока. Западный огонь... Не понимаю его смысла: жестокий, оскорбительный. Он уже сжег нашу страну. Восточный? Марксизм? Устаревшая доктрина. А я химик. Я не политик. Я знаю одно: химия нужна всем. Но надо ли всем то, что проповедуют гитлеровцы, или нужен ли всем марксизм?

— А я в нем ничего не понимаю, в марксизме, — прервала профессора Татьяна, — у меня все время было единственное желание — уехать оттуда... из Совдепии. Кстати, тут иные говорят: «Совдепия». Это очень романтично.

— Ага. Романтично, — игривым голоском подтвердила Лиза.

— Исполнилось ваше желание: вы попали в страну,

где нет столицы, — профессор еле заметно улыбнулся, затем взял бутылку и, видя, что там вина нет, с сожалением проговорил: — Норма выпита, — и первый вышел из-за стола.

Лиза подбежала к Татьяне, обняла ее за талию и шепнула:

— Позовите своего жениха, и пусть они тут со Станиславом покурят, а мы с вами — в садик. У меня чудесный садик.

Татьяна, пожалев, что ей не удалось более откровенно побеседовать с профессором, позвала Васю и вместе с Лизой через широкую стеклянную дверь вышла в садик.

Садик был игрушечный: тут росли колючие груши, липнувшие к стене особняка, причудливые, извитые яблони, кусты малины, смородины, черемухи. А ближе к каменной стене, сверху и с боков увитая зеленью, стояла кушетка. С разбегу сев на кушетку, включив электрический свет, болтая по-мальчишески ногами и тихонько повизгивая, как будто ее щекотали соломинкой за ухом, Лиза сказала:

— Это мой садик... Ведь он стар.

— Кто? Садик? — спросила Татьяна, видя уже, как бесенок заскакал в синих глазах Лизы.

— Он. Станислав, — зашептала Лиза. — Вы смотрите, нас здесь никто не видит. Я могу раздеться. Я иду вот сюда, в малину, и прячусь. На мне только рубашечка. Он входит, и я появляюсь перед ним — малиновка, — Лиза звонко засмеялась, похлопывая в ладоши.

«Да чего же это она с таким откровенным цинизмом?» — подумала Татьяна, не зная, что ответить, а та вдруг кинулась к ней, вцепилась в плечо и зашептала:

— А тот, ваш жених, моложе вас? Он что... интересней... моложе? Ведь я других мужчин не знаю. Понимаете, не знаю, — с грустью закончила она.

«Что это — подосланная шпионить или... или одуванчик?!» — подумала Татьяна и опять, не зная, что ответить, промолчала.

В этот миг из столовой послышался голос Пшебышевского:

— Лиза! Мы хотим кофе.

— Ах, вот так всегда: мне не дают поговорить с друзьями. Но мы с вами потом... ночью. Вы останетесь ночевать у нас? Он заснет. Он быстро засыпает, как чурбан. И я к вам. Мы убежим с вами сюда... Вы ведь более опытная... и этот жених у вас, наверное, не первый? — выключив электричество, идя в столовую, щебетала Лиза.

В столовой на диване сидели Станислав Пшебышевский и Вася. Они сидели молча, оба выпрямленные и оба похожие на сов, когда те днем забираются на дерево и сидят вот так, настороженно, молча.

— Мы не понимаем друг друга, хотя я знаю немецкий язык, — подчеркнуто сказал профессор. — И мне без вас скучно.

— Куда запропала моя невеста? — раздраженно, на немецком языке, проговорил Вася, сидя все так же, как сова.

После кофе, как ни жалко было профессору расставаться с Татьяной, однако он, соблюдая режим, сказал:

— Спокойной ночи, — и первый ушел в свою комнату.

Лиза около часа ждала, пока ее Станислав заснет, но тот, чем-то встревоженный, долго вздыхал, а когда заснул, Лиза осторожно поднялась с постели, надела халат и хотела было уже отправиться за Татьяной, как в дверь постучала горничная и, войдя, вся трясясь, сообщила:

— Пани! Там немец... требует пана профессора.

И Лизе пришлось будить Пшебышевского. Тот, недовольный, поднялся, надел халат и вышел из спальни.

В кухне за столом, широко расставя ноги, сидел немец: это был агент гестапо, наблюдающий за отведенными ему домами. При появлении Пшебышевского он даже не привстал, а приступил сразу:

— Откуда у вас гостья? Почему вы мне не донесли, что у вас ночует гостья? Вы ведь знаете все правила. Так откуда она?

— Бежала из Совдепии.

— Вы в этом уверены?

— Если бы не был уверен, не пустил бы к себе.

Агент засмеялся, издевательски произнося:

— Большое доказательство — ваша уверенность! А вы ее что... прощупали?

— То есть как это «прощупали»? — Пшебышевский вдруг обозлился и на то, что агент поднял его с постели, и на то, что тот сидит вразвалку, и на то, что предлагает еще «прощупать». Какой прощелыга! — Я профессор, а не агент гестапо, — проговорил он. — Не мое, а ваше дело «прощупывать»...

И за завтраком профессор был мрачен. Первое время он отвечал невпопад, затем, глядя прямо в глаза Татьяне, заговорил:

— Вчера меня поздно ночью разбудил один прощелыга... спросил, «прощупал» ли я вас, извините за грубость, Татьяна Яковлевна. Нахал! — и отвернулся, глядя через окно в садик.

Вася еле заметно вздрогнул, у Татьяны глаза сделались большими.

Вот уже сколько раз ее, Васю и особенно Петра Хропова «прощупывают». Возможно, что в этом сказывается обычная система фашистов: они всех просматривают, но возможно и другое — за ними уже следят. И Татьяна заговорила резко на немецком языке, обращаясь к Васе. Тот ей что-то невнятно ответил и даже привскочил со стула. А она, обращаясь уже к профессору и Лизе, произнесла:

— Я сделала выговор моему жениху: нам как можно быстрее надо отправиться в Германию... Ведь, простите за грубое слово, но нас всюду «прощупывают», и я устала от этого. Я оскорблена. Выход один: скорее в Германию — а там-то уж нас никто не тронет.

Пшебышевский, как бы не слыша всего этого, все еще глядя в окно, утихомиривая бушевавшую в нем злость, проговорил:

— Вот так-то! Врываются в дом к известному химику, к профессору, будят его и требуют, чтобы он... «прощупал», — с подчеркнутой брезгливостью сказал профессор, — своих гостей. Да. Да. Я понимаю вас, — он повернулся к Татьяне. — Я понимаю вас. Поезжайте в Германию. Ну, например, в Штеттин.

Татьяна чуть не подпрыгнула от радости.

— Я вам дам рекомендательное письмо к моему другу, химику Отто Бауэру. Верно, мы виделись с ним еще до войны. Но он хорошо меня помнит: я передал ему кое-что новое по химии. И он примет вас как моего друга, — и профессор сморщился, говоря уже тише: — Простите, Татьяна Яковлевна, может быть, ваш жених — и хороший человек, но... я от одной формы прихожу в бешенство.

— Он хороший человек, — ответила Татьяна.

— Вряд ли! — грубо кинул Пшебышевский. — Среди них я не видел хороших.

— А ваш знакомый, Бауэр?

— Ах, да, да, — грустно сказал профессор, — совершенно верно: есть и хорошие.

Когда Петр Хропов подал к крыльцу машину, Татьяну и Васю вышли провожать Пшебышевский и его Лиза. Она так же, как и в первый раз, скромно опустив глаза, придерживалась за локоть мужа, и он так же, как и в первый раз, стоял рядом с ней на ступеньку ниже, но в глазах его горела не радость встречи, а тоска прощания...

— Вот мы почти и пробились через последние ворота, — проговорил Вася, когда из гостиницы были снесены чемоданы и машина рванулась из Кракова по шоссе, засаженному по обеим сторонам черешнями.

Тут, вне города, Татьяна, облегченно вздохнув, произнесла:

— А все-таки боязно: прощупывали нас сегодня ночью, Петр Иванович.

— Это пустяки, — ответил тот.—Обычное: каждому агенту отведены пять — десять домов, за которыми он должен следить. Но этого, который решил сегодня ночью прощупать вас, скоро в живых не будет: осталось еще несколько часов.

— Как так? — испуганно воскликнула Татьяна.

Петр Хропов о чем-то подумал, затем сказал:

— Он подъехал к дому на коне, привязал его к столбу и ушел проверять вас. Я видел, как дворник что-то «прощупал» на седле и нашел там фляжку с разведенным спиртом. Спирт выплеснул и налил

разведенного спирта, только древесного. Потом агент вышел. Сел на коня и, хвастаясь перед нами, отвинтил фляжку и выглохтил содержимое.

— Вот и выпил! — смеясь, заметил Вася.

— Ужасно! — заговорила Татьяна. — Вы ведь подведете профессора.

— Ну, что вы! Агент теперь лежит в больнице. Его там спросят, где он достал спирт. Скажет, там-то. Тогда начнут трепать тех. А те будут отказываться: спирт — казенное имущество.

— Все-таки это ужасно... Я все еще никак не могу к этому привыкнуть... А убивать их надо, — проговорила Татьяна и, обессиленная, уткнулась в уголок машины.

7

Собственно, границы в полном понимании этого слова между Германией и Польшей не было: большая часть Польши вошла в Германскую империю. Но вдруг все резко изменилось, как если из хаты бедняка попадешь в домину богатея. Оборвались в полях полоски, их заменили отруба с каменными, под черепичной крышей, домами, с крепкой надворной постройкой, с палисадниками, с акациями и цветами. Пропали сорняки, колеистые дороги, появились всюду гудрон, асфальт и камень, а по обеим сторонам дороги — кудрявые черешни, вишни, груши, яблони с высокими кронами — палкой не достать. И леса, леса, леса. Верно, какие-то декоративные: большинство — сосна, посаженная рядочками. Если в Польше деревушки из деревянных хат, с убогими надворными постройками, — здесь деревня из каменных домов, под черепичной крышей, с крепкой надворной постройкой. И еще — всюду стандарт. Стандарт коров — все одной рубашки: черные с белыми пятнами. Стандарт печей, мебели, детских колясок.

Километрах в шести от бывшей границы Татьяна, Вася и Петр Хропов остановились в деревушке и на ночевку попросились к крестьянину Паулю Будбергу.

Пауль Будберг не худ и не толст, но кругленький.

На лице у него не румянец, а старческая краснота — на щеках, на переносице, уходящая на испещренный морщинами лоб. Хозяин принял гостей любезно, но без суетни, сам растворил ворота, указал место, где надо поставить машину, где будет спать шофер, затем пригласил Татьяну и Васю в дом, познакомил со своей женой, тонкогрудой и длинноногой, как цапля. Узнав о том, что Вася и Татьяна — жених и невеста, он поздравил их и отвел Татьяне отдельную маленькую, но чистенькую комнатку, а Васе сказал, показав на диван в столовой:

— Вы, как рыцарь, должны охранять свою невесту: ваше ложе здесь.

Татьяна умылась и вышла в столовую.

Тут во всем был стандарт. Стандарт — печка, стандарт — мебель, стандарт — картины. На самом видном месте висела картина под стеклом, в черной раме: Фридрих Великий за круглым столом в среде своих сподвижников. По бокам «Фридриха Великого» висели картины — литографии в двенадцать красок, а основная краска — желто-золотистая. Вот поляна, тишина леса. Амурчики несут невесте подвенечное платье. А она... она лежит на кушетке, пышная, грудастая, и глаза у нее мечтательно устремлены вдаль — к нему, к жениху. Вторая картина: озеро, спадают в воду ветви деревьев, на берегу она — уже в подвенечном платье, подруги ведут ее к лодке. Третья: подруги сошли в воду, они тянут лодку, запряженную лебедем, на другой берег — к жениху, а она, невеста, разомлев от удовольствия, развалилась в лодке, как мартовская кошка. А вот она уже «мужняя жена»: комната, прибранная по стандарту, шикарно, на ковре играют сынишка и дочурка... и она, мать, — в ожидании прихода мужа. Да вон и он появился: стоит на пороге, протянул руки.

Заметя, что Татьяна внимательно рассматривает картины, хозяин сказал:

— Это великий путь женщины.

«Да, путь. Путь к бездумной рожальной машине», — подумала Татьяна, сдерживая горестный смех.

На ужин подали яичницу из порошка — стандарт, хлебец, завернутый в прозрачную бумажку с надписью, что заготовлен еще в тысяча девятьсот тридцать девятом году, затем колбасу и творог. Тут хозяин совсем разговорился. Он рассказал, какая фирма и за какую сумму в кредит доставила ему мебель, печку, картины, построила дом. Рассказывая обо всем этом, он, казалось, хвастался и радовался, однако в тоне его голоса слышалась затаенная грусть. Затем он сообщил о том, как в молодые годы работал на заводе Круппа и даже записался в партию социал-демократов.

— У нас был Карл Каутский. О-о-о! Помните? Теперь все говорят, что он оказался прохвостом. Но тогда... молодость. Я работал на заводе, по вечерам смотрел вот на такую же картину и думал: «А какую невесту привезет мне лебедь?» И он привез мне мою Амалию. Вы ее видели? Нет, она тогда была не такая, а как пирожок. И сказала мне: «Пауль, нам нужен свой дом. Пойдем в фирму «Штумма», и она нам построит в кредит дом». Фирма поставила нам дом. Я десять лет гнул горб за этот дом и за проценты, которые пришлось платить фирме. Потом Амалия подарила мне двух сыновей и сказала: «А теперь нам нужна мебель». И мы пошли в фирму «Маркграф», нам дали в кредит мебель. Я совсем забыл, что являюсь социал-демократом: ушел от Круппа и пахал землю. Потом сыновей моих забрали в армию... — он оглянулся и с тоской закончил: — Только не говорите Амалии... Мой старший сын недавно погиб под Орлом... Семнадцать посылок прислал, на восемнадцатой погиб.

И было непонятно, о посылках он горюет или о сыне.

Татьяна почти всю ночь не спала.

«Вот мы в Германии, и перед нами живой немец. «Семнадцать посылок прислал, на восемнадцатой погиб», — вспомнила она слова хозяина и то, как он произнес их, и его затаенную грусть.— Был рабочий. И мог бы остаться хорошим человеком. Какая дьявольская машина переломала его, заставила по-другому думать?»

Утром после кофе Татьяна долго совещалась с Васей, как рассчитаться с хозяином.

— Он ведь может обидеться, отказаться от платы, — шептала она. — Может, так: тихонько положим марки под скатерть и уедем...

Но они еще не успели прийти к определенному выводу, как вошел хозяин с бумагой и карандашом. Он сел за стол и пригласил Татьяну. А когда та присела, он начал писать: сначала стоимость яичницы из порошка, потом хлеба, потом колбасы, творога, кофе, затем с немецкой педантичностью принялся подсчитывать дальше. Две простыни. Их надо стирать? Амортизация. Два пододеяльника. Их надо стирать? Амортизация. Две наволочки. Их надо стирать? Амортизация. Казалось, на этом он и закончит. А он посмотрел на лампочку и записал, сколько сгорело электричества, сколько ушло воды на умывание. Все это он записывал ровными, аккуратными буквами, подолгу думал, и Татьяна нетерпеливо ждала, когда все это закончится, а он все писал и писал. Наконец посмотрел на часы, сказал:

— На составление счета, как видите, я потратил двадцать семь минут. Сегодня рабочий день: ни небо, ни ветер мне не уплатят. А деньги — это рабочее время, как я помню из Карла Каутского.

Деньги хозяину были выданы, но он не поднялся из-за стола. О чем-то думая, долго потрескивал новенькими марками. Татьяне показалось, он недоволен платой. Да ведь и они с Васей хотели положить под скатерть триста марок, Пауль со всей своей педантичностью насчитал только сто восемьдесят.

«Недоволен, конечно», — решила Татьяна и спросила: — О чем вы задумались?

Он встряхнулся, точно на него неожиданно высыпали корзину мякины.

— То, о чем думаю, — при мне.

— Почему не высказать? — донимала Татьяна, роясь в сумке, откладывая еще сто двадцать марок.

— Вашему жениху не понравятся мои думы... Впрочем, это пустяки... Так себе... бытовые явления, — торопливо закончил Пауль.

Татьяна незаметно мигнула Васе, и он, стремительно поднявшись, шагнул к двери, произнеся:

— Посмотрю, готова ли машина.

Когда он вышел, Татьяна несколько минут смотрела на пальцы своих рук, одновременно подыскивая слова, затем, сделав наивное лицо, обратилась к Паулю:

— Скажите мне про бытовые явления. Я художник, и мне это очень нужно.

— Мои «бытовые явления» не для художника, — отрезал Пауль.

Татьяна прикусила нижнюю губу, затем качнулась к хозяину и прошептала:

— Ну, как человеку, скажите.

Он склонился над столом и начал старательно, аккуратно скручивать и раскручивать бумагу-счет и потом еле слышно произнес:

— Я уверен, скоро кое-кому будет чирк, — и ногтем большого пальца провел по горлу.

«Кому «чирк»? Что за «чирк»?» — мысленно произнесла Татьяна и снова задала прямой вопрос, рискуя отпугнуть собеседника:

— А вы Адольфа любите?

Пауль уставился в окно, криво усмехаясь, ответил:

— Зачем его любить? Он не девушка...

Татьяна чуть не вскрикнула, сдержалась и уже серьезно спросила:

— А что народ говорит?

— Народ? Народ разный. Одних головой в ржавчину окунули — эти орут. А другие? Другие ныне говорят только глазами.

Он поглядел на нее. До этого его глаза походили на глаза овцы — тихие, смиренные, с постоянным испугом, тут они горели ненавистью и обвинением.

Татьяна отшатнулась даже.

— Вы на меня так смотрите?

— Нет. Дальше. Вы что? Вы невеста — еще не знаете жизни... и не знаете того, как иногда за шелковым полотном скрывается мокрица.

«Вот это и есть дипломатический язык народа», — решила Татьяна и, отблагодарив хозяина, вышла во

двор. А когда автомобиль выкатился на улицу, она, повернувшись к Васе, произнесла:

— Ну и ну!

Вася, поняв ее восклицание по-своему, энергично махнув рукой в сторону, произнес:

— Разве только Пауль такой? Почти вся Германия — Паули, кроме рабочих, конечно.

— Нет, Вася! Нет. Если бы столько было Паулей, это было бы прекрасно.

Вася и Петр Хропов удивленно посмотрели на нее.

— Удивляетесь? — продолжала она.—А знаете, что он мне сказал? «Я уверен, скоро кое-кому будет чирк» и ногтем провел по горлу. Потом еще сказал, что ныне честный народ говорит глазами...

Машина неслась на Штеттин.

По пути попадались села, города. И всюду у магазинов очереди. Завидя такую толпу, Татьяна просила Петра Хропова ехать медленней и внимательно всматривалась. И вдруг замечала, как в толпе то тут, то там, точно вспышки, загорались те самые глаза, какие были у Пауля в последний миг.

— Смотрите, Вася, люди с такими глазами — наши друзья.

— Вы, пожалуй, правы. Нет, вы правы, Татьяна Яковлевна, — подтвердил Вася.

— Да. Но они так зло смотрят на тебя, Василий Петрович, — вступился Петр Хропов.

— Положим, не на меня, а на мой военный костюм. Люди с такими глазами скоро заговорят пушками, — уверенно подчеркнул Вася.

8

Вот и Одер — могучая река...

Ни Татьяна, ни Вася, ни тем более Петр Хропов — никто из них не думал, не предполагал, что здесь вскоре разыграются крупнейшие сражения. Сейчас казалось все мирным: река спокойна и величава, местами всплескивается рыба, оставляя на воде круги, плавают тени от облаков. А вон справа высится железнодорожный мост. Цементные быки упрямо легли

на дно, и, кажется, легли навечно. Ну разве можно поверить, что вскоре этот мост будет взорван и быки его, как расколотые головки сахара, разлетятся во все стороны? Разве можно подумать, что здесь пройдет война? Огнем и мечом она разрушит все это, построенное навечно. Разрушит дома-особняки, выглядывающие из зелени садов, разрушит заводские трубы, увитые плющом.

А сейчас?.. Сейчас все казалось созданным навечно.

— Чорта с два их тут достанешь: сплошной цемент, — с сожалением проговорил Петр Хропов, переезжая мост, выскакивая на ту сторону Одера. — Асфальт на дороге — и то, смотрите: на тысячу лет.

— Достанем, Петр Иванович. Непременно достанем... — сказал Вася, тоже удивляясь крепости и вечности построек.

Вдали показался мрачный Штеттин.

А тут, по правую и левую сторону шоссе, в зелени садиков, замелькали крохотные домики вроде курятников. Они — большинство из фанеры — буквально лепились друг к другу.

— Ага! — воскликнул Вася. — Видите, Петр Иванович, ведь немцы сюда от бомбежек сбежали. Значит, достают их в Штеттине.

За домиками-курятниками потянулся рабочий поселок: дома-стандарты, похожие на бараки. Миновав его, Петр Хропов, придержав машину, спросил:

— Граждане! Куда дальше? Смотрите-ка, какой городище перед нами. — Не успел он закончить фразу, как машина уже вышла на улицу Штеттина.

И это скоро будет разрушено и уничтожено: черные дома-особняки, многоэтажные здания, отштукатуренные под вафлю, увитые диким виноградником, палисадники, каштаны вдоль тротуаров, птицы—дрозды, скворцы, прыгающие под ногами прохожих, толстощеких немцев и немок.

— Давайте скорее к этому... к Бауэру. А то что-то страшно мне на таких улицах, — торопливо проговорила Татьяна, глядя на Васю.

— Сейчас, — ответил тот и, выпрыгнув из машины, подошел к полицейскому.

Полицейский, посмотрев на адрес письма, подтянувшись, сказал:

— Бауэр? Профессор? О-о-о! Знаменитый химик, гордость нашего города, — и охотно растолковал, как следует проехать.

Улица, где жил профессор, вся утопала в тени каштанов и лип. И казалось, тут живут не люди, а птицы: они прыгали по дороге, по тротуарам, по железным воротам, заборам и, усыпав деревья, пели и трещали на все голоса.

— Сколько пташек-то развели! — проговорил Петр Хропов и круто остановил машину у особняка, глубоко запрятанного во дворе.

На калитке, под стеклом в рамочке, выдавлено: «Профессор Отто Бауэр».

— Ну вот вы и прикатили, — сказал Вася, вытаскивая из машины два чемодана.

— Как я? А вы?

— Мы будем у вас через пять дней, приблизительно в эти же часы. Не тревожьтесь: вот вам письмо от Пшебышевского к Бауэру. — Вася позвонил, и когда появилась горничная, он, простившись с Татьяной, сел в машину.

Татьяна некоторое время с грустью смотрела на убегающую машину, которая тонула в тени деревьев, и поэтому казалось, что она уносится в ночь.

— Мне нужен господин профессор, — заговорила Татьяна, обращаясь к девушке.

— Господина профессора? Господина профессора? — неопределенно повторила та и, чуть искоса посмотрев на Татьяну, повела ее во двор, помогая нести чемоданы. Затем она ввела Татьяну в комнату-приемную, сказала: — Присядьте. Я сию минуту, — куда-то ушла, но вскоре вернулась. — Да. Профессор дома. Но отдыхает. Я прошу вас, подождите здесь.

Комната-приемная была обставлена жесткой мебелью, а на стене висела все та же назойливая картина — Фридрих Великий за круглым столом в среде своих сподвижников. Были тут и новые картины — в несколько красок, явно написанные для пропаганды. Вот дом под соломой, огромные просторы, человек

в длинной рубашке, с посохом, гонит овечек. Это, видимо, изображена Украина: просторы, изба под соломенной крышей, колодец-журавель и первобытный человек-пастух. Разве такую страну трудно завоевать?

— Украинка, — произнесла горничная так, как будто перед ней лежал жареный поросенок. — А это белоруска, — добавила она, все так же облизывая губы, показывая на вторую картину, где был изображен омут. Красивая женщина в национальном платье черпает воду, дальше тянется опушка леса, а возле опушки — хатки.

«Ишь ты, какими нас изображают», — подумала Татьяна и намеревалась было рассмотреть третью картину, как в комнату вошла хозяйка, довольно пожилая женщина, но вся подобранная: у нее на ногах так натянуты чулки, что кажется — вот-вот лопнут, серенький халатик тоже в обтяжку, домашние туфли на высоком каблуке настолько малы, что пятки свисают. Гладко причесанные волосы тоже в обтяжку, как в обтяжку и подобранные морщины на лице.

— Вы родственница профессора Пшебышевского? — заговорила она нежно, жеманно, вертя в руке распечатанное письмо. — Очень, очень мило с вашей стороны, что вы заглянули к нам. Мы очень близко знакомы с профессором Пшебышевским, — и провела Татьяну в отдельную комнату. — Прошу вас, чувствуйте себя просто. Мы были знакомы с профессором еще до этого... до войны. Ах, какое было чудесное время! Мы гостили у профессора в Кракове. Тогда можно было гостить, а теперь... — она махнула рукой в потолок. — Что-то страшное летит оттуда: бомбят. Нас бомбят! Да. Да. Вот тут, в Штеттине. Так прошу, — хозяйка позвала горничную, приказала, чтобы та приготовила ванну, и, раскрыв окно, добавила: — Тут морем пахнет. А вы где живете? Ну, конечно, в Кракове?

— Нет. Я сбежала из России.

У жены Бауэра звуки «да» и «ай» слились в одно.

— Да-ай! — воскликнула она и, пятясь, выставив

вперед руки, как будто на нее ползло что-то страшное, покинула комнату.

«Напрасно я этой курице сказала, что бежала из России», — спохватилась Татьяна и присела у окна. Так она просидела минут десять, потом вошла горничная и предложила ей ванну, а Татьяна подумала: «Может, мне не ванну принять, а выпрыгнуть в окно и удрать отсюда. Ведь та штучка, наверное, уже позвонила в гестапо. Ну, нет. Останусь. Глупости!» — и, открыв чемодан, достала халат, чистое белье, взяла широкое полотенце и направилась следом за горничной.

Ванная занимала гораздо бóльшую комнату, чем та, которую отвели Татьяне. Стены до половины облицованы голубоватыми плитками кафеля, ванна кипенно-белая, рядом столик, а над столиком зеркало. Было здесь чисто, светло и уютно.

«Как они живут! Сколько награбили!» — с досадой подумала Татьяна и на предложение горничной помочь ей раздеться ответила:

— Нет. Благодарю! Я сама, — и тут же вспомнила, что надо меньше благодарить, часто благодарят за услуги только французы, а немцы скупы на это слово, и сказала более резко: — Нет! Я сама.

Горничная вышла.

Татьяна разделась и посмотрела в зеркало. Там виднелись плечи, чуть покатые, уже загоревшие в дороге. Она нагнулась и увидела свое лицо. Оно тоже было в легком загаре. Вдруг ее губы открылись, оголяя белые крупные зубы, ноздри расширились, и она, озорно тряхнув головой, прошептала:

— Вот где я нахожусь, Коля!

9

За дверью комнаты послышались шаги, затем добродушный хохоток и полувизг, потом кто-то постучал, и на пороге показался профессор Бауэр, таща за руку свою жену Маргариту. Та со страхом топталась на месте, а Бауэр, похохатывая, вскрикивал:

— Она... она боится русских: так настроил ее Геббельс. О-о-о! Геббельс умеет влиять на женщин. Дорогая моя женушка, ну смотри: наша гостья — даже очень красивая и не кусается и не царапается, — он отступил на несколько шагов и, подталкивая в спину жену, подвел ее к Татьяне. — Прошу, — сказал он непонятно для чего.

У Бауэра маленький ротик, маленький носик, маленькие глазки, а лицо широкое, круглое, к тому же лысина во всю голову и только около ушей торчат клочки седоватых волос. Вот он снова начал похохатывать, затем, подхватив под руки Татьяну и свою жену, поволок их в столовую, все так же выкрикивая:

— Прошу! Прошу! Прошу!

Стол был уже накрыт. Он разительно отличался от стола Станислава Пшебышевского. Тут тоже стояли хрустальные рюмки и бокалы, сервиз из саксонского фарфора, лежали разные ножи и вилки, но, кроме того, посредине стола красовались свиная копченая ножища, огромная головка сыра, горка куриных отбивных, рыба, свежие помидоры, огурцы, несколько бутылок вина и рома.

— Прошу! Прошу! Прошу! Ужин у нас — только холодная закуска. Таков мой обычай... и я его ни для кого не меняю. Впрочем, если вы хотите русских щей, вам сейчас же приготовят.

— Не-е-ет! — воскликнула Татьяна. — Я поражена и таким столом. Я даже не знаю, с чего начать.

— Начинайте с того, что на вас смотрит. На меня, например, смотрит вот эта ножка, — и, достав куриную ножку, он, мурлыча, как кот, начал ее с треском рвать, причмокивая, то и дело облизывая губы.

«Ну-ну, и аппетит у этого химика», — подумала Татьяна и тоже потянулась к куриной ножке, хотя ей очень хотелось достать свежий, красный и надутый помидор.

— Прошу! Прошу! Прошу! — непонятно зачем выкрикивал Бауэр.

В течение двух-трех минут он убрал куриную ножку, потянулся было за второй, но рука Маргариты легла на его плечо.

— Полно, Отто, — жеманно пропищала она. — Опять большевиков увидишь.

— Что-о-о! Большевиков? Ну, нет! — и он обратился к Татьяне: — Я иногда во сне вижу большевиков. Это, знаете ли, страшно. Но я теперь, как только они появляются, сам себя бужу. И знаете ли...

Чтобы отвести разговор от большевиков, Татьяна, перебивая Бауэра, произнесла:

— Профессор Пшебышевский шлет вам привет... и особенно пани Лиза.

— Прошу! Прошу! Прошу! — проговорил Бауэр и, отпив из бокала вина, положил на стол руки, которым, очевидно, очень хотелось действовать. — Прошу, — еще раз проговорил он, затем нагнулся, словно намеревался боднуть, сказал: — Он умный, профессор Пшебышевский. Очень. Но у него предрассудки. Предрассудки губят человечество. Если наши далекие предки имели обычай: умирает знатный, с ним вместе кладут в могилу его жену, коней и все, что нужно, — мы говорим — предрассудки. Или, к примеру, мы с вами кушаем свинину и сыты, а магометане не кушают свинину, у них первое блюдо — конь. Говорим — предрассудки.

— О-о-о! Это очень интересно, профессор, — польстила Татьяна, думая: «У этого какая-то своя теория. Только не пойму, к чему это он... и что ему по химии передал Пшебышевский? Во всяком случае, что-то важное, иначе он не принял бы меня так любезно».

А Бауэр, обрадованный вниманием, продолжал уже более возвышенно:

— Наши предки — дикие предки — кушали человека и были сыты.

Татьяна поперхнулась

— Мы говорим, нельзя. Почему? — продолжал профессор. — Почему, я спрашиваю вас? С точки зрения химии в этом нет греха. Зараза? Но она может быть и от овечки, от коровы и даже вот от этой курицы и помидора. Строение человеческой ткани почти такое же, как и у любого животного. Разные клетки, нервы, другая кровь. Но это все пустяки. Предрассудки. Предрассудки губят человечество. Представьте

себе, сколько на земном шаре ежегодно умирает людей... и все это или сжигается, или закапывается в землю. Сколько пропадает кожи, мяса, жиру! Маргарита, дай твою сумочку.

Маргарита выпорхнула из-за стола и вскоре принесла изящную дамскую сумочку. Бауэр подал ее Татьяне и, смеясь, захлебываясь, сказал:

— Отгадайте, какой материал?

Татьяна с женским любопытством начала рассматривать сумочку: потрогала скрипучую, как шелк, кожу, открыла замочек, заглянула внутрь и, пожав плечами, ответила:

— Я ведь не специалист. Но сумочка мне очень нравится.

— Это кожа большевика! — торжественно и победоносно возвестил Бауэр.

Сумочка выпала из рук Татьяны на колени.

«Он меня испытывает, этот химик», — подумала она и быстро подхватила сумочку, снова начала любоваться ею, одновременно чувствуя, как вся дрожит, но, заглушив в себе дрожь, повернулась к Бауэру, глянула на него восхищенными глазами, говоря:

— Это у вас новая и свежая теория. Свежая. Очень талантливая. В самом деле: сколько погибает мяса, жиру, кожи! Но я вам не верю. Вы шутите, что эта сумочка... — и она не смогла выговорить, — что сумочка из кожи человека.

Бауэр, уже раскрасневшийся, выбрался из-за стола и, дотрагиваясь до розового висячего абажура, воскликнул:

— Он тоже из кожи человека! — Затем сбегал в соседнюю комнату, принес оттуда пару дамских перчаток. Кинув их на стол, торжественно возвестил: — Это изящно! Это мило! Это прекрасно!

«Какой ужас! Какой цинизм!» — мелькнуло у Татьяны, но она продолжала все так же восхищенно смотреть на Бауэра, по-женски игриво произнося:

— Но я не верю! Не верю! И не поверю, пока вы мне не покажете, как все это делается.

Бауэр смолк, нахмурился, затем достал письмо Пшебышевского, принялся читать его, то и дело через

листки посматривая на Татьяну, под конец улыбнулся, сказал:

— Хорошо. Сегодня я отправляюсь под Кенигсберг. Поедемте. И ты, Маргарита. Кстати, сегодня Штеттин будут бомбить — это мне известно... и никакие убежища не спасут. Так уж лучше ночь быть в дороге.

Маргарита запыхтела, посмотрела на вещи в столовой, как смотрит голодная корова на свежий клок сена, а Татьяна сказала:

— Но я не могу долго. Через пять дней приедет мой жених.

— О-о! У вас свадьба? И кто он, счастливый рыцарь?

— Немец. Офицер.

— Хорошо. Да. Но я должен позвонить своему заместителю. — Бауэр убежал в соседнюю комнату и через несколько минут вышел оттуда совершенно белый.

Жена кинулась к нему, говоря:

— Я ведь тебе сказала, не кушай так много.

— «Не кушай»? — как в бреду переспросил он и растерянно пробормотал: — Орел! Орел! Фьють!

«А-а-а! — воскликнула про себя Татьяна. — Орел наш!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Пятого августа тысяча девятьсот сорок третьего года у врага был вырван Орел; одновременно Красная Армия нанесла фашистам жесточайший удар под Белгородом, Харьковом, Сумами, и гитлеровские войска, оставляя на поле брани десятки тысяч убитых, сожженные, изуродованные танки, пушки, долговременную, созданную в течение восемнадцати месяцев оборону, растрепанные и поверженные, хлынули на «эластичную линию» — за Днепр.

По всей Германии прошла судорожная дрожь...

А в Москве в этот день прогремел первый салют в честь дивизий, которые овладели Орлом. В час салюта на фабриках по всей необъятной стране люди, выслушав по радио приказ, грохот орудий, сказали:

— Теперь еще крепче нажимай на работу.

В этот день из миллионов уст вырвалось:

— Добить фашистского зверя в его логове — Берлине!

К часу салюта спешил в Орел и Анатолий Васильевич Горбунов. Он уже знал, что сегодня на рассвете Пятая дивизия, входящая в его армию, первой ворвалась в Орел и командир дивизии генерал Михеев по праву занял пост коменданта города. Знал Анатолий Васильевич и другое: что Пятая дивизия награждена орденом Красного Знамени и ей присвоено название «Орловская».

«Хорошо звучит: «Пятая Краснознаменная Орловская дивизия», — подумал он и решил к часу салюта быть у Михеева, поздравить его вместе с товарищами, затем всех «подвинтить», предполагая и не ошибаясь, конечно, в том, что после столь блестящей победы Михеев, все его подчиненные, да и бойцы «малость развинтились». Но по пути в город он задержался у артиллеристов, потом у танкистов, затем у летчиков, и поэтому салют пришлось выслушать в блиндаже командира полка.

«Э-э-э! Становлюсь неточен: своему приказу не подчиняюсь. Тоже, стало быть, развинтился», — упрекнул он себя и отправился к Михееву. Но пока он разговаривал с летчиками, танкистами, артиллеристами, пока выслушивал приказ и салют, еще был бодр, но как только сел в машину рядом с адъютантом Галушко, так сразу сон начал его ломать.

— Говори чего-нибудь! Говори! — выкрикнул он, обращаясь к Галушко. — Спю, — не выговорив «сплю», добавил командарм.

Но Галушко самого ломал сон. Вцепясь в баранку руля так, будто намеревался ее вырвать и закинуть прочь, он ответил:

— Товарищ генерал... язык, — и не смог произнести: «язык не ворочается».

Михеев, окруженный товарищами по дивизии — полковниками, подполковниками, майорами, капитанами и лейтенантами, — сидел за столом в обширном зале комендантского управления. Звание генерала он получил по пути к Орлу. Дивизионный портной сегодня торжественно вручил ему китель. Михеев побрил лицо, голову, оделся и, посмотрев в зеркало, светясь новым кителем, новыми золочеными погонами, бритой головой и улыбкой, сказал:

— Как огурчик.

Внутренне он, конечно, был рад, что получил звание генерала.

Салют в Москве давным-давно отгремел. Давным-давно прозвучали слова из приказа, больше других запавшие в сердце Михеева: «Дивизия под командованием генерала Михеева первой ворвалась в Орел», — а они все еще сидели за столом. Сидели и молчали: устали, измотались, и, выпив, каждый унесся к своим родным местам, к своему любимому труду.

Вдруг дверь отворилась, и на пороге появился Галушко. Он был в измазанной, местами порванной гимнастерке, в давно не чищенных сапогах, чего с ним никогда не случалось, лицо вялое, а под глазами синяки. Войдя, хриповато отрапортовал:

— Командующий армией генерал-полковник Горбунов.

Все вскочили, враз ударили каблуками, а Михеев подумал: «Ага! Нашему командарму дали генерал-полковника».

Тут же, видимо намеренно по-старчески кряхтя и вздыхая, в комнату вошел Анатолий Васильевич. Михеев расширенными глазами, готовый на любое задание, уставился на командарма, видя, как морщинки на его губах резко изломались и весь он, казалось, «нетутошный». Но вот глаза вспыхнули, заискрились, губы распялились в улыбке, и Анатолий Васильевич попросту, тоненьким голоском выкрикнул:

— Здравствуйте, товарищи! С присвоением звания дивизии. «Пятая орденоносная Орловская». Это гордо звучит!

Люди, стоявшие за столом, прокричали командарму ответное поздравление, а он, от усталости забыв сказать: «Садитесь, товарищи», опустился на диван и тихонечко запел любимый старинный полковой марш.

Михеев, как и все, стоял навытяжку, недоуменно посматривая на командарма. Тот несколько секунд не шевелился, как человек в глубоком сне. Затем встряхнулся, провел руками по коленям.

— Ах, да! Садитесь, товарищи! — Все сели. — Так вот, празднуем, значит, мы и вся страна. Да, празднуем. Это третий этап. Первый под Москвой, второй под Сталинградом, а теперь третий — сокрушительный. Хребет врагу надломлен! — вскрикнул он и, поднявшись, заходил из угла в угол, склоняя голову то на одно, то на другое плечо, крепко сцепив на подтянутом животе руки. — Да-а. Я понимаю вас, товарищи, почему вы собрались здесь... и за таким пышным столом, — он смеющимся глазом посмотрел на грубо открытые и расставленные как попало консервные банки, на «измочаленный» хлеб, на разнообразные рюмки, жестяные кружки и снова подчеркнул: — Понимаю, почему вы собрались за столь роскошным столом. Выпить? Что ж, заработали. Можно и выпить. Имеете право. Послушать салют? Правильно. Однако враг бежит, и его надо бить. Верно, ваша дивизия пару дней отдохнет, подтянется. Но ее надо подтянуть. Кто это будет делать? Вы. Приготовить дивизию к бою — это гораздо труднее, чем накрыть стол, — с усмешкой закончил он.

— Слушаемся, товарищ командарм, — вскочив, ответил Михеев и сердито подмигнул, чуть не крича своему повару Егору Ивановичу: «Куда ты лезешь?»

Но тот по-иному понял своего генерала и, выйдя на середину комнаты, огромный, взлохмаченный и подвыпивший, держа поднос, на котором стояла рюмка с водкой, обращаясь к Анатолию Васильевичу, проревел:

— С победой вас, товарищ командарм!

— Истукан! Ну просто истукан! — с гневом прошипел Михеев, зная, что Анатолий Васильевич не пьет и весьма строг по этой части. А Егор Иванович дополнительно рявкнул:

— За Пятую орденоносную Орловскую дивизию, товарищ командарм!

Все притихли, опустили глаза, не зная, куда деться, ожидая, что сейчас командарм отругает их вместе с этим великаном. Но Анатолий Васильевич внимательно посмотрел на Егора Ивановича, особенно на его руки невероятной величины, затем взял рюмку с подноса, вскинул над собой и проговорил:

— За ваше здоровье, товарищи!

У людей вырвался облегченный вздох, как будто их несколько минут держали под водой, а командарм добавил:

— Но выпью только в Берлине, — и вернул рюмку разочарованному Егору Ивановичу. — Ах да, да! А где же наш гражданский генерал? — спросил он, вспомнив о Николае Кораблеве, который перед боем за Орел гостил в армии, а во время боя находился в дивизии Михеева. — Говорят, генерал, он в атаку ходил? Воин!

— Точно, товарищ командарм. Я его оставил на КП в блиндаже, сказал: «Сиди — коней пришлю». А он в атаку, — ответил Михеев, с тревогой думая: «А куда же он запропал? Совсем я забыл о нем».

— Так где же он?

Михеев растерянно пожал плечами, а в дверь снова втиснулся Егор Иванович и доложил:

— Они, то есть Николай Степанович Кораблев со своим дружком Ермолаем Агаповым — помните, товарищ командарм, баней у нас заведовал, — утрось отправились в село Ливны.

— Как в Ливны? Ведь Ливны еще по ту сторону? Кто разрешил? — и Анатолий Васильевич сердито уставился на Михеева.

Михеев нахмурился, подумал: «Ох, уж эти мне гости!» и произнес:

— Он мне, товарищ командарм, ничего не сказал. Был у меня рядовой Сиволобов, с которым Николай Степанович и ходил в атаку. Ну, тот отпросился на три дня по случаю того, что получил Героя Советского Союза. А Кораблев не был.

— С Ермолаем он отправился. А с ними и Сиво-

лобов Петр Макарович, — хвастаясь тем, что все знает, прогремел Егор Иванович.

В комнате наступила суровая, предостерегающая тишина.

Анатолий Васильевич некоторое время задумчиво напевал старинный полковой марш, затем произнес:

— За большими делами мы забыли о маленьких. А оно, маленькое дело, когда его отделишь от большого, вдруг вырастет с гору. Ведь он не просто наш гость, а директор крупнейшего завода. Представьте, попадет в руки гестаповцев. Да, да, да! Надо немедленно связаться с генералом Громадиным. Он сейчас по ту сторону. Работы у него, конечно, очень много. Очень: бьет бегущего врага. Но... связаться и попросить выслать кого-нибудь на розыски Николая Степановича.

2

Яня Резанов, посланный генералом Громадиным на поиски Николая Кораблева, отправился на первоначальное место — в Орел — и отсюда, кое о чем разузнав, — в село Ливны. На этот раз ему линию фронта перейти было легко: немцы панически бежали, оставляя разрозненные пикеты, но и эти в страхе кучились, тоже собираясь бежать.

Мастерски обойдя пикетчиков, Яня вскоре очутился на пригорке и отсюда увидел, что села-то, собственно, нет: все сожжено и покрыто коркой пепла, дворы заросли крапивой, высокой полынью. Он, охнув, пошел по дороге, ведущей к центру, и тут натолкнулся на три следа. Два — подошвы солдатских сапог, вдавленные в ил, и третий — особенный: одна нога в солдатском сапоге, другая — деревянная клюка.

«Они. Три друга», — обрадовался Яня и двинулся дальше.

Следы привели к почерневшей виселице и к скелету человека, развалившемуся от времени. Здесь люди склонялись над скелетом: видно, как клюка чиркнула по земле. А дальше... Дальше дырки от клюки повели в сторону, а следы от солдатских сапог пропали.

«Куда же они делись? Что ж, будем искать», —

решил Яня и в этот миг услышал, как кто-то с завыванием, с надрывом запел. Казалось, человек пел и плакал. И Яня тронулся на плач-песню. Через несколько метров, раздвигая высокую полынь, увидел, как из небольшой ямы мелькают черные вспышки выбрасываемой земли. От этих вспышек ему стало страшно, словно он в глухом овраге натолкнулся на умирающего ребенка.

— Кто живой тут? Эй! — с дрожью в голосе окликнул он.

Из ямы показалась лохматая голова, лицо, заросшее бородой, с провалами на щеках и большими горящими глазами.

— Я тут живой, как видишь, — ответил человек, осматривая Яню воспаленными глазами. — Я, Ермолай Агапов. Сызнова жизнь начинаю. И ты, вижу, моей породы. Давай обосновывайся.

— Нет. Мне еще время не вышло, — со скрытой завистью проговорил Яня и подошел к Ермолаю, заглядывая в свежевырытую яму, видя там пестренькую курочку, всю в грязненьких ленточках. — Эх, живность около тебя?

— Да-а. Спаслась, — с радостью сообщил Ермолай. — Только лопаткой землю копнул, как она из полыни ко мне, и голосок: «Ке-ке-ке». Ишь, уцелела. Одна единственная в селе. А другая поганая живность развелась — крысы. Боюсь: спать лягу — сожрут.

— Крысы живого человека не сожрут. Хуже крыс на земле существа есть — их бойся. Как они тебя не зацапали?

— Немцы-то? Видал. Подошли к селу, да, видно, перепугались: пожарища мертвая. Ведь такое село во сне приснится, и то с ума спятишь, — со стоном закончил Ермолай и снова принялся копать, осторожно обходя лопатой курочку.

— Ты вот что, оставь на время строительство свое, — попросил Яня. — Скажи: не один ведь в село-то пришел? Видал я три следа. Куда двое делись? Командарм товарищ Горбунов меня в поиски послал.

— Знаю его. Знаю! — оживленно воскликнул Ермолай: — В бане у меня мылся.

— Ну, тогда помогай мне. Где двое-то?

— Мои дружки? Ушли, брат, сначала вон на ту гору. Вон лес-то. А потом я видел: немцы двигались туда, а дружки мои кинулись в сторону... из автоматов палили. И с тех пор не знаю.

— За твою откровенность я тебе радостную весть сообщу, — чуть погодя сказал Яня.

— Скажи. Только не знаю, какая радость перешибет мою хворь. Иногда сердце так ноет, что думаешь, такая боль быка бы свалила. Нет. Видишь, копаю.

— Вот что: из села этого люди к нам, к партизанам, еще в прошлом году сбежали. Село подожгли, и все подались к нам.

— Ну-у? Значит, и жена моя и дочка? И отец, поди-ка, жив? Крепкий старик — дуб!

Яня Резанов знал: отец Ермолая, тоже Ермолай Агапов, погиб от руки карателя Ганса Коха, потом Ганс Кох был убит Татьяной Половцевой, Савелий Раков, друг Ермолая Агапова, собрал немцев к себе в хату, припер двери, окна и поджег, дочку Ермолая Ганс Кох пристрелил, жена Ермолая сошла с ума и погибла во время перехода в Брянские леса. Очень много знал Яня и потому даже сотой доли не мог сказать. Он долго думал, не отрывая взгляда от воспаленных глаз Ермолая, затем произнес:

— Жди! Жизнь сюда вернется. А я пойду. Сам был воином, знаешь: приказ надо безотлагательно выполнять, — и тронулся через заросли сорняков на гору, указанную Ермолаем.

Отойдя метров двести от пепелища, Яня на пригорке остановился. Внизу перед ним лежало мертвое село, и только в одном месте мелькали вспышки земли. Оттуда неслось завывающее пение Ермолая.

— Живуч русский человек: никакая сила его не сломит. Вот выроет землянку, потом хату построит, детей народит и жизнь продолжать будет. А те? Поглядим, как жить будут, когда бока наломаем, — и он нарастяжку, будто перед слушателями, проговорил: — И-и-и у нас были буржуи всех мастей. Бока наломали им, теперь погибают в ветхости.

Яня любил в одиночку поговорить. При народе он

стеснялся: бурчал. А когда оставался один, особенно на просторах природы, произносил длинные, зажигательные, идущие от всего сердца речи. И теперь, взволнованный видом села, деятельностью Ермолая, он произнес с пригорка длинную речь, то и дело потрясая кулаком. Закончив, представляя себе, какой гром аплодисментов понесся от слушателей, он тронулся выше и вскоре увидел пенечек, а около него примятую траву. По всему было ясно, что один человек полулежал, а другой сидел на пенечке, помяв прикладом автомата около себя траву. Яня опустился на пенечек и стал рассуждать:

— Значит, человек сидел вот так. Откуда появились фрицы? Стрельба была? Была, — он поднялся и пошел в ту сторону, откуда, по его мнению, наступали немцы. И вскоре заметил царапины от пуль на стволах деревьев. Царапины повели его в глубь леса, метров через двести царапины пропали, но виднелись следы на траве — значит, люди бежали. Вот следы рассыпались, один человек кинулся вправо, другой — влево, и снова сошлись уже на поляне.

...Только к вечеру Яня натолкнулся на стог сена, издали увидав, что тот как-то с одной стороны припух.

«Будто рожать собирается», — мелькнуло у него, и он, покачав головой, произнес:

— Чудаки. Разве так прячутся? Надо на макушку, а они сбоку, — и закричал: — Друзьяки! Эй!

Бок стога зашевелился, и из сена вынырнули два автомата.

— Друзьяки! — еще громче закричал Яня. — Я ведь могу по вас границей шарахнуть.

3

Они долго сидели у стога, измученные, голодные. Николай Кораблев полулежал, вытянув крупные ноги. За время боев, особенно за эти дни, скрываясь от немцев, он похудел: глаза у него ввалились, лицо обросло колючей бородой, кудлатые волосы на голове свалялись, и, как ни приводил он их в порядок, они все

равно топорщились, непослушно падали на высокий лоб, а седой клок жил будто самостоятельно: вздыбился.

— С рождения, что ль, он такой непослушный? — спросил Яня.

— Нет. Это меня недавно кто-то на заводе, видимо, молотком ударил.

Сиволобов тоже оброс бородой: он больше месяца не брился, и теперь борода у него курчавилась, завиваясь ивернями, как у породистой лошади на шее.

Но все таким же, неизменным был Яня: тощие ноги в посконных штанах болтались, как палки; длинные руки, когда он шел, касались почти колен, но глаза спокойные, вдумчивые. Он все время выбирал из сена стебельки и пережевывал, говоря:

— Борща бы теперь... лесного... Знаете, трава такая есть?

Вскоре настала ночь.

Со стороны Орла открылся шквальный огонь артиллерии: доносился непрестанный гул, а небо раз вспыхнуло и не угасало, только вздрагивало, как бы на что-то злясь.

— Лупят, — нарушая молчание, проговорил Яня поправляя на ноге разбитый лапоть. — И туда теперь нам ходу нет: свои огнем накроют. А кроме того, Николай Степанович, велено вас доставить к генералу Громадину... по ту сторону Днепра.

— Ну вот еще! — недоуменно воскликнул тот. — У меня отпуск кончается, и мне надо на завод, а не за Днепр. Давайте-ка в Орел, — даже сердито закончил он.

— Дите в военных делах, — любовно произнес Сиволобов. — Обучается еще только. Разве через такой огонь пройдешь? — и тут же спохватился. — Впрочем, по фашистам бил ловко. Пожалуй, ловчее меня. А бегает? Ах!

— Да ведь и мы с тобой не с младенчества делу такому обучены, — возразил Яня. — Постигнет эту премудрость и Николай Степанович.

— А вы что ж? — спросил его Николай Кораб-

лев. — За Днепром-то были, что ль? Ведь я вас недавно видел среди партизан, у Орла.

— Я такой: то тут, то там.

— Помните, вы мне говорили, что жива Татьяна Яковлевна. Была в Ливнах. Видали, что там?

— Пустынь. Да это Татьяны Яковлевны не касается. Эх, кишки в клубок свернулись: есть хочется,— Яня намеренно перевел разговор и посмотрел в сторону, где еще засветло он видел деревушку. — Петр Макарович, не махнуть ли нам туда?

— Пойдем. Чего-ничего достанем, — согласился Сиволобов.

— Пойдем за Днепр.

— Пешком? — спросил Николай Кораблев, собираясь снова задать вопрос о Татьяне.

— На своем двоем, ясно, понятно, — чему-то радуясь, ответил Яня. — А там, глядишь, и Татьяну Яковлевну увидите.

— То есть как? — и Николай Кораблев почувствовал, как сердце забилось: оно стучало всюду — в висках, в жилках на шее.

— А так. Жива она, — ответил Яня и шагнул во тьму следом за Сиволобовым. — На стог заберитесь, — добавил он из тьмы.

Николай Кораблев, прихватив автомат, забрался на стог и лег на спину.

Небо дрожало, переливаясь огнями, словно отражая то, что творилось на земле.

Он долго смотрел на необычайное небо и думал о войне, о том, как шел бой за Орел, как он сам, Николай Кораблев, вместе с Сиволобовым под артиллерийским обстрелом переходил болото, как вчера отстреливался от немцев, бежал, скрывался, полз и вот очутился здесь — на стоге сена.

— Нет. Я уже не дите, — прошептал он, и вдруг страшная мысль потрясла его: «А почему она там, за Днепром, Татьяна? А Виктор где? Где мать? Надо расспросить Якова Ивановича. Немедленно!» — и, захватив автомат, стал спускаться со стога, намереваясь отправиться в деревушку, но в эту минуту заслышал тихие голоса: из тьмы вынырнули Сиволобов и Яня.

Николай Кораблев задержался на стоге, прислушался. Те что-то положили на сено и оба мурлычут, как котята, затем Яня, сунув ему кусок хлеба, сказал:

— Эх, вкусен хлеб натощак, Николай Степанович! Мед — не мед, а чего-то еще слаще.

— Хватятся, а мешка-то с хлебом нет, — пережевывая, смачно чавкая, добавил Сиволобов. — Сидят перед своими фраушками и ревут.

— Кто это? — спросил Николай Кораблев, тоже со вкусом поедая хлеб, обдумывая, как спросить Яню о Татьяне, Викторе и матери.

— Немцы. Два. Сидят в хате, фонарик зажгли, карточки, видно своих жен, перед собой поставили и ревут.

— Шоферы?

— Да.

— Тогда зачем же нам пешком, когда под боком машина? Заберем машину, — и он спустился со стога.

— А кто управлять будет? Ведь машина не лошадь, — возразил Яня.

— Я.

Они долго молчали, пережевывая хлеб, очевидно обдумывая предложение Николая Кораблева, а тот через некоторое время снова спросил:

— Много ли там немцев?

— Да нет, — раздумчиво ответил Яня. — Серединка села выжжена. На краю несколько хат. Переночевать заехали.

Тогда Николай Кораблев нажал:

— Товарищи! Гитлеровцы бегут к Днепру: там они хотят создать оборону. Мы на машине бежим вместе. Я умею водить машину, знаю немецкий язык.

— А с нами как? — подозрительно кинул Сиволобов.

Николай Кораблев, подумав, сказал:

— О вас, если кто спросит, скажу — везу в гестапо... ну в Рогачев, что ль, или в Бобруйск.

Сиволобов, отломив новый кусок хлеба, скорбно произнес:

— Я в этом деле дите. Предаюсь в ваши руки.

Драться с врагом — умею. А чего не умею, того не умею.

После этого Яня сказал:

— А все трое не попадемся в лапы? Впрочем, попасть везде можно: я недавно так влопался, ай-ай! Одной ногой в могилке стоял. Эх! — чуть спустя воскликнул он. — Найти бы одежу вам генеральскую! Вы генерал, а мы ваша охрана. Вот бы! Кто попадется, руки только вверх и крик: «Хой Гитлер!»

— Не хой, а хайль, — поправил Николай Кораблев.

— Оно, хой-то, лучше, Николай Степанович.

— Так и есть, как ни верти это слово, — подтвердил Сиволобов, и они засмеялись.

— Только как бы ловушку себе не устроить, — опять усомнился Яня. — Я ведь мастер на своем двоем.

— Пока ловушки-то нет, а машина есть. Грузовая? Еще лучше.

— Эх, рисковать так рисковать! Наелись? — И Яня, вскинув мешок с остатками хлеба на спину, шагнул от стога, за ним, держа наготове автоматы, тронулись Николай Кораблев и Сиволобов.

Вскоре из тьмы показались очертания хат. В крайней хате тускнел огонек. Николай Кораблев, Сиволобов и Яня подошли к окну, заглянули: за столом сидят два немца и ревут перед карточками.

— Сколько время слезы льют! Мы почти весь хлеб съели, а они все еще ревут, — прошептал Яня.

Где-то в стороне стукнула калитка, затем послышался немецкий говор. Кто-то пересек улицу, и до Николая Кораблева донеслось:

— Надо подниматься и ехать.

— Собираются драпать, — шепнул он Яне. — Давайте быстрее. Нужно у тех достать шоферское свидетельство и ключи.

— Когда я хлеб брал, в машине веревка мне попалась. Сейчас, — прошептал Яня и вскоре, вернувшись с веревкой, добавил: — Стрелять нельзя: другие услышат. Свяжем.

Какой неслышный шаг стал у Яни! К двери подошел, словно тень, затем рывком открыл ее, и немцы

не успели обернуться, как перед ними уже стояли, наводя автоматы, Сиволобов и Яня, а Николай Кораблев произнес:

— Если хотите видеться с женами, сидите смирно.

Немцы застыли.

Тогда Яня шагнул к одному и быстро связал ему руки, заткнул рот тряпицей, затем к другому и проделал с ним то же самое. Николай Кораблев достал у них документы, поднес к фонарику, посмотрел. Один из немцев оказался шофером, другой — солдат из интендантской части.

Прихватив с собой документы и фонарик, Николай Кораблев пошел к выходу. Через несколько минут он уже сидел за рулем, приглашая к себе Яню:

— Садитесь рядом со мной, показывайте дорогу, а Петр Макарович — в кузов.

Мотор загудел, и машина тронулась в открытые ворота.

На улице кто-то крикнул:

— Шмельцер! Куда?

— Скоро вернусь, — ответил Николай Кораблев.

4

Все бежало...

Бежали грузовики, переполненные солдатами, чемоданами, узлами, госпитальными принадлежностями, ранеными. Бежали танки, исцарапанные, с вмятинами. Бежали пушки — страшилища «фердинанды». Бежали потрепанные роты, батальоны, полки. Бежали лошади, коровы. А за всем этим неслась пыль, накрывая всех и все своим загнутым хвостом.

Бежали и отставали...

В кюветах то тут, то там валялись опрокинутые вверх колесами обгоревшие машины, тупо сунувшиеся в землю танки, раздутые трупы лошадей, коров, павшие солдаты. Вон сидит мертвый, подтянув к животу колени, крепко держа руками автомат; вон лежит на спине, вытянулся и занес руку, сложив пальцы в крест; вон стоит около дерева, как бы намереваясь шагнуть;

вон ползет, а вон тот почему-то не вооружен: около него радиоприемник, за провода которого он крепко держится руками. А эти еще не павшие: они сидят вдоль дороги, умоляюще протягивают руки к проносящимся мимо машинам и вяло опускают их.

Все бежало, отставало, падало...

В таком потоке, в сумятице неслись на запад, за Днепр, не в силах повернуть обратно, потому что этого сделать было уже невозможно, Николай Кораблев, Яня Резанов и Сиволобов.

Яня первое время то и дело удивленно шептал:

— Смотрите-ка! Подыхают солдаты, а машины мимо и мимо. А вон тому сопляку лет семнадцать; бледность на лице. Вот-вот подохнет.

Николай Кораблев сказал:

— Яков Иванович, мне смотреть по сторонам нельзя: накачу на кого-нибудь, а тут надо уметь да уметь машину вести. Вишь, толчея какая. Кроме того, мы больше взять с собой не можем: кузов полон.

Кузов машины в самом деле был забит ранеными немцами. Николай Кораблев в полном согласии с Яней и Сиволобовым собрал отстающих в самом начале пути, заявив им:

— Везу этих двоих в гестапо, в Рогачев. Не сметь их трогать! Только охранять. Если тронете, выкину вас на дорогу.

И те охраняли Сиволобова: они его кормили, поили кофе, давали ром, и он чувствовал себя превосходно. А главное, эти «отстающие» явились безоговорочным пропуском. Как только Николай Кораблев подъезжал к пикету или проверочному пункту, так все раненые поднимались, стучали автоматами и в один голос орали, и пикетчики, видимо уже уставшие проверять документы, лениво махали руками, давая путь машине.

Так на третий день к вечеру они очутились за городком Довск, у переправы через Днепр. Здесь скопились, растянувшись километров на пятнадцать, тысячи машин, пушек, танков, подвод, солдат: мост не мог принять гигантского потока, как желобок не может принять целую реку. Поэтому рядом с основным

мостом строились еще два понтонных. Но когда-то их построят! А вот теперь то и дело налетает советская авиация и ссыпает сотни бомб на машины, на танки, на солдат, то и дело откуда-то появляются партизаны и бьют в упор.

— Что же нам делать, Яков Иванович? Два-три дня простоим, не меньше? — спросил Николай Кораблев.

— Я думаю, в сторонку как-нибудь.

— Машину бросить?

— Не-ет. Машину бросим — сразу на подозрение наведем. Верно, им сейчас не до нас: у самих поджилки трясутся. Однако неудобно.

— Ну, а как же?

— Выкинуть бы их, — сказал Яня.

— Попробую, — неуверенно произнес Николай Кораблев и, выбравшись из машины, подойдя к солдатам, заговорил: — Мне нельзя здесь стоять два-три дня.

Немцы загалдели, что-то предчувствуя.

— Я везу тех, кто принадлежит империи! — крикнул Николай Кораблев и отшатнулся: слово «империя» произвело такое ошарашивающее впечатление на солдат, что они все притихли, как перед пулеметом. — Да. Они принадлежат империи. И прошу вас освободить машину, — смелее нажал он.

Немцы, произнося: «Яволь, яволь», стали выбираться из кузова, захватывая с собой автоматы, вещевые мешки, чемоданы, узелки с награбленным добром, шинели, а сойдя, начали благодарить за доставку, каждый приглашая после войны заглянуть к нему «домой», давая адреса Николаю Кораблеву. Тот нетерпеливо кивал головой, принимая у каждого адрес, тиская записки в карман, а затем сказал:

— Помогите переправить машину через кювет.

Будто по команде, появились солдаты с саперными лопатками, и слово «империя» понеслось над толпой, как в ночное время над белесой поляной летучая мышь. Вскоре канаву завалили землей, и машина переправилась на ту сторону.

Когда отъехали от шоссе километров тридцать, плу-

тая и увязая в болотах, Яня Резанов утвердительно кинул:

— У фашистов все так. Пустые головы! Слышал я, вы чего-то им насчет империи, ну и вроде как для верующего бог, — империя. Давайте-ка тут остановимся.

Николай Кораблев приглушил мотор. Сиволобов выбрался из кузова. Яня, глянув на него, радостно замурлыкал, а тот произнес:

— Кормили меня — ух! И пришлось принимать, хоть и поперек горла: думаю, ты этими погаными руками, гад, сколько народу честного погубил!

— Но выглядите вы ничего, — сказал Николай Кораблев.

— Три дня лежал и ел вдосталь. Так. Чего дальше делать будем?

— Я думаю, — глядя на восходящее солнце и жмурясь, проговорил Яня, — машину поджечь и пешочком. Поведу вас по своим тропам.

— А где мы находимся? — спросил Николай Кораблев.

— Если встать лицом к западу, по нашему пути — город Рогáчев, за ним — Бобруйск. Нам и следует — переправиться через Днепр, прошмыгнуть левее, за реку Друть, в наши партизанские края — Пинские болота.

— Почему на машине нельзя?

— Да ведь через Днепр на ней не переплывешь, да и топи.

— А зачем жечь? Мы ее спрячем. Война кончится, я отыщу и в колхоз откачу, — сказал Сиволобов.

— На Волгу? — усмехаясь, удивленно протянул Яня.

— А то куда же?

— Экую даль! Здесь скоро, голубь мой, такие дела развернутся, иголку спрячь — и ту найдут. Нет, чтобы врагу не доставалось — сжечь, о чем и товарищ Сталин нас учил.

Это подействовало на Сиволобова. Он отошел в сторонку и проговорил:

— Не против я того.

Яня Резанов облил машину бензином, Николай

Кораблев поджег ее, и машина через какие-то минуты, охваченная пламенем, вся задрожала, стала изгибаться, поводить колесами, как бы собираясь куда-то бежать.

— Ну, пойдемте, теперь она и без нас догорит, — и Яня первый тронулся по тропе.

Но не успели они отойти метров пятнадцать — двадцать, как машина загудела, и всем им показалось, что она с кем-то прощается. Сиволобов как шел, так и присел на траву, обняв голову руками, говоря:

— Плачет-то как! Как плачет-то, а-а-а!

5

Без машины Николай Кораблев ощутил свое бессилие, словно закоренелый моряк, случайно отставший от своего корабля. Представьте себе, он идет берегом, видит, как корабль все дальше и дальше уходит в открытое море: вот уже виден только дымок, затем и дымок пропал — расстилается неизмеримая морская гладь. Не совсем важно чувствовал себя и Сиволобов. Он все время старался втиснуться в середину, как это в ночное время среди взрослых делает мальчонка. А Яня шел уверенно, будто человек, идущий по знакомой тропе, зная, что вот-вот — и попадет домой. В одном месте он даже запел длинную, монотонную песенку. Тогда Николай Кораблев сказал ему:

— Будто дома распеваете!

— Дома и есть.

— Не понимаю.

— На белорусскую землю ступили — край тут партизанский. Вот сейчас дойдем до села Журавли. Ишь, название какое — «Журавли». Зайдем к учителю Егорову Петру Петровичу. А отец у него — драгоценность: накормит нас, напоит, в баньке попарит. В баньке обязательно помыться надо: соприкасались с фрицами.

Николай Кораблев спросил, дергая на себе куртку:

— А как же вот это — немецкое? Если столкнемся с партизанами?

— Э-э-э! Тут всех видов найдешь: немецкое, поль-

ское, французское и даже английское. Доставай: никто тебя не оденет... Ну, вот сейчас мы прибудем к Петру Петровичу. Ах, мужик! — Яня свернул с тропы, пробрался через густые, переплетенные малиной кустарники и, выйдя на опушку, ткнул рукой вперед: — Вот они, Журавли.

Неподалеку от леса раскинулся небольшой поселок, лежавший в виде буквы «г»; он был почему-то затаенно пуст.

— Видно, на работку ушли: бегущих фашистов лупят. Ничего, кто-нибудь да и есть у Егорова. Во-он его дом-то — третий от краю. Айдате!

В дом Яня вошел, не постучавшись, а так, как будто тут постоянно и жил.

— Здорово живем!—переступив порог, крикнул он.

Из-за стола поднялся старик. Это был тот самый паромщик, который совсем недавно перевез Татьяну, Васю и Петра Хропова на тот берег Днепра. Поднявшись, он сурово посмотрел на Яню, затем улыбнулся и хриповато воскликнул:

— Ух ты, Яков Иванович! Лена! Леночка! Елена Егоровна! — позвал он. — Гляди-ка, кто прибыл. Беглец. Ну, проходи, проходи. И товарищей своих зови.

Яня подошел к нему и протянул руку:

— Ну, здравствуй, Тимофеич! Что ж, не паромишь?

— Довели, Яков Иванович: сжег свой корабль.

Из кухни вышла женщина, одетая в простое крестьянское платье. Яня и к ней подошел, подав руку, как палку, не сгибая.

— Елена Егоровна, надоедать вам, — проговорил он, застенчиво улыбаясь. — Но нынче недолго, может только ночку. А где Петр Петрович? — и, не дожидаясь ответа, повернулся к Николаю Кораблеву и Сиволобову. — Это Елена Егоровна. Жена Петра Петровича.

— Петр Петрович скоро будет. И сам расскажет, где был, — еле заметно картавя, ответила Елена Егоровна. — Вы ведь покушать, наверное, хотите? — спросила она, глядя на Николая Кораблева большими

синими глазами. — Я сейчас. А вы, батюшка, накрывайте стол.

Тимофеич быстро накрыл стол потрепанной скатертью, поставил деревянную солонку, положил обкусанные, видимо ребятишками, деревянные ложки, достал краюху черного хлеба, нарезал большими ломтями, не хваля, но радушно предложил:

— Садитесь. Чем богаты, тем и рады.

Елена Егоровна из кухни принесла огромную миску с серыми щами, забелила их молоком и сказала:

— Кушайте, товарищи, — и к Николаю Кораблеву: — Вы, видимо, еще не привыкли из общего блюда?

— Почему вы так думаете? — удивленно спросил он.

— Вижу.

— Да нет! Я вырос в крестьянской семье: кроме как из общего блюда, у нас есть не полагалось.

После обеда Тимофеич отвел всех на сеновал, уложил на пахучем сене, говоря:

— Ну, однако, высыпайтесь, а я тем временем баньку приготовлю.

«Да-а, — засыпая, думал Николай Кораблев, — это хорошо — в баньке помыться. Ведь в бане-то я не мылся давно — с тех пор, как парился у Ермолая Ермолаевича. Что-то с ним теперь там, в Ливнах? Остался один. А Татьяна? Где же Татьяна? Разве сейчас и спросить Якова Ивановича?» — он хотел было задать вопрос Яне, но тот уже спал, вскинув подбородок, похрапывая, причмокивая губами.

6

Они, очевидно, проспали бы и день, и два, и три, если бы их не потревожил Тимофеич. Забравшись на сеновал, он начал каждого тормошить, приговаривая:

— Крепок сон богатыря, да ведь солнышко закатилось, партизану за дело пора. В баньку! В баньку, Яков Иванович!

После баньки, освобожденные от усталости и еще

от какого-то невидимого груза, они сели за стол, на котором бушевал самовар, а около красовались: две бутылки самогона, в блюдах — огурцы, капуста, на тарелке — хлеб.

— Для тебя берег, Яков Иванович, — проговорил Тимофеич, разливая ржавую жидкость по чашкам.

Они чокнулись. Николай Кораблев, отпив глоток, весь передернулся, будто в него влили расплавленную смолу, и отставил чашку. Тогда Тимофеич удивленно протянул:

— А ты что ж, сынок?

— Дите! Дите в этом деле, — пояснил Сиволобов.

— Нет! Ты выпей! Выпей, милай: влага силу придает, да и меня не обижай, старика.

В эту минуту из кухни вышла Елена Егоровна. Она была все такая же, сдержанно гостеприимная, и на лице ее лежала все та же неприступность.

— Раз человек не хочет, зачем же? — скупо сказала она.

Старик посмотрел на нее, потом на Николая Кораблева и послушно освободил чашку от самогонки.

Дверь скрипнула. На пороге появился высокий большеголовый человек в плащ-палатке, с автоматом. Первая кинулась к нему Елена Егоровна. Она вдруг вся ожила: тень неприступности с ее лица сошла, глаза стали еще больше, губы шевельнулись, да так в зовущей улыбке и застыли. В следующую секунду она, тихо вскрикнув: «Петя!», начала освобождать его от плащ-палатки, автомата.

— Петр Петрович!—заговорил Яня.—Гости к тебе, а ты где?

— Здравствуйте, товарищи! — произнес тот хриповатым голосом, целуя Елену Егоровну, затем прокашлялся, идя к столу, добавил: — Вот он я, — и, здороваясь со всеми за руку, в том числе и с отцом, пояснил: — На работе мы: те бегут, а мы их колотим. Да вот сообщили мне, гости прибыли — командир отпустил.

— У вас кто? — оживленно заинтересовался Яня.

— Все тот же — Егор Виляй.

— Ну! Далеко? — потирая руки, как бы собираясь в кулачки, спросил Яня.

— На Гагариной лаве.

— Ух! Я, зажмурясь, дорогу найду. Пойдем, Петр Макарыч, — обратился Яня к Сиволобову. — Хоть по парочке гитлеровцев пристукнем. А-а?

— Ну что ж, сходите, раз соскучились, — согласился Петр Петрович.

— Да-а. А то я все в бегах да в бегах, — уже беря автомат, тоскливо закруглил Яня.

Из-за стола поднялся Николай Кораблев, намереваясь отправиться с друзьями, но Яня строго остановил его:

— Николай Степанович, отдохните. Нам еще длинный путь предстоит, а вы без привычки.

— В самом деле, Николай Степанович, — вмешался Петр Петрович, — для них все это — легкое дело, вроде прогуляться. Давайте посидим за столом, вы нам расскажете, как у вас дела на Урале, а мы вам о том, что делается тут у нас.

Николай Кораблев с удивлением посмотрел на Петра Петровича и, тревожно провожая глазами Яню и Сиволобова, присел за стол.

— А откуда вам известно, что я с Урала?

— Яков Иванович сообщил, кто с ним прибыл, — ответил Петр Петрович и еще что-то было хотел сказать, но в это время на печке поднялась взлохмаченная головка девочки, и он, шагнув, беря девчушку двумя пальцами за щеки, произнес: — Доченька! Проснулась? Иди чайку попей.

— Шарик щипатца, — произнесла та тоном взрослой деревенской женщины.

Тут же выскочила из-под одеяла еще девочка, гораздо меньше первой, и кубарем свалилась отцу на руки, хватая его за нос, за губы, за уши, лепеча что-то весьма невразумительное.

— Деда, капустки, — проговорила первая девочка.

— Сейчас, сейчас, хорошенькая. — Тимофеич, захватив щепотью в блюде капусту, подал внучке.

В комнату вошла Елена Егоровна. Хотя и сурово, но с оттенком большой любви произнесла:

— Проснулась, Маша? Опять капустку?.. И на постель? И ты тут, Шарик? — упрекнула она младшую дочь.

— Ту! Ту! Ту! — по-детски строго закричала та, крепко прижимаясь к отцу.

— Вот вы и увидели все наше семейство, Николай Степанович, — сказал Петр Петрович. — Закусывайте, пожалуйста.

— Не пьет! — удивленно воскликнул старик, показывая локтем на Николая Кораблева.

— Спор у нас, Николай Степанович, — оживленно заговорила Елена Егоровна, садясь рядом с мужем. — Я утверждаю, детей надо кормить по часам, спать укладывать в одно и то же время. А Петя нарушает.

— Да ведь, Лена, нас с тобой воспитывали не по часам. Когда хотели есть — ели, когда хотели спать — спали.

— Даже сидя, — добавил Тимофеич. — Петр у нас бывало вот так возится, возится у верстака... я ведь столярничал... глядишь — присел на стружки и спит. Я матери: «Отнеси его на печку». А она мне: «Ничего. Проснется — сам улезет».

— Да разве это пример? — горячо запротестовала Елена Егоровна. — Разве можно ссылаться на то, как нас воспитывали?

— Можно,—сказал Петр Петрович. — Вот если бы тебя по часам воспитывали, ты с двумя ребятишками такой путь, да еще в грязь и заморозки, не прошла бы...

— Что за путь? — заинтересовался Николай Кораблев.

— Мы учительствовали в Могилеве. Лена и я. В одной школе. Началась война, меня призвали в армию, а она осталась там... С Машенькой, — он кивнул на старшую дочь, — да вот с этой, Шурочкой.

— Грудная была, — добавил старик, разомлев от самогонки.

— Еще сестра Елены Егоровны жила с нами. Больная. Туберкулез. Ну, я вскоре попал к партизанам. А она...

Елена Егоровна посмотрела на мужа и, как бы по-

лучив от него разрешение, положив руки на стол, сказала:

— Я ведь еврейка, Николай Степанович.

И только тут Николай Кораблев с особым вниманием посмотрел на нее. У нее золотистые волосы, глаза большие, синие, нос с маленькой горбинкой... и ему показалось, что он где-то Елену Егоровну видел. Напрягая память, вспомнил, что такое лицо есть на картине Иванова «Явление Христа народу».

— Когда в Могилев пришли немцы, мы несколько дней жили каждый у себя дома, — говорила она, не обращая внимания на то, как удивленно и пристально рассматривает ее Николай Кораблев. — Потом нас согнали в одно место — гетто... Обычная история. Вы, вероятно, немало такого слышали. Дня через три подали грузовики, посадили евреев — женщин, стариков, детей. Сказали: «В лагерь». Но мы вскоре узнали, что всех этих евреев расстреляли у рва за городом. Бежать? Куда бежать? И когда на следующий день подали все те же грузовики и нас погнали к ним, мы с сестрой, как-то даже не договорясь, в суматохе отошли в сторонку и ушли. Да, ушли. Пошли и пошли. Была грязь, заморозки. Мы вышли из города, и я подумала: «Куда деться?» На руках у меня Шарик, — она погладила по голове младшую дочь, — за юбку держится Машенька. Ей пять лет. Думаю: «Пойду к батюшке!»

— Спасибо тебе, сношушка, вспомнила про меня, — заплетающимся языком, с дрожью в голосе произнес Тимофеич.

— Мы пошли по проселочной дороге, приблизительно на Журавли. К вечеру добрались до деревушки. Но нас никто не пускал: все боялись фашистов. Говорили: «Заходите, когда стемнеет». А когда стемнело, люди стали будто другие: нас приняли, накормили, положили спать в тепло на печку. Погоревали с нами вместе, а рано утром разбудили и сказали: «Вот вам хлеб и ступайте дальше». И мы пошли дальше. На пятый день, когда нас разбудили, сестра заявила: «Я не могу дальше: видишь, у меня кровь. Иди одна, иди. Не то и ты погибнешь, и девочки погибнут. А я оста-

нусь тут — умирать». Да-а, как ни горестно было, но я пошла одна с дочками. Машенька держится за юбку, а Шарик у меня на руках... и потянулось страшное время... Осеннее холодное солнце, грязь, пустота на дороге — ни подвод, ни людей... только я и две мои дочки... в кровь натерты ноги... они каждый день мокрые... только ночью согреваются на печке. Только ночью нас принимают добрые люди, а утром рано говорят: «Вот вам хлеб, идите дальше». И мы идем, идем, идем. Который уже день? Я потеряла счет. Куда идем? А вдруг и там, в Журавлях, фашисты? И вот мы явимся туда, нас посадят на подводу и отвезут в овраг. Что же делать? Что? Что? Что?.. Так вот иногда задумаешься и забудешь про Машеньку. Но вдруг придешь в себя, оглянешься, а ее рядом нет: она далеко-далеко на дороге, как точка. Зовешь — не слышит. Тогда я иду к ней. А она стоя спит. «Машенька, — говорю, — зачем ты бросила держаться за юбку и отстала?» Она проснется и одно: «На печку...» Тогда я стала привязывать ее за руку... Так мы и пришли к батюшке, — закончила Елена Егоровна, и на ее глазах навернулись слезы.

«Вон откуда у маленькой Машеньки взрослость», — подумал Николай Кораблев и, вздохнув, вспомнил Татьяну, сына и мать Татьяны.

— Вот так, наверное, ходили и они... — сказал он сам себе и, снова посмотрев на лицо Елены Егоровны, спросил:

— А здесь как живете? Ведь кругом враг.

— Сюда они боятся заглядывать, — пояснил Петр Петрович. — Но теперь и нам на время придется перебраться за Днепр.

— Это почему, Петюша? — со страхом спросила Елена Егоровна.

— Видишь ли, Леночка, мы находимся между Днепром и рекой Сож. Гитлеровцы укрепляют Сож и Днепр. На этой узкой полоске они, конечно, постараются очиститься от нас... да и мы отрываемся от основной базы партизан.

— Опять на дорогу? Я не пойду, — и маленькая Маша по-взрослому заплакала.

Рано утром, когда из партизанского отряда вернулись Яня Резанов и Сиволобов, старик Тимофеич, хлопнув рукой по столу, сказал:

— Ну, в путь-дорогу! Все ночью уже выехали.

Он запряг Васярку, буланенького жеребчика, в телегу, и тогда из дома вынесли спящих девочек, кое-какую одежонку. Все остальное добро Тимофеич несколько дней тому назад спрятал в лесу. Затем заколотили окна, и лошадка тронулась со двора.

К вечеру они прибыли на берег Днепра.

Яня где-то разыскал лодку, усадил в нее девочек, погрузил одежонку и, как только стемнело, пригласил всех. Но тут Тимофеич запротестовал:

— А коня куда?

— Его, отец, придется пристрелить, — дрогнувшим голосом сказал Петр Петрович.

— Ка-ак? — старик будто чем-то подавился. — Васярку застрелить? Да ты что, в уме ли, сынок? А потом как дочерям в глаза смотреть будешь, когда спросят: «Где Васярка?»

— Не знаю, отец. Они ведь подрастут и другим могут заинтересоваться: «Папа, а ты людей убивал?» Скажу: «Не людей, а зверей». Ну, отпряги Васярку и пусти. Он гитлеровцам в руки попадет, они на нем снаряды на тебя возить будут.

— Так сделаем, — вмешался Яня, — отправим вас на ту сторону, а потом с Тимофеичем вернемся, Васярку к лодке привяжем и переплывем. Невелик он тут, Днепр.

— Ух ты, Яков Иванович, душа ты моя! — воскликнул старик и обнял Яню.

— Чушь порете! — уже строго сказал Петр Петрович. — Ведь на это вам понадобится часа два-три. Пока возимся с конем, рассветет. Вот попадем из-за коня в лапы врагу, тогда, отец, как ты будешь смотреть в глаза внучкам?

— Эх! Козырь! Такого не побьешь! — чуть не плача, проговорил старик и выпряг коня, потом снял с него уздечку, обнял голову, расцеловал в лоб и добавил: — Ступай, Васярка... за нами. Переправишься — жить будешь.

Когда лодка, загруженная доверху, тронулась, конь, выйдя на берег, заржал, а старик поманил:

— Васярка! Васярка! Айда за нами!

Конь поплыл за лодкой.

На том берегу старик чуть не опрокинул лодку, кинулся к коню и, надевая на него уздечку, тихо говорил:

— Васярка! Васярка! Ах, умница! Жаль, хомут не захватили! — но, вглядевшись в темноту, он различил хаты, брошенные партизанами, побежал во двор и вскоре выкатил оттуда телегу, в которой лежал хомут. — Вот как сыграно. А отчего? Оттого, что мы Васярку на руках вынянчили. Он ведь без матери остался.

Васярку быстро впрягли в телегу, положили сонных девочек, а вместе с ними и узелки. Подвода тронулась в горку, за ней все...

День они провели в лесу у болота. В ночь, минуя станцию Тощица, попали на реку Друть — болотистые, топкие места. Тут их на заре встретил комиссар Гуторин. Он подошел к Тимофеичу и, обворожительно улыбаясь, здороваясь за руку, проговорил.

— Деда! Деда! И вы прибыли к нам, посмотреть на наши непорядки и пожурить нас.

— А-а-а, подсолнушек! — в свою очередь воскликнул Тимофеич. — Вот кого не ждал!

— И не рады, деда?

— Ну! Как домой приехал. Только знаешь чего? Ты мне дом отведи с конюшней: конь с нами пришел.

Николай Кораблев всмотрелся в Гуторина. Тот в самом деле походил на подсолнушек в цвету. Он со всеми здоровался, шутил, а когда подошел к Машеньке и Шарику, надул губы, скособочился, потом вдруг встал на четвереньки и пополз к девочкам. Те взвизгнули, а Шарик, вцепившись ручонками ему в волосы, закричала, заливаясь веселым, звонким смехом:

— Ну-к ты! Ну-к ты!

— Деда! Забодает! — подхватила, будто и в страхе, но тоже заливаясь звонким смехом, Машенька.

— Удивительный человек. Кто это? — спросил Николай Кораблев.

— Комиссар. Заместитель генерала Громадина, — ответил Петр Петрович, любуясь тем, как хохочут дочки и как с ними забавляется Гуторин.

Так же восхищенно на Гуторина смотрели и все остальные, только Сиволобов загрустил: он вспомнил своих ребятишек, особенно самого младшего, сынишку, и захотелось ему вот так же пошалить с детками. Елена Егоровна стояла на страже: она ждала, куда Гуторин направит всех, и думала:

«Что-то будет теперь? Ведь они у меня еще такие маленькие, а скоро фронт приблизится сюда!»

Гуторин, взяв на руки Шарика, посадив на плечо Машеньку (они так и вцепились в него, как репья), шагнул к Николаю Кораблеву, говоря Тимофеичу:

— Ну, места, для вас уготованные, есть. Пока на всех одна хата. С жилплощадью у нас туговато, — смеясь, произнес он. — Комендант отведет, — он показал на человека, стоящего в сторонке.

Гуторин же обратился к Николаю Кораблеву:

— А вы, стало быть, — Николай Степанович? Очень рад. Вас приказано отвести в мой дворец и кормить, поить вдосталь до приезда генерала.

Николай Кораблев недоуменно и растерянно посмотрел на Сиволобова. Гуторин подметил это, добавил:

— Не беспокойтесь, Николай Степанович. Он побудет с Яковом Ивановичем. Яков Иванович, — сказал он Яне, — твой гость... не урони нас в грязь лицом...

7

Николай Кораблев несколько дней жил в обширном блиндаже Гуторина, вернее в избе, врытой глубоко в землю. В углу избы стояла рация, черная, похожая на железный ящик. Гуторин часто прибегал к ней, переговариваясь то с отдаленными отрядами, то с Москвой. Из переговоров Николай Кораблев уловил, что в Пинских болотах уже есть организованные партизанские батальоны, полки и что генерал Громадин нахо-

дится в Брянских лесах. Иногда они вместе с Гуториным слушали передачу из Минска. В Минске была так называемая «народная власть», и диктор то и дело клял «москалей», но чаще передавал о гибели на фронте такого-то и такого-то. Наряду с этим неслись фокстроты, румбы, немецкие марши — резкие, гремящие.

— Сорок пугать — хорошая музыка, — сказал однажды Гуторин, а потом сообщил: — Генерал через несколько дней будет здесь. Заканчивает дела там — в Брянских лесах: оседлал все дороги и бьет бегущих немцев. Ну, одни пробежали, другие ноги потеряли. Да-а.

Николай Кораблев спросил:

— Куда делся Яков Иванович?

— У-у-у! Он уже, наверное, в Брянских лесах: докладывает генералу, — и, посмотрев в большие, карие, заполненные тоской глаза Николая Кораблева, комиссар тихо проговорил: — А я все жду — о другом вы спросите меня.

— О чем?

— О Татьяне Яковлевне.

— Боюсь. Знаете, как иногда человек боится спросить... а вдруг?

— Понимаю, — мягко и сочувственно произнес Гуторин. — Но она жива, здорова и на крупной работе. Нет. Не здесь, — ответил он на его вопросительный взгляд. — По ту сторону... видимо, в Германии. Больше я вам ничего не скажу, хоть на огне пытайте. Да и вы никому ни звука.

8

Громадин прилетел под утро. Встречать его вышли Гуторин, начальник штаба Иголкин, Николай Кораблев. Они долго сидели у куч хвороста, готовясь каждую минуту, заслыша гул, поджечь их, но не пришлось: самолет появился на заре и плавно, как лебедь садится на просторы вод, приземлился на поляне-аэродроме.

По всему было видно, что Громадин страшно утом-

лен: глаза у него слипались, лицо покрылось морщинами, углы губ опустились, шаг вялый. Здороваясь с каждым за руку, он произносил одно и то же, словно уговаривая всех:

— Спать. Спать, товарищи. Спать! — и, только здороваясь с Николаем Кораблевым, которого ему отрекомендовал Гуторин, сразу оживился, снизу вверх глянул озорным глазом и сказал: — А-а-а! Вон вы какой! Понимаю. И вас и Татьяну Яковлевну. Ну, все понимаю. Через несколько часов прошу ко мне, — и, сев в тарантас, укатил к себе в блиндаж.

Николай Кораблев осведомился у Гуторина, когда обратно полетит самолет и где приземлится. Тот сообщил, что самолет, захватив отсюда больных и почту, вылетит сегодня в ночь, приземлится в Москве.

«Вот с ним я и отправлюсь. Узнаю у генерала про Таню и вылечу. Ведь мне надо на завод», — решил он.

Гуторин и Иголкин, проведшие бессонную ночь, завалились на постели. Прилег и Николай Кораблев, даже на какую-то минуту заснул, но тут же, будто его кто толкнул, вскочил с кровати и зашагал по блиндажу, а увидав, что Гуторин спит, вышел на волю и стал бродить по полянам в лесу.

«Только была бы жива... были бы живы! Для меня и этого достаточно. Ну, не увижу. Увижу потом, — бродя по полянам, думал он. — А дальше? Дальше оставаться здесь преступно. Надо на завод».

В таком состоянии его через несколько часов нашел адъютант Громадина и ввел в блиндаж генерала, столь же обширный, как и у Гуторина, и почти так же обставленный: тут была такая же черная рация, на стене висела такая же карта, такой же был стол, такое же продольное окошечко, заделанное железной решеткой, такие же две кровати. Здесь было все такое же, как и в блиндаже Гуторина, только за столом сидел не комиссар, веселый, улыбающийся, похожий на подсолнух в цвету, а генерал небольшого роста.

Генерал поднялся. Адъютант подумал, что сейчас он, как обычно, разразится хохотом. Но тот сочувственно, мягко протянул руку Николаю Кораблеву и, не отпуская ее, подвел его к столу, усадил на табурет

и, махнув другой рукой, чтобы адъютант вышел, сказал:

— Вы ведь коммунист? Понимаю. Коммунист — это не бесчувственный столб. Такое могут утверждать только пошляки. Коммунист — это человек железной воли и больших чувств.

— Да, я коммунист, — сказал Николай Кораблев, уже предчувствуя страшное и непоправимое.

— Так вот, Николай Степанович... сын ваш и ваша теща погибли.

Николай Кораблев пошатнулся так, что под ним заскрипел табурет, и почти одним дыханием спросил:

— Где? Когда?

— Жена ваша... — как бы не слыша его, продолжал Громадин: — Очень долго болела. Она находилась на грани безумия, — и, рассказав все, что произошло с Татьяной, он добавил: — Но теперь она под Берлином, как мне стало вчера известно. — Он встал и мелким шажком забегал из угла в угол, изредка бросая взгляд на Николая Кораблева, который сидел за столом, обняв обеими ладонями крупную кудлатую голову. — Да! — резко, как в барабан, ударил генерал. — Горе большое. Татьяну Яковлевну это горе чуть не сразило, но она нашла в себе мужество и встала в ряды борцов за нашу родину... за социализм, Николай Степанович... за то, что мы с вами создавали десятки лет, за что люди шли на каторгу, на виселицу, под расстрел. Она нашла мужество в себе, — нарастяжку повторил он и еще добавил: — Она — наше поколение. А мы?

Тогда Николай Кораблев отнял ладони от головы, в упор посмотрел на него и тоже нарастяжку произнес:

— Я его никогда не терял, мужества. Но... вы должны понять меня: я отец... а он, сын, еще такой маленький... И такая славная женщина моя теща!

— Вы знаете языки? — перестав бегать из угла в угол, спросил Громадин.

— Да. Знаю. Хорошо — немецкий, хуже — английский, — еще ничего не соображая и воспринимая все это, как в бреду, ответил Николай Кораблев.

— Вот это очень хорошо! Да-а-а! Совсем забыл. Какая у меня слабая память! Для вас есть письмо... от Татьяны Яковлевны, — он порылся в столе и извлек оттуда записку Татьяны, написанную еще в первые дни встречи. — Вот. Я хотел ее переслать вам, но узнал, что вас на Урале нет и вы гостите у генерала Горбунова.

Николай Кораблев с волнением прочитал записку и раз, и два, и три. Да, да. Это от Татьяны: ее буквы, чуть раскосые, одна другой больше. Ее подпись: «Навсегда, навсегда твоя Татьяна».

— Вы, кстати, скоро увидитесь с Татьяной Яковлевной. Я попробую ее вызвать сюда.

— Если бы!

— Уверяю вас, Николай Степанович. Конечно, она оттуда на самолете не прилетит. Понадобится, может быть, десять—пятнадцать дней.

— Но я не могу столько. Не могу: у меня кончился отпуск. Мне надо на завод.

— Да это мы уладим! Продлим хоть на месяц, хоть на три, — почему-то обрадованно произнес Громадин.— Сегодня же свяжусь с Москвой.

— Вы шутите?

— До шуток ли мне?

9

Вечером, придя от Громадина, Николай Кораблев удивился тому, что блиндаж Гуторина пуст, а на столе стоят лесные цветы. Букет огромен, собран как попало, во всяком случае не женской рукой. Рядом с букетом записка:

«Николай Степанович! Отдыхайте. Генерал, наверное, вам сказал все. Я сочувствую вам от всей души... и чем мог, тем и помог, — вот вам цветы. Гуторин».

— Спасибо, — проговорил Николай Кораблев, как будто Гуторин находился поблизости, затем лег в постель, положив записку Татьяны под подушку, — и ему показалось, что Татьяна здесь, рядом с ним. — Непоправимую беду, Танюша, надо забыть, чтобы жить, — прошептал он. — Такие беды у миллионов. И сколько

слез, сколько горя! Мне недавно Сиволобов сказал: «Если бы все слезы собрать, море бы образовалось». Но ведь миллионы не надломились: они куют победу в тылу, на фронте и здесь. Нам нельзя, Танюща, страдать. Отплачемся потом, когда миллионы вздохнут свободной грудью. А это не за горами!

Так всю ночь он то разговаривал с Татьяной, то переносился на Урал — в городок Чиркуль, беседовал там с рабочими на заводе, то вдруг попадал за Днепр, под Кичкас, где в первый день войны оставил Татьяну. И много солнца, мчатся бурные воды Днепра, а по берегу идут они — Татьяна и Николай Кораблев... Потом вскрик: зовет Витька, Мария Петровна стоит на рыжей глыбе и машет им рукой, как бы провожая куда-то в дальний путь... А вот и Витька на плече у Николая Кораблева. Ух! Разговаривает!

Только под утро он как-то сразу уснул, будто погрузился на дно реки.

Разбудили его лучи солнца: они ярко, до рези в глазах, били в узенькое окошечко, а вместе с ними вливался утренний, переполненный запахами леса ветерок.

Николай Кораблев подумал: «Видимо, где-то и она проснулась». Он подставил яркому лучу лицо и тихо произнес:

— Вот это солнце обогревает и ее... Убила карателя... Ганса Коха. Она, Татьяна, убила! Никак не могу себе представить!

В дверях послышался шум, и вскоре в блиндаж вошли Громадин, Гуторин, а следом за ними — адъютант генерала, неся сапоги и новый военный костюм.

Громадин, войдя, весело заговорил:

— Радуйтесь! Радуйтесь! Николай Степанович! Радуйтесь!

«Не Татьяна ли приехала?» — мелькнуло у него, и он вскочил с постели, а Громадин так же торжественно возвестил:

— Радуйтесь! Вы получили отпуск на три месяца. Даже предлагали год, но я отказался.

Николай Кораблев так и присел на кровати:

— Как три? Да вы что, с ума спятили?

— Я? Нет, — серьезно ответил Громадин. — Вы же мне вчера сказали, что у вас кончается отпуск. Я спросил: сколько надо, месяц, три? Вы не возражали. Ночью связался с Москвой и попросил три. Дали три. Теперь уж неудобно обратно шагать. А впрочем, Николай Степанович, и здесь воевать можно. Вы ведь для нас целый полк. Нет, дивизия! Как вы думаете, товарищ комиссар?

Гуторин ответил не сразу:

— Да, воевать и тут можно. Не только можно, но нужно, Николай Степанович.

— Полк! Дивизия! — криво усмехаясь, произнес он. — В сидячем или лежачем положении?

— То есть, не понимаю? — забасил Громадин.

— Я ведь теперь без дела не могу. Поймите меня.

— Дело? Ну, чего другого, а дело мы найдем. Вы свои-то сапоги киньте под кровать. Адъютант! Подать Николаю Степановичу костюм. Вот этот костюмчик примерьте-ка. Со складу. Неношенный. Немецкий. Полковник, штабист. Гроза!

Николай Кораблев принял из рук адъютанта костюм, надел его, потом сапоги и поднялся.

— О-о-о! Здорово! — одобрил адъютант. — Идет. Честное слово, идет.

— Идет! Идет! Так и хочется пулю в лоб влепить! — неожиданно добавил генерал, осматривая на Николае Кораблеве костюм немецкого штабного офицера. — Пройдитесь, Николай Степанович, фон Папен. Вы племянник фон Папена. Вон куда взлетел! Та-ак. Пристукните каблуками. Молодец! Отдайте честь. Нет, не так. Пренебрежительно: вы — штабной офицер. Следует двумя пальцами: козырнул, и ладно. На лице, знаете ли, такое: весь мир у ваших ног, все рабы, вплоть до дядюшки фон Папена. О-о-о! Вы молодец! Умеете играть. Теперь парочку деньков оботритесь в этом костюмчике. Только далеко от блиндажа не ходите, а то партизаны как раз пристукнут. А денька через три вот что надо сделать. Карту! — попросил он.

Адъютант вынул из планшетки карту и расстелил ее на столе.

— Так вот, — чуть погодя заговорил генерал, рассматривая карту. — Видите, где мы? Это вот огромное пространство — Пинские болота — наше: партизанский край. Это вот в стороне — город Бобруйск. Это — Рогачев. Это — Довск.

— В Довске мы были.

— Очень хорошо. Перед Довском — вот тут — переправа через Днепр. Три моста: один старый и два понтонных. Мы здесь и здесь мосты подрываем. Удается нам. Конечно, через пять-шесть дней немцы снова наводят. Но пока наводят, на той стороне толчея. А когда толчея, тут и бей их с земли и с неба. А главный мост ребята никак подорвать не могут: уж очень крепко его немцы охраняют. Так надо нахалом. Я вам дам машину, шофера—бывший венгерский полковник Киш. Имейте в виду: полковник. Ему вполне довериться можно, однако все время держите его под пистолетом, и в случае чего — пулю в лоб. И еще два человека вас будут охранять: Яня Резанов и ваш друг Петр Макарович Сиволобов. Чудесная компания! Вы въезжаете на мост и именем фюрера останавливаете движение. Так... Адъютант, проводите фон Папена ко мне. Сейчас позавтракаем, Николай Степанович, и еще поговорим. — А когда те вышли, Громадин несколько минут задумчиво смотрел в узенькое, зарешеченное окошечко, затем проговорил, обращаясь к Гуторину: — Конечно, требуется ему повидать жену. Все понятно. Но вызвать ее оттуда — рискованное дело. Впрочем, они могут до Варшавы на самолете. Вася это устроит. А из Варшавы сюда? — Громадин покачал головой. — И хочется и колется.

— Да вы только намекните, что он здесь, и она на крыльях прилетит.

— Нет, комиссар, этого никак нельзя: узнает, что муж у нас, и ринется сломя голову. Вы заметили: у них, очевидно, очень большая любовь.

— Вот она и заставит Татьяну Яковлевну не рисковать, а играть, — возразил Гуторин.

10

В первую минуту, когда Громадин предложил полковнику Кишу следовать за партизанами, тот, вытаращив глаза, сказал:

— Подчиняюсь только силе.

Генерал усмехнулся:

— А бессилию никто на свете не подчиняется. Ничего, полковник: потом будете благодарить нас.

— А семья? Семья? Жена и двое детей, —бледнея, воскликнул Киш.

— Семью вашу переправим к партизанам в Чехословакию.

И Киш затосковал. Первые дни он походил на переярка волчонка, которого словили и посадили в клетку. Он беспрестанно кружился в блиндаже вокруг стола, ни с кем не разговаривал, не принимал пищу. За несколько дней похудел, оброс бородой и стал напоминать помешанного, бормоча одно и то же:

— Нейтралитет. Нейтралитет. Нейтралитет.

Однажды, связавшись с Громадиным по рации, Гуторин сообщил:

— «Нейтралитет» наш кружится, как белка в колесе: не ест, не спит. Что делать?

— Обломается, — успокоил Громадин. — О семье передайте: все устроено. Посылаю документы.

И только когда пришло письмо, удостоверяющее, что семья Киша переправлена к чехословацким партизанам и принята благополучно, Киш облегченно вздохнул и попросил, чтобы его побрили.

Потом ему давали ряд заданий. Он выполнял их. А однажды с партизанами отправился на разведку в Витебск и это выполнил блестяще.

— Посадили на якорь паренька, — сказал после этого Гуторин.

Получив новое задание от генерала, Киш сел за руль. Но он никак не мог забыть Татьяну, которая «выманила» его к партизанам, и поэтому, не видя ее в отряде, при встрече с новыми людьми, расспрашивал о ней. Вот и теперь, когда машина, переправив-

шись через ряд заградительных пунктов, по дорогам, устланным поперек бревнами, выбралась на просторы, он повернулся к Николаю Кораблеву и заговорил на плохом русском языке:

— Где есть женщиноф... красифоф?

— Женщина? Красивая?

— Женщина-а-а. Красифоф.

— Это он, Николай Степанович, видно, про вашу жену, — вмешался Яня Резанов.

Николай Кораблев дрогнул и на немецком языке ответил:

— Никаких красивых женщин я не знаю. Займитесь внимательно своим делом. Скоро Бобруйск. Я притворюсь спящим, вы покажете солдатам пропуск.

Впереди завиднелся Бобруйск. На станции дымили паровозы, слышались гудки. Перед въездом же в город — шлагбаум, около него будка и солдаты.

Николай Кораблев прикинулся спящим, Сиволобов и Яня Резанов приготовили автоматы. Киш остановил машину. Вышел, потянулся и с презрением кинул солдатам, потрясая пропуском:

— Штаб: Господин полковник спит. Устал. Пропустить!

— А-а-а! Штабные. Валяйте, валяйте! — с таким же презрением ответил солдат, а пропустив машину, добавил, обращаясь к другому солдату: — Эти штабные! Их не трогай: жалят, как осы.

Бобруйск был забит танкистами, артиллеристами, пехотой. Все это — танки, артиллерия, танкисты, пехотинцы, — все было уже основательно потрепано, помято измучено. Солдаты сидели, лежали вдоль дороги, за кюветом, у домов, а дома тоже были переполнены: через открытые окна виднелись спины, бока, головы; казалось, во всех домах шли заседания. На площади, в садике, стояли огороженные проволокой зенитки, вздернув в небо длинные стволы. При выезде из города тоже шлагбаум, но построен по-другому: надо было сначала проехать узкий, в виде буквы «г», коридор из бревен, потом сделать крутой

поворот и тут нарваться на часовых. Но и эти часовые, как и первые, «штабистов» пропустили свободно, кидая вдогонку:

— Их не трогай: осы!

11

Удивительно было то, что ни Николай Кораблев, ни Киш, ни Сиволобов, ни Яня Резанов — никто из них почти не волновался, когда машина встретилась с первыми часовыми. Но вот мост. Он могуче уперся цементными быками в дно реки. Метров за тридцать от него пулеметные гнезда. Рядом два понтонных моста. На берегу танки, зарытые в землю. Они то и дело поводят сизыми хоботами. Всюду виднеются замаскированные зенитки. По всем трем мостам беспрестанно двигаются автомашины, загруженные солдатами, снарядами, танки, пушки. Поток непрерывный, кажется — всесокрушающий.

«Да, сунься сюда — дивизию уложат», — подумал Николай Кораблев.

«В огонь попали», — мелькнуло даже у Яни Резанова.

Киш перепуганно решил:

«В случае чего — сдамся, скажу: «Меня они выкрали».

Сиволобов, крепко сжимая автомат, с тревогой смотрел на весь этот скрипящий, орущий поток, а Николай Кораблев, выйдя из машины, почувствовал, как у него онемели ноги: они не шагают, а тычутся, будто деревянные. Но тут же напряжением силы воли он весь встряхнулся и, выхватив из кобуры парабеллум, крикнул на часовых:

— Приказываю именем фюрера прекратить движение! Кто придумал такое безобразие? Все города, все села, все дороги забиты трусами этими, — он ткнул парабеллумом в движущийся поток машин, пушек, танков.

Офицер и три солдата сорвались с места, кинулись, виляя между машинами, танками и пушками, на ту сторону моста. Видя, как от окрика Николая Кораб-

лева побежали офицер и солдаты, Яня Резанов и Сиволобов тоже приободрились, открыли дверцы, высунули автоматы.

И вдруг на той стороне поднялся галдеж, потом раздались выстрелы, и тут же, прорвавшись через часовых, на мост выскочил полковник. Размахивая руками, позеленевший, брызгая слюной, он наскочил на Николая Кораблева, закричал:

— Это измена! — и выхватил пистолет.

— Именем фюрера! — и Николай Кораблев выстрелил ему в лицо.

Все пошло по-иному: поток оборвался на всех трех мостах. Но эти минуты показались томительно страшными: теперь пугала вот эта тишина, которая установилась, как только поток оборвался. Будто кто-то могучий перерубил его на две части: одна осталась по эту сторону, а другая, окутываясь пылью, скрылась где-то вдали по шоссе. Николай Кораблев в замешательстве некоторое время не знал, что делать, затем приказал зенитчикам направить зенитки на мост:

— Стереть, если двинутся. Эти трусы хотят утопить империю. Ни при каких обстоятельствах до моего особого распоряжения не пропускать. А полковника уберите. Я сейчас за ним пришлю, и в штабе мы посмотрим, кто он такой, — с этими словами он сел рядом с Кишем, и машина, круто развернувшись, помчалась на Бобруйск.

Отъехав километров пять, Николай Кораблев вздохнул так, будто легкие до этого были стянуты чем-то тугим, и посмотрел на ту сторону реки. Там впритирку стояли грузовые, легковые машины, танки, пушки, автобусы. Вдруг из-за леса выплыли штурмовики. Зенитчики, сосредоточенные на том, чтобы никого не пропускать через мост, видимо растерялись и не успели дать залп. Самолеты почти на бреющем полете сбросили на мост бомбы — и он грохнулся.

— Вот так-то! — не без гордости проговорил Николай Кораблев, затем приказал Кишу: — Стремительно домой. Нам только бы пробиться через Бобруйск.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Играла предвесенняя сиверка, одна из тех, из последних — злых и свирепых. Она вырывалась со стороны, белесо рассыпалась под ногами и, собравшись, снова неслась в непроглядную тьму.

Что-то общее видел Николай Кораблев в сиверке и войне. Бесится, задирает сиверка. Но ведь духу-то у нее хватит ну на день, на два, а там все равно ее растопит теплое солнышко. Бесятся, задираются фашисты, иногда нахально лезут напролом... но красные части уже всюду вышли на Днепр, а недавно в излучине Днепра, в районе Корсунь, генерал Конев организовал такой котел и такое избиение, какого еще, после Сталинграда, не было в истории человечества.

— Взойдет солнышко! Скоро взойдет! — шепчет Николай Кораблев и шагает, задираемый сиверкой, ныряя под вагоны, обходя паровозы, пересекая линии железнодорожной узловой станции Бобер, пробираясь в дальний угол, на пригорок, в лесок, где намеревается встретиться с Сиволобовым.

Николай Кораблев лучше всех знал, что творится на станции: линии, тупики — все забито вагонами-инвалидами, эшелонами с танками, пушками, снарядами, солдатами. И не только здесь, на узловой станции, но и во все стороны, километров на десять — пятнадцать. Вон стоят паровозы. Они в белесой пурге таращат глазищи и пыхтят, каждый по-своему. Одни тяжело вздыхают, будто жалуясь на грудную боль, другие стреляют, готовые сорваться с места и поскакать во всю прыть, третьи стонут, точно из них вытягивают жилы. Со стороны казалось: все наготове, и стоит только кому-то дать сигнал, как вся эта железная лавина двинется во все стороны. Но на самом деле все это было сковано, переплетено: поезда не могут тронуться, потому что во всех направлениях от станции мосты взорваны, рельсы сняты... и сотни паровозов, тысячи вагонов очутились здесь, как в ловушке.

Такое случилось не враз...

После того как Николай Кораблев вернулся из-под Довска, где он на переправе задержал поток танков, самоходных пушек и грузовиков, генерал Громадин, встретив его в своем блиндаже и радостно глядя ему в глаза, воскликнул:

— Ну и ну! Ну, фортель, брат, оторвал! Знаю, знаю. Еще только с моста съехал, а мне уже все передали. Отдохни. Теперь отдохни, фон Папен, — и снова радостно и удивленно посмотрев в его карие глаза, приказал: — Адъютант! Орден!

Из-за занавески вышел адъютант и подал коробку с орденом. Генерал вынул орден Красного Знамени и, поднося Николаю Кораблеву, взволнованно проговорил:

— На! Хочешь, еще один попрошу?

— Зачем же? И одного-то много.

— Нет. Достоин, — и вдруг генерал разразился громовым хохотом. — А что они... они что теперь... как бесятся? Ду-у-ураки-и! — Оборвав хохот, добавил: — Сиволобову требуется в Москву слетать — пускай Героя там получит. А вы, а ты... Да давай на «ты», Николай Степанович!

— Что ж, давай.

— Вот ладно. Поцелуемся, — и, подпрыгнув, Громадин поцеловал его в щеку.

— По-русски не так, — и, нагнувшись, Николай Кораблев трижды поцеловал Громадина в губы.

— Ну вот, теперь брат и брат, — проговорил генерал. — И отдохни.

— Отдохну потом. Я все-таки не понимаю, как это они подчинились мне?

— Не тебе. Э-э-э, не тебе, а форме, да еще не простой, а штабной. У них по уставу как? Солдат не должен думать, а просто подчиняться. А тут еще заявился полковник из штаба. Штаб! О-о-о! Гроза. Да разве наши люди допустили бы до того, чтобы какой бы то ни было полковник приостановил движение на мостах без письменного приказа! Да если бы и приказ был, все равно взвесили бы, потому что наши люди думают, а те — уставная тварь. Ну, иди. Отдохни. Нервы

приведи в порядок. Потрясло тебя, а? Иди. Скоро предстоит дело гораздо важнее моста.

Через несколько дней Николай Кораблев вместе с Сиволобовым устроились смазчиками на узловой станции Бобер. Вскоре Сиволобов поменял свою профессию: заделался стрелочником. А Николай Кораблев месяца два ходил вдоль вагонов, стучал молотком по колесам, проверял буксы, рессоры и обо всех неполадках доносил, минуя начальника станции, шефу Шрейдеру. Всякий раз он писал на немецком языке, что у такого-то вагона такие-то и такие-то неполадки, что такой-то паровоз нельзя выпускать, потому что у него котел покрылся толстым слоем накипи, и непременно добавлял: «Обращаю ваше внимание, герр Шрейдер, что аварии на железной дороге происходят не только потому, что партизаны вмешиваются в ход событий, но еще и потому, что мы часто выпускаем неисправные вагоны, паровозы. Прошу вас обратить на это внимание». Письма такие поступали ежедневно. Совсем недавно Николай Кораблев снял под вагоном две мины замедленного действия и, разрядив их, тоже направил Шрейдеру, и тот немедленно вызвал его к себе в кабинет.

Герра Шрейдера нетрудно было разыскать. Он занимал здание школы. И когда Николай Кораблев подошел к парадному, то заметил, что на стене еще висит небольшая вывеска «Школа № 8», но стекло кто-то разбил, видимо сунув в него прикладом. У двери стояли часовые. Вскоре один из них доложил шефу, что пришел Карл Штумм, как именовал себя Николай Кораблев. На станции рабочие звали его Карл Карлович и, зная о доносах, косились на него, а однажды кто-то кинул ему в спину:

— Этому Карлу надо башку свернуть!

Встретившись с Сиволобовым, Николай Кораблев произнес:

— Голову мне рабочие собираются свернуть. Действуйте, Петр Макарович.

И Сиволобов начал действовать. Он вошел в доверие к начальнику станции Татищеву, человеку вялому, сонливому и медлительному,

— Чего боитесь, если советский человек? — однажды сказал ему Сиволобов.

— Семья у меня в городе. Вырежут.

— А вы переправьте ее к партизанам.

— Как? — вдруг оживленно, сбрасывая с себя сонливость, спросил Татищев.

— Это уж я сделаю.

— Если бы! Мы ведь тут крутим, да все это мелко. Ну, создаем разруху: все, что проходит через наши руки, получает изъян. А их бы шарахнуть!

— Тогда держись Карла Карловича.

— Угу, — многозначительно кинул Татищев.

Такую же работу провел Сиволобов и среди рабочих: у кого были семьи, он их переправил к партизанам, кто был одинок, он обласкал того... и тогда рабочие стали смотреть на Николая Кораблева с затаенным уважением.

Вот он стоит перед дверью в здание, где живет шеф Шрейдер, думает: «Виселица или большое дело». И не помнит, как поднялся на второй этаж, отворил дверь и вошел в кабинет герра Шрейдера. Только тут, войдя в кабинет, он весь собрался и увидел за старинным, из карельской березы, столом маленького человека. Он был не только маленький (из-за стола виднелись его головка и плечики, а на столе лежали руки-лапки), но и весьма тощий: щеки у него впали, глаза вылупились, нос заострился, и потому он походил на галчонка.

— Вы знаете немецкий язык? — с налету спросил Шрейдер, еще не приглашая сесть.

— Как слышите, говорю: мой родной язык.

— Вы откуда?

— Из города Майсена, Саксония.

— Инженер?

— Да.

— А почему чернорабочий?

— Империи надо помогать всюду, — твердо ответил Николай Кораблев. — Вам ведь известно, сколько вагонов я предложил задержать с неисправными колесами, буксами, рессорами. Пустить такие вагоны — значит увеличить и без того огромное количество

аварий. Партизаны, конечно, гадят, но нельзя все сваливать на них.

— Я спрашиваю: вы инженер, а почему пачкаете руки о какие-то буксы?

— Я объяснил. Кроме того, я инвалид. — Николай Кораблев вынул свидетельство об инвалидности и, сняв кепи, показал седой клок волос. — Контужен. Но я не хочу домой, хочу работать, — и тут же подумал: «Как кстати мне инвалидную-то книжку достали!»

Шрейдер, просмотрев инвалидное свидетельство, размяк и в то же время подумал:

«А не подослали ли его ко мне гестаповцы? Столько врагов! Столько врагов!» — и вслух:

— Послушайте, я скажу вам все, — со вздохом, будто бросаясь с обрыва, произнес он. — Все, все. Я плохой железнодорожник. Я люблю автомобиль. Пять лет тому назад на гонках под Берлином я получил первый приз. Но у меня есть мама, у мамы есть папа, а у папы брат — фельдмаршал Шрейдер. И я единственный наследник. Мой дядя, фон Шрейдер, в начале войны сказал: «Не хочу племянника пустить на пушечное мясо. У нас такого мяса и без него достаточно». Это горячо поддержал папа моей мамы, ну, мама — тоже. Тогда мой дядя — он управляет железными дорогами на Восточном фронте — определил меня вот сюда — шефом, на станцию... как это... зверек такой?

— Бобер, — подсказал Николай Кораблев.

— Да. Бобер. Воротник на шубу. Но, может быть, галстук, — с расстановкой, задумчиво произнес Шрейдер и встал из-за стола, показывая на стул. — Садитесь. Может быть, галстук, такой, — он провел рукой вокруг шеи, изображая петлю. — И я прошу вас, помогите мне. Вы будете моим советчиком.

— Такой должности нет, а я — кушаю.

— Кушать будете у меня. А после войны приглашаю к себе в гости. У меня пока только один замок... на Эльбе. Вот, — герр Шрейдер вынул из стола небольшой альбом и сунул его в руки Николая Кораблева.

Тот развернул альбом и на первой же странице увидел в крутых, каменистых берегах реку Эльбу, на-

поминавшую Днепр у Кичкаса, и перед ним сразу встала последняя, прощальная минута с сыном и тещей: он и Татьяна сидят в открытом автомобиле, который несется на аэродром, а на возвышенном берегу, на рыжей скале, залитой обильным солнцем, стоит Мария Петровна, держа на руках Виктора... и сердце у Николая Кораблева заныло...

Шрейдер перевернул страницу и, показывая на горы, покрытые дремучими лесами, ткнул пальцем в мрачное, обнесенное высокой каменной стеной здание, сказал:

— Тут.

— И вы жили в этом замке? — спросил Николай Кораблев, лишь бы не молчать, а сам все смотрел на каменистые берега Эльбы, вспоминая сына, тещу и Татьяну.

— Это Саксонская Швейцария, — шипел над ухом Шрейдер. — А я... я веселился в Париже. Разве можно жить в замке, где комнаты с низкими потолками! Они меня давили. С ума сойдешь! Я наслаждался жизнью в Париже. А потом эта... война. Зачем она мне? Я и без того богат, — он указал на ковры, развешанные на стенах, разостланные на полу, на старинную мебель карельской березы, взятую, видимо, из какого-то музея. — Все это я, конечно, захвачу с собой: завоевал.

— Но почему вы не живете в Париже? Ведь теперь он наш.

— Да. Наш. Но Гитлер велит воевать. Вот и воюю, — он открыл шкаф и потренькал ногтем по бутылкам бургонского. — И вы помогите мне.

— В этом? — Николай Кораблев кивнул на бутылки.

— И в этом. Вы, вижу, веселый человек. Но я завтра назначаю вас своим советчиком. Нет. Сегодня. Сейчас же.

2

Николай Кораблев, обосновавшись в двух комнатах нижнего этажа школы, обложился книгами: он хотел познать структуру гитлеровского государственного аппарата, организационную сторону фашистской партии,

«идеология» которой ему была уже более или менее известна.

Он поступил весьма рискованно, уверив Шрейдера, что до войны жил в Майсене. В Майсене находилась самая старая фабрика, на которой впервые был открыт секрет китайского фарфора. Значит, придется говорить, что работал на фабрике, а это значит: надо иметь хотя бы элементарные сведения о производстве. Конечно, он может объявить себя электриком — ему это знакомо. Но кто был директором фабрики пять лет тому назад?

На следующий день Николая Кораблева вызвал к себе в кабинет герр Шрейдер и познакомил с бургомистром города графом Орловым-Денисовым, отпрыском тех знаменитых Орловых, которые впоследствии стали еще и Денисовыми. Граф когда-то бежал из России и поселился в Германии. Он был весьма крупен, но тощ до того, что рыженький костюм болтался на нем, как на колу. Глаза у него — серые, огромные, навыкате, как у беркута. Лицо репчатое, будто вафля. С деланой улыбкой, какая бывает только у лакеев, он расшаркался перед Николаем Кораблевым и на немецком языке произнес:

— Мой шеф... — оказалось, что герр Шрейдер — шеф и над городом, — мой шеф уже любезно сообщил мне о том, что вы назначаетесь его главным советчиком по железнодорожным делам. Я рад приветствовать вас. Тем более, — вдруг на русском языке проговорил он и тут же поправился на немецком: — У меня есть приговорка с детства: «тем более», трудно переводимая на немецкий язык. И вы не удивляйтесь, если я иногда ее буду употреблять. Тем более, мы с вами из одной провинции — Саксонии. Я жил там же.

— Я потому графа и вызвал, советчик, чтобы вы повидались с земляком, — чему-то загадочно улыбаясь, наливая в стакан вино, заявил Шрейдер.

— Земляки, — подхватил Николай Кораблев, пожимая широкую лапу графа, и про себя: «Это очень хорошо. Надо его кое о чем расспросить».

— Пейте, граф, — герр Шрейдер подал ему стакан с бургонским.

Граф, с видом — лишь бы отвязаться, торопливо, в два-три глотка, выпил, намереваясь что-то еще сказать Николаю Кораблеву, а герр Шрейдер налил второй стакан и крикнул:

— Пейте, граф!

Тот в два-три глотка выхлестнул стакан и, чуть задыхаясь, проговорил:

— Земляки! Земляки! Очень приятно. Я служил бухгалтером на знаменитой, — он поднял палец кверху и вылупил глаза, — я служил на знаменитой фарфоровой фабрике. Майсенский фарфор!

«Э-э-э! Чорт бы тебя побрал!» — выругался про себя Николай Кораблев.

— Я в совершенстве познал бухгалтерию... и я бы сказал...

Но в это время герр Шрейдер снова подсунул ему стакан с бургонским и скупо сказал:

— Пейте!

Граф глотнул и осоловел, распускаясь в кресле, как кисель. А Шрейдер, будто выполнив какое-то величайшее дело, забегал около него мелкими шажками, потирая слабенькие ручки, загадочно-заговорщицки поглядывая на Николая Кораблева. Потом воскликнул:

— Готов!

— Зачем вы так поступаете с ним? Ведь он глава города, ему надо работать.

— Вы очень строгий. Но у меня свой интерес.

«У меня тоже свой интерес», — подумал Николай Кораблев, соображая, как бы ему затащить графа к себе на квартиру.

В кабинет, не постучавшись, как будто он тут только что был, вошел военный в пенсне, глядящий даже через стекло вприщур, в туго обтянутом, отглаженном френче.

— Честь имею, — довольно развязно произнес он, откозыряв Шрейдеру, и, посмотрев на графа, булькающе захохотал.

— А-а-а! Прекрасно?! Чудесно?! — радуясь, как мальчонка, заглядывая в прищуренные глаза военного,

воскликнул Шрейдер. — Хочешь, Бломберг? — предложил он, готовясь налить вино в стакан, из которого только что пил граф.

— Не-ет, — брезгливо ответил тот.

«Значит, не пьет», — подумал Николай Кораблев, все еще стоя около окна.

Но Бломберг взял другой стакан, тщательно вытер носовым платком, посмотрел на свет и налил вина. Выпил. Еще налил и только тогда обратил внимание на Николая Кораблева, спрашивая глазами Шрейдера: «А это-де что тут торчит?»

— Мой советчик. Знакомьтесь. Это Фриц Бломберг, начальник гестапо, а это мой советчик инженер Карл.

«Экая встреча!» — не без дрожи усмехнулся Николай Кораблев, однако руку подал, произнося:

— Да-а. У вас-то, наверное, работки много: всюду партизаны!

— Сволочи! — взвизгнул Бломберг, в упор глядя на Николая Кораблева, как бы говоря: «Вижу, какой ты инженер!»

Граф взбодрился при появлении Бломберга, поднялся на ноги, качнулся в одну, потом в другую сторону, как это делают лошади, когда с поклажей застревают в грязи, и, шагнув к выходу, заплетающимся языком пролепетал:

— Прошу прощения, шеф.

— Проводите! Проводите! — сказал Шрейдер, ласково посматривая на своего советчика.

Николай Кораблев не пошел, а кинулся за графом. Догнав его на лестнице, он взял его под руку и почти силой потащил к себе на квартиру. Тот упирался, скрипел зубами, затем, обессиленный, подчинился, бормоча на русском языке:

— Безвольный! Безвольный!

Николай Кораблев уложил его на диван, расстегнул ворот рубахи, прикрыл простыней и ушел во вторую комнату, удивляясь, почему граф так быстро спьянел, и в то же время обдумывая, как выудить из него то, что нужно было позарез.

Часа через полтора граф пришел в себя: глубоко вздохнул и на русском языке с тоской сказал:

— Сволочи! Сволочи! О батюшка мой! Встал бы из гроба и посмотрел бы на сына своего графа Орлова-Денисова! Бухгалтер — твой сын!.. и раб!

Когда он смолк, Николай Кораблев вошел в комнату и на ломаном русском языке произнес:

— Шдравия шалфия.

— Вы знаете русский язык? — перепуганно спросил граф.

— Немношко-о.

— И вы слушали, что я тут болтал?

— Найн. Шнаю нитшего. Русскай нитшего.

— Ничего, — поправил граф, уже успокаиваясь. — Чую. Чую, о чем начнете сейчас колесить, — заговорил он на русском языке. — Дескать, канцлер Бисмарк удивлен был слову «ничего». Но он умнее вас был, идиоты!

Николай Кораблев подсел на диван, как доктор около больного, и, умильно глядя в глаза, спросил на немецком языке:

— Вы, граф, меня не узнали? А я вас сразу узнал, — и на недоуменный взгляд Орлова-Денисова ответил: — Мы с вами работали на Майсенской фабрике. Вы — бухгалтером, а я — инженером-электриком. Все печи были в моем распоряжении. А помните, как мы близко познакомились? Выдавая жалованье, вы передали мне, я уж не помню, какую-то сумму. И я вам на следующий день вернул ее. Покопайтесь, покопайтесь в памяти, — добавил он, в то же время думая: «А может быть, он тогда не работал — пять лет тому назад?»

Граф страдал слабой памятью, и здесь, непонятно чем польщенный, вдруг схватил руку Николая Кораблева, потряс ее и воскликнул:

— Да! Да! Я еще у шефа смотрел на вас и думал: где это я его видел? А теперь припомнил. Вы вернули мне порядочную сумму — двести марок. О-о! Тогда двести марок были деньги!

— Точно. Двести марок с чем-то.

— Совершенно верно, с чем-то.

— И мы вечером пошли с вами в кабаре, и вы пустили в расход все свое жалованье, как вы тогда сказали: «По дружбе и по-русски». А теперь я вас хочу угостить по-русски.

— Вином? — со страхом воскликнул граф.

— Нет. Чаем. Русским чаем, — и Николай Кораблев, помогая графу, ввел его во вторую комнату, где кипел электрический чайник, на столе стояли стаканы, варенье, бублики.

— О-о-о! — протянул граф, прослезясь. — Это русское! Это чудесное! Всюду вот это называют бубликами, а у нас на Волге — крендель. На Волге!.. На Волге, неподалеку от городка Вольска, мое имение. Сколько лошадей, коров было у меня! Сколько земли! Какая чудесная охота! А вот теперь! Вы знаете, они сговорились. Для них шуточки.

— Что за шуточки?

— Спаивать меня. Я прихожу на работу, а там уже сидят один с вином, другой с пивом, третий с ромом, четвертый со спиртом. И каждый угощает. Попробуй откажись — голову отвернут, — произнес он последние слова на русском языке, и опять на немецком: — Затем меня приглашает Фриц Бломберг к себе в кабинет — поит, потом меня приглашает к себе в кабинет комендант города Бенда, не то француз, не то какая-то собачья смесь, — снова на русском языке произнес он последние слова и перешел на немецкий: — И каждый поит. Чуть отдышусь, как вызывает шеф и стакан за стаканом вливает в меня бургонское. И так каждый день. По-русски это называется «чортово колесо».

— А вы, наверное, забыли нашего общего друга — хозяина фабрики, — заговорил Николай Кораблев, наливая густой чай. — Какой чудесный человек был! Верно, с характером, — на всякий случай прибавил он.

— Ну, нет... Герра Нейбаха я никогда не забуду. Это действительно был чудесный человек, но, совершенно верно, с характером.

У Николая Кораблева от удовольствия даже дрогнула рука.

— А как вы примирились с его характером: вы ведь ближе всех нас были к нему?

— Да что! Говоря по-русски, блудить он любил по всем.

— Вот именно. Вот именно. А как он, не видели вы его, похудел, потолстел?

— Видел. Недавно. Все такой же.

«Какой «такой же»? — подумал Николай Кораблев, и снова:

— Я, знаете ли, граф, был контужен, — и показал на седой клок волос, — и некоторые лица выпали из моей памяти. Вас я сразу узнал, но в вас ведь благородная кровь, а герр Нейбах? Он происхождением...

— Из низов, — охотно перебил его граф. — Дно. Оттуда и блуд: нет широкого размаху, а какое-то крохоборство, жадность. Вы знаете, как я жил в России, не в этой — советской, а в романовской? Однажды я получил телеграмму от своей возлюбленной, — граф прикрыл ладонью глаза. — Телеграмму о том, что возлюбленная моя на пароходе прибывает в город Вольск. Я вызвал лучшего кучера Илью и сказал: «Тройку! Орловских!» В России по фамилии моего прапрадеда лучших лошадей именуют «орловская порода». И вот я в коляске. Говорю: «Илья, сорок минут тебе до Вольска». А до Вольска двадцать пять верст. И кони понесли меня. Это был поистине бешеный бег. Мы подскакали к пристани в то время, когда причаливал пароход с моей возлюбленной. Ее звали Настенькой. Ах, Настенька! Настенька! — и граф, предавшись воспоминаниям, смолк.

— Так что же дальше? — спросил Николай Кораблев.

— Ах, да. Мы подскакали к пристани. Кони, вся тройка, разом пали на землю, а у Ильи кожа с рук снялась, как перчатки. Вот так, — показал граф, как бы сбрасывая перчатки. — Я встретил Настеньку и, сходя по трапу, кивнув на издыхающих коней, сказал: «Вот, Настенька, что делает моя любовь к тебе!» А вечером?.. Вечером она отплатила мне за мою тройку лучших коней. Ах, как отплатила она мне! — он выпрямился и гордо закончил: — Вот как я жил!

«Ну и дожил до свинячьего!» — чуть не сказал Николай Кораблев.

3

Потом Николай Кораблев познакомился и с комендантом города Бенда — то был действительно немецкий француз, человек жуликоватый, распутный и жадный до невероятности. Он тащил из города все, что попадалось под руку, вплоть до дверных ручек, шпингалетов, крючков из здания комендатуры. Юркий и пронырливый, он ходил, вытянув лицо, как бы все вынюхивая, высматривая. Познакомился и с другими властями, а главное, с Фрицем Бломбергом. Этот, не переставая, упорно, изучающе смотрел на Николая Кораблева, все еще, видимо, не доверяя ему. И однажды, на буйной вечеринке—а они устраивались то и дело,— спросил:

— Слушайте, Карл. Вы немец, но почему у вас такой язык?

— Я ведь из Саксонии. У нас так говорят, — ответил он и по глазам Бломберга понял, что тот ему не поверил.

«Значит, следит, изучает. Его, пожалуй, надо первым убрать!» — решил тогда он, и после этого они начали друг за другом охотиться.

Но главное — Николай Кораблев работал. Он по разрешению Шрейдера отцеплял бракованные вагоны, паровозы, загонял их в тупики, затем посоветовал шефу организовать ремонтные мастерские.

— Но это надо делать только через вашего дядюшку.

— А где люди... рабочие... инструменты?

— Все достанем. Только пусть ваш дядя разрешит нам организовать мастерские.

Дядя фон Шрейдера разрешил, даже одобрил. Тогда Николай Кораблев связался через Яню Резанова с генералом Громадиным и попросил у него человек тридцать партизан, знающих железнодорожное ремесло... И дело пошло «в гору»: станция все больше и больше загружалась вагонами, паровозами, однако дядюшка одобрял, а в газете появились статьи, восхваляющие деятельность герра Шрейдера, всеобщего шефа...

Но вот вчера в ночь случилось то, чего не ждал даже Николай Кораблев: Громадин поднял на ноги жителей деревушек, и они вместе с партизанами во всех направлениях подорвали мосты и рельсы.

Станция Бобер закупорилась.

К этому дню и Сиволобов умело провел свою работу. Семья начальника станции Татищева уже давным-давно была переправлена к партизанам, переправлены и семьи большинства железнодорожников. Сиволобов, приглядевшись к тому или иному рабочему, определял его настроение по тому, как он работает: вяло ли, с придурью или преднамеренно все «корежит». Обычно, встретившись с таким человеком наедине, задавал он весьма туманный вопрос:

— Ну, как, что, брат, а?

И если рабочий, отвернувшись, поглядев во все стороны, произносил тоже, казалось, совсем невнятное, вроде того:

— Да что! Ну! Э-э-э! — тогда Сиволобов не отставал и, улучив момент, заводил с ним серьезный разговор, а получив согласие на отправку семьи к партизанам, выполнял это безотлагательно.

Узнав о том, что партизаны растащили рельсы и что станция закупорена, встревоженный Шрейдер вызвал к себе Николая Кораблева и, сидя за столом, вцепившись руками в свою птичью головку, простонал:

— Нас повесят!

— Советчиков не вешают. Тем более, я партизанам ничего не советовал. А впрочем, надо повесить вашего дядюшку, фельдмаршала фон Шрейдера! — дерзко бросил Николай Кораблев.

— Это что-о-о? — закричал, даже притопнул ногой герр Шрейдер. — Это как?

— А вот так, — и Кораблев сделал движение рукой вокруг шеи, как в первую встречу сделал это герр Шрейдер.

— За что?

— Он вас определил сюда шефом, он утвердил ваше распоряжение о браке, о ремонтной мастерской.

— Нет! — испуганно воскликнул Шрейдер. — Лучше повесить начальника станции.

— Сбежал, как сбежали и все. Станция пуста. Вы уж лучше разыщите своего дядюшку: ведь вы не пушечное мясо.

— Ах, да, да! — и, вызвав адъютанта, герр Шрейдер приказал немедленно по телефону связать его с фельдмаршалом.

— А я, с вашего разрешения, пойду на станцию. Ведь там никого нет.

— Да. Идите. Вы мой спаситель.

«Нашел спасителя!» — проговорил про себя Николай Кораблев.

Но только он вышел из здания, как в полутьме натолкнулся на человека. И отшатнулся, заметив, как блеснуло пенсне.

— А-а-а! Саксонец! Вы через час мне будете нужны, — неопределенно произнес Бломберг и, булькающе захохотав, скрылся в парадном.

4

«Следует Бломберга поскорее убрать», — раздумывая так, Николай Кораблев нырял под вагоны, обходил паровозы, представляя себе огромнейшее железнодорожное хозяйство, скопленное здесь. Через несколько часов все это будет искорежено, взорвано, превращено в лом и мусор.

Пройдя в самый дальний тупик, он вспомнил, что тут стоял эшелон с немецкими солдатами. Надо проверить, что те делают. И он, притушив большой, массивный фонарь, шагнул к теплушкам. Прислушался. Стояла тишина. Тогда он зашагал смелее. Опять прислушался и осветил фонарем. Двери в вагонах были открыты, теплушки пусты.

«Значит, ушли. Жаль! Очень!» — погоревал он и тронулся дальше. Пройдя еще несколько метров, остановился: из бушующей сиверки до него донеслись крики. Он осторожно двинулся на крики и вскоре рассмотрел, как немцы сгружают танки с платформ. «Ну, этого им не надо позволять!» — решил он и пошел по направлению к блиндажу Сиволобова. И вдруг столк-

нулся с человеком. Тот хотел было увернуться, скрыться в пурге, но Николай Кораблев схватил его за плечо.

— Кто?

— Это я, — ответил человек.

Николай Кораблев направил свет фонаря в его лицо и, признав агента гестапо, намеренно грубо закричал:

— Что вы тут делаете? Укрываетесь? Надо работать: у нас катастрофа, а вы прячетесь!

— Я сгружаю танки... Мне понадобилось на минутку в сторону. У человека каждый день такие минуты бывают.

— А-а-а! — Николай Кораблев отпустил агента и тронулся вдоль эшелона, а в конце, встав за вагон, подумал: «Что же делать? Мне обязательно надо попасть к Сиволобову. А ведь этот следит за мной! Бломберг подослал», — в эту секунду из сиверки снова вырвался тот же агент, и Николай Кораблев, не раздумывая, а с тем же омерзением, с каким бьют крысу, со всей силой ударил его тяжелым фонарем по голове. Агент вскрикнул и упал, тогда Николай Кораблев, отыскав ногою горло, всей тяжестью тела, даже подпрыгнув, навалился на него и держал ногу до тех пор, пока тело агента дрогнуло последний раз. «Да-а! Вот так же, очевидно, и Таня убила Коха! Я ведь тоже первого убиваю!» — подумал он и, сдвинув труп под вагон, прихватив с собой разбитый фонарь, крупным шагом направился к Сиволобову.

Вскоре он условно постучался в дверь. Она отворилась, из землянки хлынул слабый свет. Вглядевшись, Сиволобов сказал:

— А-а! Николай Степанович. Проходите. Проходите. Теперь вы уж не Карл Карлович, а Николай Степанович, чистой русской души человек, — и, убрав со стола на скамеечку два автомата, несколько гранат, радостно добавил: — А «парубок» мой готов.

— Вот и налейте мне чайку, Петр Макарович.

«Парубком» Сиволобов называл небольшой, из белой жести, закоптелый чайничек; он вскипал за несколько минут, после этого фырчал, визжал, весь

дрожал, даже подпрыгивал, как бы собираясь куда-то кинуться с горячей плиты.

Николай Кораблев дрожащими пальцами придвинул к себе стакан с чаем. Сиволобов подметил это и, поняв все по-своему, сказал:

— Ну, навертели вы тут делов! Ай-яй! Вагонов-то сколько, паровозов-то сколько!

— Все делали, Петр Макарович.

— Один, конечно, что? Муха. Все, ясно. Однако придумать же надо! А кто придумал? Наш Николай Степанович! Вот кто царство мертвое организовал! Оттого, видно, и волнение большое.

— У кого?

— У вас: пальцы-то дрожат. Вижу.

— Не от этого. Я человека впервой убил. Тут, недалеко. Агент гестапо за мной гнался. Ну, я его фонарем, а потом ногой на горло. Там был спокоен, а вот сейчас дрожит все.

Сиволобов задумался.

— Положим, не первого, а второго. На мосту в лицо полковнику из пистолета трахнул.

— То я как-то забыл.

— Жалко? — чуть спустя спросил Сиволобов.

— Нет.

— А чего пальцы дрожат?

— Да уж очень все напряжено. Вот что, Петр Макарович, угости меня еще чайком, а сам беги, передай Пикулеву, чтобы приступали. Можем опоздать. Фашисты из теплушек уже выбрались, с платформ танки сгружают. Когда покончите с солдатами, подожгите в разных концах цистерны с нефтью, с бензином...

— Чтобы нашим ребятам светлее было?

— Ага! А то сам видишь, что несет с небесей.

— Пейте. Приглядите за «парубком», а я пойду. Недалеко. Пикулев с рацией. Маленький, а гордый, Пикулев, — проговорил Сиволобов и, долив чайник, поставил его на плиту и вышел из землянки.

Николай Кораблев долго сидел, глядя в стакан с густым чаем, почти ни о чем не думая, а так — в каком-то глубоком забытьи. Но вскоре он почувствовал, как в нем начала расти радость. Вот она все

больше и больше, мощнее и через несколько минут захватила его всего.

— Это вам за мою родину, за моего сына, за страдания Татьяны, за смерть Марии Петровны и тех, кто пал на поле брани... за всех честных людей! Да, так-то вот вам, — добавил он и большими глотками выпил стакан чаю.

«Парубок» зашумел, забулькал, засвистал, начал прыгать на плите. Николай Кораблев сдвинул его в сторону, налил еще стакан чаю и стал внимательно прислушиваться к тому, что творится на воле. Там стояла мертвая тишина. Это насторожило его. Он вышел в тамбур, долго стоял, обдуваемый злым ветром, и уже встревоженно подумал:

«Опоздали. Выгрузят немцы танки... и тогда что?— но в эту минуту со стороны, прерываемые злым ветром, донеслись крики и резкие, как щелчки, выстрелы. — Ага! Значит, явились друзья!» — Он вышел из тамбура и прислонился к толстой березе.

Белесые хвосты сиверки крутились то тут, то там, но они были уже на исходе, обессиленные, а со станции то и дело неслись крики, выстрелы, мигали вспышки огня. Потом все неожиданно оборвалось: сиверка, крики, выстрелы. Он посмотрел на светящийся циферблат часов. Стрелки указывали без четырнадцати шесть.

«Чего это они так долго возятся с кучкой немцев? — с тревогой подумал он. — Видимо, те приняли оборону. Опоздают, в семь налетит наша авиация — и всем смерть! Пойду помогу», — он шагнул в сторону, как вдруг, въедаясь во тьму, в ряде мест в небо брызнуло пламя. «Ага! Значит, подожгли цистерны. Молодцы! Ну, теперь всему этому конец!» — решил Николай Кораблев и снова спустился в землянку, припер за собой дверь, налил из «парубка» чаю, положил на стол автомат и пару гранат. Но вскоре тревога снова подняла его и вывела в тамбур. Отсюда он глянул в сторону железнодорожного узла.

Сиверка совсем улеглась. Серело. Огонь от подожженных цистерн густо окутался дымом — черным, смоляным.

«Вот это факелы! — радостно подумал Николай Кораблев и впервые за все свое пребывание «советчиком» у герра Шрейдера рассмеялся. — Идиоты! На кого полезли!» — и, заслыша русский возбужденный говор, попятился, намереваясь скрыться в землянке. Он не хотел, чтобы его заметили партизаны, а они — их было трое — появились уже перед тамбуром, и один из них, выхватив гранату, проговорил:

— Одна осталась. Снесу-ка я эту фашистскую хибару! — и было замахнулся, намереваясь запустить гранату.

Николай Кораблев весь содрогнулся и неестественно визгливо закричал:

— Да что ты? С ума спятил?!

Партизан еле удержал бросок и перепуганно пролепетал:

— Эх, в сам деле человек тут!

— А ну! Ну-ка, валяйте отсюда! — послышался голос Сиволобова.

— Э-э-э! Смекай, что здесь. Штаб наш, а ты хотел гранаткой! — проговорил второй партизан, и они скрылись в лесочке.

Сиволобов вбежал в тамбур и, видя, как по лицу Николая Кораблева горошинками катится пот, проговорил:

— Вот дуролом: угостил было гранаткой. Страшно?

— Еще бы! По дурости погибнуть страшно!

— Ну ничего, обошлось, и с теми со всеми квиты. Здоровые танки сюда доставили.

— Новой марки?

— Нет, все те же, «тигры». Давайте-ка чайку попьем да на зрелище глядеть будем. Ну, как ты тут, «парубок»? — обратился он к чайнику. — Не скучал без меня? А ну, подвинься на горяченькое местечко, — и Сиволобов передвинул чайник на плиту.

Попив чайку, Николай Кораблев, забирая с собой автомат, хотел было выйти в лесочек и оттуда понаблюдать, что творится на железнодорожном узле, но Сиволобов усмехнулся, сказал:

— Не надо. У меня есть своя труба. А туда выходить нельзя: вдруг бомбочка сорвется, да и погладит

нас, а мы еще генералу нашему понадобимся. — Он открыл ловко замаскированное окошечко и подвел к нему Николая Кораблева. — Вот моя труба.

Через маленькое окошечко, в багровом отсвете пылающей нефти и бензина, открылся почти весь железнодорожный узел, забитый паровозами, вагонами. Затем они оба перевели взгляд в небо—спокойное, серое, пробуждающееся... и долго напряженно смотрели, как смотрят люди в море, ожидая прибытия парохода с родными, близкими.

Вдруг из серости с запада вынырнули тяжелые, медлительные бомбовозы. Они ползли, словно чугунные гигантские мухи, а около них, сопровождая их, зигзагообразно неслись юркие быстрые истребители.

— Неужто немец? — со страхом произнес Сиволобов.

— Непонятно, — проговорил Николай Кораблев, затем, вглядевшись, успокоительно добавил: — Нет. Наши: сделали заход с запада.

Бомбовозы медленно развернулись, легли на крыло, потом выправились... и вон оторвались одна, другая, третья... десятая черная капля. Капли пошли вниз. Растут... и сразу — ураган грома, грохота, визга.

— Давай! Давай! Давай! Молодчики! — прокричал Сиволобов, махая руками, как бы приглашая самолеты к себе. — Вот я сейчас...

Не успел он докончить, как с запада из тьмы вынырнула новая партия бомбовозов. Они так же медленно ползли по небу, а около них зигзагообразно неслись юркие, с тонкими талиями, похожие на ос истребители. Вот и эти бомбовозы легли на крыло, развернулись, выправились, и от них оторвались капельки... и опять грохот, визг, гул. Летят вверх доски от вагонов, гнутся рельсы, рушатся платформы, валятся на землю танки, пушки, вспыхивают цистерны, а здание станции, будто кто-то могучий дунул под него, осело и развалилось. Вскоре с запада вынырнула новая партия бомбовозов, потом еще и еще... Начали рваться снаряды... Они рвались с какими-то передышками. Пауза. Потом взрыв. Пауза. Взрыв. Небо розовело от

восходящего солнца. Порозовел и запад. А снаряды все рвались и рвались. Пауза — и взрыв. Пауза — и взрыв. И все горело. Горели цистерны, вагоны, паровозы.

— Вот это работка! — с восхищением проговорил Сиволобов и тихо, даже с дрожью в голосе, спросил: — А теперь мы куда с вами, Николай Степанович? Ведь они нас обнаружить могут... тогда прямо живьем в огонь закинут, — он передернулся. — Не хочу так умирать. В случае чего сдаваться не будем. От пули умереть за родину — дело честное, а уж если тебя враг схватил да как над кошкой измывается — плевое это дело!

— Сдаваться не будем, — согласился Николай Кораблев, все еще не отрываясь от окошечка. — Смотрите, Петр Макарович, летят. Это уже чужие.

Откуда-то из-за Днепра вынырнули фашистские истребители. Серо-черные, они стремительно пронеслись над станцией, затем вернулись, как возвращаются ястребы, отыскивая пищу. Покружившись над узловой, они скрылись на западе.

— Эх, после драки кулаками машут! — насмешливо произнес Сиволобов, и опять с дрожью в голосе: — Так куда же мы с вами, Николай Степанович? Может, покинем дворец сей и утекем пока в лес, а там ночью к товарищам своим? Однако от генерала приказа нет.

— Вот и подумайте, Петр Макарович: мы с вами воины и без приказа пост не имеем права покинуть. Подождем. Думаю, вот-вот и заявится Яков Иванович или Пикулев. А пока давай чай пить... да и покушать бы чего-нибудь.

— Такое дело найдется, — Сиволобов повернулся к плите; там кипел «парубок»: дребезжал, подпрыгивал, брызгал паром. — Да что ты рассердился как? — обратился к нему, отодвигая его в сторонку, Сиволобов. — На что рассердился? Делом мы были заняты. Не до тебя, стало быть, — и, выложив на стол колбасу, кусок хлеба, налил чаю и сел за стол.

Они поели, попили чаю и тревожно задремали. Сиволобов даже уснул, склонив голову на облокоченную руку, вздернув дулькой носик...

И только к вечеру к ним условно постучался Яня Резанов. А войдя, сев на скамеечку, сказал:

— Насилу пробрался. Вот псы: кругом рука к руке поставили цепь солдат! Окружили, стало быть, станцию. Пробейся-ка! Впрочем, здравствуйте.

Они вначале недоуменно посмотрели на него, затем оба встряхнулись, и на его «Впрочем, здравствуйте» Сиволобов ответил:

— Отчего «впрочем»? По-настоящему здравствуй, сокол. Видал дела рук наших?

— Наворочали... ух ты! Все вот так, — и Яня закрутил кулаками, словно что-то перемешивая.

А Сиволобов с восхищением произнес, кивая на Николая Кораблева:

— А все он! Перестал быть дитей в военном деле. Гляди, чего удумал: собрал все паровозы, вагоны в кучку и в прах превратил!

— Вместе собирали, Петр Макарович. Я ведь уже говорил об этом, и вы согласились со мной,—чувствуя, как похвала, будто змея, забирается в него, хмуро произнес Николай Кораблев, протягивая руку Яне, здороваясь с ним. — Ну, какой приказ принесли от генерала?

Яня долго пыхтел, возился на скамеечке, потом разжег затухшие дрова, налил в чайник воды, поставил на плиту и только после этого проговорил:

— Тяжелый приказ, Николай Степанович. Велено нам всем троим во что бы то ни стало втереться в доверие к этим пакостникам. Я все делал, а этого еще не было, и сказал генералу: «Тяжело». Он ответил: «Легко только в жмурки играть. А тут надо гиену приручить. Приручают ведь тигров, львов и всяких зверей». Говорю на это: «Они хуже гиен». Отвечает генерал: «Вы ведь советские люди, ну и приручите тех, кто хуже гиен...» А потом подумал, еще сказал: «Николаю Степановичу и Петру Макаровичу за работу мой земной поклон», — Яня оторвался от плиты и по очереди отвесил низкий поклон сначала Николаю Кораблеву, потом Сиволобову.

Сиволобов растрогался до слез, схватил его за плечи, выпрямил, простонал:

— Яша, Яшенька! Да что ты? Уж больно низко!

— Приказ передаю, — ответил Яня, затем, глядя в большие карие глаза Николая Кораблева, сказал: — И еще велел генерал передать, что Татьяна Яковлевна жива, здорова, а обратно ехать не может: слышь, пока душу от ярости не освобожу, не приеду.

Николай Кораблев невольно вспомнил последнюю встречу с Громадиным. Тот, смущаясь и опуская глаза в землю, спросил:

— Николай Степанович, посоветуйте, как быть? Как скажете, так и будет. Два раза приглашал Татьяну Яковлевну. Не едет. Может быть, сообщить ей, что вы здесь? Боюсь, понесется сломя голову и попадет в лапы гестапо.

— Нет! Нет! Этого делать не следует! — с испугом ответил Николай Кораблев. — А если можно, то сообщите ей, что я «жив... здоров и... — он чуточку подумал и потом как-то хорошо и просто улыбнулся, — и люблю тебя».

— Люблю тебя? Вот на такие слова у нас шифра нет. Ну, подыщем. Передам.

«Значит, она знает, что я жив, здоров!» — обрадованно подумал он сейчас, не отрывая взгляда от Яниного лица, а тот добавил:

— И еще чего-то сказал генерал. Чего, понять не могу. Слышь, слово, на которое не было шифра, тоже передано Татьяне Яковлевне.

— А-а-а! — догадался Николай Кораблев и весь вспыхнул. — Я знаю его, то слово, Яков Иванович, — затем встал, посмотрел в окошечко, спросил: — Снаряды перестали рваться?

— Утихли, — ответил Яня. — Но все горит, пылает.

— Это я вижу, — сказал Николай Кораблев, всматриваясь в узловую станцию, окутанную черным дымом и сумерками. — Здесь, конечно, сидеть нельзя: как только стихнет пожар, немцы начнут сжимать кольцо и безусловно нарвутся на этот «дворец». Значит, нам следует...

— Обжечься, — перебил его Яня. — Вид такой принять, будто мы спасали, нас завалило, и вот мы перед

глазами начальства — обожженные и прибитые... Герои!

— Но Петр Макарович может так представиться: он стрелочник. А вы, Яков Иванович?

— А я тоже стрелочник, Петр Васильевич Татаринов. Тот остался у нас, а личность свою мне передал.

— Ишь ты, какой ловкий! — даже с профессиональной обидой, точно он сам всю жизнь проработал стрелочником, упрекнул Сиволобов. — Ты что думаешь, быть стрелочником — тренди да бренди! Не-ет! Ты тут поучись! Стрелочное дело — это, брат ты мой, искусство: не зря ведь на стрелочника все валят.

— И поучи, — попросил Яня.

— Согласье даю, — ответил Сиволобов и, сдвинув на столе стаканы, начал: — Вот гляди: линия, вот другая. Идет паровоз. У тебя приказ: перевести его на такую-то линию. Переводи, несмотря на то, что на этой линии, может, черти картошку варят.

— Ну, пока вы тут обучаетесь, я пойду... к герру Шрейдеру. Что будет, то и будет!

5

Выйдя на волю, он посмотрел в сторону железнодорожного узла. Там все горело. Дым валил, как от подожженного нефтяного озера. Городок виднелся справа. Николай Кораблев подумал: обходить пожар далеко и можно нарваться на цепь солдат, — не лучше ли вот так — перерезать вон тот угол, где дыма, кажется, меньше, выйти на разрушенное здание станции и отправиться в город к герру Шрейдеру.

— Да. Пусть будет, что будет! — тихо проговорил он, однако плотно прижал в кармане браунинг. «Я, конечно, им живым не дамся!» — и он тронулся на «угол».

Бездымное пространство он пробежал намеренно быстро, чтобы никто не заметил его, а попав в «угол», неожиданно очутился в густой, черной, масленой гари. Пошел, разгребая гарь перед собой руками, как пловец воду, предполагая, что пространство в какие-то двести-

триста метров он проскочит быстро и очутится на разрушенной станции, но вскоре стал натыкаться то на обломки обгоревших вагонов, паровозов, то на погнутые, изуродованные рельсы, на расплавленную массу танков, пушек. Обходя все это, он начал плутать, хотя ему самому казалось, что идет по прямой линии, в одном направлении. А дым налезал на него, кутал с головой, сбивал с ног. Но он все шел и шел, обходя наваленное, погорелое, боясь только одного — как бы не сбиться с пути и не попасть в горящую нефть или бензин.

«Если в такое попаду — погиб! — мелькнула у него страшная мысль, и вдруг, споткнувшись на изогнутом рельсе, падая, он сунулся руками во что-то раскаленное. — Неужели нефть?» — Он моментально вскочил, замер, боясь двинуться, затем, приложив руку к губам и ощутив, что она сухая, растерянно пробормотал:

— Нет. Видимо, здесь сгорел танк. Куда же итти? Ага. Я шел вот так. Круто поверну и отступлю, а там направо, — он развернулся, пошел, думая, что идет по старому, пройденному пути, но тут ему еще чаще стали попадаться препятствия: то скелеты вагонов, то сваленные на бок или опрокинутые паровозы, а дым уже кучился перед ним, выбрасываясь клубами, как из кратера.

«Значит, я иду в самое пекло», — весь содрогаясь, решил он, но тут дым обрушился на него, как грозовая туча, и он начал глотать горький воздух, открывая рот, как птица в жару. Сердце застучало так, что слышалось его биение, в голове заныло, а ноги подламывались, будто кто вдогонку бил под коленки палкой. А он все шел и шел, стремясь вырваться из бушующей гари. И резко остановился: из черного дыма с треском, с шипением стали выбиваться красные языки, а впереди, за красными языками, что-то с грохотом рушилось, стонало, выло.

«Пропал!» — и он обессиленно опустился было на землю, все так же хватая ртом воздух. «Да. Так ты, конечно, зазря пропадешь! — пришла ему другая мысль. — Вставать надо и... выбираться». Он поднялся,

повернул вправо и пошел, куда повели ноги. А дым хлестал, бил в лицо, и он, задыхаясь, закричал. Его крик утонул в бушующем, воющем пожаре.

6

Во время налета советской авиации на узловую станцию городок Бобер почти опустел: часть жителей, прорвавшись через заградительную цепь немецких солдат, ушла к партизанам, те, кто остались, забились по погребам, подвалам, а власти собрались за городом в своеобразной крепости коменданта Бенда. Эта крепость внешне напоминала древний русский военный городок. Она была обнесена высоким дубовым тыном. Тын тянулся в два ряда, а середина его была забита песком и камнем. Во дворе, за тыном, глубокие блиндажи, некоторые даже с удобствами, ваннами, уборными. Такой городок построил Бенда на всякий случай. И случай наступил. Тогда все власти, в том числе и позеленевший за эту ночь герр Шрейдер, переправились в городок и спрятались по блиндажам, выставив у тына усиленный караул с пушками и пулеметами.

Мало ли собак живет в городах, селах. Иногда они брешут, иногда грызутся. А вообще-то живут. Но стоит только их свести в одно помещение, как начинается самая свирепая драка...

И эти — герр Шрейдер, герр Бенда, герр Бломберг — все эти герры и фрау жили в Бобре на разных квартирах, завидовали, тихонечко злословили, легонечко, затаенно, но довольно злобно шипели друг на друга. Однако как-то жили, даже частенько встречались на попойках. А вот тут, загнанные, как крысы, в блиндажи, землянки и окопчики, они сразу сорвались — и вспыхнула несусветная грызня. Сначала все, и герры и фрау, напали на графа Орлова-Денисова: то была чужая кровь, вроде лисьей среди собак. Его гнали из блиндажей, он переправлялся в землянку, но его выгнали и отсюда; тогда он, высокий, огромный, с болтающимися полами пиджака, начал бродить по двору, как очумелая корова.

Сорвав зло на графе, немцы схватились между собой. Конечно, сначала грызню подняли немки, втянув в это дело и мужей своих. Те вскоре тоже зарычали, как волкодавы на цепи. И пошло... Готовые перервать друг другу глотки, они кинулись с жалобами ко всеобщему шефу Шрейдеру.

Герра Шрейдера, за неимением лишней жилплощади, поместили в особый блиндаж, вместе с Бломбергом. Бломберг всю ночь где-то пропадал, а герр Шрейдер сначала принимал жалобщиков, потом плюнул, крикнул:

— Вон от меня! — и принялся дуть бургонское, пригласив бесприютного Орлова-Денисова.

Они целый день пили, ели, спали, потом опять пили, ели, рассматривали фотоснимки замка, а вечером к ним в блиндаж вошел измученный, обозленный, с надтреснутым пенсне Бломберг. Закурив сигаретку, презрительно сминая ее уголком рта, он сказал:

— Э-э! Шеф! Ваш советчик — партизан!

Шрейдер сначала вылупил птичьи глаза, потом мигнул, спросил:

— У вас тут? — и постучал пальцем себя по голове.

— Что тут? Договаривайте.

— Мозг? — увильнул Шрейдер. — Но ведь между мозгом коровы и человека есть разница, как вы думаете, граф?

— Угу, — невнятно пробурчал граф, боясь одновременно и Шрейдера и Бломберга.

— Я эту разницу прекрасно знаю: изучил на людях, — тоже неуловимо кольнул Бломберг. — И спрашиваю вас, великий наследник великого фельдмаршала Шрейдера...

— Фон Шрейдера, — поправил тот и повел тонким, заостренным носом, точно собирался клюнуть Бломберга.

— Совершенно верно, фон Шрейдера. Я вас спрашиваю, где ваш советчик? Он ушел к партизанам. Даю вам слово офицера!

— Ну что вы, что вы! — граф Орлов-Денисов постариковски замахал руками. — Да я его лет десять уже знаю! Мы с ним вместе работали на Майсенской

фарфоровой фабрике: он инженер, электрик, я бухгалтер, — и для пущей важности приврал: — Он же сватал у меня дочь. И мы хотели породниться, но тут война, — граф взмок и смолк, думая: «Эко что я порю!»

Герр Шрейдер искоса, лукаво посмотрел на Бломберга.

— Теперь вы, конечно, понимаете, на каких людях надо изучать проблему разницы мозга коровы и человека. А-а-а! Выпьем, Фриц. Вы скоро и меня и графа зачислите в партизаны!

Бломберг взял чистый стакан, сполоснул его вином, тщательно вытер носовым платком, затем посмотрел на свет. Убедившись, что стакан безукоризненно чист, налил вина, выпил и лег на деревянную кровать.

Герр Шрейдер, скрывая язвительность, зная, что Фриц Бломберг — выходец из крестьян, спросил:

— Вы, Фриц, вероятно, воспитывались в весьма чистоплотной и благородной семье?

— А что? — буркнул тот.

— Так тщательно вытираете всякий раз стакан. Или вас этому научили в Варшаве, когда вы работали в интендантстве?

Бломберг, сдерживая бешенство, поднялся, надел на голову фуражку с высоким, гордым околышем и, прищелкнув каблуками, кинул:

— Адье, — и вышел из блиндажа.

Шрейдер захохотал, крича вдогонку:

— Вы забыли! Мы — немцы! Это Бенда не то француз, не то хрен с горошком. Давайте, граф, выпьем, пока можно.

И они всю ночь то пили, то ели, то спали и снова принимались пить.

7

Через два дня пожар на узловой станции стих. Солдатам дана была команда, суживая круг, двинуться вперед:

— Даже птицу не пропускать!

Те двинулись, держа наизготовку автоматы, наталкиваясь на искореженные танки, пушки, разорванные

паровозы, обгорелые трупы солдат, и вскоре в глубокой воронке увидели человека, находящегося в глубоком обморочном состоянии. Офицер спустился туда, обшарил карманы человека и, найдя свидетельство, в котором было сказано, что «Карл Штумм является главным советчиком герра Шрейдера», отдал распоряжение, чтобы солдаты немедленно доставили его в городскую больницу, а сам позвонил герру Шрейдеру в блиндаж и доложил:

— Мы нашли вашего советчика. Он немного обгорел. Сейчас в больнице.

— Очень хорошо-о-о, — Шрейдер даже запрыгал на одной ноге, не отрываясь от трубки, насмешливо глядя на Бломберга. — Что? Что вы еще? А! Запомнить вашу фамилию? Старший лейтенант Курц? Очень приятно. Запомню и попрошу у дядюшки фельдмаршала вам Железный крест, — и, положив трубку, прошелся по блиндажу, затем, обращаясь к графу, сказал: — Теперь и вы понимаете разницу между мозгами коровы и человека?

— А как же, шеф.

— А вы, Фриц?

— Я хочу спать: не спал всю ночь.

— А все-таки пробовали вы познать эту разницу?

— К чему опять?

— Мой советчик Карл находится в больнице: весь обгорел. Хе! «Ушел к партизанам!» «Партизан»! Какой у вас меткий глаз, Фриц!

Николай Кораблев, действительно с обожженными руками, опаленными бровями, обритый, забинтованный, лежал в больничной палате, и не один: рядом с ним на двух койках виднелись обожженные Сиволобов и Яня Резанов.

Когда доктор вышел из палаты, Яня приподнялся на кровати и прошептал:

— Как же это вы, Николай Степанович? Мы-то туда-сюда. А вы?

— И я туда-сюда.

Бритоголовый, с опаленными бровями, с наклейками на лице, осунувшийся, почерневший от дыма,

Николай Кораблев не походил на себя. Повернувшись к своим друзьям, прошептал:

— Ну! Работнички! Хорошо, что так кончилось. И больше говорить не будем: стены тоже иногда умеют слушать.

На следующее утро он уговорил доктора, выписался из больницы и в коляске герра Шрейдера был отправлен на квартиру, а через час уже сидел в кресле перед шефом.

Когда он вошел в кабинет, герр Шрейдер кинулся ему навстречу, хотел было схватить за руки, но, увидав, что те забинтованы, обнял советчика за плечи и потянулся, как земляной червяк.

— Скорблю. Печалюсь! Не спал, не пил, не ел все эти дни, разыскивая вас. Ну, ничего. Теперь радуйтесь. С нами не будет этого, — и обвел пальцем вокруг шеи, как бы накидывая петлю. — Не будет: партизаны. Понимаете? Все набедокурили партизаны. Мы исправные, мы на страже, но партизаны... Почему не уничтожат их? Э-э! Так мы с вами на них, на них... на партизан! — и он замахал на окно тощенькой ручкой. — Все на них свалим, на партизан!

В этот самый момент к зданию школы подкатило несколько машин. Враз во всех машинах открылись дверцы, враз из первой машины, как из мешка, высыпалась охрана, вооруженная с ног до головы, затем из второй вывалился довольно грузный, низенький и круглый, как мяч, фельдмаршал фон Шрейдер, а из других—генералы, полковники, адъютанты, местные власти.

Герр Шрейдер побежал встречать дядю, а Николай Кораблев припал к раскрытому окну.

Фельдмаршал не успел сделать и шага, как вся свита — генералы, полковники, адъютанты, местные власти — окружила его, став наготове, вытягиваясь, подрагивая ляжками, пристукивая каблуками, глядя только на него, на фельдмаршала. Вот он лениво повел голову вправо — и все повели головы вправо. Вот он заглянул в небо — и все заглянули в небо. Вот он сделал маленький шажок — и все, вздрагивая, подергивая ляжками, сделали шажок.

Рассматривая свиту, Николай Кораблев заметил и

знакомых. Вон Фриц Бломберг. Он теперь уже не такой грозный, а скорее прибитый. Вон Бенда — улыбчивый, будто перед ним барышня. Вон граф Орлов-Денисов — этот идет, обнажив голову. Его лысеющая голова напоминает башку тощей лошади.

Но тут герр Шрейдер вылетел из парадного и со всего разбегу опустился перед дядей на колени, целуя его протянутые руки, произнося с дрожью:

— Дядя! Мой милый дядя! Война — жестокая вещь: она требует жертв! Но почему? О, почему судьба такую тяжесть свалила на мое сердце? Как я ни старался, что я ни делал, а гром ударил в меня!

«Ах, сукин сын!» — подумал Николай Кораблев.

Но дядя кому-то подмигнул, тоже изобразил печальное лицо и вскинул вверх руки. За руками потянулся круглый живот, затем толстенькие ляжки.

— Друг мой! Совершенно верно, война требует жертв, — с дрожью в голосе проговорил он. — Но... во имя нашего фюрера мы должны все перенести и смело смотреть смерти в глаза, — он прикоснулся к племяннику, как бы поднимая его, и тот встал, украдкой отряхнул пыль с колен, а фельдмаршал двинулся вперед — к парадному крыльцу, и тогда за ним двинулась вся подрагивающая, подпрыгивающая свита.

Послышался стук каблуков, открылась дверь, и в нее боком прошел фельдмаршал, а за ним юркнул, обгоняя его, подставляя ему кресло, герр Шрейдер. Потом вошли генералы, и тоже чуточку бочком, за ними полковники, адъютанты, местные власти, и кабинет засветился напряженно сияющими лицами, улыбками, начищенными сапогами, отутюженными френчами, пряжками. Сев в кресло, фельдмаршал искоса посмотрел на Николая Кораблева, и тогда все, как будто об этом было договорено там, за дверью, тоже искоса посмотрели на Николая Кораблева. Но вот герр Шрейдер шагнул к нему и воскликнул:

— Мой спаситель! Мой советчик! Мой друг! Смотрите, как он пострадал от партизан!

Тогда глаза у фельдмаршала подобрели, и вдруг они у всех подобрели — у генералов, полковников, адъютантов, местных властей и даже у Фрица Блом-

берга, а фельдмаршал высморкался в батистовый платок, затем, не пряча платка, а держа его в левой руке, правую протянул к своему адъютанту, и на ладонь немедленно лег Железный крест. Фельдмаршал поднялся, подошел к «советчику» и, прикрепив крест, сказал:

— Именем фюрера награждаю вас.

Николай Кораблев растерялся и ничего не ответил. Он только склонил голову, чтобы никто не заметил, какая испепеляющая ненависть вспыхнула в его глазах. Фельдмаршал хотел было подать ему руку, чтобы поздравить, но, увидав, что руки забинтованы, потрепал за локоть. Тогда все — генералы, полковники, адъютанты, местные власти — все принялись трепать за локоть Николая Кораблева, а фельдмаршал, растрогавшись, заговорил, поводя пухлой ручкой, похожей на ручку ожиревшей вдовы:

— Я всегда любил простой народ. Наш простой народ — о-о-о! Я всегда... — но над его ухом склонился герр Шрейдер, что-то шепнул. — Неужели? — промолвил фельдмаршал и, как будто ничего не случилось, продолжал: — Я всегда любил инженеров. Это индустрия. Это... Я всегда...

В Николае Кораблеве поднялась всесокрушающая злоба. Он закачался и еле слышно проговорил:

— Прошу прощения. Но я очень болен... И разрешите мне покинуть столь высокопоставленное общество.

Не дождавшись разрешения, он, весь содрогаясь, вышел из кабинета, спустился в нижний этаж, почти с разбегу кинулся на диван и тихо проговорил:

— Чопорные, глупые! И как им, такой шантрапе, подчинилась почти вся Европа?!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Автомобиль, разрезая фарами тьму, несся по прекрасной автостраде Франкфурт — Берлин. Она тянулась в два полотна, разделенная зеленой полосой. То и дело мелькали перекидные мосты, указки городов,

поворотов, но чаще щиты, на которых светятся олени с разветвленными рогами. А по обе стороны автострады — леса, леса, леса. Черная стена лесов.

Впереди, рядом с шофером, сидит Отто Бауэр. Он склонился на правую сторону и спит, храпя с посвистом, словно подзывает собачонку. Позади, рядом с его женой, — Татьяна. Маргарита, тоже притулившись в уголке, спит. Даже от еле заметного прикосновения к Татьяне она вздрагивает, как от укола: все еще боится — русская. А Татьяна смотрит то вперед, то по сторонам, на черную стену лесов, и все думает, думает, думает.

Она уже больше года в Германии. Успела побывать в Берлине, Дрездене, Лейпциге, Франкфурте, Бранденбурге, Штеттине, в Силезии. Всюду ей, при помощи подпольных организаций, удалось проникнуть на фабрики, заводы. Если бы кто знал, сколько ей за это время пришлось перетерпеть, перестрадать, каждый раз опасаясь того, что будет арестована. Но зато теперь у нее огромнейший круг знакомых — из людей подполья и шире, из офицеров и их жен, через которых она познала быт, нрав верхних слоев. А тут все так и делится — на верхние, средние и низшие слои. Верхние — это банкиры, аристократия, промышленники, крупные землевладельцы, торговцы, возглавляемые прусской военщиной, средние слои — чиновники, мелкие торговцы, ростовщики, спекулянты, низшие слои — рабочие, крестьяне, то есть народ.

Татьяна, изучая быт, нравы «подданных» Третьей империи, старалась отыскать хоть какие-либо точки, в которых они могли бы духовно соприкасаться с советскими людьми... и находила эти точки только в народе, и то с весьма отдаленными сравнениями: судьба советского человека была тесно переплетена с судьбой советского государства, советский человек за эти годы в культурном, моральном, бытовом отношении ушел на сотни лет вперед; здесь в «низших слоях» мало кто интересовался судьбой Третьей империи, наоборот, многие глазами высказывали ненависть к гитлеровскому «благоустройству». Вслух говорить было

невозможно: те, кто вслух высказал свою ненависть, или повешен, или загнан в лагери. Миллионы таили ненависть, но она все равно пробивалась, как пробиваются подземные источники, а из них ведь создаются огромные судоходные реки. Такая река росла в народе: люди страдали, болели о судьбе родины. Но чем выше поднималась Татьяна от «низшего» слоя к верхнему, тем больше видела зазнайство, кичливость, рвачество; здесь не интересовались даже судьбой своего государства, ни тем более судьбой родины: нажива, грабежи, под прикрытием оголтелого Гитлера, — вот что стояло в центре внимания. Каждого можно было купить, и каждый готов был продаться.

«Вот про них-то и сказал Пауль — пауки и хищники, — мысленно произнесла Татьяна, — а у нас ничего похожего нет, — ей вдруг стало радостно: она вспомнила Васю и Петра Хропова. — Молодцы-то какие: уцепились за маленький хвостик — сухой кислород и открыли страшное — изготовление особого химического вещества, килограмм которого может разрушить целый город».

Гитлеровцы создавали «особое химическое вещество» в разных концах страны, мобилизовав на это пакостное дело химиков, физиков... И не потому ли недавно истерически выкрикнул Гитлер:

— Да простит меня бог, но я сожгу Москву!

Угроза эта, конечно, выдавала его трусость и бессилие: сильный человек никогда не грозит, не кричит — он просто бьет. Но было основание и для настоящей угрозы. И угрозу Гитлер мог бы привести в исполнение, если бы... Да вот «если бы» и мешало: места, где производились опыты, заносились на карту, передавались куда следует, и вскоре налетала авиация, рушила фашистские планы. А бывало и так, что не бомбили, а сбрасывали парашютистов, и парашютисты уничтожали тех, кто производил опыты.

Об этом думает Татьяна. И еще она думает о том, как сотрясается все гитлеровское государство от ударов Красной Армии. Когда красные части вышли на Днепр, печать Геббельса бесновалась, уверяя, что это и есть «эластичная» линия фронта, что «красные выды-

хаются», «мы их изматываем», но советские воины на юге перешли Днепр и недавно взяли Одессу, заперев Крым. Тут уж Геббельсу не приходилось кричать об «эластичной» линии фронта. Крик начался другой: о всеобщей мобилизации, о том, что каждую деревушку, каждый город, каждый овраг и горку непременно следует превратить в крепость. Но... но мешок с горохом прорвался — и горох посыпался во все стороны.

«И как еще он посыплется, когда наши воины «перейдут границу» и наши танки понесутся по автостраде!» — подумала Татьяна, и опять мысли ее вернулись к Васе, к Петру Хропову.

Они месяца полтора где-то пропадали, возможно были у генерала Громадина, и только вчера Вася неожиданно позвонил на квартиру к Отто Бауэру.

Услыхав его голос, Татьяна вскрикнула:

— Муж мой, где вы?

— Я в Штеттине, — Вася еще никак не мог приучить себя называть Татьяну женой. — В Штеттине...— И, болтая о мелочах, о предстоящей встрече, о том, что они всего на десять дней со своим генералом приехали в Штеттин, что он отпросится на два-три дня у генерала и — «упаду перед вашими чудесными ножками» (Татьяна ярко представила себе — в эту минуту Вася вспыхнул, как девочка), а он все болтал и болтал и в болтовне передал ей, что ждет ее через два дня утром в Дрездене, около музея, а затем снова заговорил чепуху и на условном языке сообщил, что Николай Кораблев «жив, здоров и — люблю тебя».

Татьяна не выдержала и крикнула:

— И я! И я! Жива, здорова и люблю тебя!

И сейчас она думает об этом:

«Жив! Жив! Здоров! Родной мой! И «люблю тебя». А разве я тебя не любила? Но зачем Громадин так настойчиво зовет к себе? Не у него ли Николай? Нет! Нет! Он, очевидно, все еще на Урале... и все равно через несколько дней получит мое: «Жива, здорова, люблю тебя». Батюшки мои! Какое это чувство!.. И сколько скопилось его во мне!»

Но тут ее мысли перебил Отто Бауэр. Он проснулся, повозился на сиденье, затем весь встряхнулся,

как лохматый пес, выбравшийся из конуры, и, повернувшись к Татьяне, делая какой-то броский жест, сказал:

— Киев. Древний славянский город — фьють. Одесса — фьють. Мы на «эластичной» линии — фьють. А? Что такое разрушение Карфагена? Щепотка песку в сравнении с Корсунью. Вот что такое Корсунь!

Татьяна все это уже знала, но, разыгрывая из себя наивную, произнесла:

— Я не хочу об этом думать. Я такая, как в шестнадцать лет: не думаю о смерти. О смерти люди начинают думать после сорока: хочет он или не хочет, но через десять-двадцать лет — смерть. А в шестнадцать лет все уверены, что они будут жить еще долго. И тут я верю, что немецкие солдаты все равно уничтожат русских. Разве вы не верите? — намеренно задала она вопрос.

— Что вы? — и Отто Бауэр посмотрел во все стороны, боясь, как бы его, кроме шофера, еще кто не услышал. — Что вы! Я верю. Очень, — не совсем уверенно пролепетал он.

— Тогда скажите, пожалуйста, что это за щиты с оленями? — спросила Татьяна, как бы впервые видя такие щиты.

— Это сигнал: здесь переходят на водопой дикие козы, и шофер должен внимательно вести машину, а днем пассажиры могут остановиться, пройтись в лес и полюбоваться этими артисточками.

— Замечательно! И как у вас все прекрасно устроено! — воскликнула Татьяна, стараясь до глубины души тронуть Отто Бауэра.

— А мы сейчас остановимся около коз, и вы сможете на заре полюбоваться козочками. Я, знаете ли, с тех самых пор, как вы были впервые у нас, ночью только в лесу и побывал, даже зимой, а не летом... Больше ста лет на нашу землю не ступал сапог врага... а ныне война у нас под носом: все города, деревеньки бомбят. Война под носом — ловко! — в шутку, но с дрожью в голосе произнес Отто Бауэр, отдавая распоряжение шоферу, чтобы тот остановился у первого попавшегося щита с оленем.

— Но ведь вы такими ночевками измучаете свою супругу? А она такая милая женщина! Такая милая. Но ко мне еще никак не привыкнет.

— Да. Как я ни уговариваю ее. Я не отвыкну от снов: все большевики снятся, а она боится русских вообще. Ну, вот здесь мы и переночуем.

Машина свернула с автострады и остановилась на зеленой обочине неподалеку от щита с оленем.

— Теперь мы перейдем через кювет и разожжем маленький, маленький костер, — проговорил Бауэр, выбираясь из машины; он сначала, кряхтя, перевернувшись, выкинул левую ногу, потом вывалился весь. Сказав шоферу, чтоб тот нес «все съедобное» на полянку, он принялся будить свою «прекрасную супругу»: открыл дверцу и ласково, подчеркнуто ласково, как иногда взрослый обращается к малышу, картавя, ломая язык, жеманничая, начал вытаскивать ее, сонную, из машины.

А та тоже шепелявила, строя из себя деточку. Она уже давным-давно проснулась, но все еще пищала:

— Отто! Отто! Не тревожь меня! Я вижу такой прекрасный сон!

— Но ты, моя детка, увидишь его сейчас наяву. Я захватил для тебя твои любимые... а что — пока не скажу. Ну, крохунька моя! Ну, лучик мой! — шепелявил он, причмокивая, будто зовя поросенка.

Но вон уже вспыхнул костерик. Его разжег на поляне шофер. Он же разостлал байковое одеяло, достал из багажника раскладной столик, затем разложил колбасы, консервы, вилки, ножи, тарелки, хлеб, выставил шнапс — это было новое. И не это ли — любимое, о чем Бауэр говорил своей жене?

Вот и они — «нежная» пара — перешли через кювет, остановились у костра, и тут Маргарита, увидав шнапс, заговорила гневно:

— Это уберите! Иначе я домой!

Но Отто Бауэр расплылся в улыбке и, выхватив из рюкзака коробку «трюфелей», опустился перед женой на колени и актерски преподнес ей коробку, говоря:

— Вот как я думал о тебе! Ведь это очень трудно достать. Легче свинью, чем коробку «трюфелей».

Гнев Маргариты слетел. Она передернула плечиками, приняла коробку, однако спросила:

— А ей, наверное, две?

«Ого! У него, значит, есть и другая!» — подумала Татьяна, делая вид, что последних слов не слыхала, но Бауэр весьма просто сказал:

— Но она моложе и кушает больше, — и потянулся к шнапсу, обращаясь уже к Татьяне: — Садитесь к костру. Сейчас, — он посмотрел на часы, — без девяти минут десять. Значит, скоро будет иллюминация. Отсюда увидим, как загорится Штеттин, наш родной, красивый город. Война... — он налил рюмку шнапса и быстро опрокинул ее в рот, — война ничего не признает: ни уродства, ни красоты, ни гения, ни дурака! — и снова хлопнул рюмку шнапса.

Татьяна отошла в сторонку, присела на пенечек, но Бауэр запротестовал:

— Нет, вы не удаляйтесь. Я понимаю, вы художник и вам надо уединяться. Но сейчас мы будем смотреть на Штеттин, потом покушаем, потом кто что хочет, — и вдруг с грустью добавил: — И откуда у вас, русских, берется столько сил? Ведь нас уверяли, что у вас только овцы, только пастухи, только лапти.

— У нас, у меня то есть? У меня сил хватило только вот на это, — с грустью сказала Татьяна, показывая на палец, где поблескивало золотое обручальное кольцо.

— Ах, да, — чуть заплетающимся языком проговорил Бауэр. — Кстати, где же ваш бывший жених, ныне муж? Он ведь только раз побывал у нас и пропал.

— Он воюет. Он у своего генерала, — с неподдельной тоской сказала Татьяна. — Но он звонил. Скоро прибудет в Штеттин со своим генералом.

— А-а-а! Сейчас! Сейчас! — вдруг воскликнул Бауэр, глядя на свою жену, которая развертывала «трюфели» почти так же, как делают маленькие обезьянки, и, кинув шарик в рот, мелко-мелко пережевывала, покачивая от удовольствия головой. — Сейчас! — еще раз выкрикнул Бауэр и, хлопнув третью рюмку, налил четвертую, пошел через кювет на автостраду, приглашая дам.

2

Они втроем, оставя пасмурного шофера около костра, вышли на автостраду, по которой в ту и другую сторону неслись и неслись машины: грузовые — тяжелые, тупорылые, легковые — узконосые и быстрые. Казалось, несутся не машины, а сплошной поток прожекторов. От прожекторов небо и лес почернели до непроницаемости... и вдруг поток прожекторов потух, затем оборвался, а небо волнообразно загудело. Гуд падал на землю, тревожил, пугал.

— Идут! На Штеттин! — прошептал Отто Бауэр.

Маргарита, перестав пережевывать «трюфели», испуганно икнула и, словно боясь, что ее услышат летчики, тихо простонала:

— Наша вилла! Мои платья!

В это время, как будто совсем недалеко от них, в небе повисли на парашютах светящиеся ракеты, взмылись прожектора, ударили зенитки, и снаряды от зениток стали вспыхивать то тут, то там, а на парашюты полетели трассирующие пули... и гром, гуд. Сотрясается земля под ногами, а в небо выхлестнулось гигантское пламя.

Они вернулись к костру.

Все это было необычайно, и Татьяна, не выдержав, крикнула:

— Как это красиво! Сказочно красиво! — и спохватилась, лепеча: — Простите! Простите! Но ведь я художник! Какими красками можно запечатлеть вот такую картину? Нет, мы бессильны!

— Да. Да. Вы художник, — беря ее под руку и прижимая локоть к своему толстому бочку, сказал Бауэр. — Вы художник. Вам вольно, — и хлопнул четвертую рюмку, почему-то предварительно вскинув ее над головой, точно чокаясь с пламенеющим небом, затем повернулся вправо — там тоже играло зарево; он повернулся еще — там тоже играло зарево; он еще повернулся — кругом играло зарево, а в небе гудели самолеты. — Огненный круг, — проговорил он. — Так по всей нашей стране: война под носом. Где бы вы ни

находились, все равно около вас огненный круг... и каждую ночь. А иногда и днем. Ну, это нахальство, днем! — и, о чем-то подумав, повторил: — Каждую ночь, а иногда и днем. Ну, это нахальство, днем!

— Но как вы, — заговорила Татьяна, — страна могучей индустрии, допускаете, чтобы ваши города бомбили каждую ночь и даже днем?

Отто Бауэр, уже не владевший пьяными губами, выпятил их так, как будто дул на что-то горячее.

— «Допускаете»? Вы идете на медведя с пустыми руками, и я вас спрошу, как вы его допускаете? Но... мы все равно победим. Вот этим, — он ткнул себя пальцем в лоб. — Химия. Физика. Да, химия и физика есть грозное оружие. Фюрер недавно сказал: «Да простит меня бог, но я сожгу Москву». Мы добиваемся, — тише произнес он, снова прижимая локоть Татьяны к своему надутому бочку. — Мы добиваемся — два литра. Два литра особого химического вещества превратят в пепел город даже такой величины, как Москва. Один самолет и два литра.

«Ага! И этот, значит, причастен!» — подумала Татьяна, легонько высвобождая локоть. И, понимая, что Отто Бауэр ухаживает за ней, смеясь, воскликнула:

— Вы шутите! Вы выпили!

— Нет. Мой ум трезв. И больше я вам ничего не скажу. Ничего. Но вы скоро узнаете, какой ум у Отто Бауэра.

А Татьяна снова подумала:

«Значит, этот фрукт не только перчатки и сумочки выделывает, но и «два литра», — и она сама взяла под руку Отто Бауэра, прошлась вокруг костра, поглядывая на Маргариту, которая уже снова принялась за свои «трюфели», абсолютно не обращая внимания на то, что ее муженек ухаживает за гостьей.

«Нет, а мне было бы больно, если бы кто-нибудь вот так повел моего Николая», — думала Татьяна.

Поужинали они молча и быстро.

Первой, наевшись «трюфелей», прилегла на разостланное одеяло Маргарита, затем Бауэр, допив шнапс, изгрыз две куриные поджаренные ножки и привалился к своей жене.

Татьяна села на пенечек, всматриваясь в особенно черную от пламени костра темень. Шофер, все такой же пасмурный, собрал все и отнес в машину и сам задержался там, видимо прикорнув в кабине.

«Значит, и Бауэр «два литра», — подумала Татьяна, не отводя глаз от костра. — Прошлый раз мы так и не добрались до Кенигсберга, где он проделывает «опыты с человеческой кожей и жиром»: нас задержало передвижение войск. Теперь наверняка мы туда попадем. Но почему он едет через Берлин? Ведь из Штеттина до Кенигсберга не через Берлин, а прямо на север... Два литра. Значит, он что-то по этой части забрал у Пшебышевского и поэтому так гостеприимен со мной».

Неожиданно из тьмы на свет костра выглянули узкие, золотистые мордочки, с выпуклыми, точно сливы, глазами. Татьяна улыбнулась и застыла: несколько коз полукругом встали неподалеку от костра, с любопытством глядя на огонь. Так они стояли несколько минут, потом ноздри у них зашевелились, тела начали вздрагивать, как от холода, и вдруг шарахнулись, ломая сучья, уносясь в темный бор.

Татьяна тоже вздрогнула и повернула голову.

От машины к костру шел шофер. Подбросив дров, он неподалеку сел, скрестив ноги, и тоскливо замер.

«Что за человек? — глядя на него, думала Татьяна. — Он ведь трудящийся. Неужели не видит, что делает его господин, профессор Отто Бауэр? Продался? Наверное, пользуется отсрочкой... и на все наплевать. Но отчего он пасмурный, молчаливый, а сейчас тоскливый? Надо бы с ним поговорить». — Татьяна поднялась с пенечка и осторожно, почти неслышно подошла к костру.

Шофер посмотрел на нее и униженно улыбнулся. Она присела против него на траву. Тогда он вскинулся, принес из машины раскладной стульчик и, ставя его рядом с Татьяной, сказал:

— Прошу вас.

Татьяна поблагодарила, не по-немецки сухо, а тепло, затем села на стульчик и располагающе спросила:

— Отчего вы такой... грустный?

— А отчего мне быть веселым? — кривя губы, ответил он.

— Вы не на войне, а вот здесь...

— Я два раза был в том пекле.

— И вас тревожит, как бы в третий раз не попасть в пекло? А вы не ходите, — наивно посоветовала Татьяна.

— Это как же?

— А вот так, не пойду — и все.

— Вы добрая женщина, — уже просто, по-человечески улыбнулся шофер. — Но вы немного... ребенок. Вы не знаете, что у нас так: впереди огонь, позади огонь, с боков огонь и даже, — он посмотрел в небо, — оттуда огонь.

— А вы уничтожьте огонь — и все, — опять наивно посоветовала Татьяна.

— Один?

— Нет. Зачем же! Соберитесь. Так и так, мол, мы передовая нация, кроме того у нас есть дети, жены. Мы хотим жить и...

— И на виселицу, — перебил ее шофер, затем посмотрел на своего профессора и, убедившись в том, что тот крепко спит, горестно вздохнув, добавил: — Было. Все это было. Собирались. Но когда человека, как зверя, гоняют по огненному кругу, он теряет веру во все. А я и семью потерял.

— Где? Разбомбили?

— Если бы! А то... ну, желаю вам спокойной ночи, — шофер поднялся и ушел к машине.

«Ага! Гонят по огненному кругу! Его гонят по огненному кругу! Такого еще год тому назад я здесь не слышала. Не голос ли это народа?» — она перешла через кювет, открыла дверцу машины и, будто что-то ища там, проговорила:

— Простите меня, пожалуйста... я человек новый в вашей стране... я не понимаю, как это: по огненному кругу?

Шофер посмотрел во все стороны и особенно внимательно на костер, затем прошептал:

— Полтора миллиона... наших... немцев.

— Что? — так же тихо, но вся дрожа, спросила Татьяна.

— В лагерях. Через год-два будет десять. Я скоро тоже буду там. Я говорю откровенно, потому что мне все равно — пуля, виселица или лагерь. Это неизбежно. Я знаю. И не тревожьте меня...

3

Отто Бауэр проснулся первый. Выйдя на полянку, он сбросил с себя пижаму и, оставшись в одних трусиках, начал проделывать гимнастику, говоря сам с собой:

— Мюллер. Система Мюллера! А кто он? По национальности швед, а по крови немец! И весь мир по системе Мюллера делает гимнастику. Ну, варианты, не спорю. А основа? Мюллер. Но Мюллер тоже умер.

Следом за ним поднялась и его жена, взлохмаченная. Прибрав волосы, она вышла на полянку и тоже занялась гимнастикой, выкидывая «коленца» уже посвоему — по-женски, приговаривая и плача:

— А я хочу домой! Может быть, нашей виллы уже нет! Мы нищие!

Бауэр, лежа на спине, задрал кверху ноги, но на какой-то миг застыл и, стуча себя пальцем в лоб, кинул:

— Я богат: у меня вот где миллионы. Если они не построят мне новую виллу, я уеду в Америку. Меня там примут, да еще как!

Татьяна лежала в сторонке, подостлав под себя плед. Отбросив с головы одеяло, она внимательно прислушалась к перепалке Бауэров.

— Но если снимут твою голову, тогда где твое богатство? — скорчившись в три погибели, спросила Маргарита. — Что я буду делать? Нищая!

Бауэр вскинул руки вверх, будто подбрасывая тяжесть, и, ошарашенный вопросом жены, несколько секунд стоял так, затем довольно свирепо проговорил:

— А мне зачем богатство, когда с меня снимут голову? Ведь и придумала же! Петер! — крикнул он шоферу. — Давай выпить и покушать, пока я жив. Что придумала! Эльза мне такое никогда не скажет.

— Ты у нее редко ночуешь и совсем редко кушаешь. Вот если ты у нее будешь почаще ночевать и так храпеть, как хряк, и так жрать, как ты жрешь, она тебе еще не такое скажет, — и Маргарита перевернулась, превратившись в своеобразный хомут

«Милая семейная сценка! Представляю, что у них дома! — улыбаясь, подумала Татьяна. — А этот тоже непрочь в Америку: патриот, ничего не скажешь!» — Она отбросила одеяло и, весело позевывая, воскликнула:

— Уже утро! А какое солнце! Как я благодарна вам, профессор, что вы привезли меня сюда. Ой! Простите! Вы в трусах!

— Ничего. Предрассудки. Наши предки не имели мануфактуры, однако жили и даже на земле оставили нас с вами.

«Тебя-то, конечно, дикари оставили на земле!» — хотелось крикнуть Татьяне, но она сдержалась и проговорила:

— Но у них не было такого ума, как у вас! Вы краса и гордость государства! Я наивная, но я и то становлюсь умнее, когда нахожусь рядом с вами.

— Так со всяким, — ответил Бауэр и перегнулся, касаясь земли руками, а одновременно и животом.

Вскоре они сели завтракать. На полянке был тот же раскладной столик, те же стульчики, и на столе колбасы, поджаренные куриные ножки и новая бутылка со шнапсом. Наливая себе рюмку, Бауэр, видимо еще не остывший от разговора с женой, торжественно произнес:

— Еще великий Гете сказал: имущество потерял — не так велика беда, хуже, когда теряешь разум, а еще хуже, когда ты его совсем не имел, — это уже добавляю я, дополняя великого Гете. И будьте здоровы! — и он кувыркнул рюмку себе в рот.

Потом они сели в машину, каждый на свое место, и мрачный Петер включил мотор. Сначала машина шла тихо, словно над чем-то задумавшись, потом замелькали сосны, березы, указки «Лейпциг», «Дрезден», «Бранденбург», засвистал ветер. И вот машина уже выскочила на Большое Берлинское кольцо. Повороты

тут проложены наклонно, как на стадионах, и автомобиль, не уменьшая хода, только накренясь, пронесся через первый поворот, потом через второй.

Отто Бауэр, посмотрев на часы, сказал:

— Без восьми девять. Профессору положено появляться на работу, какая бы она ни была, в двенадцать. Пусть они не думают, что я из-за них не сплю ночи... В нашем распоряжении есть час, и я вам, милейшая, покажу Берлин — мировой город. Хотите?

— Как не хотеть! — ответила Татьяна.

— Прошу. Прошу. Прошу. Его, впрочем, кое-где поковыряли.

Они въехали в пригородную часть.

Дымились отцветающие яблони, черешни, груши. Цвели каштаны, вздернув белые, похожие на свечи куколки. Из зелени поднимались разнообразнейшие виллы. И было столько тени, столько птиц, что Татьяна невольно залюбовалась... Но вскоре все это оборвалось. Потянулись широченные, заасфальтированные, взятые в камень и бетон улицы, а по бокам улиц — мрачные, иногда почерневшие дома, заводские трубы. А вот это и есть Колонна победы: она стоит посередине круглой площади, в основании широкая, а дальше прямая, как самоварная труба, потому и напоминает вазу для цветов. На самом же верху, раскинув крылья, отбросив в сторону ногу, держа в руке венок, стоит позолоченный ангел.

— Вот таких колонн мы, знаете, сколько теперь наставим? — хвалясь, очевидно забыв про вчерашний разговор — «Одесса фьють», проговорил Отто Бауэр, обращаясь к Татьяне. — Эта поставлена в честь победы над французами. Но мы наставим их десятки. А это вот, — он приказал ехать медленней, и, показывая на втиснутый в парк черный, видимо чугунный памятник — сидящую гигантскую фигуру, произнес: — Это наш великий канцлер Бисмарк. А это Мольтке — военный гениальный теоретик. А это вот Аллея побед. Смотрите, сколько у нас героев!.. Тут все созидатели германского государства. А теперь вы, наверное, хотите посмотреть рейхстаг. О-о-о! Мировое здание! Масштаб! Красота! Архитектура! Хотя я в ней ничего не

понимаю. И, кажется мне, она не нужна: жить можно в любом доме, было бы удобно.

Они выехали на Вильгельмштрассе.

Несмотря на утреннюю рань, улица была уже выметена, вычищена щетками, как чистят сапоги; газоны, тянувшиеся вдоль тротуаров, политы, и от цветов тянул горьковатый запах. Старенькие и стареющие немки вышли на прогулку с собачками, кошками.

Чистота такая, порядок такой, газоны такие, кошечки и собачки — все это начало раздражать Татьяну, и еще больше в ней заклокотало озлобление, когда она в скверике увидела нянюшек, мамушек с грудными ребятами. Они сидели на лавочках, одна около другой, в утренних чепцах, держа на коленях грудных детей.

«Мерзавцы! Мерзавцы! — кричало все в Татьяне. — Погубили миллионы детей других народов, а сами жиреют, рожают, плодят, как кошки!»

— Наше молодое поколение. Наши солдаты — все равно, мальчик или девочка, все растут солдаты, — сказал Отто Бауэр, хвастаясь, как будто все эти дети принадлежат ему. — Но вы еще не видели знаменитый Берлинский театр! Вы не видели рейхстага? Наш знаменитый рейхстаг! Я повезу вас туда.

Улицы пошли у́же. Дома тут как-то налезали друг на друга и тянулись сплошняком. Даже не было видно ворот. Нижние этажи отведены под магазины, кафе, рестораны. А самые здания — в большинстве черные, как бы закоптелые.

— Рейхстаг! Рейхстаг! — зашептал Отто Бауэр, показывая на здание в несколько этажей, с куполом наверху. — Он здесь... бывает, фюрер. Он отсюда послал наш народ на великую победу... и полмира мы победили.

Татьяна, чтобы сдержать то, что клокотало у нее в груди, вдруг звонко расхохоталась:

— Профессор! А «фьють»?

Тот закашлялся, искоса, удивленно посмотрел на нее, затем сам рассмеялся, говоря:

— Ну и язычок у вас!

— Простите, профессор. Я ведь глупенькая. Припомнила, как вы вчера говорили «Одесса фьють». Ну,

прошу вас, рассказывайте про рейхстаг. А это что? — вдруг вскрикнула Татьяна, увидав развалину дома.

— Поцарапывают Берлин.

— А это? А это? — то и дело с удовольствием спрашивала Татьяна, видя, как по набережной реки Шпрее тянутся разрушенные дома.

— Подряд царапают. Я же вам говорю: война под носом, — ответил Бауэр.

Вскоре машина снова вырвалась на Большое Берлинское кольцо и понеслась на Бранденбург.

Отто Бауэр перестал болтать, хвастаться. Его как будто подменили: весь сжался, даже пропала припухлость на шее, на щеках, губы натянулись, и весь он стал неприступно строгий. Надев на голову шляпу, глубоко надвинув ее, он кинул шоферу:

— Через Бранденбург туда, на Эльбу.

— Опыт покажете? — спросила Татьяна.

— Да, — скупо кинул он.

Машина уже неслась вихрем. На счетчике сначала появилось восемьдесят, потом девяносто, потом сто, потом сто двадцать километров.

Приблизительно через час Отто Бауэр так же скупо бросил Татьяне:

— Бранденбург!

Татьяна стала смотреть вперед — на Бранденбург. Там виднелись дома с высокими шпилями и кирки. Но вот центр. Он почти весь разрушен. Пахнет гарью и трупами.

— Боже мой! — воскликнула она и хотела было спросить Маргариту, когда такое случилось, но та спала, причмокивая губами, как будто ела «трюфели».

— Поцарапали, — даже как-то небрежно сказал Отто Бауэр.

4

С Эльбы, от довольно искусно замаскированного причала, к сосновому бору вели два пути — узкоколейка и неширокое, замощенное булыжником шоссе. У бора узкоколейка нырнула в одни, покрашенные в зеленую краску ворота, а шоссе — в другие.

Когда машина остановилась на полянке неподалеку от ворот, Отто Бауэр вывалился из кабинки и сухо сказал:

— Прошу. Прошу.

Татьяна и Маргарита тронулись за ним, а он, подойдя к воротам, нажал кнопку. Одна половина ворот немедленно ушла куда-то в сторону, и на пороге, будто он вырос из-под земли, стал часовой, совсем еще юный, румянощекий парень, но без правой ноги. Увидав Отто Бауэра, он испуганно замигал и начал было рапорт, но Бауэр, фыркнув, как кот, брезгливо произнес:

— Надоело. Надоело всякий раз слышать, что все в порядке, аварий нет. Вы думаете, мои уши только тем и заняты, чтобы выслушивать вашу дребедень! Это вы генералам валяйте. «Все в порядке», — передразнивал он кого-то. — В порядке, когда всюду сплошной беспорядок. Работать не умеем, молодой человек. Позвоните-ка лучше Рейтеру, сообщите, что приехал я, профессор, — и Отто Бауэр шагнул вперед, а за ним мелкими шажками тронулась Маргарита, шепнув Татьяне:

— Вы берите больше. Больше. Мне он ничего не даст. А вы берите больше, тогда поделитесь со мной. Хорошо? Или лучше — просите для профессора Пшебышевского... тогда он отпустит вагон.

— Очень хорошо, —ответила Татьяна, даже не зная, что «берите больше», думая о своем. «Да ведь мы входим в какой-то подземный городок», — об этом она хотела спросить Маргариту, но в эту минуту из второй двери, покрашенной в серый цвет, выскочил высокий, с длинной шеей и красно-кирпичным лицом Рейтер. Он изогнулся перед коротышкой Бауэром и заговорил часто, без передышки:

— Все в порядке, профессор. Все идет очень хорошо, профессор. Ваши догадки гениальны, профессор. Куда прикажете вести, профессор?

— Вы же видите, со мной дамы — значит, надо догадаться, куда вести. Знаете, что такое для любого предприятия дамы? О-о-о! Это лучшие коммивояжеры. Вот что такое дамы!

— Пожалуйста. Прошу, профессор. Сюда, профессор.

Рейтер шагнул вправо, нажал кнопку. Дверь медленно, тихо ушла в сторону. Открылся довольно высокий и ярко освещенный тоннель. Татьяна заметила, что дверь толстая, стальная и что она так и осталась открытой.

— Сюда. Сюда, профессор, — проговорил Рейтер.

— Вы думаете, я забыл, куда мне надо? — буркнул тот.

«Чего это он какой-то собакообразный стал?» — подумала Татьяна, внимательно всматриваясь в каждый уголок, ища глазами, нет ли еще замаскированных дверей.

Они снова свернули вправо и опять попали в тоннель, но более низкий и узкий, освещенный уже не так ярко, как первый. И снова дверь, но простая, без кнопок. Рейтер ее легко открыл и, пропустив всех, вошел сам, но уже не в тоннель, а в помещение, похожее на больничную палату. Тут в два ряда стояли никелированные кровати, на которых виднелись голубые, очень чистые подушки и кипенно-белые одеяла. Всмотревшись, Татьяна увидела, что под одеялами лежат полуживые люди; лица у них посинели, щеки впали, глаза большие, бороды отросли, носы заострились.

— Это наш живой товар, — произнес Отто Бауэр, обращаясь к ней. — Вы знаете, что если с мертвой, то есть умершей собственной смертью лисы снять шкуру, то мех негоден. Чтобы получить хороший мех, лису надо убить. Даже не отравить, а именно убить. Но портится не только мех. Умирает животное своей смертью — пропадает все: ткань распадается, шкура становится непрочной, заметьте. Я говорю с вами откровенно, без предрассудков... Нам нужна хорошая кожа, понимаете. Если мы для дам сделаем такие перчатки, что они проносятся день-два, наша марка упадет. Надо дорожить маркой, а остальное — предрассудки.

— Вот я и говорю, профессор, ваша мысль гениальна, — вступился Рейтер.

— Вы что же, их... — заикнулась со страхом Татьяна, но тут же выпрямилась, засмеялась: — Боюсь. Хотя я сторонница вашей теории, профессор.

— Мы культурно: электрический удар в сонную артерию. Обратите внимание, как они смотрят на меня. Крокодил? Нет, господа большевики, я не крокодил, а профессор Отто Бауэр! — выкрикнул он и тронулся было дальше.

Но Татьяна вцепилась в его руку:

— Господин профессор, если вы решили из меня сделать свою последовательницу, тогда скажите мне: откуда вы берете такой материал?

— Недалеко от Берлина есть лагерь. Оттуда доставляют нам живой материал. Материалу много. Только работать не умеем. Слышите, Рейтер, работать не умеем.

Рейтер снова вытянулся, и особенно вытянулась у него шея — шея кобры.

— А кто они? Какой национальности? — спросила Татьяна.

— Русские. Все большевики. В России ведь все большевики. Но тут есть и немецкие большевики. Вот этот и вот этот. Им подавай Тельмана, Карла Либкнехта. Рейтер, вы не знаете, какой это ученый — Карл Либкнехт или Тельман? Что они изобрели, или, может быть, они читали лекции в университете... по химии, по физике, по высшей математике? А?

— Таких ученых я не знаю, господин профессор.

Немец, обросший рыжей бородой, чуть приподнялся и, сверля воспаленными глазами Отто Бауэра, от физического бессилия еле слышно, но твердо сказал:

— У вас земля горит под ногами. Нас-то отправите на дамские перчатки, а вас потом куда? Думаете или нет?

— Слыхали? — Отто Бауэр повернулся к Татьяне.— Какой злой язык! Я их за это уважаю: знают — не сегодня-завтра конец, а гордость какая, осанка, достоинство! О-о-о!

— У нас конца нет, — произнес тот же немец. — Ваш конец близок... всем... вместе с вашим идиотом Гитлером!

Отто Бауэр повел подбородком и, кивнув на немца, приказал Рейтеру:

— Сделайте ему немедленный конец. А мы отправимся дальше, — и тронулся.

5

Вскоре они очутились в обработочной. Тут, передвигаясь по конвейеру, досушивались кожи, уже где-то прошедшие дубление, окраску. В конце конвейера, заготовляя для ридикюлей, абажуров, дамских перчаток, их резали инвалиды — однорукие, одноногие, с шрамами на лицах.

— Поработай с такими! — пожаловался, ни к кому не обращаясь, Отто Бауэр. — А полноценных не дают. И здесь такие же, — он шагнул в другую сторону, где инвалиды разбирали людские кости, составляя из них анатомические скелеты.

Глядя на все это, Татьяна боялась одного — как бы не упасть и не закричать во все горло:

— Звери! Мерзавцы!

Она шла, пошатываясь, будто после тяжелой болезни, забыв уже о том, что ей надо за всем следить. Но ей об этом напомнил сам Отто Бауэр.

— Выбирайте в той комнате, — он показал на дверь, — для себя все, что вам понравится, и столько, сколько увезем. А я пойду дальше, куда вас пригласить не могу.

Татьяна, пересилив внутреннюю дрожь, улыбнулась, наивно-игриво сказала:

— «Два литра», профессор?

Тот посмотрел на нее сначала тупо, потом зло, потом улыбнулся и, не ответив, скрылся за черной дверью.

— Выб-б-бирайте... с-себе тут все, — заикаясь, проговорила Татьяна, обращаясь к Маргарите. — И себе... и мне, поделимся потом, — добавила она. — А я — на воздух... и еще посмотрю ж-живой товар, — и она быстро пошла через дверь туда, в первую комнату, с болью думая: «Я заикаюсь. Это мне совсем, совсем не надо: я потеряю все».

В первой комнате-палате немца на койке уже не было, а все остальные, лежащие под кипенно-белыми одеялами, повернули головы к Татьяне.

Один сказал на русском языке:

— Птичка!

— Нет, — перебил его другой. — Это стервятница... а смотри, какие добрые, красивые глаза! Знаешь, что такое крокодильи слезы? Крокодил иногда плачет, как ребенок: хитрая приманка. И у этой такие глаза! Смотри, даже слезы навернулись!

Татьяна в самом деле стояла, сложив руки на груди, и смотрела на всех, готовая разрыдаться, крикнуть:

— Да что же это они с вами делают?!

А тот, кто назвал ее стервятницей, приподнял голову с подушки и хрипло произнес:

— Послушай, ты! Если хоть капля честной крови осталась в тебе, тогда поймешь нас! Мы обращаемся к тебе от матерей, от невинных детей всего мира. Я профессор Московского университета, химик. Они затащили меня сюда, в подземелье, намереваясь силой заставить меня помогать им в открытии «особого химического вещества». Я отказался, и меня решили пустить на перчатки. Я скоро буду красоваться на женских ручках, но народ вечен. Убей его — Бауэра: у него секрет в голове!

Татьяна слушала, непонимающе мигая, произнося: «Найн. Найн», — затем пошла и, будто споткнувшись, склонилась над ухом больного и прошептала:

— Я все поняла, родной мой!

— Мне душно... и противно на вас смотреть, — пересилив себя, предполагая, что среди этих лежащих на койках, возможно, есть провокатор, проговорила Татьяна и выбежала из комнаты-палаты. Она прошла по узкому тоннелю и попала в большой тоннель. Постучалась в дверь. Та полуоткрылась. На пороге показался все тот же юноша часовой. Он сначала зло посмотрел на нее, затем по-доброму улыбнулся.

«Вот ведь каких перепортили людей! — мелькнуло у нее. — Кто это мне говорил о воспитании? А-а, Петр Иванович Хропов. Да. Страшная молотилка!» — и она, придерживаясь за руку часового, сказала:

— Мне дурно... — но, выйдя за ворота и глянув в сторону, отшатнулась: поодаль от машины стояли два гестаповца.

«За мной! — решила Татьяна. — Что мне делать? В этих случаях Вася учил меня быть смелой и даже нахальной. Ах, Вася, Вася! Как бы ты нужен был сейчас! Сколько раз ты меня выручал! Пойду на них, раз это неизбежно, — и она, поблагодарив часового, тронулась на гестаповцев, готовая на всякую дерзость, одновременно вынимая и закладывая в разрез перчатки на ладонь маленькую конфеточку — яд. — Живой не дамся! — решила она. — Ведь как умирает тот профессор, химик! Коммунист! «Я скоро буду красоваться на женских ручках, но народ вечен». Я умру так же, как и тот профессор, но я не успею передать то, что я узнала здесь... и... и как мне жалко расставаться с этим солнцем, с землей... Как мне хочется жить! Ну! Ну! Это уже слабость! А разве тем, кто лежит там на кроватях, не хочется жить?! И я расстанусь сразу».

Когда она подошла к машине, гестаповцы вытянулись, козырнули, сказали: «Добрый день!» — и она только тут увидела, что Петер лежит на земле, раскинув руки.

— Ну вот, меня и погнали по огненному кругу, — проговорил он.

«Ага! — мелькнуло у нее. — Значит, не за мной! А может, они приняли меня за жену Бауэра?» — снова вспыхнула в ней тревога, но Татьяна, пересилив все, наивно, удивленно спросила:

— Он так и будет лежать?

— Что вы, барышня, — заговорил один из гестаповцев, низенький, юркий, подпрыгивающий, как блоха. — Он будет лежать, но в другом месте, — и обрадованно засмеялся своему, казалось ему, удачному ответу. — Он сначала повисит, а потом будет лежать, — добавил он, все так же обрадованно смеясь. — Коммунист! Понимаете, коммунист!

— Нет. Я не коммунист: коммунисты не лежат, а дерутся. А я ползунок. Жалкий! — тоскливо произнес шофер.

Татьяна забралась, забилась в уголок автомобиля

и, растирая правой рукой левую, смотрела то на гестаповцев, то на Петера, но главным образом на лес, особенно на деревеньку, расположенную в двух-трех километрах от этого подземелья. И дерзнула, обращаясь к гестаповцам:

— Скажите, как называется вон та деревушка? Какая красивая!

— Гиль, — любезно ответил все тот же гестаповец, подпрыгивая, как блоха.

«Гиль... гниль», — повторила про себя Татьяна и сделала вид, что дремлет.

Так просидела она минут сорок, все еще не в силах приглушить в себе тревогу, держа наготове конфеточку.

«Сейчас явится Бауэр со своей супругой... и эти заберут меня. Они приняли меня за его жену. Хотя нет: они назвали меня барышней, — она быстро сняла перчатку и посмотрела на обручальное кольцо. — Что скажу профессору... почему ушла?»

Наконец, из ворот, провожаемый Рейтером, вышел, ведя под руку жену, Отто Бауэр. Простившись кивком головы с Рейтером, он направился к машине, приказав не провожать. За ним, увешанный кульками, ковылял на клюке инвалид.

«Нахватала и на свою и на мою долю, — мелькнуло у Татьяны. — Как мне быть? Разве я могу принять такой подарок? Хотя в интересах дела надо принять. Вася бы принял. Но я этого сделать не в силах. Не в силах! — закричала она про себя, вся содрогаясь. — Но ведь Вася учил меня не поддаваться чувству... холодный рассудок, сообразительность — вот наше оружие», — и она, заложив опять конфеточку в разрез перчатки на ладонь, выскочила из машины и пошла навстречу Отто Бауэру, говоря:

— Простите, профессор. Ваша ученица покинула вас, — и, намеренно выдвинув правую руку, глядя на обручальное кольцо, добавила: — Вы ведь знаете, что делается с женщинами, когда они...

— А-а? Тошнит? — с присущим ему цинизмом спросил Отто Бауэр. — Это нормально. На котором месяце? — и, вдруг увидав гестаповцев, лежащего на

земле шофера, вздыбился, как кот перед собаками: — Это что? Кто позволил? — и, наступая на гестаповцев, закричал: — Вы знаете: я личность неприкосновенная!

— Господин профессор, мы вас не трогаем, — заикнулся было все тот же юркий, как блоха, агент.

— Они вас даже не собираются тронуть, профессор, — неожиданно для себя, но весьма язвительно произнесла Татьяна.

— «Не трогаем»? Как вы сказали: «Не трогаем»? Еще бы меня тронули! — И Татьяне показалось, что в эту минуту даже голова у профессора распухла, так он был взбешен.

— Мы очень долго искали его. Он из Бранденбурга, — произнес агент.

— Большевик? — Отто Бауэр перепуганно попятился. — Э-э-э! Не зря они мне снятся.

— Был большевик, — подсказал все тот же гестаповец.

— Когда?

— Десять лет тому назад.

— А-а-а! Так в чем же дело, если только был, да еще десять лет тому назад?

— Все равно вреден для империи.

— Для империи вряд ли вреден, но эти двое нам навредят: пешком пойдем в Штеттин... и ваша жена, и я, ваша гостья, господин профессор, — снова язвительно бросила Татьяна.

Тогда, задетый за живое, профессор тронулся на гестаповцев, крича до хрипоты:

— Ну, вы меня не пугайте! Я не из таких — пугливых. Петер, сесть за руль! Я его сам сдам в Штеттине. А если не лень, приезжайте. Ну, Петер! — И полез в машину.

6

Когда автомобиль тронулся с места, Татьяна сказала Бауэру:

— Какой вы смелый, профессор: в вас кровь Нибелунгов.

— О да! Без предрассудков — утверждаю то же самое, — брякнул тот.

А Татьяна зашептала Маргарите:

— Ну, нахватали! Покажите! Покажите!

Та стала развертывать кульки и откладывать себе и Татьяне на колени, приговаривая:

— Это вам. Это мне. Это вам. Это мне.

Тут были и перчатки, и ридикюли разных фасонов, и тонкие, для купания, на голову шлыки, красивые ремешки.

Татьяна в эту минуту не видела перед собой вещей: перед ней возникали люди — самые передовые в современном обществе... Маргарита же, боясь обделить себя, все озабоченно разложила и свою долю аккуратно завернула в пергаментную бумагу. Тут Татьяне пришла спасительная мысль. Наклонясь к Маргарите, злобно поглядывая в затылок Бауэра, она тихо произнесла:

— А хотите, я все это подарю вам? Хотите? Но с условием: вы не будете бояться меня. Не будете?

— Не буду, — сладчайшим шопотом ответила та.

— Тогда забирайте, — и она, подкинув коленями, перевалила все, что лежало на них, на колени Маргарите.

Машина уже неслась улицей Бранденбурга. В одном месте Петер приостановил ее бег и, внимательно посмотрев на дом с синими рамами, сказал:

— Прощай, родной город! — затем так рванул машину, что колеса завыли, а машину начало кидать из стороны в сторону.

На него прикрикнул Бауэр:

— Вы думаете, если ваша голова вредна для государства, то не нужна и моя? Приказываю вести нормально. А то сдам первому попавшемуся агенту... Заедем в Потсдам, — распорядился он.

Шофер свернул влево с автострады и тоже по гудронированной, но узкой дороге понесся через городок Капут в Потсдам.

Потсдам, залитый ярким солнцем, выглядел красиво; и Татьяне сначала показалось, что Бауэр завернул сюда лишь для того, чтобы еще раз похвастаться,

но профессор был сосредоточен на чем-то другом. Вскоре он толкнул шофера в плечо, а когда тот остановил машину, профессор вылез из нее, выбрал из кульков жены несколько образцов и пошел в магазин, над дверью которого поблескивала золотистыми буквами вывеска: «Магазин новинок. Отто Бауэр и К^0». Через несколько минут он вышел оттуда, затем снова остановился около другого магазина, где тоже поблескивала вывеска: «Анатомическая торговля. Отто Бауэр и К^0». Татьяна, смеясь и взяв под руку Бауэра, сказала:

— Я хочу посмотреть вашу торговлю. Я ведь художник. Я должна знать анатомию. А хотите, я с вас напишу портрет?

— Очень, очень, очень! — польщенный тем, что она взяла его под руку, и, видимо, еще тем, что идет с красивой женщиной, он двинулся в магазин.

В магазине были расставлены скелеты на подставках, внизу которых виднелись кругленькие металлические планки. На них значилось: «Отто Бауэр и К^0». Кроме скелетов, тут на прилавках под стеклом лежали отдельные кости — бедренные, локтевые, черепа.

— Откуда у вас столько? Откуда? — с удивлением воскликнула Татьяна.

— Оттуда же. Ведь не выбрасывать кости! Мы, немцы, всему находим применение. Все это от нас идет по университетам, по школам. Народ должен знать анатомию, — хвастаясь, проговорил Бауэр и, суховато поздоровавшись с человеком за прилавком, видимо своим компаньоном, спросил: — Как идут дела?

— Неважно, профессор.

— Почему?

— Фронт, — загадочно проговорил компаньон.

— Что фронт?

— Разве до вас еще не дошло, профессор?

— Что? — бледнея, спросил он.

— Крым фьють!

Бауэр качнулся в одну, потом в другую сторону и вдруг визгливо крикнул:

— Да что они, с ума спятили?! Разве можно Крым отдавать?!

— Я не психиатр, а анатом, — ответил компаньон.

— Я не к вам, а к тем — военным. Ах! Ах! Ну, хорошо. Подождем. Наш товар такой: не сгниет, — и, удрученный, он вышел из магазина, даже забыв про Татьяну.

А Татьяна вылетела оттуда, как на крыльях.

«Крым! Крым! Крым! Товарищ Сталин! Родной! Крым! Крым»! — мелькнуло у нее, и она, сев рядом с женой Бауэра, чтобы скрыть истинную причину своего возбуждения, сказала: — Какие там вещи! Какие вещи!

— Я их не люблю, — пропищала та брезгливо. — Отто сначала их тащил домой. Расставит скелеты, черепа, ходит и потирает руки: «Буду миллионером. Буду миллионером». А мне они во сне снятся. Насилу уговорила.

— Меня не надо было уговаривать. То был первоначальный опыт. Нельзя же открывать торговлю, пока сам не убедишься в том, что товар полезен государству.

Когда машина той же дорогой выскочила на автостраду, Отто Бауэр приказал:

— На Фюрстенберг.

И машина понеслась. Покрышки от прикосновения к накаленному солнцем асфальту выли, как сирены.

«Чем он хочет еще покичиться, этот идеолог звериной теории? А Петер — вон он! Превратили в ползунка и все равно повесят. Полтора миллиона в лагерях. Немцев. Протестующие, пробуждающиеся?» — думала Татьяна.

Не доезжая до указки «Фюрстенберг», Отто Бауэр бросил шоферу, показывая влево, на лесную, выстланную кирпичом дорогу:

— Сюда.

Вскоре справа, в сосновом лесу, завиднелись насыпи метра в два шириной и метров в двести длиной. На одних все уже посерело, появилась травка, другие еще желтели песком.

Отто Бауэр рассмеялся и, показывая на насыпи, обращая внимание Татьяны, сказал:

— Вот! Сколько зря пропадает товару!

— Что такое? — уже догадавшись, что это могилы, спросила Татьяна.

— Зарывают. Русских. Пленных. Тысяч пятьдесят. О-о-о! Сколько перчаток! Сколько ридикюлей! Сколько скелетов! Всю Европу можно снабдить. Да. Жаль. А все предрассудки!

Татьяна зажмурилась до боли в глазах.

— Тут, — кинул Отто Бауэр.

Машина остановилась у ворот, переплетенных вдоль и поперек колючей проволокой.

Выбравшись из кабины, Бауэр шагнул к будке, что-то сказал часовому, тот позвонил — и ворота открылись.

Машина въехала за колючую проволоку.

— Лагерь, — сказал Отто Бауэр.

Машина остановилась у домика. Оттуда по ступенькам сбежал высокий, черный, как смоль, человек с огромными серыми глазами и, протянув руку, снисходительно сказал:

— Очень рад вас видеть, профессор. Опять в наши края?

— Не минуешь вас, доктор Вормас, — ответил тот и, знакомя его с Татьяной, добавил: — Моя племянница. Очень любопытный человек.

Доктор, познакомившись с Татьяной, побежал в домик, а Маргарита прошипела:

— Опять племянница? У тебя же одна есть, Отто.

— Пусть будут две. Тебе жалко?

— Ну, пусть будет десять! Мне совсем не жалко! — Маргарита запищала на ухо Татьяне: — Здесь тоже кое-что есть. Русское льняное полотно. Если бы дали! Попросите, вам дадут: вы племянница знаменитого профессора.

— А вы уже не боитесь меня? — так же шопотом спросила Татьяна.

— Я вас уже не боюсь: вы добрая.

Они вошли в домик. Здесь за столом, обедая, сидели начальник лагеря Фихте (так он отрекомендовался Татьяне), человек довольно грузный, и начальник контрразведки, сухой, невнятно пробормотавший свою

фамилию, однако за столом севший рядом с Татьяной, поблескивая на нее глазами.

Доктор вызвал горничную, миловидную девушку, приказал ей подать еще три прибора. Все это было быстро доставлено, как быстро было доставлено и дополнительное вино.

Отто Бауэр, посмотрев на вино, сказал:

— Нет. Мне это вредно. Шнапс — да.

— Спирт есть, профессор, — ответил доктор. — Очень хороший.

— Спирт — да. Спирт — родной брат шнапсу.

А когда они выпили по первому, потом по второму бокалу, начальник контрразведки довольно бесцеремонно положил руку Татьяне на колено. Сдерживая бешенство, мило улыбаясь, Татьяна сняла руку и шепнула:

— Простите, но у меня фурункулы. У вас они когда-нибудь были?

Начальник контрразведки отрицательно покачал головой и усердно принялся за вино.

— Говорят, переносятся. Спросите вон доктора, — начала она убеждать соседа.

— Ну, что вы? Разве об этом можно доктора? Что вы?

А Татьяна прислушалась. Бауэр сердито ворчал:

— У вас товар напрасно пропадает. Что бы мне отдать! Нет, подыхают. А я говорю, отдайте мне. Мне нужны жирные. Понимаете? На мыло. Я не могу из тощих мыло варить. Не могу! Дадите мне жирных? Только не нужны такие — с дизентерией.

— Отто! — жеманно проскрипела Маргарита.

— Предрассудки! — кинул Бауэр и так свирепо посмотрел на нее, что она даже пригнулась, как бы готовясь нырнуть под стол.

— Я все это сделаю, сделаю, профессор, — чтобы замять разговор, вежливо улыбаясь, чуть кося глаза на Отто Бауэра, проговорил доктор. — Только пришлите питание: надо подкормить, а у меня на это нет фондов.

7

Ночевали они на том же месте.

Отто Бауэр снова стал болтливым, хвастливым, еще усиленней принялся ухаживать за Татьяной, уже называя ее не милейшей, а племянницей. Маргарита на это не обращала внимания: она была довольна тем, что в концлагере «захватила» метров пятнадцать льняного русского полотна, которое подарили Татьяне, а та передала его «навечно» Маргарите. На этот раз хозяйка не сразу приняла подарок. Она долго смотрела то на полотно, то на гостью, затем сказала:

— Вы только знайте, я дарить не люблю.

— А разве я у вас прошу?

— Нет! Но не люблю дарить. Подарки люблю.

— Вот и хорошо! — согласилась Татьяна. — Я, когда обзаведусь постоянной квартирой, когда мой муж будет дома, тоже буду любить только подарки. Это очень практично.

За ужином, сидя у костра, Петер сказал:

— Вы, профессор, правда, хотите меня сдать в гестапо?

Тот глянул на своего шофера и, ткнув в его сторону жареной ножкой курицы, удивленно произнес:

— Посмотрите на это чудо. А вы что же, думаете, я вас в рамку вставлю и буду поклоняться, как Канту? Экий Кант нашелся!

— Но ведь меня повесят.

— Зачем же? Может, расстреляют, — все с тем же откровенным цинизмом произнес профессор. — А хотите, я попрошу, чтобы вас передали мне.

— На перчатки?

— Хотя бы. Ну, я сегодня устал. Спать, Маргарита! — и, тягуче посмотрев на Татьяну, не стесняясь жены, добавил: — Я бы, конечно, с гораздо большим интересом прилег около племянницы.

— Мы еще с вами приляжем, — перейдя на такой же цинизм, ответила она. — Но у меня фурункулы.

— Эх! Штука нехорошая, — пожалел Отто Бауэр, прилаживаясь около Маргариты.

— Все равно от меня никуда не уйдешь, — засыпая, пробурчала Маргарита.

Вскоре они уснули.

Петер собрал все, унес в машину и остался там.

Татьяна некоторое время сидела на пенечке, затем поднялась и тоже перешла в машину. Сев в кузов, она забилась в уголок, долгое время молчала, затем спросила:

— Товарищ Петер! Не спите?

Тот дрогнул, повернулся, внимательно рассматривая ее в темноте, шепча:

— Давно не слышал это слово. Какое оно хорошее!

— Так вы что же, без сопротивления хотите подставить шею?

— Круг. Огненный. Сатанинский. Если бы я был верующий, мне было бы легче.

— Почему?

— Я бы знал, что на том свете встречусь с женой и сыном. Они их уничтожили.

— Да-а. Так и я когда-то думала. А потом я сошла на землю. Теперь вы можете меня выдать и спасти свое тело.

Петер долго молчал, потом тихо произнес:

— Если бы я на это был способен!

— Ну, а разве вы в свое прежнее не верите?

— У меня вот тут пепел. — Петер постучал себя в грудь.

— Пепел надо выбросить, чтобы жить, да не только вам одному. Вы, видимо, слабый коммунист, когда говорите так.

— Нет! Иначе моя семья не погибла бы. Но нас разгромили.

— Народ разгромить нельзя! — Татьяна приподнялась и, склонившись над ухом Петера, произнесла: — Я предлагаю вам коммунистический союз.

Он болезненно улыбнулся и тоже прошептал:

— Я принимаю. Но что из этого получится? Тот баран завтра сдаст меня. Я могу убежать. Бросить машину на дороге и убежать в лес. Но я устал бегать один.

— Один ли? Нас теперь уже двое. Да еще полтора

миллиона в лагерях. А не в лагерях сколько? Я вам предлагаю: покончить с ними, особенно с этим зверем.

— Сейчас?

— Нет. В дороге.

А потом куда?

— Со мной.

Петер долго думал и проговорил:

— Нет! Мне не жалко их: я за эти годы и жалость потерял.

— Еще бы жалеть! Пожалейте — он завтра вас пустит на перчатки. Слышали, как говорил: «Буду миллионером». Готов выпустить море крови из народа, лишь бы стать миллионером. Так вот, я им в кофе положу снотворное. Уснут в машине — и мы с ними в Штеттин. Ведь сегодня Штеттин бомбили?

— Догадываюсь. Огонь похоронит их, — ответил Петер.

8

Как долго они тянут с гимнастикой! Поистине можно возненавидеть все эти кривляния, приседания, подрагивания ногами. Ведь Петер уже приготовил все: столик и стульчики поставлены на свое место, кофе бурлит около костра.

Ну вот наконец одеваются.

Татьяна кладет в чашки снотворное, наливает кофе, кричит:

— Дядюшка! Да скорее же! Кофе чудесный. Пахнет лесом. Идите. Я ухаживаю за вами.

И они оба подошли. Он, разомлевший от ласковых слов Татьяны, как-то весь распух, а Маргарита, довольная подарками, начала корчить из себя девочку: подпрыгивает на одной ножке, жеманничает, шепелявит, строя глазки.

— Милая племянница, — говорит Отто Бауэр, присаживаясь рядом. — Следует ликвидировать ваши фурункулы. У меня в Штеттине есть хороший доктор. Переливание крови — и как рукой пыль смахнет. Это надо. Мой чудесный лепесточек! Мой лепесточек на древе жизни!

«Эко как тебя прорвало!» — сказала про себя Татьяна и пододвинула ему чашку с кофе.

— Пейте, дядюшка. Пейте, дорогой мой пупсик!

— А! А! — будто чем-то давясь, воскликнул он. — Меня все племянницы зовут так: «Пупсик». Ну что, Маргарита?

— Ты скорее пуп, — протянула та.

— Ну, уж это извини! Я профессор, а не пуп, и у меня скоро будут миллионы.

В эту минуту с неба упал гуд.

Все посмотрели в утреннее яркое небо и вскоре увидели армаду бомбовозов, сопровождаемых истребителями.

— На Штеттин. Ну это, знаете ли, нахальство: утром. При солнце, — проговорил Отто Бауэр.

— Домой! — взвизгнула Маргарита.

— Под бомбу? — и Отто Бауэр скосил на нее глаза.

— Я хочу домой! — завизжала Маргарита. — Петер! Убирайте! — и первая побежала в машину.

— Сумасшедшая! А что я с ней могу делать? Она сестра Геббельсу. Двоюродная, положим, но он все равно придушит меня.

Вскоре Отто Бауэр, засыпая в машине, проговорил заплетающимся языком:

— Петер! Если город бомбят, подожди в отдалении. Слышишь?

Заснула и Маргарита.

Машина неслась на Штеттин.

Петер сказал:

— Какая-то гиря свалилась с моего сердца: я нашел в вас товарища. Но что мы будем с ними делать? Это новая гиря.

— Под бомбу, — ответила Татьяна.

Город горел. Казалось, на него выплеснули озеро нефти: все бурлило, рушилось.

Петер повел машину в центр, но вскоре убедился, что тут ехать невозможно: все было завалено кирпичом, щебнем, железными балками.

— Не проедем, — сказал он, откашливаясь от дыма. — Но особняк Бауэра почти на окраине города. Я постараюсь подъехать с другой стороны, — и, раз-

вернув машину, он снова выехал на шоссе, сделал большой круг и выбрался на улицу, засаженную каштанами. Улица была тиха, безлюдна, точно все живое вымерло. Только густые тени от каштанов лежали на сереющем асфальте. Смолкли и птицы: из центра несло гарью, удушливым, трупным запахом. — Ах, если бы и его особняк был разрушен! — проговорил Петер.

Татьяна сначала из слов Петера ничего не поняла, потом догадалась и воскликнула:

— Да! Это было бы замечательно!

Особняк Отто Бауэра стоял целехонек, прячась в густой зелени деревьев.

Петер выбрался из машины, позвонил сначала осторожно, ожидая, что сейчас появится горничная. Никто не отозвался. Тогда он открыл калитку, вошел во двор и вскоре вернулся, сообщая:

— Все разбежались. Ну, надо кое-что сделать.

Он ввел машину во двор, прикрыл ворота, запер калитку и принялся выволакивать Отто Бауэра. Но тот был тяжел, как мешок, набитый песком. Петер попросил:

— Помогите. Один не донесу.

Они вдвоем втащили Отто Бауэра в домик, посадили в кресло, затем Петер уже один принес Маргариту и сказал:

— А вы идите в машину.

— Что вы хотите делать? — спросила Татьяна.

— Оболью их и все бензином, подожгу. Кругом пожар. И сюда он придет.

Он сбегал в гараж, принес банку, облил все бензином и хотел было поджечь, но Татьяна остановила его:

— Принесите из той комнаты мои вещи, отнесите в машину, захватите оттуда кульки и бросьте их сюда же, — а когда он все это проделал и бензин вспыхнул, она добавила: — Петер! Я видела в гараже другую машину. Было бы лучше на той. Есть ли бензин?

— Она заправлена полностью, и еще четыре бака в багажнике.

— Чему они нас научили — убивать! — сокрушенно и с тоской проговорил Петер, садясь в машину, видя, как в особняке от огня затрещали стекла, как дым

хлынул через открытую форточку и пламя уже проникало на крышу.

— Скверному научили. Но... пока это надо делать, и делать во что бы то ни стало, — произнесла Татьяна.

Двухместная гоночная машина вырвалась из ворот, свернула налево и чуть не сбила гестаповцев, примчавшихся сюда на мотоциклах.

— Они, — кинул Петер и дал такой газ, что машина подпрыгнула, с визгом заворачивая на крутых поворотах, затем выскочила на шоссе, а отсюда на автостраду и понеслась, понеслась в вихре ветра. Километров через тридцать она нырнула в тоннель, выскочила на склон и помчалась по кругу, затем вынырнула снова на автостраду и с той же силой, поднимая вихрь, понеслась на Штеттин.

— Петер! — крикнула Татьяна. — Вы обратно?

— Да, — ответил он.

— Но они могут нам попасться навстречу.

— Это было бы хорошо.

— Почему?

— У них не хватит ума на догадку, что мы нахально прем им навстречу. А если вперед — плохо. Там, на круге, есть телефон. Они позвонят, и впереди нас обязательно задержат. А мы скоро свернем вправо и двинемся сначала на Познань, а потом на Лейпциг и Дрезден.

Через какие-то десять — пятнадцать минут они увидели, что навстречу им, тарахтя и гремя, пронеслись на мотоциклах два гестаповца.

— Ослы! — бросил им вдогонку Петер и, на секунду отпустив руль, потер руки.

9

Только на второй день, часов в одиннадцать утра, они попали в Дрезден, сначала в Новый, потом, переехав мост через Эльбу, — в Старый Дрезден.

«Дрезден, Дрезден, — восхищенно и радостно думала Татьяна. — Ведь этот город славится университетом, библиотекой, музеем, старинными зданиями и кра-

сивыми улицами. Дрезден! Дрезден! Чудесный город! Здесь в музее хранятся гениальные творения Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, Микель-Анджело». И, несмотря на усталость, на голод, она вся вспыхнула, заволновалась, когда машина остановилась у центрального подъезда музея.

Татьяна почти на ходу выпрыгнула из кабины, затем торопливо пошла к парадному, даже забыв о Васе.

Но он шагал по тротуару ей навстречу, и не один, а с офицером в форме гестапо. Она растерялась, опустила голову, точно стыдясь чего-то, и чуть не побежала, намеренно роняя перчатку.

Вася поднял перчатку и, догнав, сказал:

— Простите. Вы обронили.

Она поблагодарила, при этом невольно радостно улыбнулась и снова начала подниматься по ступенькам в музей.

Вася с минуту смотрел ей вслед, затем произнес, обращаясь к своему спутнику:

— Какая прелесть! Я к вам завтра утром зайду, — и кинулся за Татьяной. Когда нагнал, просительно произнес: — Простите... и не считайте меня нахалом... но... но ведь каждому хочется посмотреть на весну.

— Что ж, смотрите! — довольно громко ответила Татьяна и тише добавила: — Вася! Взглянем только на картину Рафаэля. Прошлый раз я так и не смогла.

— Но ее здесь нет, как нет и других: все замуровано в скалах на Эльбе.

— А чего же посетители толкутся?

— Одни назначают любовные свидания, другие — торгашеские. Гитлер закрыл биржу, так они музей превратили в вертеп.

— Ну, все-таки глянем. Хотя бы стены.

Они прошли несколько зал, заполненных посетителями. Тут все шептались: любовники, торгаши, перекупщики-спекулянты, а на стенах висело почти все то же, что и на выставке в Варшаве: нагие женщины на пляжах, в постелях, а вон даже в скверике, среди пешеходов... Вот еще картина: из овражка тянется какой-то цветущий кустик. Камни. Дальше, за овражком, в тумане — гора, долина и река.

— Что это такое? — спросил Вася.

— Это... — Татьяна всмотрелась, сразу не поняла смысла картины. — Это цветет куриная слепота. Боже мой! Как мне за них стыдно! Мир содрогается, гибнут миллионы! А они? Вот, нарисовал какую-то каракатицу... и в музей. Да в какой музей! Пойдемте. Пойдемте отсюда прочь: становится невыносимо тоскливо — вместо Мадонны Рафаэля каракатица!

Они заторопились к выходу, пробиваясь сквозь толпу. Вася спросил:

— Кто вас подвез?

— Петер, бывший шофер бывшего Бауэра, — как бы передавая что-то любовное, вся сияя, притягивая за мочку уха Васю к себе, прошептала Татьяна.

В машине никого не было. Петер, как только увидел, что за Татьяной пошел офицер из гестапо, решил, что этот офицер и поджидал их.

«Она женщина. Ей легче: скажет что угодно и вывернется. А я? Из одной петли в другую! Мне жаль с ней расставаться, но...» — и он покинул машину. Потом, сделав несколько кругов по городу, он снова остановился на противоположной стороне улицы, за сквериком. Отсюда вскоре увидел, как офицер и Татьяна подошли к машине, как Татьяна несколько минут смотрела по сторонам, видимо отыскивала шофера, затем офицер сел за руль, пригласил Татьяну и сам повел машину.

«Ну, все! Бедная женщина! А я опять буду колесить один или... найду своих друзей», — и Петер смешался с толпой.

10

Полицаи, стоя на перекрестках, тянулись перед Васей, отдавая ему честь, а вон кто-то промчался на открытой машине и, повернувшись, помахал рукой.

— Да у вас тут столько знакомых! — воскликнула Татьяна.

— А как же! Я ведь адъютант полковника Блюхера, начальника гестапо: хочешь не хочешь, а тянись передо мной.

— Интересный.. Блюхер ваш?

— Ужасный! — еле слышно прошептал Вася. — Но... обо всем дома, Татьяна Яковлевна. Ведь мы с вами еще не знаем, а не записывает ли машина наш разговор.

— Разве и такое есть?

— Всякое бывает, — так же тихо произнес он.

Новый Дрезден не отличался дворцами, особняками, старинными зданиями, музеями и университетами. Это скорее было пригородное дачное местечко: домики и виллы утопали в зелени, по тротуарам прыгали разнообразные птицы, и главным образом серые дрозды. К одной из таких маленьких вилл Вася и подвел машину. Не вылезая из нее, только открыв дверцу, прокричал:

— Папаша! Дорогой мой папаша! Вам не трудно будет впустить меня с моей женой? — Последнее слово он так и не научился говорить просто: все краснел.

Из виллы выбежал старичок, довольно плотный, за ним старушка — седенькая, в утреннем чепце, с засученными рукавами. Она, видимо, возилась у плиты на кухне.

— Базиль, Базиль! О милый сын! Ты везешь наше счастье! — воскликнул старичок, открывая ворота, низко кланяясь, помахивая рукой, как бы благословляя въезд. — Счастье и радость вам, дети мои! И я верю, это счастье и радость принесете вы и нам, которым не так-то много осталось жить!

А когда машина вкатила во дворик, усаженный черешнями, яблонями и липами, Татьяна выбралась из кабины и неожиданно очутилась в объятиях старичка. Он расцеловал ее, как невестку, даже прослезился и, высморкавшись в клетчатый серый платок (у Татьяны мелькнуло: «Видимо, нюхает табак»), подмигнул Васе и сказал:

— А ты, Базиль... губа у тебя не дура!

Татьяна засмеялась, громко, заразительно, впервые за эти дни искренне, и опять неожиданно очутилась в объятиях уже старушки. Эта гладила ее щеки, целовала то в плечо, то в губы, причитала, причитала, обливаясь слезами:

— Радость! Наша радость! Счастье Базиля — наше счастье!

Татьяна недоуменно посмотрела на Васю, тот, чтобы она поняла все, произнес:

— Мама, матушка! Вы должны нас благословить. Не здесь же будете благословлять! А потом, Татьяна Яковлевна с дороги: кушать хочет, отдохнуть хочет.

Татьяна все поняла и пошла в виллу. Вася кинулся к машине, вырвал из рук старичка чемоданы.

— Вам, папаша, тяжести носить нельзя. А жить мы будем наверху. Нет. Вы не перечьте. Нам там будет удобнее.

А когда Татьяна поднялась наверх, Вася торопливо спросил:

— Что случилось?

— Мы уничтожили Отто Бауэра и его жену, — начала было Татьяна, чувствуя какую-то особую приятность оттого, что сидит в маленькой, залитой солнцем комнатке.

— Подробности потом. А сейчас — кто вас видел?

— Два гестаповца.

— Приметили ли они вас?

— Возможно, по первой встрече, а потом вряд ли: я нагнулась в машине при второй встрече с ними.

— Так, — сказал Вася, о чем-то подумав. — Вы устраивайтесь здесь. Скоро будет завтрак. Если нужна ванна, попросите у этой милой старушки. А я сейчас отгоню машину к музею.

— Это зачем?

— А к чему нам такая? Она ведь на учете... Пусть гестаповцы крутятся около нее, — и Вася, быстро сбежав вниз, крикнул: — Мама! Мамаша! Я скоро буду! Готовьте завтрак!

11

Завтрак прошел тихо и скромно. Говорили много, особенно старики. Под конец старичок с волнением произнес:

— Сталин. Наши взоры и наши думы к нему.

После завтрака Вася и Татьяна поднялись наверх.

Она прилегла на кушетке и рассказала все: и то, как они ехали на Берлин, как ночевали у водопоя, как познакомилась с шофером, как потом проехали через Бранденбург и попали в подземный городок. После ее рассказа Вася достал из стола карты, покопался в них и расстелил одну, на которой были обозначены Бранденбург и его окрестности.

— Вы ехали вот тут, Татьяна Яковлевна, вдоль Эльбы. Это деревушка Гиль. А дальше?

Татьяна поднялась с кушетки, подошла к карте, посмотрела и подтвердила:

— Да. Вот видите, обозначен лес. Здесь, в подземелье.

Вася, поставив еле заметный крестик, задумался, потом произнес:

— Неподалеку от этого лесочка тракторный завод бывшего акционерного английского общества. Значит, англичане этот лесок не будут бомбить: побоятся, что бомбы упадут и на завод.

— Как? Ну, а если бы на тракторном производилось то же самое, что и здесь под землей?

— И тогда не стали бы: англичане не бомбят объекты, в которые вложен английский капитал, американцы не бомбят объекты, в которые вложены американские капиталы. Но американцы с удовольствием бомбят английские объекты, как англичане с удовольствием бомбят американские объекты.

— Союзнички! Ничего не скажешь!

— Да. Но с еще бо́льшим удовольствием они бомбят так называемое мирное население — города, особенно центры городов. Так. Значит, это я должен передать американцам. Они раздолбают лесочек. Поэтому вы отдыхайте, а я пойду.

— Нет, Вася. Я вас так давно не видела. И потом, что это за старичок со старушкой?

— Мои родители, — даже без тени усмешки сказал Вася. — Разве вы не видите?

— Где вы их достали?

— Пришлось перевезти из Эльзас-Лотарингии. Родители мои, стало быть, наполовину немцы, наполовину

французы, потому я — Базиль. Купили виллу и переехали.

— Охотно? Я хочу спросить, добровольно?

— Приказ партии мы все выполняем охотно и добровольно.

— Вы связались?

— Да.

— Сила?

— Крепкая.

— А не горох?

— Ну, что вы! Горох — это вон в Дрездене, особенно в музее. Я ухожу. Меня ждет начальник.

— Нет. Еще минуточку. А Петр Иванович?

— Остался в Силезии, работает на заводе. Язык за это время хорошо усвоил.

— И еще. Вы что ж, так и думаете в Дрездене работать?

— Ну, нет! Надо выше пробираться!

— Куда?

— Ближе к «Чортолому», — так они условно называли Гитлера. — На прошлой неделе видел его и палача Гиммлера. Были в имперской канцелярии вместе с Блюхером. Я всех уговариваю, подкупаю, чтобы Блюхера перевели в охрану «Чортолома».

— Ну! Какой он, «Чортолом»? — невольно с женским любопытством спросила Татьяна. — Не сердитесь. Ведь интересно... я же женщина.

— Да так. Весьма невзрачный, и почему-то мне напоминает старенького индюка: все хохлится, нос держит кверху, истерически выкрикивает.

— А Гиммлер?

— Сух. Молчалив. Свиреп глазами. И мне кажется, никого не любит.

— И все-таки можно подкупить?

Вася улыбнулся.

— Да ведь купил я себе должность адъютанта. Я понимаю, вам трудно все это воспринять: вы честный человек. Но они жулики. Гиммлер, Геринг, Риббентроп и прочие, прочие нажили за эти годы миллионы. Не только тащат из государственного кармана, а проделывают такие штуки: если кому-нибудь из них

понравилось имение, или дворец, или фабрика, завод, то стряпают дело на хозяина, потом его, как врага империи, расстреливают... а добро забирают себе. Раз сами воруют, грабят, то и помощников подбирают себе под стать, таких же, которые грабят и которых легко подкупить.

— А ваш начальник?

— О-о-о! Это акула: хватает все! Мне предстоит познакомить вас с ним. Имейте в виду, он женщин не любит.

— Почему?

— Он холост.

— Не понимаю.

— Ну, есть же такие мужчины, — Вася вспыхнул.

— А-а-а! Догадываюсь. Мерзость какая! Ну, вы пойдете в верха, а я?

— Вы поживете здесь, у моих родителей.

— Без дела? — даже со страхом спросила Татьяна.

— Нет. Дело вам будет, и очень большое.

— Ну, тогда еще ничего. А когда вы познакомите меня с Блюхером?

— Да хотите — сейчас, если не устали?

— Я все равно не усну. Поедемте.

Минут через пятнадцать Вася уже вел машину через мост в Старый Дрезден. Проезжая мимо музея, они увидели желтую гоночную машину.

— А не угонят ее? — спросила Татьяна.

— Ну, что вы! У них это священно — частная собственность. Пограбить другие народы — это ничего. Ну, вот мы и у цели, — Вася остановился около трехэтажного светлого, никак не в стиле немецкой мрачной архитектуры дома и тихо сказал: — Это здание принадлежит Блюхеру: засудил хозяина, эльзасца, — и Гиммлер подарил ему этот дом. Пойдемте. И не волнуйтесь, — он подхватил Татьяну под руку и, кивнув часовым, стал подниматься по лестнице вверх.

Усадив Татьяну в приемной, он шагнул в секретариат, и она через полуоткрытую дверь увидела, как в секретариате при появлении Васи все встали — и женщины и мужчины, — а он, не спрашивая разрешения, вошел в кабинет Блюхера. Вскоре вернулся от-

туда и, обращаясь к Татьяне, произнес официальным тоном:

— Полковник Блюхер просит вас к себе.

Нельзя было сказать, что Блюхер толст. Нет. Грудь у него узенькая и впалая, руки сухие и вялые, но голова жирная, особенно загривок, сизые уши утонули в жиру.

Не здороваясь с Татьяной, он кивнул на кресло.

— Вы, — заговорил он, бесцеремонно и чуть брезгливо рассматривая ее. — Вы должны понимать: нельзя портить карьеру моему адъютанту, — и смолк, углубившись в какие-то бумаги.

— Я действительно не понимаю вас, — набравшись духу, заговорила Татьяна. — Он мой муж, и как я ему испорчу карьеру?

— Женщины есть женщины. Даже первого на земле мужчину Адама соблазнила Ева. А наши женщины... — он хотел сказать, видимс, еще какую-то грубость, но в эту секунду затрещал телефон — большой, массивный. — Да-а-а, — баском, с оттенком: надоели, дескать, вы мне, — крикнул Блюхер и тут же весь преобразился, заговорил мягко, вкрадчиво: — Полковник Блюхер слушает вас. Что? Профессора Отто Бауэра? И жену? Что? Жена — чорт с ней! Хорошо. А Бауэр? Узнает фюрер. По направлению к нам? Желтая машина. Гоночная. Слушаюсь. Слушаюсь, — и, положив трубку, весьма чем-то довольный, глядя на Васю, хвастаясь, подчеркнул: — Гиммлер звонил. Сам Гиммлер!

Вася и Татьяна, понимая все, переглянулись.

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Красная Армия на протяжении всего фронта наносила врагу удар за ударом: вырвала Одессу, Киев, освободила Крым, взломала долговременные укрепления под Ленинградом, вышла на Десну и всеми могучими силами устремилась на Балканы и в Западную Европу.

В Москве еженощно гремели салюты.

На фоне таких больших исторических событий разгром станции Бобер не был даже отмечен в печати, хотя для местного фронта станция Бобер имела огромное значение: она связывала шесть железных дорог, и перед гитлеровцами встала задача: строить ли новую, обводную линию, или восстановить станцию, на что потребовалось бы месяца два-три

И шеф Шрейдер заскрипел...

Несмотря на столь авторитетную защиту, как дядюшка фон Шрейдер, к молодому Шрейдеру откуда-то протягивались жесткие руки, готовые в любую минуту схватить его за шиворот и выбросить, как паршивого щенка, а с ним вместе выбросить и скороиспеченного фельдмаршала фон Шрейдера.

Николай Кораблев вполне понимал, что если свалят Шрейдеров, то рухнут и все его планы. Сам-то он вместе с Яней и Сиволобовым постараются сбежать к партизанам, но тогда не будет выполнено то зада-

ние, которое совсем недавно поручил им генерал Громадин. Так Николай Кораблев попал в довольно смешное положение: ему во что бы то ни стало надо было защищать «своего шефа».

Вот и сейчас он вместе с молодым Шрейдером рассматривает карту, испещренную разноцветными карандашами. Стрелы на карте говорят о наступлении Красной Армии на запад.

«Идет всесокрушающая сила», — думает Николай Кораблев, и ему кажется, так же думает и герр Шрейдер, но тот, отыскав местечко в горах Саксонской Швейцарии, ткнул пальцем:

— Здесь.

— Что?

— Мой замок. Они его бомбить не станут.

— А может быть, в вашем замке кто-нибудь стоит? — намеренно уколол его Николай Кораблев.

— Кто?

— Ну, хотя бы те, которые создают «фау-1», «фау-2», чтобы бросать на Черчилля.

Шрейдер тупо посмотрел на. карту, затем с остервенением произнес:

— Зачем мне «фау» и один и два... и сто? Зачем, спрашиваю я вас?

— Вот этого я не знаю.

Герр Шрейдер сложил лапки на пояснице, стремясь выпятить живот, подражая своему дядюшке, и забегал по кабинету, выкрикивая:

— Французы — молодцы! Им только можно позавидовать!

— В чем?

— А что? Сначала сдались на милость Гитлера, теперь — на милость американцев... и живут! Для них лучше смерть, чем война. А, чорт! И я бы мог так жить! В Париже! Ездил бы в Булонский лес... верхом! О-о-о! — мечтательно заговорил он. — Я умею верхом. Все парижанки смотрят на меня, и все шепчут: «Это молодой фон Шрейдер. Смотрите, какой статный, как голубок! О-о-о!» А тут? А-а, чорт! Вы видели этого генерала Фогеля? У-у-у! Настоящий пруссак! Им бы только бить, резать! Кровь! Любят кровь! А-а-а, чорт!

Да, вот это и была основная угроза — генерал Фогель. Он три дня тому назад прибыл с группой офицеров для того, чтобы выяснить истинную причину катастрофы на станции Бобер.

Генерал Фогель происходил из старинного рода Фогелей, живущих в Восточной Пруссии, обучающих своих детей с пеленок военному «искусству». Все они, так называемая старинная военная клика Пруссии, вначале придерживались Гитлера, вернее — выдвинули его, но после сокрушительных ударов под Москвой, Сталинградом, Орлом и в Крыму хлынули к известному в то время фельдмаршалу Браухичу, который заранее утверждал, что надо остановиться на Днепре, закрепиться и дальше не двигаться. После крымского поражения прусская военная клика почти целиком стала на сторону Браухича, которого Гитлер уже сумел отстранить от командования, но этим вовсе не заглушил раскола: сторонники Гитлера, вновь испеченные полковники, генералы, фельдмаршалы, обвиняли во всех бедах Браухича, а союзники Браухича, старые, матерые волки, обвиняли во всех бедах Гитлера.

— А-а, чорт! — снова выругался Шрейдер. — Он, Фогель, за Браухича. Знаю. Об этом надо донести... Фу, грязное слово... Нет, сообщить фюреру. А-а? Советчик? Я так должен поступить во имя империи. Даже умереть, но поступить так: для нас принципы фюрера — все, — и, глянув в окно, воскликнул: — А, чорт! Идет! Два дня копался у Бломберга. Теперь ко мне. Ну, я его шугну! А, чорт! Больше смелости!

Николай Кораблев сказал:

— Мне, пожалуй, надо удалиться.

— Э, нет! Вы же мой советчик.

— Я ваш советчик, господин шеф, но не советчик генерала. Будет хуже, если он попросит меня отсюда: это снизит ваш авторитет.

— Тогда вот что: идите в ту комнату. Сядьте там за ширму. Приказываю, — добавил Шрейдер, видя, как Николай Кораблев изогнул губы. — Я оставлю дверь открытой. Смотрите. Слушайте. А потом мы будем с вами держать военный совет. О-о-о! Вы увидите,

как я его шугну, прихлебателя Браухича, кровососа: всю кровь из народа высосал, и он против национал-социализма!... Национал-парцолай-горцолай, — растерянно заболтал он что-то непонятное.

2

Звон шпор, стук каблуков заполнили кабинет.

Генерал Фогель, весь подтянутый, отшлифованный, точно выточенный из слоновой кости; лицо у него чистое, без единой морщинки, нос безусловно «арийский» — с горбинкой, на губах, видимо, как-то раз появилась, так навсегда и застыла тонкая, презрительная улыбка; движения у него — с молниеносными паузами: сядет — на миг застынет, встанет — на миг застынет, шагнет — на миг застынет. Вот он вошел в кабинет — и на миг застыл. В левой руке у него перчатка. Он махнул ею — и рука застыла. Сел — и на миг застыл. А Шрейдер петушится: делает вид, что рад пришедшим, передвигает стулья, что-то лопочет. Генерал кивнул на кресло.

— Садитесь, господин Шрейдер. Вы ведь, кажется, еще и фон?

— Так точно, господин генерал, — еле слышно ответил Шрейдер и в упор посмотрел на Бломберга, стараясь по его лицу разгадать, что все эти военные сулят ему, всеобщему шефу.

— Та-ак, — заговорил генерал, уже не скрывая презрения. — Значит, племянник фельдмаршала? — и засмеялся звонким, заливающимся голоском. — Фельдмаршала! — подчеркнул он и посмотрел на своих подчиненных, которые тоже, еще не понимая, в чем дело, засмеялись, одни басками, другие дискантами, третьи хрипло. — Та-ак, — еще раз протянул Фогель, и смех в кабинете оборвался будто по команде «молчать», а генерал чуть спустя раздельно, строго проговорил: — О вашей деятельности, шеф фон Шрейдер, дошло до высшего командования, в частности — до фюрера, — с оттенком отчужденности, так, как если бы сказал «в частности — до дворника», произнес он последнее сло-

во.—Адъютант!—неожиданно обратился он к офицеру и махнул перчаткой на шкаф из карельской березы.

Адъютант стремительно кинулся к шкафу, открыл, и перед взорами всех заблестели бутылки с бургонским.

— Ваша деятельность, шеф фон Шрейдер? — спросил генерал.

Шрейдер, найдя в толпе Фрица Бломберга, облил его гневом, думая:

«Ябедник! Сам пил и наябедничал! Ах, эти низы!»

— Ваша деятельность? — повторил Фогель.

Всем показалось, особенно Николаю Кораблеву, сидевшему за ширмой, что Шрейдер окончательно влип. Но тот какие-то секунды молчал и вдруг улыбнулся, вихляющей походкой подошел к шкафу, ногтями потренькал по бутылке и как ни в чем не бывало сказал:

— Гости. Господин генерал, у меня всегда бывают гости, и такие высокопоставленные, как ваша милость. Хотите? Настоящее бургонское, старинное.

В глазах генерала блеснули искорки ненависти, но он сдержался и, как бы не слыша объяснения Шрейдера, сквозь зубы процедил:

— Вино надо пить умеючи. Умеючи — это значит: когда у тебя все крепко. Здесь, — он махнул перчаткой на голову Шрейдера, — и кругом, — он сделал перчаткой круг. — А вы, фон Шрейдер, пили, когда у вас всюду некрепко... Вам бы надо в куклы играть, — и генерал посмотрел на своих подчиненных теми глазами, которые всегда не только просят, но и требуют похвалы.

И все, стараясь умилиться, как иногда умиляется собака, видя в руке хозяина кусочек мяса, начали его хвалить, наперебой выкрикивая:

— У нашего генерала блестящий ум!

— Ну! Фогели! Фогели всегда отличались блестящим умом!

— Острым языком!

— Находчивостью!

— Молниеносностью!

И Фогелю все это было приятно, несмотря на то, что он такое слышал уже не впервые. Но ведь потреб-

ность лести так же ненасытна как и жадность. Польщенный генерал еще сказал:

— В куколки поиграть не мешало бы и вашему дядюшке: он такой же железнодорожник, как я сапожник.

О-о-о! Тогда в кабинете грохнул хохот — басистый, визгливый, хриповатый, а герр Шрейдер превратился в сморщенный грибок. Генерал, довольный тем, что смог унизить племянника фон Шрейдера, ярого сторонника Гитлера, обратился к Бломбергу:

— Что вы на это скажете, господин подполковник?

Тот вытянулся и бухнул, показывая пальцем на Шрейдера:

— Смею доложить, господин генерал: он дурак.

— Грубо, господин Фриц Бломберг. Грубо. Впрочем, это еще говорят в вас невоспитанные низы. Кстати, подполковника вы получили за сколько лет военной службы?

— За четыре года. Я начал лейтенантом.

— Вот это и плохо: вам бы следовало еще походить денщиком.

Бломберг побледнел — теперь уже он сморщился, как грибок, — и пролепетал:

— Я утвержден фюрером, господин генерал.

— Утвержденный подполковник — это одно, а подполковник, который завоевал себе подполковника, — это другое, — уклончиво ответил генерал и, решительно повернувшись к свите, сказал, обращаясь к полковнику в форме гестапо: — Примите дела у этого утвержденного подполковника.

Бломберг выпрямился, поднял голову и дерзко кинул:

— Я могу не подчиниться: у меня есть свой генерал!

— Полковник Раушенбах ознакомит вас с приказом вашего генерала. — Фогель поднялся с кресла, тут же следом за ним поднялись все, звеня шпорами, пристукивая каблуками. — А у вас, шеф Шрейдер, есть кто на родине?

— Мама... и мамин папа...

— Напишите письма, что скоро увидеться не смо-

жете. Выдумают же: шеф города! Выдумают же! — и так же помахивая перчаткой, генерал покинул кабинет.

«Крут. У этого из зубов куска не вырвешь!» — подумал Николай Кораблев, выходя из-за ширмы.

Шрейдер некоторое время стоял молча, будто камень, затем сорвался и забегал кругами, как это иногда делает щенок, гоняясь за собственным хвостом. Потом остановился, крикнул:

— Советчик! Карл! Выходите! А-а-а! Вы уже здесь? Видали? И слыхали?

— Да. Видал и слыхал, господин шеф.

— Как я его шугнул! Генерала! Знаем мы этих пруссаков! Я тебе не Бломберг, а фон Шрейдер!

«Ну, это уже совсем глупо»! — чуть было не вырвалось у Николая Кораблева, но сказал он другое:

— Вот теперь как раз может быть такое, — он повел пальцем вокруг горла, как бы делая петлю. — Фогель посоветовал вам заранее проститься с мамой и маминым папой. Понимаете?

Шрейдер несколько секунд молчал, затем шагнул к шкафу, налил стакан вина, глотнул, долго смотрел на своего «советчика».

— Что вы сказали?

— Я сказал: он вам посоветовал проститься с мамой и маминым папой, да кстати и с дядюшкой.

— Повесит?

— Возможно, расстреляет.

— Ну-у! Нет. Я этого не хочу. — Шрейдер допил вино, налил и протянул стакан Николаю Кораблеву: — Пейте.

— Вы же знаете, что мне нельзя: контужен.

— Ах, да. Вспомнил. Но скажите, почему мне не везет? Когда я был маленький, мне все говорили: «Какой умный мальчик!» Я любил давить котят. Знаете, вот так: поймать котенка, положить на него сначала один камень — лучше плиту, потом второй, третий — у котенка глаза выскакивают, как горошины. А? Интересно?

— Вам сейчас следует думать не о котятах, а о том, как бы у самого глаза не выскочили. Слышите? Понимаете?

— Но я не хочу.

— Мало ли что «не хочу». Генерал Фогель занес над вашей головой меч. Это надо понять. И действовать.

— Как? Легко сказать: действовать. Как?

— Фюрер нас учит: при достижении той или иной цели ни с чем не считаться. Мораль, нравственность, жалость — все это химера.

— Не понимаю вас. Впервые не понимаю, советчик.

— Я не уверен, что вы туги на ухо. Неужели не понятно? Вас Фогель намеревается стереть с лица земли, а вы добровольно подставляете шею. Когда Рем хотел уничтожить Гитлера, то фюрер послал к нему на квартиру своих молодчиков, и те вырезали всех Ремов в постели.

— Ага! Понимаю! Значит, надо вырезать генерала и его сторонников?

— Неплохая догадка. Но ведь вы не Гитлер: вас за это будут судить. Уж если делать, то надо так, как будто это совершил кто-то, а не вы.

— Хорошо. Вырезайте их всех. Всех, до единого... и в постели.

— Дайте согласие!

— Валяйте! Валяйте!

— А как, надо подумать. Судя по припухшим губам, Фогель любит девочек?

— А кто не любит девочек! Разве только господин Гесс: тот любит мальчиков.

— Долго ли Фогель пробудет здесь?

— Да, наверное. Все расковыряет. Не понимаю, зачем это ему? Ведь я ни в чьи дела не лезу? Знаю, Бенда ворует, Бломберг грабит, граф грабит. Все грабят. Какое мне дело? А-а, чорт!

— Надо возобновить вечеринки. Пригласить девочек. Но на это понадобятся деньги, — сказал Николай Кораблев и тут же поправился: — А может, еще как-нибудь, следует подумать. Хоть нас фюрер учит: при достижении цели пускай все средства — подкупы, шантаж, компрометацию, игру на слабых сторонах, убийство. Все! Но... нужны деньги!

— Деньги? — подхватил Шрейдер. — Возьмите у меня, — и он, открыв сейф, начал рассовывать по карманам Николая Кораблева пачки марок, приговаривая: — Нате! Нате! Нате! Только сделайте так, чтобы после войны мы вместе с вами попали в мой замок. Если за это время дядя умрет, я получу еще два замка; если мамин папа — три замка.

— Хорошо, — обрывая поток излияний Шрейдера, проговорил Николай Кораблев. — Прикажите графу, чтобы он готовил вечеринку. Много ли у вас марок? — и, посмотрев на сейф, добавил: — Надо достать еще столько и еще столько.

— Зачем так много?

— Адъютанту генерала, чтобы он привел своего генерала на вечеринку... Понимаете? Так учит фюрер: ничем не брезговать для достижения цели, — и Николай Кораблев с волнением подумал: «Ну вот и случай устроить вечеринку, на которой так настаивает Громадин».

3

События начали развиваться стремительно и наперекор всем устремлениям Николая Кораблева.

Полковник Раушенбах, человек сурового склада, с широкой нижней челюстью, которая, казалось, все время двигалась со скрипом, с глазами навыкате, походивший на бульдога, примыкал к иной группе национал-социалистов: эти не кидались на дверные ручки, шпингалеты, крючки, как Бенда, а хватали сразу все здание — с дверными ручками, шпингалетами, крючками и с окружающей землей. До прихода к власти Гитлера Раушенбах вел крупную торговлю скотом в азиатских странах и владел родовым имением в Восточной Пруссии, но за время войны он еще «благоприобрел» одно имение под Варшавой, другое — под Краковом и мечтал, исходя из принципов национал-социалистской партии, «благоприобрести» еще под Москвой и в степях Поволжья. Ныне эта мечта рушилась: красные части, как выражался он сам, «вышибли» гитлеровцев за Днепр — и Раушенбах стал думать

о другом: кому бы передать имения в Польше и соответственно приобрести в Германии.

— Тогда будет спокойней, — утешал он себя и раскрывал рот с широкой нижней челюстью.

Узнав о том, что Бенда владеет имением под Лейпцигом, Раушенбах налетел на него, как коршун на воробья.

— Вы преступник, — сказал он, посадив его на стул посередине кабинета.

— То есть, не понимаю?

— Вы отвинтили ручки, шпингалеты, крючки в здании комендатуры, которое принадлежит империи.

— Вы шутите, господин Раушенбах, — Бенда улыбнулся, хотя внутри у него все дрогнуло.

— Под такие шуточки я уже несколько преступников повесил.

— За дверные ручки и шпингалеты?

— Только ли? Вы из стада, принадлежащего армии, увели к себе в имение, если не ошибаюсь под Лейпциг, четыре лучшие коровы, двух коней.

— Да, — Бенда встал, прошелся, даже взъерошился. — Да. Но это пустяки в сравнении с тем...

— Вы хотите сказать, в сравнении с тем, что делают другие? — перебил его Раушенбах и опустил нижнюю челюсть.

Коменданту города господину Бенда в это время показалось, что челюсть зацокала, как цокают подковами кони на мостовой.

— Я это именно и хотел сказать, — пролепетал Бенда.

— А кто больше вас ворует? — сразу вцепился Раушенбах. — Почему молчание? Значит, вы не только воруете имперское имущество, но еще и прикрываете преступников? Кто?

Бенда побледнел, понимая, что, выбираясь из одной ямы, неожиданно попал в другую, более глубокую, и тяжело задышал.

— Молчите? Хорошо. Но тогда я вынужден вас передать на допрос моим подчиненным. Вы, наверное, знаете, как они допрашивают. К тому же вы француз.

— Нет. Я почти немец, — с перепугу, как гусь, прошипел Бенда.

— Почти? Вы играете на биллиарде? Ну, значит, видели, когда шар почти упал в лузу. Но «почти» не в счет, — и Раушенбах нажал кнопку.

Бенда вскочил и торопливо обеими ладонями, точно что-то отталкивая от себя, замахал на дверь, приговаривая:

— Я сам! Я все скажу! Вы только не выдавайте меня: мне будет стыдно, — затем повертелся на каблуках, посмотрел во все стороны и, убедившись, что, кроме них, тут никого нет, начал еле слышно: — Герр Шрейдер забрал из минского музея старинную мебель карельской березы. Понимаете? Ковры. Понимаете? Это ведь собственность империи.

— Чепуха! Береза, ковры — чепуха, — все записывая, прервал его Раушенбах. — Нет ли чего посущественней?

— Фриц Бломберг, ваш предшественник, изнасиловал русскую девушку. Вот здесь, в кабинете... Да, да, здесь! — убежденно проговорил Бенда, видя, как губы Раушенбаха расплылись в улыбке. — Да. Да. Даю вам честное слово!

А тот вдруг захохотал, выкрикивая:

— Ох! А что же с ними делать, с русскими девушками? Их надо насиловать и убивать. Двадцать миллионов. Так сказал фюрер, — и, оборвав хохот, он в упор посмотрел на Бенда. — Вы, как француз, решили замарать немцев. Не отрицайте. За такую клевету вас надо уничтожить или выселить из Германии,— он встал, походил, искоса посматривая на растерянного Бенда, затем круто повернулся, сказал: — А впрочем, можно так — баш на баш, как говорят на Востоке: у меня есть имение под Краковом, у вас — под Лейпцигом. Мне не нравится под Краковом, вам, знаю, не нравится под Лейпцигом.

— Не-ет. Зачем же? То — мое родовое.

— Родовое? Какое там родовое: французы даже своего государства не имеют.

— Но... но это ведь в прошлом... почти в прош-

лом, — запинаясь, проговорил Бенда, намекая на то, что американские войска уже вошли во Францию.

— Ага! — грохнул Раушенбах, точно ударяя кулаком по голове Бенда. — Вы еще не верите и в вооруженные силы Великой Германии! Та-ак? — он снова нажал кнопку. — Хотите видеть свое семейство — езжайте под Краков. Не хотите — у меня найдется на вас испытание.

После этого Раушенбах пригласил Шрейдера, и когда тот вошел в кабинет, он усадил его на стул посередине комнаты, сказал:

— Вы ведь знаете, для добрых дел сюда никого не вызывают?

Шрейдер в первые минуты молчал, боясь шевельнуться, будто около него была разлита кипящая смола. А Раушенбах закрутил сигаретку и, как бы между прочим, кинул:

— Вы такой преступник, каких надо сжигать на костре.

— Я? Меня? — воскликнул, точно просыпаясь, Шрейдер.

— Да. Вас. Шута. Кто вам дал право нарушать законы фюрера?

— Я нарушаю законы фюрера? Я?! — и Шрейдер решительно ткнул себя пальцем в грудь. — Я?! Ну, знаете ли, господин полковник!

— А мебель из музея, а ковры?

— Значит, донесли. Кто?

— Вы меня допрашиваете?

— Вы — меня, и я — вас.

— Нахальство!

— Обоюдное, — и герр Шрейдер, как всегда при таких случаях, набравшись смелости, прошелся по кабинету, подражая своему дядюшке, затем резко бросил, поводя птичьим носом: — Как вы смеете мне предъявлять такое обвинение?

— А почему я не должен сметь? Вы сядьте на стул.

— На стул — вы! У меня ноги не устали. Вы предъявляете мне клеветническое обвинение. Разве я мебель и ковры отправил куда? Ведь она стоит в моем кабинете, ковры тоже находятся там, и все это запи-

сано в инвентарную книгу под номером триста восемьдесят четыре дробь два, — пустился он врать. — И все: и мебель, и ковры, и столы и стулья, и я весь, целиком, — принадлежит фюреру... А вы решили меня судить за то, что я принадлежу фюреру! Ну? Что вы на это скажете, господин Раушенбах? Наклепать на меня хотите? Нет, я вам не поляк! — и пошел на растерявшегося, побледневшего Раушенбаха. — Я вам не поляк! — выкрикивал он. — Вы сгноили в тюрьме две польские семьи лишь для того, чтобы завладеть имениями! Так, думаете, и меня припугнуть! Э-э-э! Не смотрите, что я невзрачный. И Мольтке был невзрачный, и фюрер невзрачный, и я невзрачный. Однако мы сможем вырвать вашу челюсть, несмотря на то, что она у вас взрачная.

«Эх! Он колючий», — с тревогой подумал Раушенбах, и вслух: — Все-таки я вас допрашиваю, а не вы меня.

— Я в этом не разбираюсь. А вот куда вы запрятали Бенда?

— Это мое дело.

— Не думаете ли вы, что вас фюрер облек неограниченной властью? А ну, подтвердите. Молчите? Так вот, скоро прибудет мой дядюшка, фон Шрейдер, фельдмаршал, он воткнет вам в соответствующее место перо, и вы полетите туда, как говорят наши крестьяне, где раки зимуют... Да, кстати, прихватите и вашего шефа генерала Фогеля: Фогель-могель, кислый квас!.. Сам хапнул в Польше два имения, а тут мебель? Мебель? Да вы знаете ли, что я имею шесть замков на Эльбе! — решительно приврал Шрейдер, но это подействовало на Раушенбаха, как дым на комара

Он залебезил и сказал:

— Вы очень нервный, фон Шрейдер. Надо же понять: моя прямая обязанность — следить за всеми в интересах империи... И я должен...

— Что должен? — притопнув ногой, прервал его Шрейдер. — Сажать преданных фюреру людей? Город полон партизан, а он сажает преданных фюреру людей! Если вы это делаете по злому умыслу, вам место

на эшафоте... вас надо на гильотину! Если по глупости, то следует играть в куклы, несмотря на то, что вам под сорок, — повторил он слова генерала Фогеля, забыв, что тогда присутствовал и Раушенбах. — И дедушке и бабушке вашим надо играть в куклы! — добавил он для пущей важности и, строго приказав: — Немедленно прислать ко мне Бенда! — вышел из кабинета, сел в коляску и укатил к себе.

4

— Не тот ход, — спустя некоторое время проговорил Раушенбах, продумывая все с начала и до конца.— Не тот ход. С этим надо ласково, мягко, чтобы жестко спать. Ах, таракашка! Еще фырчит! «Дядюшка! Дядюшка!» И дядюшка загремит! Бенда я, конечно, выпущу. Но наковыряю, и еще как наковыряю — он позвонил и, когда вошел солдат, сказал: — Там, этого сюда!

Вскоре дверь отворилась, и в кабинет, поджимаясь, словно у него нестерпимо болел живот, вошел Бенда. Раушенбах подвинул ему стул.

— Садитесь. А то, вижу, стоять трудно. Ну, как?

Бенда сел на краешек стула, ежась и морщась.

— Что-то вам не нравится этот стул? — спросил Раушенбах, криво улыбаясь.

— Не понимаю, зачем такое оскорбление? Я профессор историк, а меня плеткой, как казаки!

— А чем же вас еще? Шелковыми ленточками, что ли? Значит, не нравится?

— Да. Неприятно. И крысы. Они лезут на ботинки, на брюки. Косматые!

— А вам бы хотелось попасть в великолепный женский будуар? Вы опять критикуете порядки империи!

— Да нет! Что вы? Где уж? Что надо — значит, надо.

— Вот это другой разговор, — и Раушенбах, взяв трубку, позвонил генералу Фогелю, говоря заискивающе мягким голоском: — Смею доложить вам, господин генерал: весь город — партизаны. Проверено.

Точно. Прошу быть осторожней. Что? Что вы сказали, господин генерал? Отправить всех в Германию. Это совершенно верно. Комендант города? Бенда — не то француз, не то что. Окончательно разложился: всюду обдирает дверные ручки, шпингалеты, крючки и отправляет к себе в имение. Пустяки, конечно. Но он не брезгует и лошадками, коровками. Преступление, как мне известно по опыту, и начинается с пустяков. Потянуть его? Слушаюсь, господин генерал. Нет. Не разучился, — и, положив трубку, Раушенбах, в упор глядя на Бенда, произнес: — Слыхали, что советует генерал, — потянуть вас. Вы понимаете, что это значит: потянуть? Но я не злой человек. Хотите, баш на баш — и езжайте под Краков. А сейчас за дело. Русских выслать в Германию. Сначала собрать всех в деревянный городок, а потом выслать. Не то разбегутся.

— Но там места для всех не хватит.

— Тискайте так, чтобы один вошел в другого. Чем русских меньше, тем лучше. Двадцать миллионов. Слыхали? Фюрер сказал: уничтожить двадцать миллионов русских — это и есть слава немецкого оружия. Собрать всех. До ближайшей станции двадцать четыре километра? Дойдут. Кто не дойдет, пусть подыхает на этой земле. Сколько у вас солдат?

— Две роты, господин генерал.

— Я еще не генерал, — поправил польщенный Раушенбах.

— Будете, — намеренно польстил Бенда.

— Буду? Очень приятно. Так вот, идите, принимайтесь за дело. И помните, от вас зависит ваша судьба: баш на баш — и торжествуйте.

— Позвольте, — растерянно пролепетал Бенда. — Но ведь я даже не видел вашего имения под Краковом...

— Я вашего тоже не видел. Но доверяю. Почему вы не доверяете мне?

Бенда развел руками и вышел, бормоча:

— Родовое! Каждый камешек мне родной!

5

Стон и вопль поднялись над городом.

Все это началось в шесть вечера и не смолкало до утра.

Стариков, женщин, детей, больных отрывали от родного крова, гнали палками и втискивали в деревянный городок. Первая партия еще сумела сесть на узелки, но вскоре пригнали вторую партию, и первой пришлось встать, взять грудных и малых детей на руки. Но потом пригнали еще и еще партию. Люди не умещались во дворе. Их втискивали, давили, уминали, утаптывали, и стон, вопли неслись над деревянным городком. Дети, раздавленные стиснутыми плечами, умирали на руках матерей. Матери рыдали. Старики, старухи, больные падали, и ноги других мяли их.

Бенда всю ночь выселял русских, а утром влетел в кабинет Раушенбаха:

— Что делаете? Разве так можно! Не только грудные, но и взрослые погибают!

— Вы опять со своим? Забыли, что сказал фюрер, — двадцать миллионов.

— Да. Да. Я опять ошибся, — сказал Бенда и, согнувшись, как-то постарев, направился к Шрейдеру.

Войдя в кабинет, он, не здороваясь, сел в кресло, затем туманными глазами посмотрел сначала на Шрейдера, затем на Николая Кораблева и попросил:

— Вина.

— Вина? — воскликнул Шрейдер. — Чего он захотел — вина! — и, подойдя к шкафу, открыл дверки: шкаф был пуст. — Вот вино. Фогель вылакал. Прислал какого-то холуя и забрал мое бургонское.

— Это, наверное, адъютант, — вступился Николай Кораблев. — Генерал на такое не кинется.

— Генерал или адъютант — все равно. Но у меня есть запас, — Шрейдер отодвинул спинку дивана и вытащил оттуда две бутылки бургонского. — О-о-о! Этому вину сорок два года. Пусть генерал лакает ту дрянь. Мы будем пить сорокадвухлетнее!

— Вина! — как бы не слыша всего этого, повторил Бенда. — Стакан, — и, выпив, передохнув, сказал: —

Что делают? Что делают? Узнают красные, придут к нам, тогда наши дети, наши жены, наши старики будут затоптаны, раздавлены.

Николай Кораблев перебил его:

— Господин Бенда, таких вещей: «Красные придут к нам» — не полагается говорить. Это можно только держать в уме.

Наступила тишина. Бенда внимательно посмотрел на Николая Кораблева, а герр Шрейдер, выпив второй стакан, восхищенно воскликнул:

— А, чорт! Что? Какой у меня советчик! Держать в уме! Я тоже кое-что держу в уме. Ну! За что он вас хотел припрятать, Раушенбах? За что?

— Странно! Он предлагает мне баш на баш.

— Это что: баш на баш, советчик? — спросил Шрейдер.

— Баш на баш — то есть голова на голову, так на так. Торгашеский жаргон, употребляется в азиатских странах.

— А что так на так он вам предлагает, Бенда?

— Имение. У него под Краковом... — заговорил было тот, но его, как всезнайка, перебил Шрейдер:

— Под Краковом? Знаю. Под Варшавой? Знаю: две польские семьи сгноил в тюрьме, а имение — себе.

— Сгноил? — с испугом вскрикнул Бенда. — Но... он мне предлагает просто поменяться. Он возьмет мое — под Лейпцигом, мне отдаст свое — под Краковом.

— Перемена климата, — пошутил Шрейдер, наливая новый стакан вина. — Жаль, мой советчик не пьет: контужен. Ничего, подлечится, мы поедем с ним ко мне в замок, — и тут же заговорил о другом, бахвалясь: — О-о-о! Как я его шугнул, Раушенбаха! У него поджилки затряслись!

А Николай Кораблев радостно ухватился: «Хороший случай устроить вечеринку» — и, обращаясь к Бенда, посоветовал:

— Я думаю, вам надо согласиться.

— Как, родовое имение — и баш на баш!

— Не баш на баш, а за спасение своей головы, — раздельно, точно вколачивая каждое слово в сознание

Бенда, проговорил Николай Кораблев. — Что вам дороже: родовое имение или своя голова? А кроме того, у вас их трое — детей? Чем виноваты они, что вы налетели на Раушенбаха? Соглашайтесь, оттягивайте а там видно будет. И слюни распускать не надо. Вишь ты, ему жалко русских! Да разве так можно? Фюрер сказал, двадцать миллионов.

— Вот! Вот и Раушенбах то же самое — двадцать миллионов! Но мы их бьем, бьем, бьем... судя по печати, мы уже миллионов двести убили... А они? Они уже за Днепром. Крым взяли, Донбасс взяли, Киев взяли, под Сталинградом перемололи, под Ленинградом перемололи...

— Это не ваше дело, где и кого перемололи! — оборвал его Николай Кораблев. — Ваше дело здесь, в городе. Вы ведь комендант. Или вы это забыли? Мой совет: вам надо как можно скорее отправить русских на станцию — и умыть руки. Затем согласиться на предложение Раушенбаха и устроить пир. Да. Пир! — ответил он на удивленный и вопрошающий взгляд Бенда. — Пир. Большой. Пригласить всех, в том числе и генерала. А если подъедет фельдмаршал, попросить и его.

— Он будет. Мне стоит только сказать, и дядюшка на крыльях прилетит. Вы ведь говорите, что найдете девочек? — обратился Шрейдер к Николаю Кораблеву. — А мой дядюшка девочек любит. Что ж, это никому не вредно. Итак, по рукам. Когда бал? — Шрейдер налил три стакана бургонского и, подавая один Николаю Кораблеву, сказал: — Ну, не пьете — чокнитесь с нами!

Николай Кораблев взял стакан, приподнял, чокнулся:

— Я даже немного выпью. Не все: иначе я буду плохой советчик. За то, как учил фюрер, чтобы быть хитрым, терпеливым, находчивым и в достижении цели не брезговать любыми приемами. Ваше здоровье! — и отхлебнул из стакана вино. — Хорошее. Ох, если бы не контузия!

— Итак, бал, Карл? — спросил Бенда.

— Бал. Но сначала отправьте русских на станцию. Сегодня же! Сейчас же! Группу за группой.

— Но я не могу. Я всю ночь не спал... и пьян, — взмолился Бенда.

— А вы поручите мне.

Бенда некоторое время колебался, затем поднялся, пошатывающейся походкой подошел к столу и позвонил своему помощнику:

— Приедет к вам советчик шефа Шрейдера, Карл. Вы его знаете? Очень хорошо. Отправку русских на станцию поручаю ему. И приказываю, — прикрикнул он в трубку, — безоговорочно подчиняться ему... и мне, конечно!

— Желаю вам успеха, — проговорил Николай Кораблев, направляясь к двери. — Будьте спокойны, господин Бенда: я все устрою. А бал? Когда я скажу. Мне ведь еще надо подобрать девочек. Из тех, которых отправляем в Германию, нельзя: раскиснут за столом. Значит, поищу в Бобруйске или в Витебске.

Когда он вышел, Шрейдер с восхищением воскликнул, хлопая тонкой лапкой по плечу Бенда:

— А, чорт! Вот советчик!

— Мне жаль своего родового имения, — и Бенда свесил голову так, точно кто-то со всей силы ударил его ребром ладони по шее.

6

Николай Кораблев, сев на коня, прискакал на станцию. Здесь в изуродованном паровозе он разыскал Яню Резанова и Сиволобова. Они оба, встревоженные, начали было его расспрашивать о событиях в городе, но он отмахнулся:

— Не до того, товарищи! Вам, Яков Иванович, надлежит сейчас же передать генералу: сегодня, в шесть вечера, на станцию Ломайка будет выслана первая партия жителей города. Отправкой руковожу я. Надо к мосту, там, у болота, послать партизан. Вам, Петр Макарович, нужно втереться в первую группу. Потом у моста сдадите ее партизанам и

втираетесь во вторую. Возможно, будет групп пять-шесть. Понятно?

— Очень, — первым откликнулся Яня, быстро обувая лапти.

— Пока, товарищи!

Николай Кораблев откланялся и помчался в город. Войдя в кабинет Раушенбаха, поздоровавшись, сказал:

— Простите за беспокойство, господин полковник.

— С доносом? Давайте скорее. Некогда.

— Нет, не с доносом.

— А что же тогда?

— Мне комендант города поручил отправку русских на станцию.

— Когда?

— Думаю, сегодня, в пять-шесть вечера.

— Точнее.

— В шесть.

— А почему так торопится Бенда? Пусть подыхают во дворе. А лучше всех сразу расстрелять.

Такого оборота Николай Кораблев не ждал, поэтому чуточку растерялся.

— Ваша воля. Но... не рекомендую. Неподалеку находятся партизаны. Узнав о расстреле, они разнесут нас. Лучше отправим.

— Да, — подумав, сказал Раушенбах. — Пожалуй, так. Пусть подыхают в дороге.

— Так разрешите начинать?

— Валяйте.

Николай Кораблев забыл проститься; он тряхнул кепкой и кинулся к двери, но его остановил Раушенбах:

— А вы, собственно, кто такой?

Николай Кораблев повернулся и увидел только одно — наведенный парабеллум.

«Убьет!» — мелькнуло у него, но в следующую секунду он спокойно произнес:

— Я инвалид, контужен. Работаю здесь во имя империи.

Раушенбах опустил парабеллум, сказал:

— Я шучу.

— Плохая шутка, господин полковник! Разрешите о вашей шутке донести в Берлин. — Николай Кораблев подумал, что перехватил, но тут же, увидев, что это подействовало на Раушенбаха, нажал: — Думаю, вас не похвалят за такие шуточки.

— Ну. Ну. Перестаньте. Вы что же? На что живете? Хватаете?

— Ничего не хватаю. Я советчик у фон Шрейдера, и он мне за это платит.

— А-а-а! Так это вы насоветовали ему... на станции?

— Нет. Дядюшка, фельдмаршал фон Шрейдер: приказы есть. Молодому Шрейдеру я все время рекомендовал: не вмешиваться в дела, а веселиться и пить бургонское. Он ведь немного того... — Николай Кораблев постучал пальцем по голове.

— Дурак?

— Эта болезнь по-разному называется.

— Так знаете что: я вам подарю мебель карельской березы, ковры и еще кое-что. Служите мне.

— А куда я все это дену?

— Отправите на родину, там продадите. Я помогу. Хорошая мебель. Видели в кабинете у вашего шефа? Вот ту мебель я вам дарю. И те ковры. И еще кое-что. Ну, как? По рукам?

— Я подумаю, — и Николай Кораблев вышел из кабинета.

7

Никогда и ничего более ужасного в городке Бобер еще не случалось.

Больные, старики, женщины, дети, грудные ребята были согнаны за высокий деревянный тын. Многотысячная толпа, сжатая, стиснутая, вздернув руки вверх, колыхалась, как горячая зола... и люди уже не кричали. Они, обессиленные, стонали, задыхаясь, и этот приглушенный стон слился в единый, потрясающий гул.

Выставив солдат, приказав никого за линию не выпускать, Николай Кораблев дал распоряжение, чтобы

открыли ворота, но этого сделать было невозможно: люди напирали изнутри с такой силой, что столбы покачивались.

— Рубить! — сказал Николай Кораблев.

Как только рухнули воротные столбы, вытолкнулись близстоящие ряды людей, потом вторые, третьи... и зрелище стало более ужасающим: ползли больные, выскакивали обезумевшие матери, держа на руках раздавленных младенцев, выходили старики, цепляясь за других, будто слепые, а двор весь был устлан затоптанными, окровавленными детьми, женщинами, стариками.

Даже немецкие солдаты — и те опустили глаза, а один из них, не выдержав, вдруг закричал, падая на колени:

— Зачем? Зачем? Зачем это?

Николай Кораблев цыкнул на него:

— Встать! Ты в строю, а не в пивной! Ну!

В шесть часов вечера на станцию была отправлена первая группа жителей, потом — вторая, третья, четвертая... седьмая.

Наутро, когда стало известно, что жителей городка Бобер вместе с немецкими солдатами у моста перехватили партизаны и увели в Пинские болота, а станция, куда их гнали, взорвана, Раушенбах пришел в бешенство. Вызвав Николая Кораблева, он, топая ногами, грозя парабеллумом и хлопая тяжелой нижней челюстью, закричал:

— Куда? Куда дел русских? Куда дел наших солдат? Куда?

У Николая Кораблева все клокотало, но он, сдерживая себя, почти спокойно сказал:

— Вы теряете рассудок, господин полковник, что вам никак не полагается: разве вы, или я, или кто-нибудь ждал, что партизаны перехватят русских. Может быть, вы ждали и не сообщили мне? Тогда я не понимаю, кто вы? Может быть, партизан?

Это вначале сбило с толку Раушенбаха, он что-то промямлил и снова закричал:

— Кто вас уполномочил так разговаривать со мной?

— Интересы империи, — и Николай Кораблев прямо, уверенно и даже дерзко посмотрел в глаза Раушенбаха.

Тот смолк, отошел к окну, положил на подоконник парабеллум и с тоской прошептал:

— Боже мой! Зачем я дал согласие ехать сюда? Вся карьера рушится! — и, повернувшись к Николаю Кораблеву, снова закричал, но уже не зло, а вызывая сочувствие: — Разве вы не понимаете? Вся моя карьера рушится!

Николай Кораблев озлобленно подумал: «Эх вы, деляги!» — и заговорил:

— Чтобы спасти вашу карьеру, я бы сделал вот что.

— Что? Что? — ухватился Раушенбах, забывая парабеллум на подоконнике.

«Теперь-то в случае чего я скорее его пристукну!» — решил Николай Кораблев и заговорил:

— Я бы на вашем месте вызвал дивизию, две, три и разгромил партизан. Ведь нельзя же это терпеть: в ста пятидесяти километрах передовая, а тут орудуют партизаны, — и подумал: «А не слишком ли я?..»

— Дивизию? Две? — как бы кого-то передразнивая, протянув руку, выкрикнул Раушенбах. — Дайте! Ну! Кладите на ладонь!

— На ладонь две дивизии никак не уложатся.

— А там болота. Болота! — не слушая его, продолжал Раушенбах. — Вы знаете, что такое Пинские болота?

— Знаю. Но разве против германского оружия что устоит? Вы, господин полковник, вижу, не верите в силу империи?

— Это откуда? Откуда? — спросил ошарашенный Раушенбах.

— Грозите болотами. Разве вы не знаете, что в начале наступления на Россию были такие генералы и даже фельдмаршалы, которые советовали и настаивали не забиваться в глубь России: болота, непроезжие дороги, дожди, морозы. Оказывается, господин Раушенбах — воин вот здесь, за столом. Здесь вы

мастерски издеваетесь над людьми, например над Бенда, — и, увидев, как Раушенбах, прищурился, как прищуривается собака, когда над ней заносят хлыст, добавил: — Кстати, я уговорил его: он согласен баш на баш.

И моментально все: и грубый тон Николая Кораблева, и страх за карьеру, и увод населения партизанами — все, все немедленно отлетело от Раушенбаха, и встало перед ним одно — родовое имение Бенда под Лейпцигом. Выйдя из-за стола, посмотрев на Николая Кораблева, будто на новокупку-коня, он ласково произнес:

— Оказывается, у Шрейдера неглупый советчик.

— Почему неглупый?

— А разве это плохо — неглупый?

— Нет. Умный! — упорно кинул Николай Кораблев.

— Вы хвалите сам себя. Это нескромно.

— Скромность — химера, так учит нас фюрер... Я рекомендую вам устроить вечеринку, и с девочками. Бенда любит девочек!

— Французская кровь! Но я тоже, хотя и немецкая кровь!

— Следует... — уже почти диктуя, заговорил Николай Кораблев, — ...следует, чтобы на вечеринке был генерал Фогель. Приедет фельдмаршал фон Шрейдер, пригласим и его. Это я беру на себя.

— Позвольте, зачем же такой шум по поводу столь незначительного дела?

— Будут знатные свидетели вашей добровольной сделки.

От Раушенбаха Николай Кораблев, довольный ходом событий, отправился к Шрейдеру и застал в его кабинете Бенда, который, оказывается, со вчерашнего дня не выходил отсюда, боясь показываться на улице.

Как только в кабинете появился Николай Кораблев, Шрейдер и Бенда со страхом посмотрели на него, а первый сказал не то с укором, не то с сожалением:

— Вы подвели нас, Карл.

«Видимо, еще что-то новое?» — мелькнуло у Николая Кораблева, и он спросил:

— Чем, герр шеф?

— Куда делись русские? Куда? — обхватив руками голову, взмолился пьяный Бенда.

— Если вы, господин Бенда, придерживаете руками голову с целью сберечь ее, то я вас понимаю. Но не потеряли ли вы уже ее?

— Что это? А, чорт! — воскликнул Шрейдер.

— Не все ли вам равно, куда делись русские? Ведь вы утверждали, что партизаны готовили нам резню. Убрали? Хорошо!

— Да. Но солдаты? — опять завыл Бенда. — В моем распоряжении теперь осталось всего восемнадцать солдат. Восемнадцать, — он, хлопнув в ладоши, сначала показал десять пальцев, затем восемь.

— Война не считается с таким пустяком, как солдаты. Хуже было бы, если бы жители города вырезали нас. А теперь мы свободней чувствуем себя, а для партизан обуза: жителей надо кормить, а они сами голодают, слыхал я. Вот что: надо готовиться к вечеринке. И там попробуем выполнить то, что поручили вы мне, герр шеф. Вы не забыли?

— Нет. Я не мог забыть: жизнь или смерть?

— Тогда дайте мне машину и пропуск в Бобруйск. За девочками. Вечеринку советую устроить здесь, в нижнем этаже. Раздвинуть переборки в двух классах — там и просторно и уютно.

Получив разрешение на машину и пропуск в Бобруйск, Николай Кораблев спустился вниз, к себе в квартирку, и вдруг почувствовал, как в нем все мелко-мелко задрожало, а в голове, на месте седого пятна, заныло, словно кто-то снова ударил молотком.

— Нет. Нет. Не надо, — проговорил он, ощущая, как тошнота подступает к горлу. — Это не надо. Особенно сейчас, — выдавил он из себя, но болезнь ломала его, как ломает вспенившаяся река лед. — Не надо-о! Не надо-о-о! — вскрикнул он, стараясь удержаться на ногах, и все-таки упал посредине комнаты.

А там, наверху, когда он вышел, Бенда сказал:

— Ваш Карл — какой-то сатана: я начинаю бояться его!

8

Яня Резанов и Сиволобов долго и тревожно ждали Николая Кораблева на опустошенной станции, в своем «доме-паровозе». У Яни каждая минута была на счету: генерал Громадин приказал вечеринку устроить завтра — значит, Яня сегодня же должен переправиться в Пинские болота и к обеду завтрашнего дня на грузовике доставить девушек, «самых красивых, самых отчаянных». Приказ Громадина требовалось немедленно передать Николаю Кораблеву и сообщить, что на вечеринке обязательно должен быть фельдмаршал фон Шрейдер, которого необходимо «оставить в живых».

— Мне нужен фельдмаршал. Тоскую по нем, ночи не сплю, — пошутил Громадин.

В два часа, как условились, Николай Кораблев обещал прибыть сюда. Но вот уже четыре, пять, шесть... солнце пошло на склон, а его все нет и нет... И Яня Резанов крепко забеспокоился.

— Петр Макарович, давай выбираться из своего дворца, — а когда выполз из паровоза, покачал головой, добавил: — Ни одна нация, кроме нашей, не вытерпит такого жилья. Ну, что будем делать, Петр Макарович? Я думаю так: надеваем свои награды, — они вытащили из карманов медали, которыми наградил их фельдмаршал фон Шрейдер, прицепили, осмотрели друг друга, сказали: «Ладно», — затем Яня еще порылся в кармане, говоря: — У меня есть и та железюка, — и достал Железный крест. — Они офицерский крест не на горло вешают, а ниже.

— На пуп? — спросил Сиволобов.

— Нет. Под ребро... и получат под ребро. Я вот знал, у нас в колхозе был мужичок — маленький, юркий, бил в драке всегда с левой. Ну, если заедет под ребро — икнешь. Так. Смотри, ловко висит? А теперь курс наш такой: пойдем искать Николая Степановича. Неужто его зацопали? Тогда провал скандальный.

Войдя в городок, они, уже привыкшие ко всему, были поражены мертвой тишиной, а главным образом тем, что почти во всех домах окна или выбиты, или

открыты, а около домов, в кюветах, поломанные гардеробы, шкафы, кровати, разбитые зеркала, порванные картины, детские зыбки-люльки.

— Вот, — со скорбью заговорил Сиволобов. — Жителей выгнали, дополнительно все разграбили. Да как? Ну ломать, корежить зачем? Взял бы что тебе надо. Нет, все искорежили... и как такие вояки думают тут утвердиться? Да ведь за такое тыщу лет не простят.

— Новый порядок! — остервенело кинул Яня. — Советская власть — это-де чепуха, коллективы — казнь, а вот порядок! Новый! Кол им в глотку!

— Куда же пойдем в таком разгроме? — спросил Сиволобов.

— Думаю, сначала на квартиру. Посмотрим. Нет там — значит, искать следы. Как медаль-то на тебе висит! Эх, ловко!

Пройдя несколько пустых улиц, они остановились вдали от школы. Долго всматривались, затем тронулись в переулок. Яня заглянул в окно и отшатнулся: Николай Кораблев лежал на полу, раскинув руки.

— Убит! — шепнул Сиволобов.

— Видно, да, — ответил Яня. — Но нет: грудь колышется. Возьми линию дивана и гляди: колышется. Значит, еще дышит. Эх, сейчас бы мне медку да алмаз с бумагой!

— Это к чему?

— Намажь медом бумагу, приложи алмазом — стекло без шума в твоих руках. Ну, чего нет того нет. Вышибить — шуму наделаем, сбегутся. Того, у двери, прикончить? Это среди бела-то дня? Уговорить, чтобы пустил нас к Карлу Карловичу.

— Не пустит, — произнес Сиволобов.

— Тогда мы из него кровь пустим: отступать нам сейчас никак нельзя.

Подойдя к часовому, они, прикрывая рты ладошками, легонечко прокашлялись и враз поклонились, касаясь рукой земли.

— Ниже! Ниже! — шепнул Яня. — Так они в кино показывают: дескать, вот как русские распинаются, — и, выпрямившись, ломая язык, заговорил, показывая на окна комнаты Николая Кораблева: — Моя. Нам.

Карл Карлович. Карл. Такой — уйу-у большой! Ох! — и выпятил грудь, показывая Железный крест.

Увидав Железный крест, часовой улыбнулся и, что-то сказав на своем языке, показал на дверь, давая дорогу Яне Резанову. Тот шагнул, а за ним и Сиволобов, произнеся по-татарски:

— Якши! Якши! — думая, что немец и это поймет.

Но часовой преградил ему путь автоматом и что-то проворчал, отгоняя от крыльца.

— Ты, Петр Макарович, ступай в переулок; ежели что, я открою окно, — сказал Яня и быстро скрылся.

Он не вошел, а влетел в комнату, где на полу лежал Николай Кораблев. Приложив ухо к груди и слыша, как хотя и вяло, но бьется сердце, Яня радостно воскликнул:

— Жив! Жив! А это нам и надо! — и начал, будто качая воду, проводить руками по больному.

Проделав так несколько раз, склонился, заглянул в лицо. Оно разрумянилось. И Яня снова усердно начал «качать», все убыстряя движения. Минут через десять Николай Кораблев застонал, затем открыл глаза и весь содрогнулся.

— Там. Там, в шкафчике... пузырек... пузатенький, — слабо произнес он.

Яня кинулся во вторую комнату, открыл шкаф и, не разбираясь, какой пузатенький, какой не пузатенький, захватил все пузырьки и поднес их Николаю Кораблеву. Тот глазами показал на один и, чуть приподняв руку, зашевелил пальцами.

Яня спросил:

— Пять? Нет. Десять? Нет. Пятнадцать? Ага! Понимаю, — и, накапав в стакан пятнадцать капель, разбавив водой, он вылил в рот больного, после чего облегченно вздохнул: — Здоровьица вам большого, Николай Степанович!

Через несколько минут Николай Кораблев попросил:

— Поднимите меня. Помогите еще, — пройдусь. Вот так, — и, пройдясь по комнате несколько раз, он отряхнулся и с силой произнес, как бы кому-то грозя: — Не надо. Не надо. Это не надо, — выпрямился

и сел на стул. — Ну что, Яков Иванович, не опоздал?

— Пока нет еще, Николай Степанович, но все на ниточке. Генерал приказал — вечеринка завтра. И еще приказал, — Яня нагнулся и прошептал на ухо: — Фельдмаршала живьем. Я бегу туда. Как только вот быть с вами? Может, Петра Макаровича оставить, пускай понянчится?

— Нет. Я уже здоров. Такое со мной бывает... по ночам. А теперь почему-то днем. Ничего. Все прошло. Ступайте. Передайте. Все будет сделано. Девушек доставьте под Бобруйск. Я в четыре вечера буду один на машине. Вечеринка состоится здесь, в школе. Сигнал в пять утра. Имейте в виду, охрана будет немалая.

— Тогда, может быть, затемно сигнал?

— Нет. Только к пяти все перепьются: и гости и охрана. Да и настороженность к этому часу всегда ослабевает.

— Хорошо, — и Яня посоветовал: — Вы только это не надо — падать. Не то все провалим. Возьмите уж себя в руки.

— Возьму. Возьму, — улыбаясь, ответил Николай Кораблев, провожая глазами Яню, одновременно думая: «И зачем такая вечеринка понадобилась Громадину? Не могу понять».

9

Девушки, разодетые в красочные белорусские платья, прибыли в Бобер к восьми вечера, разместились в отдельном классе школы, из которого к этому времени парты были выброшены и на их место поставлены кровати с перинами, подушками, одеялами, простынями. Руководила девушками Настя Пронина — дочь вдовы Варвары, нареченная Петра Хропова, о которой он постоянно тосковал. Она окончила десятилетку, неплохо знала немецкий язык и отличалась решительностью, дерзостью и подчас свирепостью, хотя у нее были упругие девичьи губы, голубые, с поволокой, ласковые глаза, голос грудной, певучий. Да и все остальные девушки были, как о них сказал генерал: «Самые

красивые. Самые отчаянные. Других таких на свете нет».

Из их среды какой-то особой красотой выделялась Маша Ярцева — студентка третьего курса медицинского института, стройная, быстрая на ногу, с серыми, большими, всегда светящимися внутренней, зовущей лаской глазами.

Несмотря на то, что каждая из девушек уже совершила не одну дерзкую диверсию, не раз проникала в тыл врага, несмотря на все это, они, попав сюда, в эту школу, к которой то и дело подъезжали коляски, соскакивали верховые или, обильно пыля, останавливались автомашины, а те, кого доставляли коляски, кони, автомобили, шли наверх, в кабинет Шрейдера, и там (это было слышно) стучали каблуками, — девушки здесь, в классе, скисли и перепугались. Тогда Николай Кораблев вызвал к себе в комнату Настю Пронину и на русском языке тихо сказал:

— Смелее.

— Да вы!.. — заикнулась было удивленная Настя.

— Без «да вы». Я для вас Карл. За столом сядете через стул. Кавалер сам выберет себе девушку. Основательно припрячьте ножи.

— В ридикюлях, — ответила Настя.

Николай Кораблев задумался, потом сказал:

— Около пяти часов утра я произнесу заключительный тост, вы все приготовьтесь. В конце моей речи должны ворваться партизаны... а если нет, тогда я крикну: «Девушки, пора!» — бейте в левую сторону. Не трогать фельдмаршала, Бенда и графа. Смотрите, меня не хватите! Бал начнется в двенадцать. Полдвенадцатого я усажу вас за стол.

Настя по-родному улыбнулась Николаю Кораблеву, пожала ему руку и даже погладила ее, прошептала:

— Хорошо... товарищ!

Войдя в класс, она через Машу передала девушкам условия и добавила:

— Мы тут не одни.

Это сразу окрылило их, и Маша Ярцева попрежнему вдруг стала дерзка. Увидав, как в дверь класса ввалился граф Орлов-Денисов все в том же сером,

болтающемся на нем, как на колу, костюме, шагнула и кинула:

— А-а-а! Мальчик!

Граф, вспомнив, как он когда-то ходил на балах, будучи офицером, сейчас прошелся той же вихляющей походкой, как бы говоря: «Все девушки будут у моих ног», но если тогда это выглядело как молодечество — теперь граф походил на человека, у которого перебит крестец. Однако он шел, вихляясь, целуя руки у девушек, говоря:

— Русь. Россия. Нет краше наших девушек! Нет, на свете нет! Поверьте мне: я объездил всю Европу... и вот вижу вас — красота моей родины.

Маша попятилась от него, подумала:

«Это тот: «Мы не одни», — а я его так грубо встретила», — и по-доброму было посмотрела на него, собираясь извиниться, но Настя крикнула:

— Маша! Больше жизни! — тогда Маша подхватила графа под руку и прошлась с ним, спрашивая:

— А вы, мальчик, кто будете?

— Я? Э-э-э! — протянул граф и вскинул палец. — Вы о графе Орлове слышали? Был такой при Екатерине Великой.

— Ну как же! В школе учили.

— Так вот, дитя мое, я потомок того графа и ныне именуюсь граф Орлов-Денисов. Во мне соединились два знаменитых рода — Орловых и Денисовых, — говорил он, зная, что сам он стар, некрасив, и намеренно набивал себе цену знатностью рода.

— Ах, графульчик! Мой графульчик! Я его занимаю! — вскрикнула Маша и, теребя полу пиджака на графе: — Знаменитый вы, а одежка, мальчик мой?

— Оскудел. Дюже, — произнес граф. — Но сердце мое кипит.

Николай Кораблев вошел в класс и сказал на немецком языке:

— Граф! Вы мешаете девушкам готовиться к балу. Мне надо с вами кое о чем поговорить, — и, вырвав его у Маши, увел в другие комнаты.

После этого Настя нараспев, ни к кому не обращаясь, пропела:

— О-о-он!

И все ее поняли.

Усадив Орлова-Денисова на стул, Николай Кораблев говорил:

— Граф! Нам с вами сегодня предстоит большое дело: надо устранить конфликт. Ведь наш шеф фон Шрейдер — прекрасный человек? Не правда ли?

— О-о-о! Чудесный! — все еще не остыв от встречи с Машей, воскликнул граф, но тут же спохватился, боднул головой, сказал про себя: «К быку на рога бы его!»

— И Раушенбах — чудесный человек?

— Ну еще бы! — подтвердил граф.

— А чем плох Бенда?

— Этот! Ему бы в раю быть! — двусмысленно произнес граф, злясь на Бенда за то, что тот придумал спаивать его.

— Ну, а генерал Фогель?

— О-о-о! — только и воскликнул граф.

— Я уже не говорю о фельдмаршале.

— А разве и он будет?

— Как же! Он уже там, наверху, у шефа Шрейдера. Так вот, нам с вами предстоит их всех мирить.

— Мирите, — неожиданно сказал граф.

— А вы?

— Мирю, — граф вскинул руки, как бы кого-то благословляя, и заспешил было к девушкам: — Мне та очень нравится: такая стройная и такая... такая... — но Николай Кораблев задержал его:

— Еще одно дело — и отпущу раба божьего! У вас вино есть? Две-три бочки... или водка... спирт?

— И вино, и водка, и спирт, Карл, есть. Но надо это: по-русски называется — пети-мети, — и граф пошевелил пальцами, будто тер монету.

— Деньги? Для такого торжества деньги — пустяки! — Николай Кораблев открыл стол и показал на пачки марок: — Возьмите.

Граф заглянул в ящик, протянул руки — обе враз — и, искоса кинув взгляд на Николая Кораблева, с дрожью в голосе спросил:

— Все?

— Все.

— Э-э-э! Вы, оказывается, богатый человек, — и быстро начал рассовывать по карманам пачки, бормоча: — Марки есть марки: ни у кого от них глаза не лопнули.

— Так пришлите сюда две бочки вина и бутыль спирту.

— Куда вам столько, Карл?

— На всякий случай.

— Бенда и Раушенбах устраивают сделку, а вы покупаете вино и спирт... тратите деньги. Зачем?

— Деньги, граф, всегда ведут кочевой образ жизни: сегодня у меня, завтра у вас. Идите. А к девочкам в двенадцать ночи. Какая вам больше нравится?

— Да вот та, что под руку меня... Сжигает! Ух!

— Ай-ай, граф!! А если узнает графиня?

— Ну?! Она у меня глухая.

10

Сначала было проделано все предварительное. Николай Кораблев договорился с Настей: фельдмаршала должна «выбрать» и усадить рядом с собой сама Настя; Маша «выбирает» графа, а остальным «кто попадет». Затем были закрыты ставнями окна и включен обильный свет, потом установили патефон с усилителем, и девушки через стул расселись за столом — яркие, нарядные в своих белорусских платьях, с модными прическами, разрумяненные и возбужденные. Блистал и стол, уставленный разнообразнейшими винами, коньяками... и русской водкой; всюду виднелись черная икра, семга, балыки, крымские груши.

Ровно в двенадцать ночи бал открылся.

Первым в зал вошел фельдмаршал фон Шрейдер. Следом за ним появился генерал Фогель — все такой же подтянутый, будто выточенный из слоновой кости, и на губах играла все та же тонкая, презрительная улыбка, но, увидав стол и девушек, он сразу взбодрился, и в глазах у него заиграли огоньки.

За фельдмаршалом и генералом в зал вступила вся

остальная банда прожженных циников: тут были и граф в новом черном костюме, и Бенда во фраке, с искусственной розой в петлице, герр Шрейдер, Раушенбах, полковники, подполковники, адъютанты генерала и фельдмаршала.

Николай Кораблев сел в конце стола, в центре, пригласив к себе графа и Бенда; затем, встав, торжественно возвестил, обращаясь ко всем:

— Господа! Девушки покоренной страны приветствуют вас не как поработителей, а как воинов, которые несут национал-социализм.

Настя зааплодировала и завизжала; за ней, как было перед этим условлено, зааплодировали, завизжали все девушки. Когда это кончилось, Николай Кораблев еще сказал:

— Девушки передали мне, господа, что им нравитесь вы все... и чтоб не было раздора... выбирайте сами ту, которая приглянется вам. Первому выбор предоставлен, конечно, фельдмаршалу фон Шрейдеру.

Генерал Фогель еле заметно сморщил губы, все остальные вздрогнули, словно псы перед кормежкой, искоса кивнув взгляды на фельдмаршала, как бы говоря: «Да он же стар; смотрите, песок сыплется». Но фельдмаршал выступил вперед и посмотрел на девушек. Посмотрел и остановил взгляд на Насте: ее глаза стали еще больше, еще голубее и звали, манили его к себе.

— Боже мой! — не в шутку простонал фельдмаршал и сел рядом с Настей.

Затем предоставили право выбора генералу Фогелю.

Что с ним происходило, трудно понять. Весь замкнутый, подтянутый, тут он как-то стушевался и даже покраснел. Покраснел, улыбнулся, тихо рассмеялся и попался: его, забыв о договоренности, звала к себе Маша. Она звала так требовательно, что он не вытерпел, шагнул и сел с ней рядом, а она, не дожидаясь, когда и кого выберут остальные, положила красивую, обнаженную по локоть руку на плечо генерала и шепнула:

— Я сегодня видела, как вы гарцовали на коне, и сказала: вот мой возлюбленный!

И пока остальные выбирали девушек, генерал подозвал к себе графа, спросил:

— Граф, простите за беспокойство. Эта девушка говорит мне что-то очень приятное, но я не понимаю.

Граф, склонив огромную голову, выслушал Машу и произнес:

— О-о! Вы счастливый, генерал! Я сам хотел выбрать эту прелесть, эту жемчужину!..

— Ну-у!—брезгливо протянул генерал.—Вы лучше переведите, что она мне сказала.

— Вы ее первый, и вы ее последний. Ей ничего не надо. Она хочет с вами побыть этот вечер... и потом вы можете не вспоминать о ней... но она будет довольна и этим, как раба довольна улыбкой своего господина...

— О-о-о-! — воскликнул генерал.

И ужин начался.

Сначала выпили, как положено, за фюрера. Все встали, прокричали обычное, вытянув руки вперед, после этого чокнулись. Одна только Маша не встала и растерянно смотрела на все. Тогда генерал через того же графа спросил ее, почему она не присоединилась к общему тосту... И Маша... Ну, она актриса... Стесняясь, Маша пролепетала: а можно ли ей выпить за такого великого человека? «Великого» Фогелю не понравилось, но он все же сказал:

— За него все пьют, и ни у кого язык не отсох.

Тогда Маша вскочила на стул и, протянув над столом красивую руку, в которой держала бокал с переливающимся вином, крикнула:

— Хай Гитлерка!

Девушки еле удержались от смеха, а Настя украдкой погрозила кулачком, как бы говоря: «Не дури».

После этого поднялся Николай Кораблев.

— Господа, — сказал он. — Два немца — старинные, закаленные в боях друзья, господин Бенда и господин Раушенбах, решили поменяться имениями... и по этому случаю собрались мы. Поздравим их. И скажем: собственность есть залог национал-социализма, как учит нас фюрер.

Герр Шрейдер похвастался перед дядюшкой:

— Какой у меня советчик!

Но фельдмаршал не слышал племянника. Он таял около Насти: то и дело брал ее руку, целовал — сначала мизинец, потом безымянный, потом средний, потом указательный палец, — и снова начинал с указательного до мизинца...

А тут все уже выпили, прокричали поздравление Бенда и Раушенбаху. Это был второй бокал вина, разбавленного коньяком. Третий бокал ударил в голову, замутил глаза, и цинизм, подлость, всякого рода пакость — все это стало неудержимо прорываться наружу... И вот уже Бенда целуется с Раушенбахом, фельдмаршал Шрейдер щиплет Настю, генерал Фогель хочет обнять Машу, но она шепчет графу, и тот переводит генералу:

— Машенька просит: «Потом, не при людях».

Генерал на миг трезвеет, тянет:

— О-о-о! — и кладет руку на ее колено.

Маша вся дрожит и зло твердит про себя:

— Я тебя прижму! — и чтобы избавиться от его прикосновения, она вскакивает и кричит. — Музыку! Я хочу танцовать! Одна! На этом столе!

«С ума спятила Маша!» — тревожно думает Николай Кораблев, однако подчиняется и дает распоряжение, чтобы завели патефон.

И музыка рявкнула. А Маша? Ну, что она делает! Она вскочила на стол и пошла между рюмок, тарелок, вилок, ножей, ни за что не задевая маленькими, аккуратными ножками в тонких, почти невидимых чулках. Она идет в такт музыке, кружится, легонько приседает, удивляя танцем не только немцев, но и своих подруг: офицеры смотрят на нее глазами, налитыми кровью, и орут, воют, а подруги — с удивлением и страхом. Пройдя так весь стол, остановившись перед Николаем Кораблевым, она произнесла:

— Наш шеф-распорядитель! Я могу вас поцеловать? — и, целуя Николая Кораблева, шепнула: — Не беспокойтесь: я трезва, — и снова пошла, все так же обходя бокалы, бутылки, блюда.

И тут заорал разгоряченный фельдмаршал:

— Генерал! Вы должны принять ее на руки! Не

так. Долой френч! Вы можете поцарапать столь прелестное создание. Это не девушка! Это изваяние!

Фогель сбросил френч, остался в нижней белой рубашке и подхватил на руки Машу, намереваясь отнести ее в соседнюю комнату, но она заговорила, шаловливо отбиваясь, прося графа передать генералу:

— Ведь я все равно буду его. Но дайте... дайте мне хоть еще часок повеселиться здесь!

А к Николаю Кораблеву подскочил молодой Шрейдер и в тревоге спросил:

— Когда же будет то? Столько денег потрачено, да ему же лучшую девушку!

— Не беспокойтесь, шеф: все свершится. Вы лучше попросите дядюшку, чтобы он дал распоряжение угостить охрану. Нам надо без охраны сделать то, что задумали.

У фельдмаршала Шрейдера кружилась голова. Не разобравшись в том, что попросил племянник, он махнул рукой:

— Согласен! На все согласен!

Полбочки вина, разбавленного спиртом, выкатили охране, и та вскоре запела песни.

Николай Кораблев посмотрел на часы. Было без пятнадцати пять. Он встал, вытянулся так, что хруструло в суставах, и приступил к заключительному тосту, ожидая прибытия Яни Резанова.

У Яни Резанова произошла небольшая заминка. Подойдя с группой партизан к речке, что дугой омывала окраину городка, он послал связного к ближайшему пикетчику, чтобы передать через таких же пикетчиков, расставленных вплоть до Пинских болот, генералу Громадину о прибытии к реке... И связной что-то задержался, а время бежало. Вот уже без десяти пять, скоро наступит условный час... и Яня, зло отмахнувшись, приказал партизанам:

— Вплавь через реку, — и сам первый, оставя на берегу одежонку, подняв над головой автомат, кинулся в воду...

Николай Кораблев все еще произносил речь, временами посматривал на часы, ничего не понимая. Вот уже пять. Сидящие за столом осоловело молчали,

девушки находились в нервном напряжении, особенно Настя, и тоже ничего не понимали. А Николай Кораблев все говорил и говорил. Как только офицеры начинали ворчать, он тут же переходил на восхваление Гитлера, и тем поневоле приходилось слушать. Генерал Фогель, держа Машу за руку, точно боясь, что она убежит от него, склонился над столом и тихо покачивался, кривя губы: он хотя и был пьян, но все равно через улыбку передавал свою неприязнь к Гитлеру. А фельдмаршал Шрейдер в начале речи, когда Николай Кораблев, захлебываясь, начал хвалить Гитлера, весь расплылся, но, утомившись и желая вернуть то, что было за столом до начала речи, сказал:

— Слушайте, советчик Карл! Вам надо все-таки найти конец.

— Разве я плохо говорю о фюрере? О нем, о фюрере, будуг писать тома. Эшелоны книг появятся о нашем фюрере. Кто такой наш фюрер? Русские сказали: «Фюрер так же похож на Наполеона, как котенок на льва». Но... — Николай Кораблев дрогнул, подумав: «Неужели девушкам придется пачкать руки с всю эту дрянь?! Ведь Яня должен прибыть», — и чуть не вскрикнул: на пороге, держа наготове автомат, стоял Яня Резанов, а по бокам — партизаны, поблескивая златоустинскими ножами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В нижнем этаже школы кучился запах колбас, вин, табака — все это перемешивалось и, казалось, навсегда осело на подоконниках, стенах, потолке. От тошнотворно-кислого запаха некуда было деться, и Николай Кораблев приказал открыть окна. Но и оттуда хлынула волна зловония: под окнами, у парадного крыльца, близ дороги — всюду валялись трупы солдат... а над всем этим сияло выплывшее из-за бора солнце.

На душе у Николая Кораблева творилось что-то муторное. До этого часа он не думал, хорошо или

плохо то, что делает он вместе с Сиволобовым, Яней Резановым и девушками: он заранее знал, что тот, кто дал это задание, в своих стремлениях не руководствуется корыстными целями, и сам при выполнении этого задания не пачкал своей душевной чистоты. Он выполнял все продуманно, цепляясь иногда за мелочи, превращая их в большое, понимая, что все это нужно, необходимо, диктуется войной и теми соображениями, которые таил про себя генерал Громадин. И вот задание выполнено. Выполнено оно блестяще... и, однако, все это не радовало его, как радовало бы на заводе. Там при выполнении того или иного задания он обычно, несмотря на тяжелую усталость, расправлял плечи и, поблескивая карими глазами, произносил:

— Вот мы какие!

Тут он этих слов произнести не мог.

— Зачем? Зачем все это? — шептал он, глядя на трупы, на стол, обезображенный пьяными руками. — Зачем? Зачем все это честному человеку? — и тут же вспоминал то, что видел за эти годы: десятки тысяч убитых на поле брани; овраги, заваленные убитыми женщинами, детьми; разрушенные, превращенные в пепел города, села; вытоптанные нивы; заросшие сорняками поля; деревянный городок, переполненный жителями Бобра. Пятьдесят, шестьдесят миллионов людей погибнут в эту войну, десятки тысяч городов и сел будут уничтожены, будут разрушены фабрики, заводы, то, что столетиями строил трудовой люд. И зачем, зачем все это простому честному человеку?

Конечно, его кто-нибудь мог бы в эту минуту упрекнуть: «Что ж, тебя не радует надвигающаяся победа?» И он на это ответил бы: «Нет. Радует: наша победа несет миру счастье. Если бы не мы, то народы были бы сброшены в пропасть. Знаю, что единственный пока на земле социальный строй содержит в себе мир для всего мира, — это наш строй. Знаю и то, что к жестокости нас понудили вот эти фогели, раушенбахи, шрейдеры, гитлеры, — он подошел к трупам и ногой пошевелил Фогеля, который лежал, свернувшись клубочком, точно стесняясь показать красное пятно на белоснежной рубашке. — Вот он, с пеленок обученный

империалистической хватке: внешне — ангел, благороден, внутренне — война — профессия. Акула... А этот вот — выродок, — и Николай Кораблев ногой поправил выкинутую вперед руку молодого Шрейдера. — Глупый. Но клоп. А этот Раушенбах. Широкая пасть... кажется, у него и сейчас скрипит нижняя челюсть. Когда их всех вот так во всем мире сложит трудовой люд, тогда наступит мир во всем мире. Все это я знаю, во все это я верю», — он хотел было еще что-то сказать, но в эту минуту с улицы послышалось характерное шарканье солдатских подошв о каменную мостовую, и он кинулся к окну.

Спавшие в тени, на противоположной стороне улицы, партизаны повскакали, послышалась команда «смирно»: со стороны на площадку перед школой высыпала новая группа партизан, идущих за Громадиным и начальником штаба Иголкиным.

— Ба! Генерал! Товарищи, генерал! — закричал Николай Кораблев и пошел к выходу.

За ним кинулись девушки, Сиволобов, Яня Резанов, и вот они уже все на парадном крыльце, радостные, смеющиеся, а девушки, в разноцветных костюмах, освещенные утренним молодым солнцем, расцвели, как маки.

2

Громадин, прежде чем вступить в Бобер, рассредоточил партизан по заранее намеченным болотам, лесам, оседлав дороги, ведущие из Бобруйска, Витебска в столицу Белоруссии — Минск. Это, по сути дела, была вторая, своеобразная, рассыпанная линия фронта, только не перед лицом врага, а у него в тылу. Такая линия фронта была тщательно разработана с Уваровым и одобрена генеральным штабом.

Рассредоточив партизан, Громадин с небольшой группой бойцов, с теми, на кого он надеялся, как на себя, вошел в Бобер, и вот он уже пожимает руки девушкам, выкрикивая:

— Ты у меня, Настенька, чудо! Ну, ей-же-ей, чудо! Нет! Лазоревое утро. Вот кто ты у меня! И ты, Машенька, не завидуй: ты у меня тоже лазоревое утро.

И все вы у меня, мои хорошие, лазоревое утро! — Затем, поздоровавшись с Николаем Кораблевым, Яней Резановым и Сиволобовым, он снова обратился к девушкам, гремя басом: — А ну, кажите! Кажите дела рук своих!

В нижнем этаже школы все так же кучился тошнотворно-кислый запах, посредине класса стоял длинный стол, заваленный объедками, опрокинутыми бутылками с вином. На полу, особенно около стульев, запеклась кровь, а в углу, стянутые сюда как попало, лежали трупы.

Глянув на стол, Громадин поморщился и словно про себя сказал:

— А-яй, сколько добра пропало! — но тут же, увидав кровь, трупы, свел брови к переносице, и по его лицу пробежала печаль.

Николай Кораблев подумал: «Ага! И на него это действует отвратно», но Громадин встряхнулся, воскликнул:

— Вот так спектакль! Фраушек бы сюда притащить и показать: посмотрите на завоевателей. Вишь, что завоевали. А зачем вы их тут держите, Яков Иванович?

— Для показу оставили, товарищ генерал.

— Экая невидаль! В канаву их. Земля-то не примет: земля — она существо благородное. Так ведь?

— Известно: чистосердечное существо земля, — подтвердил Яня.

— Так в канаве им и место. Канава на то и вырыта, чтобы в нее всякую пакость сбрасывать. Пригласика, Яков Иванович, нескольких партизан и выкиньте эту дрянь отсюда. Ах! Ах! А ведь здесь... — он посмотрел на раздвинутые перегородки, — а ведь здесь наши ребята учились... а теперь, вишь что, — генерал отмахнулся, будто отталкиваясь от стены, и вошел в класс, где стояли кровати. Здесь было чистенько, прибрано. Громадин присел на стул, посмотрел на девушек и, любуясь ими, заговорил: — Спасибо! Большущее спасибо вам, красавицы мои! И вам спасибо, Николай Степанович. И тебе, Яня. А где же твой дружок — Сиволобов, герой? Э-э-э! Чего там за спины прячешься?

Подойди, подойди. Посмотрю на тебя. Вот ты какой тут стал. Ну, здравствуй! — и протянул тому руку.

— Да ведь уже здоровались со мной, товарищ генерал, — проговорил Сиволобов, хотя это пожатие ему понравилось гораздо больше, чем на крыльце.

— Там вообще, — ответил Громадин, — а тут в частности и от всей души. Спасибо, Петр Макарович. На днях видался с генералом Горбуновым, командармом. Спрашивает: «А где мой герой, который танк с топором в руках полонил?» Вишь ты какой! А я отвечаю: «Ныне полонит фашистов в тылу». Вот ты какой!

— Я эдакий, — не зная, что ответить на похвалу, и, как всегда в таких случаях, смущаясь и теряясь, буркнул Сиволобов и снова начал прятаться за девчат, видя, что генерал на них перевел глаза.

— Ну! Какую награду вам, красавицы? — спросил Громадин. — Будет награда. Сегодня решим в штабе, — а посмотрев на разноцветные белорусские платья, покачал головой: — Это прочь! Не время такое носить. Прочь! Прочь все это с себя! — но, увидав, как глаза у девушек потускнели, а губы искривились, он, хлопнув себя ладонью по лбу, воскликнул: — Ох, недогадливый! Ох, простофиля! Да ведь вы девушки! Наряды любите. Ну, носите... Носите... два дня. Вот в Берлин придем, я вас так наряжу — весь мир позавидует. А теперь — два дня. Идите, покажитесь ребятам. Ступайте. Ну, чего стоите? Обрадовались?

Когда девушки высыпали из класса, Громадин, обратившись к Николаю Кораблеву, серьезно произнес:

— А теперь, Николай Степанович, нам надо потолковать, — и загадочно чему-то улыбнулся, даже засмеялся, войдя в соседнюю комнату, сел в кресло и долго изучающе всматривался в лицо Николая Кораблева.

— Историческая комната, Николай Степанович, — под конец заговорил он, — отсюда мы будем «бить шведа». Громко сказано, но верно. Да-а-а. Так вы, очевидно, перестали душевно реагировать на все?

— Ан нет! — пошутил Николай Кораблев, повторяя слова Громадина, хотя в эту минуту ему было особенно не до шуток.

— Жалко? По глазам вижу.

— Нет. Больно.

— Что же? — сурово спросил Громадин.

Николай Кораблев посмотрел куда-то в сторону — очень далеко, через стены комнатки, и проговорил:

— А разве вам, думая отвлеченно, уходя в будущее, не кажется все это ужасным?

— Отвлеченно, уходя в будущее, я сейчас мыслить не могу. Конкретно: этих надо бить беспощадно.

— Не считаясь со средствами?

— Они первые подняли меч. Они — ядовитые змеи. А вы хотите против ядовитой змеи выступить с идеалами, с уговорами, с высокоморальными средствами?

— Но я не об этом, — перебил его Николай Кораблев. — Я представляю себе, как, может быть, через сотню лет, а может, раньше, когда люди окончательно очистятся от скверны, будут смотреть на нас, как на жестоких людей.

— На нас — нет. На тех — да. Мы зачинатели светлого, человечески-великого, того, чем будут потом жить люди. Но ведь вы живете сейчас, а не тогда?.. Вы представьте себе другое: если бы все военные думали так, как вы, переживали бы все так, как вы... Поверьте, мы не победили бы.

— Да. Да. Понимаю: надо душу прикрыть заслонкой.

— Хорошие слова!

— Не мои. Сиволобова.

— Умные слова. Так вот: до Берлина прикройте душу заслонкой, а там поплачем, вспомним тех, кто пал на поле брани, и разъедемся по домам — к мирному труду. А теперь, мне передавали, что вы не понимаете цели моего задания: зачем тихо, ножами, и зачем нам Бобер?

— Не совсем.

— Начштаба, карту! А впрочем, тут есть, — Громадин подошел к карте, висящей на стене, испещренной разноцветными карандашами, посмотрел и улыбнулся: — Как им не хочется отдавать землю: линия фронта все еще по Днепр, даже Крым у них. Одесса. Ну, пусть

владеют на карте. А на самом деле дело обстоит вот как. Тысяча девятьсот сорок четвертый год — год великолепных побед. Смотрите: вот Ленинград. В январе под руководством гениального полководца товарища Сталина Красная Армия под Ленинградом взломала долговременную оборону немцев и нанесла им сокрушительный удар, отбросив врага в Прибалтику. Второй удар Красная Армия нанесла — смотрите сюда — на Буге и отбросила врага за Днестр. Третий удар в апреле — мае этого года Красная Армия нанесла вот здесь, в Крыму, сбросив врага в Черное море. Четвертый удар совсем недавно был нанесен финнам... и пятый... надо ждать, Николай Степанович, пятого удара. Он уже начался, как мне кажется, вот здесь, на Центральном фронте. Посмотрим сие. Видите? Это Бобруйск. Враг укреплялся тут порядочное время, по крайней мере оборона в общем на сто — сто десять километров. Отметьте это. Затем враг сосредоточил силы вот здесь — под Витебском. Оборона здесь не слабее, чем под Бобруйском. И под Могилевом. На оборону гитлеровцев надо посмотреть серьезно. Это, безусловно, современные крепости и мастерски организованы: немцы умеют зарываться в землю, кутаться в бетон и железо. Но... все это вскоре полетит к чортовой матери... и они побегут! Куда? Видите, основные дороги ведут в Минск. В Пинские болота не сунутся, калачом не заманишь, — пробовали мы. Побегут, как зайцы, старыми тропами-дорогами. Тут мы на них и насядем. Мы, партизаны. Мы вот где, — и Громадин стал с быстротой тыкать пальцем в разные места между Бобруйском, Витебском, Могилевом и Минском. — Мы, партизаны, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут... одним словом, во многих местах, островками, и главным образом на дорогах, у дорог и почти всюду под бочком у фашистов. Куда бы они ни кинулись, мы их — хлоп! Конечно, не одни. Одни мы, без регулярной Красной Армии, — чепуха. Понятно? Слоеный пирог устраиваем. Враг и мы, враг и мы, враг и мы. Шарахнутся они в одну сторону, их — стук, и в другую, их — стук, и в третью, их — стук. Здесь, в Белоруссии, не просто партизаны, а народное движение: триста тысяч

партизан... и мы, пришедшие из Брянских лесов, утонули среди белорусов, как топорик, брошенный в реку.

— Однако уж очень легко стукаете, товарищ генерал! — перебил Николай Кораблев. — Тут — стук, здесь — стук, там — стук.

Громадин, удивленный, остановился, затем воскликнул:

— Эх! Подковыриваете, чтобы больше выудить? Вы знаете, что такое Канны?

— Читал.

— Вы читали, а мы изучали. При Каннах Ганнибал окружил врага, наголову разбил его и уничтожил. С тех пор этот пример вошел в военную историю как классический пример. Немецкие генералы особенно возгордились во времена прошлой империалистической войны, сочтя себя за классиков окружения. Но они исправные службисты, а не творцы: все подогнали под шаблон и забыли, что, кроме оружия, в войне участвует человек — это ведь основная сила, и разум, ум большой, творчество. Чтобы быть мастерами Канн, надо быть не Гитлером, а Ганнибалом. Я не говорю — русским воином, а русский воин отмечен во все времена как лучший в мире; теперь же русский воин еще стал советским, заметьте это себе. Не горох! Понимаете? Мне Татьяна Яковлевна как-то передавала: «Гитлеровское государство похоже на горох в мешке: пропори мешок — и горох во все стороны». Правильно! Очень! Верно, горох злой. Ну, о Татьяне Яковлевне я вам потом расскажу. А теперь о деле: товарищ Сталин прекрасно изучил «Канны» и все последующие исторические битвы, затем творчески дополнил и, если так можно выразиться, создал свои «Канны», — поэтому мы наносим один за другим, один за другим все более сокрушительные удары врагу.

— Вы говорите так, как будто все уже сделано и осталось только суммировать, — сказал Николай Кораблев, одновременно радуясь тому, как метко Татьяна сказала о гитлеровцах.

— А оно так — все сделано... ну, возможно — и непременно — появятся кое-какие отклонения, новые детали. Это уже целиком зависит от нас, исполнителей.

Например, трудно будет сначала разобраться в «слоеном пироге». Да, кстати, о пироге заговорил — чайку захотелось.

— Я сейчас, — Николай Кораблев вскочил со стула, кинулся в свою комнату, включил чайник и снова появился, готовый слушать Громадина.

И не успел он хорошенько усесться на стуле, как из соседней комнаты послышался голос того самого диктора, который вот уже второй год передавал сводку Советского информационного бюро:

«23 июня северо-западней и юго-восточней города Витебска наши войска, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, перешли в наступление против немецко-фашистских войск... прорвали сильно укрепленную оборону противника протяжением на 30 километров по фронту и продвинулись в глубину от 12 до 15 километров, заняв при этом более 100 населенных пунктов... наши войска перерезали железную дорогу Витебск — Орша».

Диктор говорил, то захлебываясь, то смолкая, то снова выкрикивая громко и мощно.

— Слыхали? — произнес Громадин, когда оборвалась сводка, и тут же: — Но откуда это?

Николай Кораблев, пока слышались отрывки, весь был сосредоточен на сводке, но тут, когда генерал спросил: «Откуда это?», он весь, как кумач, вспыхнул, ринулся в соседнюю комнату, затем вернулся, неся в руках электрический чайник, смущенно говоря:

— Не тот чайник включил... вместо чаю, угостил вон чем.

— Из этого чайника? — Громадин взял чайник, посмотрел внутрь, затем на Николая Кораблева, на Иголкина и снова в чайник. — Неправда! Эта штука говорить не может.

— Эта может, а вот эта не может, — и Николай Кораблев принес другой чайник, очень похожий на первый, наполненный водой. — Я спутал: вместо этого, включил вот этот, — и он тут же включил первый чайник... но из чайника «полилась» музыка.

— Ты-ы гляди! — удивленно протянул Громадин.— Сам состряпал?

— Сам.

— Подари мне.

— Дарю, генерал!

— Спасибо. Ну, теперь понятно, почему я приказал организовать тут такую резню?

— Еще не совсем.

— Мы с партизанами разместились в разных «квартирах» тихо, незаметно.

— Да. Но то понятно, — а почему здесь с ножами? Ведь можно было бы просто перестрелять всех...

— Надо было все это сделать тихо, чтобы враг думал: Бобер — их Бобер... а выходит: Бобер — наш Бобер. Это, во-первых, а, во-вторых, пусть мерзавцы всего света знают, что если еще раз полезут, то у нас их будут бить не только мужчины, но и женщины, девушки, даже дети. Машенька-то все-таки рванула ножичком Фогеля. Вы условились — не надо, партизаны прирежут, а она — сама: раз — и нет Фогеля, — Громадин о чем-то долго думал, затем осмотрелся и, убедившись в том, что в комнате их только трое, сказал: — Ну, товарищи, сегодня рвем рельсы.

— Как? — откликнулся Николай Кораблев. — Вы ведь недавно рвали!

— Но мы тогда зарока не давали, — загадочно промолвил Громадин.

— Не понимаю вас.

Генерал снова подумал и произнес:

— Получен приказ из центрального штаба — объявить по всей Белоруссии рельсовую войну. Сегодня в ночь такая война будет объявлена, и всюду полетят рельсы, мосты, а вы вот, Николай Степанович, попробуйте догадаться, почему именно ныне дал такой приказ Уваров?

— Догадываюсь: сводку-то Информбюро вместе слушали.

— Точно. И теперь гитлеровцам бежать только по шоссе. Представляете, какая паника будет. Ну, давайте-ка посмотрим ваших пленников, — и Громадин снова чему-то загадочно улыбнулся и даже тихо рассмеялся.

3

Наверху, в обширном кабинете, по разным углам сидели граф Орлов-Денисов, Бенда и фельдмаршал Шрейдер. После попойки, бессонной ночи и того, что они видели, все трое находились в том состоянии, когда человеку «все равно». И, однако, как только русские вошли в кабинет, они, кроме фельдмаршала, встали, низко поклонились. Увидав Николая Кораблева, Бенда удивленно воскликнул:

— Карл! Вы?.. Вы живой?

— А почему мы так? — граф скосил глаза на связанные руки. — А вы не так?

Николай Кораблев, о чем-то думая, почти не слышал их, а Громадин сказал:

— Ишь, знакомство какое... теплое, — и добавил, обращаясь к адъютанту: — Прикажите-ка этих двоих перевести в другую комнату, а фельдмаршалу освободите руки. Зачем связали поросенка?

— Ступайте, господа, в ту комнату, — произнес Николай Кораблев, обращаясь к Бенда и графу.

Те, один за другим, как гуси, потянулись в соседнюю комнату. На пороге граф повернулся, опять удивленно посмотрел на Николая Кораблева и с затаенной завистью вымолвил:

— А вы, Карл, оказывается, прекрасно говорите по-русски.

— Мой родной язык, граф! — намеренно резко, чтобы устранить панибратство, кинул Николай Кораблев и присел у стола.

Адъютант тем временем развязал руки фельдмаршалу. Тот их потер, особенно долго в пухленьких запястьях, и, презрительно глянув на всех, уставился в окно.

— Пусть малость покуражится. Иначе нельзя: фельдмаршал. Экая гора из каши. Николай Степанович, давайте-ка с вами потолкуем. Печальную весть привез я вам.

— Что? С Татьяной Яковлевной? — Николай Кораблев привскочил со стула и, бледнея, опустился.

— Да что вы? — генерал заторопился. — Она «жива, здорова и люблю тебя». Вон какая у вас любовь!

А весть, какую хотел вам передать... Генерал Михеев три дня тому назад погиб: снарядом его разорвало.

— Командир Пятой дивизии?

— Да. Орловской.

— Я был у него... еще перед Орлом... в Орле мы с ним расстались: вместе с Сиволобовым и Ермолаем Агаповым отправились в село Ливны... и вот где оказался я, — как бы вспоминая, говорил Николай Кораблев.

— Слыхал: в атаку с Сиволобовым ходили?

— Какая там атака! Часов пять в болоте сидели: гитлеровцы били из артиллерии... Жаль! Чудесный человек был Михеев!

Они несколько минут молчали. Затем Громадин, усмехаясь, кивнул на фельдмаршала:

— Индюк перья укладывает. Пожалуй, можно начинать. Хотя пускай еще малость покуражится. Да, — точно спохватываясь, заговорил он: — Вас ведь надо поздравить, Николай Степанович. Вы уже полковник: сам Сталин утвердил.

Николай Кораблев удивленно произнес:

— Воин я плохой. Но воля Сталина — закон для меня.

— Сталин, братец ты мой, плохому воину полковника не даст. И еще: назначены вы, то есть я вас назначаю, комиссаром партизанского соединения.

— А Гуторин?

— Гуторин? — Громадин опять загадочно улыбнулся.

Николай Кораблев рискнул задать вопрос:

— Вы, товарищ генерал, чему-то загадочно улыбаетесь?

— Есть чему... Видите ли, Гуторин, когда я ему передал содержание беседы с Уваровым в Москве, занялся выполнением задачи, поставленной перед нами: приблизить население к нам и нас к нему, превратив таким образом партизанское движение во всеобщее народное движение, что явится животворящим источником борьбы с врагом. И недавно, только позавчера, такое случилось: живет в Белоруссии один мастер... ну, из мозаики творит прекрасные вещи — столы,

шкатулки и прочее. Гитлеровцы узнали о нем, год тому назад нагрянули и предложили сделать стол для Гитлера, на крышке которого разрисовать: «Великому воину, победителю мира, от белорусского народа». Что тут будешь делать, раз враг прихватил? А мастер-то связался с Гуториным, тот ему сказал: «Делай. Только когда готово будет, заранее сообщи нам». Ну, стол приготовил мастер, сообщил Гуторину о том, что в такой-то день и час приедет комиссия во главе с генералом принимать «подарок». И представьте, — Громадин захохотал, — представьте, генерал во главе комиссии явился, вошел в хату... и вот — с печки, с полатей, из-под скамеек — отовсюду вываливаются партизаны с автоматами... и на самолет — стол, генерала, комиссию... А вскоре самолет приземлился — во Внукове, под Москвой.

Тут захохотал не только Иголкин, но и Николай Кораблев.

Громадин, оборвав свой гремящий бас, добавил:

— А теперь Гуторин — командир партизанского соединения в Пинских болотах... Ну, за дело. Почему вы, Николай Степанович, не одного, как я просил, а троих оставили в живых?

— Почему? Даже трудно сказать. Один — бывший русский, другой — бывший француз. Их обоих тут эти «наци» затыркали, как говорят у нас в Поволжье. Не думаю, чтобы у них была какая-то симпатия к фашистам... и поэтому оставил их, товарищ генерал, — Николай Кораблев тепло улыбнулся.

— Угу, — подхватил Громадин. — Что ж, надо и их пристроить, что ль. Давайте-ка графчика сюда. Кем он здесь был?

— Бургомистром.

— Ах, хорошо! — воскликнул Громадин. — А тот, француз?

— Комендант города.

— Да как же это они француза назначили? Значит, какую-то большую пакость сделал. Знаете, Николай Степанович, мы о людях ведь судим по-разному: у нас в Союзе, если человек сделает полезное обществу, мы его хвалим, превозносим. А фашисты о людях

судят по-другому. Например, как у них принимают в партию. «Воровать будешь?» — спрашивают. «Буду». — «Грабить будешь?» — «Буду». — «Убивать будешь?» — «Буду». — «Ну, тогда иди в партию».

В кабинет ввели графа. Войдя, он опустил на грудь огромную лысеющую голову и с дрожью проговорил:

— Вот... тогда сбежал, ныне опять встретился. Больше двадцати пяти лет, четверть века — шутка.

— Не через Крым ли бежал, граф? — осведомился Громадин.

— Совершенно верно... через Крым... товарищ... генерал.

— Для вас «господин». Так мы старые знакомые: я вас провожал снарядами.

— Рад, господин генерал.

— Чему? Снарядами-то провожал? — и Громадин грохнул своим басом так, что граф пошатнулся, а фельдмаршал встревоженно посмотрел во все стороны, отыскивая обладателя такого голоса.

— Да вы садитесь, граф, — предложил Николай Кораблев.

— Да. Да. Садитесь, граф. А он, — Громадин кивнул на Николая Кораблева, — оказывается, у вас дочку сватал? Чуть-чуть не породнились?

Граф глупо мигнул, боднул большой головой:

— «Язык мой — враг мой» — великая русская поговорка.

— Ну что же вы от нас хотите, граф? — задал вопрос Громадин, сдерживая хохот.

— Я? Разрешите сказать? Отпустите меня. Я хочу жить. А жить мне осталось недолго: я стар, наг, бос.

— Ну, относительно двух вторых мы не поверим: вы уже, наверное, нахватали тут, на земле, где родились великие русские поговорки.

— По сравнению с тем... — начал было граф, склоняя голову набок.

— Хотите сказать, по сравнению с тем, что награбили вот эти? — перебивая его, указывая на фельдмаршала, сказал Громадин и посуровел, встал, прошелся, твердо ступая на ковер. — Сволочи! Уже потеряли понятие, что грабить — вообще позор... а только:

«По сравнению с тем-то и тем-то». Хорошо, граф! — он круто повернулся. — Мы даруем вам жизнь, но это надо заработать.

— Заработать? Что я могу? Я бухгалтер.

— Что ж в этом плохого? У нас в стране и эта профессия высоко ценится. Но вы еще и бургомистр?

Николай Кораблев и Иголкин недоуменно посмотрели на Громадина, не понимая, что же он хочет делать с графом.

— И останетесь пока бургомистром, — произнес Громадин. — Сядете в свой кабинет, а если вам откуда-нибудь позвонят, будете отвечать, что все телефоны, кроме вот этого и коменданта, не работают. Вы за телефоном, а за вашей спиной — наш человек. В случае чего, он вам пульку в затылок, простите за грубость. Но это откровенно. Согласны?

— На все!

— Тогда идите к себе в кабинет.

— А меня по дороге никто?.. — граф указательным пальцем правой руки задергал так, как бы спуская курок.

— Вас проводят. Хотите, девушка проводит? Какая вам больше понравилась? Николай Степанович, какая ему больше понравилась?

— Машенька.

— А-а-а! Огонь девушка: вон как Фогеля рванула.

Граф вспыхнул, пролепетал:

— «Седина в бороду, а бес в ребро», — опять великая русская поговорка.

— Поговорка хорошая.

— А как они, партизаны, быстро... ножами. Чирк-чирк — и нет кавалера.

— Чего же канителиться! — убийственно спокойно произнес Громадин и махнул рукой. — Давайте француза.

Бенда, как только вошел, глянул на генерала и, не отрывая от него взгляда, сразу весь преобразился: закивал, улыбаясь все шире и шире, весь вытягиваясь, все что-то стряхивая с левого рукава.

— Хорош! — сказал Громадин. — Лошадки такие есть: топчется в стойле, секунды не постоит тихо. Он

кто, Николай Степанович, спросите: немец или француз?

— Француз. Чистокровный француз, — заявил Бенда. — Самый чистокровный. Всегда был французом и не люблю бошей. Они все такие, как Раушенбах. Вы, Карл, знаете. Подтвердите.

— О да! О да! — подтвердил Николай Кораблев, улыбаясь.

— А у меня, передайте генералу, и папа, и мама, и дедушка, и бабушка, и прадедушка, и прабабушка, и прапрадедушка, и прапрабабушка...

— Одним словом, до двенадцатого колена все французы? — перебил его Николай Кораблев.

— Точно! Точно, Карл. А вы... — он игриво погрозил пальцем. — Вы — сатана. Я всегда это говорил шефу Шрейдеру. Простите меня.

— Прощаю. Вас спрашивает генерал, что вы хотите: расстрел, или виселицу, или отдать вас партизанам? Выбирайте.

Бенда остановился, как конь на всем скаку, чтобы сбросить седока.

— Ни то, ни другое, ни третье, — выпалил он, весь изгибаясь. — Вы что, Карл, спасли меня для того, чтобы теперь казнить?

— Это зависит от вас, говорил генерал. И еще он говорил, что вы, конечно, француз, но в вас есть какая-то доля крови кролика.

— Они привили, — Бенда показал на фельдмаршала. — А я кролика никогда не кушал.

Громадин снова захохотал, выкрикивая:

— Не благоприобретенная, а потомственная!

— О-о, нет! — Бенда гордо выпрямился. — Я могу за свой народ — за лучезарных французов — пойти на виселицу. Я чту своих великих предков: Ришелье, Робеспьера, Марата, генерала Галифе, Пуанкаре! — выкрикивал он, припоминая фамилии, путая все на свете.

— А в кого веришь? Ведь Робеспьер был революционер, а генерал Галифе расстрелял французских коммунаров. Марат — одно, а Пуанкаре так и звали: «Пуанкаре-война».

Бенда захлопал глазами, точно в них попала пыль.

— Переведите ему, Николай Степанович: если хочет жить, должен служить нам как комендант города.

Бенда выслушал, затем недоверчиво посмотрел на Громадина.

— Шутите, господин генерал, — и заторопился, увидав, как лицо Громадина посуровело, а пальцы собрались в кулак. — Но я согласен. Согласен, — и вытянулся, как подобает военному.

— Отведите его в комендантское. Ну, приступим к фельдмаршалу.

Как только вывели Бенда, Николай Кораблев обратился к фельдмаршалу фон Шрейдеру:

— Генерал хочет говорить с вами.

Тот искоса посмотрел на него:

— Не разрешаю: я фельдмаршал.

Николай Кораблев рассмеялся:

— Не разрешает вам говорить с ним: он фельдмаршал, а вы — генерал.

— А-а-а! Субординация. Это пустяки! Мы сейчас все это ликвидируем. — Громадин, кинув злой взгляд на фельдмаршала, добавил: — Пыхтит-пыхтит, а у нас время в обрез. — Он вынул из кобуры пистолет, положил его на стол и сказал: — Снимите с него китель.

Николай Кораблев перевел фельдмаршалу, тот покачал головой, но, глянув на пистолет, произнес:

— Подчиняюсь только силе. Прошу записать в протокол, — и сам снял китель, повесил его на спинку стула, затем хотел было снова сесть, но Громадин приказал:

— Стул на середину! Вот так. Садитесь... как у вас в гестапо. Теперь вы не фельдмаршал, а простой смертный и довольно дрянной человек.

Фельдмаршал растерянно потрогал подтяжки, заправил выбившуюся рубашку в брюки, сел на краешек стула и редко заморгал белобрысыми ресницами, как это делают поросята, когда их будят.

— Ну, как себя чувствуешь? — на немецком языке, хотя и не совсем правильно выговаривая слова, произнес Громадин, удивляя этой неожиданностью Николая Кораблева.

«Ну и конспиратор!» — подумал он и сказал:

— А вы, оказывается, знаете немецкий?

— Кое-как, — ответил Громадин, и опять к фельдмаршалу: — Спрашиваю, как чувствуешь себя? Чего молчишь, фон Шрейдер?

— Скверно, — ответил тот.

— Еще бы! Столько выпито вина, да вы, говорят, еще всех девушек перещипали! Ну, это посторонний вопрос. А вот понимаете вы, господин Шрейдер, какая трагедия надвигается на вашу страну?

Фон Шрейдер оживился, перестал хлопать глазами:

— О-о! Да! Я сам пережил трагедию.

— Какую?

— Во-первых, — с расстановкой начал он, — у меня разбомбили два магазина в Берлине, — и вскинул руки, показывая два пухлых пальца, — затем сегодня ночью зарезали моего племянника — единственного наследника Шрейдеров.

— И все? — удивленный его ответом, спросил Громадин.

— Пока все. А разве вам еще что известно? У меня вложены акции в автомобильный завод «Хорьх». Может быть, и его на воздух?

— Вот это патриот! — прогудел Громадин, глядя на Николая Кораблева. — Что ж нам делать с этим патриотом?

— Милое дело! — заговорил все время молчавший Иголкин. — Милое дело, товарищ генерал, как вы и хотели: посадить его сюда за стол, вместо племянничка. Любой поверит, что город в их руках, если по телефону будет отвечать фельдмаршал фон Шрейдер. Это чорт-те что! У нас еще такого, товарищ генерал, не бывало.

— Посадить. А позади — полковника Киша с пистолетом.

— Жив Киш? — полушутя, но радостно проговорил Николай Кораблев.

— Жив вовсю: работает здорово, — ответил генерал.

4

Николай Кораблев переоделся в костюм полковника и сразу стал другим: внешне тоньше и выше, внутренне сдержанней.

— Батюшки, — воскликнул генерал, — как вы похудели здесь, Николай Степанович! А ведь когда я вас впервые встретил, помните, пухленький были.

— Пух — лишнее.

— А голову-то, пожалуй, придется теперь брить: вихры какие-то пошли.

— Непослушный волос у меня.

— И брови подпалены. Ну, брови подрастут.

— Брови — дело наживное.

— Вы не обижайтесь, товарищ комиссар, если я с вами буду говорить языком устава.

— Ну, что вы! Раз военный — значит, военный, товарищ генерал.

— Кого думаете себе адъютантом?

Николай Кораблев вспомнил своего друга Сиволобова:

— А если Петра Макаровича?

— Ваша воля. Обычно подбирают помоложе, быстрее на ногу. Впрочем, я — за, — Громадин прислушался: откуда-то издалека подкатила волна взрывов.— Наши! Летчики. Громят тылы. Так! — и он заторопился. — Партизан покидаю на Иголкина и на вас, товарищ комиссар.

— А вы?

— Мне предложено принять Пятую дивизию.

Они все трое задумались, а Николай Кораблев даже перепугался:

— Да как же это мы без вас? Не справимся, товарищ генерал.

— Э-э! Что я, врукопашную, что ль, пойду? Вы на современную войну, видимо, смотрите, как на деревенский кулачный бой. Дескать, Ванька Гаранин, силач, не встал к стене, ну и «нас побьют». Нет, милый мой, ныне война другая. Товарищ Сталин вон откуда

бьет — из Кремля, часто по телефону. Скажет и так стукнет, что у гитлеровцев черепа летят.

— Я это понимаю. Однако как же без вас?

— Ну, а если меня убьют? Вот сидим мы тут, а бомбочка — в здание! Тогда что? Партизанские отряды без меня, значит, ноль? Э-э-э! Нет. Я, то есть мы, весь штаб, приготовили военную машину так, что она теперь будет работать и без нас... Мы только наблюдай, в опасный момент нажимай то один, то другой рычажок...

5

Николаю Кораблеву казалось, что Сиволобов не согласится стать адъютантом и, может быть, даже обидится.

— Петр Макарович! Вы поймите меня: я так сдружился с вами за это время, что мне просто без вас будет тоскливо, — сказал Николай Кораблев.

— Ну что ж, Николай Степанович, давайте вместе.

— Вот-вот! Будете мне товарищ и советчик.

— Как вы у Шрейдера? — Сиволобов засмеялся.

— Такое бывает только раз в жизни, Петр Макарович. И я рад, что вместе будем. Работа большая: займемся душой человека. У меня еще есть друг — Иван Кузьмич Замятин. Работал на заводе начальником цеха, ныне где-то танкист. Так вот он однажды слышал, как товарищ Сталин сказал: «Если мы в человеке воспитаем коммунистическую душу — мы непобедимы». А тут один военный встрял: «Это так, — говорит, — но для победы нужны пушки». И Сталин ответил: «Пушки, конечно, нужны. Но если мы на пушку посадим человека с дрянненькой душой, она в нас стрелять будет». Вы уже бывали у партизан? Как они настроены?

— Душа-то у них хорошая, но ворчат.

— Что так?

— Да ведь Пинские болота — крепость неприступная: больше двух лет укрепляли ее, а тут еще генерал Громадин свою оборону организовал, и теперь туда чужой воробей не пролетит. И настроение такое:

«Зачем, дескать, нам оттуда выбираться? Сиди и жди — пускай сунется немец».

— И все такие?

— Ну, нет! Малая толика. Большинство — народ боевой. Здорово поработали среди партизан, да и в народе Гуторин и Уваров. Только ведь малая толика — она вроде паршивой овцы в стаде.

— Вот и давайте эту паршивую овцу вычищать.

— Вы приглядитесь к фотокорреспонденту газеты... какой-то он вроде гольца — есть такая маленькая рыбешка, в руки не дается, — скользит, вывертывается.

— Что вы, Петр Макарович! Я его знаю, видал, беседовал. Это вы про Зеленого?

— Да. Зеленый. Русская фамилия — Зеленов, а этот почему-то Зеленый... вроде огурец.

— Вы выдумываете, — намеренно подковырнул Николай Кораблев.

— Я ведь, Николай Степанович, вроде на улице живу. А с улицы, когда смотришь в окна дома, лучше видать, особо ночью, при огне.

— Знаете что, Петр Макарович. Подозрение — явление болезненное, как лишай: лишай во-время не помажь — он, знаете, как разрастается! Нам это не надо: требуется здраво смотреть на людей. Конечно, не все герои, не все готовы умереть за родину.

— А теперь вы лишай на меня повернули, — со скрытым раздражением сказал Сиволобов. — Я вам от души: присмотритесь, мол, а вы — про лишаи.

— Ну, ну! Без обиды, товарищ адъютант.

— Слушаюсь, товарищ полковник.

— И я слушаюсь, товарищ адъютант. А теперь ступайте к начштабу, доложите, что вы мой адъютант, и вас переоденут.

Как только Сиволобов вышел, Николай Кораблев ярко представил себе фигуру Зеленого. Это был человек выше среднего роста, лет под тридцать, стройный, даже красивый: у него правильные черты лица, лоб высокий и белый, на лоб спадают непослушные волосы. Все в его лице казалось красивым, и, однако, оно не привлекало, не тянуло к себе: что-то выпирало в нем деланое. И тут же Николай Кораблев вспомнил

вот что: Зеленый никогда не уходил из блиндажа Громадина, как другие: козыряет, круто повернется, стукнет каблуками — и пошел. Этот всегда, держа фуражку на согнутой руке, пятился задом и только у двери делал крутой поворот. Но Громадину это нравилось.

— Вот как вымуштровали фотографа! — восхищенно говорил он и с сожалением добавлял: — Одна только у него поганая черточка есть — шьется с обиженными. Кадры свои подбирает, что ли? На кой чорт ему? Не пойму. Меня, что ль, хочет спихнуть? И вроде как будто передо мной тянется. Натура, что ль, такая, Николай Степанович?

Николай Кораблев тогда же ответил:

— Бывают такие натуры, но обычно из тех, кто твердой почвы под собой не чувствует. Из них иногда выходят своеобразные растиньяки.

— Это кто, извиняюсь, растиньяки?

— У Бальзака есть такой герой: будучи студентом, он мечтал по-революционному обновить мир, а став взрослым, сделался самым ярым реакционером: добился министерского портфеля, причем добивался всеми подлыми приемами, какие существуют на земле.

— Ну! У нас-то таких быть не может, — грубовато возразил Громадин.

— Как сказать! В массе своей наша молодежь самая передовая в мире, но отдельные экземпляры есть такие — прямо закачаешься.

— А кому они нужны?

— А вам! Нравится ведь, когда Зеленый пятится? Льстит. А лесть может умного человека в бараний рог согнуть.

— Эх! Верно! Льстит мне. Ну, я его в следующий раз изругаю.

— Зачем же? Посмейтесь. Смех — страшный кнут: иногда человека напополам перерезает. Причем имейте в виду: при таких фруктах нельзя говорить откровенно о людях, особенно плохое: они все разносят, как заразу. Сам, конечно, разносить не будет. Он кому-нибудь сие вотрет, удивленно поддерживая клевету в таком тоне: «Говорят. Я не верю. Но говорят». А когда удар наносится тому, о ком он в таких тонах распро-

страняет клевету, то немедленно превращается в Ивана, не помнящего родства, вернее в ту самую свинью, которая с удовольствием хватает зубами дермо, несется по улице и кричит: «Глядите! Глядите, что я нашла!»

— Так его надо немедленно убрать от нас, — сурово произнес Громадин и хотел было уже что-то записать, но Николай Кораблев возразил:

— За что же вы его уберете?

— Просто не нравится он мне.

— Ну, это не доводы, товарищ генерал. А потом я вам не понравлюсь, потом другой, третий. Этак вы всех уберете. Факты нужны. Воспитание нужно. А Зеленый от вас еще и не зависим — он прислан редакцией: назавтра может переправиться к вашему соседу и там такую грязь на вас выльет, что до гробовой доски очищаться будете и не очиститесь.

— А что? Что про меня можно сказать?

— Такие найдут, что́. Знаете, есть русская поговорка: «Хорошая славушка на печке лежит, а худая — по России бежит». Худая славушка всех обежит, и люди, не знающие вас, будут думать — запятнанный.

— Да-а, — задумчиво протянул Громадин, барабаня пальцами по столу. — Это страшные экземпляры. Особенно страшные они в нашей среде: мы — народ честный, откровенный, людям верим, а тут — гнус такой.

«Гнус. Гнус... — подумал и сейчас Николай Кораблев, вспомнив все это и слова Сиволобова. — Петр Макарович — человек честной души: не сболтнет. И что я буду делать? Ведь около ста тысяч партизан только под командованием Громадина!»

6

Рассадив по кабинетам фон Шрейдера, Бенда, графа Орлова-Денисова, а за их спинами полковника Киша, Настю и Пикулева, Иголкин и Николай Кораблев спешно занялись обороной Бобра. А тут, в кабинетах, приостановившись было на несколько часов, снова

закрутилась машина: отовсюду посыпались звонки — из Минска, Бобруйска, Могилева, Витебска, из малых и больших городов, сел и деревень. Сидящие у аппаратов отвечали одно и то же:

— Все спокойно. Попортилась станция, потому и молчали. Исправили, но не все: работают только три телефона. Нет ли партизан? А как же! Есть. Только далеко от нас. Путь свободен? Свободен. Кто говорит? Фон Шрейдер. Голос? Что ж, вы мой голос на пластинку, что ль, собираетесь записывать? Голос! — и фельдмаршал даже сердился, когда кто-нибудь сомневался в его голосе.

А как только неугомонный поток телефонных звонков оборвался, в кабинетах начались интересные разговоры. Первым заговорил фон Шрейдер. Он долго, внимательно и бесцеремонно всматривался в Киша, мельком кидая взгляд на его руку, в которой тот держал пистолет.

— Безобразие! Вы ведь не русский.

— А что в этом безобразного?

— Принуждаете меня изменять родине.

— У вас, как я давно убедился, родины нет: ее вытеснили замки, фабрики, заводы, марки, золото.

— А у русских? Ну вот у этого крохотного генерала с басом?

— У них есть родина, доказательством чего служит даже то, что вот вы сидите здесь.

— Удивительно! Значит, если у меня нет родины, то я и не изменник? Как вы думаете? И скажите, меня отправят в Москву?

— Наверное... в Сибирь.

— Бррры! Холодно. Я не люблю холод.

— Возможно, Москва учтет ваше отношение к климату и отправит вас, например, в Казахстан.

— Там жарко. Тоже не люблю.

— То жарко, то холодно. Ну что ж, вам устроят душ.

В кабинете графа Орлова-Денисова в это время шел разговор другого порядка: граф, перестав отвечать на телефонные звонки, повернулся к Насте и тоже

долго рассматривал ее, особенно маленькую обветренную руку, в которой она держала пистолет.

— Ах! Ах! — со вздохом произнес он. — И эта ручка может меня, нежно выражаясь, отправить к моим родителям. Ах! Ах! А я несчастный человек. Совсем несчастный человек! Окончательно несчастный человек.

— А в чем же ваше счастье? — серьезно, даже сурово, спросила Настя.

— Мое? О-о-о! Мое счастье... Я сын знаменитого рода Орловых-Денисовых.

— Вы думаете, кровь ваших, как вы говорите, знаменитых предков передалась вам, как кровь лошадей орловской породы?

Граф что-то промямлил, затем выпалил:

— Передо мной когда-то горела звезда. Да. Звезда. Она сияла на горизонте моей судьбы. Я учился в кадетском корпусе. Какая выправка!.. И звезда моя горела, сияла, манила меня к себе. Я мог бы схватить ее, но тут пришли большевики... и я бежал, как это сказал Лермонтов, — бежал быстрее лани.

— Отвечайте на звонки. А то, вижу, вы весьма поглупели.

— Да ну их к чорту, звонки! Барабанят, обезумели. Видно, красные шугнули их, вот и барабанят со всех сторон. «Путь свободен?» «Путь свободен?» Ишь, чего захотели — путь свободен, — и, взяв трубку, закричал: — Да! Свободен. Свободен путь. Валяйте! Встретим с хлебом и солью.

Настя навела на него пистолет:

— Без шуточек, граф.

В кабинете Бенда тоже шел разговор. Бенда долго и украдкой приглядывался к Пикулеву, который сидел на стуле, против, и такой маленький, что ноги еле доставали до пола, но борода у него большущая, глаза безжалостно суровые.

«Заговорю — сразу бабахнет в лицо из пистолета,— думал Бенда. — А поговорить охота. Как? Ну, кипит во мне французская кровь! К чорту бошей! Разве ему сразу крикнуть: «Гитлер капут!» Да он, наверно, это

слышал тысячу раз: надоело. Попробую с другого», — и начал:

— Скажите, господин майор, что такое социализм?

— Я вам не политшкола. Делайте то, что приказано, — обрезал его тот.

И Бенда, заерзав на стуле, подумал: «С этим не поговоришь».

7

Не только Николай Кораблев, но и Иголкин, человек довольно опытный и знающий военное дело, не предвидели того, что случилось в районе Бобра через несколько дней. Николай Кораблев и Иголкин думали, что фашисты побегут из-под Бобруйска, Могилева и Витебска недели через три, в крайнем случае через две.

— Ведь за Орел-то, помните, Николай Степанович, бились целый месяц. А тут оборона у врага не слабее, а пожалуй, сильнее, ручаюсь вам. Они Бобруйск, Витебск и Могилев превратили в первоклассные крепости. Их надо долбать и долбать.

— Это, пожалуй, хорошо — через две-три недели: я смогу за это время познакомиться с партизанами и кое-что сделать, — говорил, соглашаясь с Иголкиным, Николай Кораблев.

— Так что, — позевывая, произносил Иголкин, — оборону наладим и отдохнем: с генералом никак отдыхать не приходилось.

Оборона города Бобра создана была еще при немцах. Она начиналась километрах в пяти от города, на стыке двух речушек, довольно извилистых и болотистых. Через стык тянулась длинная дамба, посредине — цементно-бетонный мост. От него в обе стороны расхлестнулись противотанковые рвы, за ними в три ряда колючая проволока, в ряде мест пестрели огневые точки. В центре всего укрепления расположился деревянный городок, построенный Бенда.

Иголкин приказал разнести стены городка, озеленить блиндажи, затем телефонную сеть приключил к партизанским отрядам. После этого он занял два

блиндажа под свой штаб, остальные отвел Николаю Кораблеву и Пикулеву.

— Отсюда и начнем мы «бить шведа», — повторил он любимое выражение Громадина и, расстелив на столе немецкую карту, на которой была нанесена вся оборона города, сказал: — Рассредоточить отряды вот здесь, вот здесь и вот здесь. Отряд Масленицы — впереди моста: видите болото, за ним шоссе. Масленица первый встречает «гостей», засим «гостей» — если они прорвутся, а они обязательно прорвутся: слишком их много... — засим «гостей» встречают отряды, расположенные непосредственно около моста.

Сделав все необходимое «для встречи гостей»: рассредоточив партизан, наладив с отрядами телефонную связь, сообщив Громадину о том, что «мы готовы, стол накрыт, просим пожаловать», — Иголкин завалился на кровать, сказав своему адъютанту:

— Я, бывало, в детские годы любил спать в подвалах — прохладно и мух нет. Блиндаж — это ведь подвал. Ну, прошу не тревожить, — и через несколько минут уже спал мертвым сном.

Казалось, и Николай Кораблев мог бы вести себя так же, как и Иголкин. Но у этого был другой характер — беспокойный, за всякую новую работу он принимался с тревогой: а справится ли? Внутренне он всегда был убежден, что справится, но волновался, говоря:

— Надо не только справиться, но справиться блестяще.

После того как оборона Бобра была «поставлена на ноги», а Иголкин завалился в постель, Николай Кораблев, обеспокоенный разговором с Сиволобовым о партизанах, решил непременно побывать в отрядах, проверить готовность людей к «окончательному разгрому врага на нашей земле». Сначала он хотел было отправиться к партизанам один, но побоялся, что его еще не знают и поэтому могут не пропустить в дальние отряды.

— Пойду попрошу Иголкина, пусть поможет, — но при входе в блиндаж столкнулся с адъютантом, который хотя и вежливо, но весьма настойчиво заявил:

— Полковник спит, товарищ комиссар.

— Ну, эта болезнь не требует врача. Разбудите, — столь же вежливо и столь же настойчиво произнес Николай Кораблев.

— Слушаюсь, товарищ комиссар, — ответил адъютант и раздумчиво приостановился, — а впрочем, будите сами. Меня все равно не послушается, хоть в колокола бей: ведь уже ночей десять не спал.

Николай Кораблев сначала осторожно, потом все сильнее и сильнее начал тормошить Иголкина, а когда тот тяжело приоткрыл глаза, извиняясь, сказал:

— Вы все-таки помогите: надо бы мне побывать в отрядах. А один я что ж? С вами бы.

— Такие, как вы, быстро на работе сгорают, — сквозь сон произнес Иголкин. — Ложитесь-ка, поспите. Вон там есть еще кровать... белье чистое.

И, видя, как Иголкин вяло опустил веки, Николай Кораблев перепуганно воскликнул:

— Да какой там сон! Через две-три недели немцы побегут, а я еще с партизанами не беседовал. Поедемте, пожалуйста. Отдохнете потом. Познакомьте меня хотя бы с одним отрядом.

Иголкин недовольно крякнул, почесал могучую грудь, затем буркнул:

— Хорошо. На конях. Умеете? А я кстати лишнее с себя сброшу: верховая езда, говорят, помогает. Поедемте к Масленице...

Партизаны, как и всюду, в сети «немецкой» обороны тоже проделали свои тайные тропы — для пеших и для конных. По одной из таких троп и скакали на конях Николай Кораблев и Иголкин. Тропа то приближалась к основному шоссе, то уходила от него в глубь заболоченных лесных мест. Вскоре они убедились, что им не следовало бы уезжать из штаба: как только тропа приводила их ближе к шоссе, то до них доносились грохот и визг танков. По этим скрежещущим звукам можно было определить, что танки несутся на запад. Почему? Ведь под Бобруйском, Витебском и Могилевом идут ожесточенные бои. Так почему же немецкие танки несутся на запад? Началось бегство? Так рано!

— Что же нам делать? — не останавливая коня, повернувшись к Николаю Кораблеву, тревожно произнес Иголкин. — Скакать обратно? На переезде мы можем попасть им в лапы.

— Но почему партизаны не бьют танки? — спросил в свою очередь встревоженный Николай Кораблев.

— Нет приказа. Может быть, лучше первую партию пропустить: пусть думают — путь свободен. Давайте-ка скорее через Масленицу свяжемся со штабом и все узнаем.

Иголкин так подхлестнул коня, что тот, прижав уши, ринулся вперед, а за ним ринулся и конь Николая Кораблева.

Так скакали они еще минут двадцать. Ветви жестоко били их по лицам, по плечам, иногда чуть не выбрасывая из седла.

«И чего он несется сломя голову? Ну, на несколько минут позже приедем». — Николай Кораблев хотел было попросить Иголкина уменьшить бег, как увидел впереди прогал неба. Здесь Иголкин повел коня хотя через узкое, но довольно топкое болото. Затем, осмотревшись, крикнул:

— А ну, «куст», поди сюда!

Ольховый «куст» зашевелился, тряхнул ветками, тронулся с места и прохрипел:

— Пароль?

— «Солнце», — ответил Иголкин.

— Здравия желаю, товарищ полковник!

— Ты не «здравия желаю», а скажи, что за танки прогремели? Видел?

— А как же, товарищ полковник! Наши танки.

— Наши? Советские?

— Так точно, товарищ полковник. Сорок шесть машин, и все «Т-34». За ними кавалерия. Один меня было срубил. Несется и на скаку шашкой по сучкам: ас — нет сучка. Подскакал ко мне — и замахнись. Я ему во весь голос да автоматом: «Я те замахнусь!» Обезумел казак и поскакал дальше.

— Значит, наши? — Иголкин заторопился. — А до Масленицы далеко?

— Нет. Но пройти трудно. Одним невозможно.

— Проведи. Знаешь меня?

— А как не знать? Товарищ Иголкин вы, начальник штаба.

— Чего же пароль спрашивал? — удивленно воскликнул Иголкин.

— По уставу полагается! Не спроси, вы бы мне и всыпали, — ответил «куст». И боец, сбросив с себя ветви, отнес их в болото, примял ногами, сказал: — Айдате! Только с конями как? Ага! Эй! Миша! Здобнов! Припрячь коней.

«Не зря фашисты говорят: «Кустов боимся», — подумал Николай Кораблев, и сам на всякий куст уже стал смотреть как на партизана.

8

Штаб отряда Масленицы расположился за топкими болотами, в лесу, на поляне, под синеющим небом. По боковинам поляны, глубоко уходя в землю, виднелись свежие блиндажи, крыши которых посыпаны золотистым песочком, утыканы зеленью сосен.

В блиндаже Масленицы никого из «главных» не оказалось, сидел только дежурный, и тот сообщил Иголкину, что Масленица вместе с Петром Петровичем Егоровым отправились «на место расположения» и будут только к вечеру.

— Связался ли со штабом? Что за танки прошли? — торопливо спросил Иголкин.

— Пробую, товарищ полковник. Да какая-то «хиромантия»: дырг-дырг — и ничего не разберешь.

— Давай-ка я сам, — сказал Иголкин и, сев к телефонному аппарату, взял трубку, гаркнул: — Эй! Кто работает?! Я вам покажу, как разводить «хиромантию». Ну! Полковник Иголкин говорит. Ага! Отлетела твоя «хиромантия», — обратился он к дежурному и снова крикнул в трубку: — Четвертый мне.

Николай Кораблев спросил дежурного о своем:

— Нет ли поблизости партизан?

— Как нет! Есть, товарищ полковник. Митингуют. Выйдете, завернете направо — и там, в лесочке.

— Это Гуторин научил, — со скрытой похвалой кинул Иголкин. — Как свободный час, так международные дела обсуждают. Ораторов развелось — страсть. Верно, вы идите, Николай Степанович, а я тут свяжусь с Пикулевым.

Николай Кораблев, выйдя из блиндажа и завернув направо в мелкий, горбатенький, характерный для заболоченных мест лесок, натолкнулся на митинг.

На поляне стояли вооруженные партизаны. А в кругу кто-то ораторствовал. Самого человека не было видно, только мелькала крепко сжатая в руке пилотка. Слова он выкрикивал громко, с паузами, иногда срываясь на фистулу:

— Враг дрогнул! Враг бежит, и тут его бей!

«Совершенно верно!» — решил Николай Кораблев.

— Партизаны выполняют историческую миссию! — продолжал оратор. — Партизаны и есть самая основная сила.

«Загибает!» — снова подумал Николай Кораблев и вдруг весь насторожился.

— Но... война скоро кончится, — выкрикивал человек уже совсем трусливым голоском. — Война кончится скоро, и надо беречь себя.

Партизаны заволновались, их спины заколыхались, послышался нарастающий гул, как гул отдаленного грома.

— Нам надо беречь себя! У нас семьи! Нам предстоит еще залечивать раны войны: восстанавливать сельское хозяйство, — оратор говорил «сельское», ударяя на «ое», — и, конечно, нашу мученицу — промышленность. Что будет, если мы тут все поляжем костьми...

Гул усилился, и откуда-то, хотя и редко, но, как хлыст, ударили слова:

— Беречь! Беречь!

— Головы-то наши — не кочаны!

Тогда Николай Кораблев, бледнея, бросил:

— Провокация! — Гул оборвался, все повернулись к нему, а он, расталкивая людей, вошел в круг и еще раз кинул уже в абсолютной тишине: — Ложь! — и только тут увидел, что ораторствовал Зеленый.

Локтем правой руки отодвинув его в сторону, он посмотрел на партизан. Передние ряды сидели, крестом поджав под себя ноги, вторые опустились на колени, дальше люди стояли. И все смотрели на этого им неизвестного полковника. Одни — с удивлением, другие — с подозрением, третьи, казалось, вот-вот засмеются. А Николай Кораблев невольно остановил взгляд на больших глазах женщины.

«Батюшки! Да ведь это Елена Егоровна. Может быть, и Петр Петрович здесь, и Масленица?» — и, понимая, что промедление здесь смерти подобно, заторопился:

— Ложь! Этот хлюст разносит ложь. Жить? Мы все хотим жить и не утверждаем, как утверждают бандюги всех мастей, что жизнь — копейка. Но как жить?

— Так вот и надо беречь ее, жизнь! — произнес оскорбленный Зеленый, что-то угрожающе записывая в блокнот.

Николай Кораблев повернулся к нему:

— Вы что, с фотографом разговариваете или перед вами полковник? — и, махнув на него рукою, как машут, отгоняя муху, снова обратился к партизанам: — Беречь себя, конечно, надо. Но как беречь? Беречь можно по-всякому: идет бой, а ты за пень или в норку: «Пусть товарищи умирают за родину, а я вот в норке беречь себя буду». Так, наверное, Зеленый бережет себя.

— Такие есть, товарищ полковник!.. — в минутной тишине проговорил седой партизан в первом ряду, — вот именно: в норку забьется и бережет себя, как девица на выданье.

Раздался грохот: люди, чуть закинув вверх головы, щуря глаза, хохотали, сотрясаясь, а Николай Кораблев подумал: «Экое доходчивое бросил!», а когда хохот смолк, добавил тепло, от всего сердца:

— Товарищи! Сейчас нам не следует думать о жизни... и о смерти. Одна задача — беспощадно бить нечисть, всю эту сволоту, которая забралась на нашу землю. И уж если погибать, так погибать только так, чтобы за тобой лежали десятки трупов тех мерзавцев,

которые именуют себя фашистами, — и, повернувшись к Зеленому, добавил: — А вы явитесь немедленно ко мне.

— Куда, товарищ полковник? — довольно надменно спросил тот.

— Я забыл вам, товарищи, сказать, — Николай Кораблев снова обратился к партизанам, — я сегодня назначен вместо товарища Гуторина; товарищ Гуторин остался в Пинских болотах, — и опять к Зеленому: — Так теперь знаете, куда надо явиться?

— Да, — почему-то посмеиваясь, ответил тот. — Но я должен сначала переслать фото в Москву.

— Фото будете посылать только с моего согласия.

— Это нарушение, товарищ комиссар. И за такое...

— Не грозите! Мы уж как-нибудь за нарушение будем отвечать вот все вместе, — Николай Кораблев протянул обе руки, как бы обнимая партизан, и тут же обратился к жене Петра Петровича: — Елена Егоровна, здравствуйте! И вы тут? Дети ваши как, дочки? — Что-то теплое, родное и скорбное блеснуло в его глазах, и этим он покорил партизан больше, чем всеми сказанными словами.

— Сестра я тут, — ответила Елена Егоровна. — Видите, — и потрогала медицинскую сумку, — не осталась с дочками, но тоскую — беда.

В это время подошел чем-то встревоженный, но скрывающий это Иголкин и кинул:

— Здорово, братцы! Как цепы? Приготовлены?

— Ого! — закричали партизаны. — Приготовлены цепы!

— Снопы подавайте!

— Снопы скоро будут, братцы. Как молотить будем? Поштучно аль с пуда? — снова кинул Иголкин, уже хохоча.

— И с пуда и поштучно!

— Давай валяй только!

— Вот они какие у нас молодцы! — обратясь к комиссару, проговорил Иголкин. — Ну что, останетесь здесь?

— Нет! В штаб, — коротко ответил Николай Кораблев.

— Что мало? Они теперь вас с рук на руки будут передавать: вижу, по нраву пришелся. А к базарному дню вернетесь в штаб.

— Нет! Мне надо некоторое время побыть там. Поедемте...

И вскоре они снова скакали на конях в город Бобер.

Николай Кораблев думал: «Люди хорошие. Но паршивая овца, вроде Зеленого, может нагадить. Таких надо быстрее убирать», — и, все еще не свыкнувшись со своей ролью, стесненно попросил Иголкина:

— Мне бы хотелось повидаться с Масленицей и его начальником штаба Петром Петровичем.

— А вы прикажите — и явятся.

— Чего танки пронеслись? — уже смелее спросил Николай Кораблев.

— Ни папа, ни мама не поймут. Попробую связаться с генералом. Тогда все будет ясно, — Иголкин снова подхлестнул своего коня, и тот стремительно рванулся вперед.

9

Войдя в свой блиндаж, Николай Кораблев застал незнакомого человека, который сидел за столом, низко опустив голову над бумагами. При входе Николая Кораблева он поднял голову, внимательно посмотрел на него — хмурь сошла с лица — и, улыбаясь, видимо по привычке принимать людей, встал, пошел навстречу, произнося:

— Садитесь, пожалуйста, — и спохватился: — Да. Что же это я вас приглашаю? Сам у вас гость. Ну, будем знакомы, — Уваров, работал в центральном штабе партизан, теперь приехал восстанавливать хозяйство Белоруссии.

Он сразу расположил комиссара к себе, и тот, почувствовав дружественное, заговорил полушутя, полусерьезно:

— Белоруссия еще под врагом, а вы уже восстанавливать?

— Победа не за горами.

— Давно ли у нас?

— Больше месяца. Разрабатывали с вашим генералом план, как встретить бегущего врага. Генерал у вас — золото.

— Лазоревое утро.

— Только не дай бог попасть в это утро, когда оно пасмурно.

— Ручка тяжелая, — с восхищением произнес Николай Кораблев, глядя на угол, отгороженный брезентом. — А кто там? С вами, что ль, приехал?

— А я и есть, товарищ комиссар, — раздался из-за брезента голос Сиволобова. — Привожу себя в боевую готовность. Звание мне дали. Лейтенант. За пятьдесят-то лет — лейтенант, — и, выйдя из-за брезента, побритый, почищенный, в новом костюме с погонами лейтенанта, с золотой звездочкой на груди, Сиволобов застенчиво расшаркался, не в силах сдержать губы, которые так и расползались: — Ну, как? Хорош, Николай Степанович?

— Хорош, Петр Макарович! — смеясь, ответил он и, подойдя к Сиволобову, обнял его. — Несколько часов мы с вами не виделись, а соскучился. Якова Ивановича не встретили?

— У-у-у! Да он с генералом махнул на ту сторону.

— Ах да, я забыл! — и Николай Кораблев снова обратился к Уварову: — Плоховато, товарищ Уваров, здесь. На пути встретили митинг и слышали такие слова: «Война скоро кончится: надо беречь себя».

— Это, очевидно, одиночки-болтуны. Мы ведь поработали здесь основательно: несколько раз собирали коммунистов. Стена плотная — никакой пушкой не прошибешь, — уверенно произнес Уваров. — Однако, конечно, надо ко всему прислушиваться. Да, кстати, генерал, очевидно, вас уже информировал, но я должен тоже. Перед отъездом сюда мы были в Цека... ну, прямо скажу: у товарища Сталина.

— Устал товарищ Сталин?

— Как все. Но у него сила — сила нашей партии, нашего народа. Нераздельная сила, нерушимая. Удивляешься: ведет такую напряженную войну и... следит за искусством в стране... Да... Так вот и дали вам ра-

боту побольше — комиссаром. Сталин спрашивал: виделись ли вы со своей женой?

— Нет еще. Но надеюсь и жду.

— Мы так и ответили. Сталин знает о работе вашей жены... и о той беде. И сказал: «Сильные люди, настоящие коммунисты. Прошу передать, как только кончится война или при случае — заглянуть ко мне». Думаю, не откажетесь? — улыбаясь, пошутил Уваров.

— Трудно отказаться, — так же радостно улыбаясь, ответил Николай Кораблев, потрясенный сообщением Уварова, и, чтобы скрыть свое волнение, заторопился: — А теперь за дело, товарищ Уваров. Мне все-таки хочется побеседовать с Пикулевым. Можно пригласить?

— Очень хорошо!

— Петр Макарович, позовите-ка товарища Пикулева, — и предупредил Уварова: — Вы его видели, какой он маленький. Так вы ему относительно роста и не намекайте: больное место.

Пикулев за это время весьма похудел и сейчас, войдя в блиндаж, несмотря на то, что борода у него отросла и стала походить на черненькую лопаточку, показался еще меньше. Приблизясь к столу, он прищелкнул каблуками. Николай Кораблев встал и, как гора, повис над ним.

— Здравствуйте, товарищ полковник! — произнес Пикулев. — Слыхал, слыхал о ваших делах на станции Бобер.

— А я чувствовал вашу руку, несмотря на то, что ни разу вас не видел. Так вот теперь надо бы нам проверить настроение партизан.

— Поздновато, товарищ комиссар. Вот сводка. Кратко: Витебск взят штурмом, в Могилеве уличные бои, подступили к Бобруйску.

Уваров сначала радостно вспыхнул, потом посуровел, говоря:

— Уж эти уличные бои!

— А что? — спросил Николай Кораблев.

— Все окна повыбьют, пожары. Мы хотя и создали десятки пожарных команд... да разве все затушишь? И стекло... Где его столько достать?

— Экая печаль у вас!

— Печаль? Доставать-то нам придется. Да ведь и дома полетят.

— Это верно. Однако разрешите нам кое о чем поговорить. Вы знаете Зеленого, товарищ Пикулев? Почему он Зеленый, а не Зеленов?

— Псевдоним, — сдержанно ответил Пикулев.

— Ага! Вот уже что-то есть? А настоящая фамилия?

— Кампотов.

— Странная фамилия. Что же его заставило «позеленеть»?

— Отец — бывший крупный торговец Москвы. Имел когда-то магазин и даже дом терпимости.

— Угу! — протянул Николай Кораблев, одновременно думая: «Какое чуткое сердце у Сиволобова!» — и вслух: — А как он вел себя в Москве до войны?

— Угодничал.

— Не понимаю.

— Неважно, кто сидит в кресле: кланялся креслу, угодничал, никогда не критиковал тех, кто сидел в больших креслах, только подпевал им. Убирали из кресла такого человека, сажали другого — Зеленый немедленно перестраивался и этому угодничал. Такой у него лозунг: «Лижи, лижи — и вылезешь в люди».

— А теперь?

— Тот же конек.

— Как он сюда попал?

— Сначала был в окружении, потом с группой бойцов прорвался к нам. Еще в Брянских лесах.

— И с тех пор ни разу не был в Москве?

— Ни разу. Хотя мог бы улететь.

— Так почему же вы его не арестуете?

— За что? За угодничество? Таких статей нет.

Николай Кораблев обозлился и грубо кинул:

— Самая лучшая статья — разум, товарищ Пикулев.

— Не всякий разум — закон, — Пикулев вдруг засмеялся звонко, как юноша. — Вижу, вы мало пока знаете.

— Узнаю. Спасибо, товарищ Пикулев. Мне вы еще понадобитесь. Кстати, как работает Киш? Хорошо? — а когда Пикулев вышел, Николай Кораблев сказал: —

Надо Зеленого раскусить, — но в это время затрещал телефон, комиссар взял трубку, заговорил: — Да! Да! Кораблев. Кто?! Масленица, командир отряда? Слушаю вас, товарищ Масленица. Что? Что? Сбежал, — и, повернувшись к Уварову, еле выговорил: — Зеленый сбежал. Куда сбежал?! — крикнул он в трубку. — К немцам? А как? Да ну! Заходите ко мне. Петр Петрович с вами? Заходите! — и, положив трубку, как бы ни к кому не обращаясь, проговорил: — Сбежал к немцам. Это очень плохо: он выдаст наше расположение. Надо немедленно отправляться в отряды.

— Куда-а, в отряды? — растягивая слово, спросил Уваров.

— Да. Особенно в отдаленные. Надо же все проверить.

— Опоздали, товарищ комиссар.

— Это почему же: гитлеровцы побегут недели через две-три... за это время я со многими ознакомлюсь.

— Через два-три дня побегут, — ошарашивающе произнес Уваров.

— А Иголкин утверждает: две-три недели... Ведь Орел-то...

— Не наивничайте, — перебил его Уваров. — Неужели вы думаете, Громадин ничего не соображает? Он приказал захватить Бобер... и прекрасно знает, в тылу врага город больше трех, ну от силы пяти дней держать нельзя: немцы выставят две-три дивизии и выбьют партизан из города. Город не леса и не Пинские болота. Значит, Громадин знал, что враг вот-вот побежит. Тем более, ведь вчера прошла рельсовая война. Поезда приостановились — значит, гитлеровцы побегут по шоссе, дорогам... и тут их надо бить.

Николай Кораблев, слушая Уварова, все время смотрел ему в лицо, думая: «Ну, он, видимо, такой же военный, как и я. Иголкин-то все же больше нас знает да и генерал такого не говорил. О рельсовой войне сообщил. Значит, ее провели. Но почему же наших партизан не потребовали на это дело?» — и спросил:

— А чего нас не тревожили... на рельсовую войну?

— Почему же? Не тревожили в городе: его надо охранять. А отдаленные отряды все участвовали,

вместе с населением. Такое устроили фашистам — век помнить будут. Вот сейчас Красная Армия наносит им удар за ударом, а железная дорога скована.

«Не верю что-то я ему», — подумал Николай Кораблев, не отказываясь от своего решения побывать в отрядах партизан.

10

В партизанских отрядах, рассредоточенных по болотам и лесам Белоруссии, Николаю Кораблеву не удалось побывать ни в тот вечер, ни на утро следующего дня: события развернулись со стремительной быстротой.

Двадцать третьего июня тысяча девятьсот сорок четвертого года Красная Армия при поддержке артиллерии и авиации обрушилась на врага в районе Витебска. Фашисты Витебск укрепляли долгое время, превратив город в первоклассную современную крепость: первый рубеж обороны тянулся непосредственно около города; за рубежом все здания были превращены в огневые точки, в круговую оборону. За чертой первого рубежа, километрах в пятнадцати, тянулся второй пояс обороны, построенный на основе всех данных военного искусства. Кроме этого, гитлеровское командование здесь сосредоточило лучшие силы и считало, что Витебск неприступен. Эту версию геббельсовская пресса разносила по всему миру, делая при этом ссылку: «Если красным пришлось биться больше года за городишко Ржев, то Витебск — могила русских».

Красная Армия в течение двух-трех дней вдребезги разнесла оборону гитлеровцев под Витебском, полностью уничтожила пять дивизий, нанесла смертельные удары еще двум дивизиям, затем штурмом овладела городом, и немцы, потеряв только убитыми около двадцати тысяч солдат и офицеров, принуждены были сложить оружие. В эти дни Красная Армия нанесла еще два удара — под Могилевом и Бобруйском. Немцы построили вокруг Бобруйска, как и около Витебска, пять рубежей обороны, общая глубина кото-

рых достигала больше ста километров. И эти современные крепости гитлеровцы считали неприступными. Советская Армия обрушилась на врага под Бобруйском, в течение шести дней взорвала долговременную оборону, уничтожила до трехсот танков и самоходных пушек, до полутора тысяч минометов, около десяти тысяч автомашин... и враг потерял на поле боя около пятидесяти тысяч убитыми.

Выбитые и разгромленные под Витебском, Могилевом, Бобруйском, потеряв колоссальное количество танков, пушек, минометов, пулеметов, самолетов, около двухсот тысяч убитыми и пленными, остатки гитлеровцев кинулись к Минску, намереваясь здесь сосредоточить силы. Но Красная Армия, обрушив свою мощь на Витебск, Могилев и Бобруйск, одновременно двинулась с севера и юга на Минск, угрожая снова запереть врага в «котле».

Гитлер за несколько дней перед этим переехал со всей своей ставкой из Пруссии в Берлин, перепугавшись покушения: сторонники Браухича, пруссаки, подложили ему мину, она взорвалась неудачно, и, «богом спасенный для своего народа», как кричала геббельсовская печать, Гитлер ускакал в полуразрушенный Берлин, скрылся в имперской канцелярии и не выглядывал оттуда до самоубийства. Сменив, переарестовав и уничтожив подозрительных генералов, офицеров, он пригласил на должность начальника штаба известного в то время Гудериана — человека в военном отношении неглупого. Гудериан и все окружающие его видели, что «игра в Белоруссии проиграна», но видели это так же, как слабый шахматист — надвигающийся проигрыш: он еще хорохорится, вертится, крутится, стремясь в крайнем случае свести партию в «ничью», но противник с железной логикой, с превосходством наступает на него, давит, жмет, бьет и приводит к полному разгрому. Так и Гудериан и вся его компания видели, что надвигается новый и более жестокий «котел», что Красная Армия с севера и юга двинулась на Минск, вот-вот ворвется в столицу Белоруссии. И Гудериан, помимо желания Гитлера, стал отдавать

всякого рода приказания разбитым армиям, стремясь вырвать их из надвигающихся тисков. Но что гитлеровцы ни делали, куда ни кидались, пытаясь то тут, то там прорваться на запад, — сталинские клещи сжимались с неумолимой логикой: превосходство военного мастерства и техники Красной Армии побеждало. Враг еще пытался оказать сопротивление на промежуточных пунктах, делая отчаянные попытки спасти положение, бросал в бой все, вплоть до полицейских соединений, но поток Красной Армии сжигал все это, уничтожал, сметал с лица земли в ожесточенном бою. Третьего июля тысяча девятьсот сорок четвертого года части войск генерала Черняховского ворвались в Минск с севера, а части генерала Рокоссовского, главным образом армия Анатолия Васильевича Горбунова, вошли в Минск с юга — и город был взят штурмом. Таким образом, более двухсот тысяч вражеских солдат и офицеров были зажаты в «минском котле». И начался жесточайший разгром врага: наши армии, по заранее разработанному, предложенному товарищем Сталиным плану, стали «резать» гитлеровские войска в «котле» на куски, превращая обширнейшее поле боя в своеобразный «слоеный пирог», и «куски» этого своеобразного «пирога» быстро уничтожались. «Куски» гитлеровских армий, потеряв между собою всякую связь, в безумной панике заметались из стороны в сторону, нарываясь то на Красную Армию, то на партизанские отряды, засевшие в лесах, у перекрестков дорог.

11

Нередко болота, вернее даже омуты, покрываются зеленой травкой. Когда смотришь на нее, то хочется прилечь, но как только ступишь, так сразу проваливаешься в вязкую, разжиженную тину. Места такие называются чарусой.

Чем-то вроде подобной чарусы явился для бегущих гитлеровцев город Бобер.

Фон Шрейдер, Бенда, граф Орлов-Денисов дни и

ночи сидели у телефонных аппаратов и, измученные, отвечали одно и то же:

— Путь свободен.

— Партизан нет.

То же самое говорили и регулировщики на перекрестках дорог, за мостом. Тут стояли наряду с партизанами перебежчики-немцы, ненавидящие гитлеровцев «с головы до ног».

Вот почему разбитые в Бобруйске гитлеровцы кинулись на Бобер, намереваясь таким путем пробиться в Минск, где, как казалось им, их ждало спасение.

В тот самый момент, когда Уваров убеждал Николая Кораблева в том, что фашисты из-под Бобруйска, Витебска и Могилева побегут не через две-три недели, а через два-три дня, в блиндаж вошел Иголкин и тоже вступил в спор.

— Поверьте мне, моему чутью, — доказывал он Уварову, — немцы не раньше как через две-три недели побегут.

Уваров рассердился и хотя сдерживал себя, однако грубовато бросил:

— К чутью-то, дорогой мой, надо еще разум прибавить... А то — «чутье, чутье». Видите ли, если бы мы гадали на чутье, то есть на гуще, то... — и не успел договорить фразы, как раздался резкий телефонный звонок.

Николай Кораблев взял трубку и побледнел:

— Что? Масленица? Дальние пикеты, — и передал Уварову и Иголкину: — Дальние пикеты доносят— на Бобер бегут немцы.

— Вот вам и чутье! — усмехаясь, сказал Уваров.— «Чутье. Чутье». Ну, помогите-ка мне пробраться в ближайший отряд, чтобы оттуда переправиться в Минск,— и горестно вздохнул: — Минск могут так разнести, что камня на камне не оставят.

— У каждого своя болячка, — в ответ на колкость Уварова кинул Иголкин.

— Минск — болячка? Ну, знаете ли... Минск? Столица Белоруссии? — и Уваров покинул блиндаж.

12

Как только разведка донесла Масленице о том, что на шоссе появились первые гитлеровские части, он сообщил об этом Николаю Кораблеву и отдал приказ: «Приготовиться».

Тогда все партизаны почти вплотную подступили к шоссе. Масленица и Петр Петрович укрылись в сторонке за бугром, в заранее оборудованном наблюдательном пункте, откуда шоссе просматривалось весьма далеко.

И вот показался ведущий грузовик. Он несется на всех парах и даже как будто кричит: «В Бобер! В Бобер!» Видно, как у шофера горят глаза: наконец-то вырвался из ада! Кузов набит солдатами. Поблескивают на солнце каски, автоматы, почерневшие, потные лица, обезумевшие глаза. Рядом с шофером сидит офицер, мрачный, сосредоточенный. Шофер кивает головой, показывает рукой вперед, что-то говорит — видимо, о том, что Бобер рядом.

И вдруг взрыв. Машина вздыбилась, как крупный зверь, неожиданно наскочивший на пламя. В следующую минуту так же опрокинулась вторая, третья... десятая машины. Взрывы стихли. Послышались отчаянные крики гитлеровцев. Те, кто остался в живых, выскочили из-под обломков грузовиков и кинулись в разные стороны, придерживая у животов приклады автоматов, паля куда попало. Одни побежали вперед, к заветному Бобру, где «нет партизан, путь свободен». Но тут их, встав на колено, метясь, как в бегущих зайцев, снимали из винтовок партизаны. Другие метнулись вспять и тоже нарвались на партизан. Третьи засели за обломки, намереваясь организовать оборону, но не знали, в кого стрелять: вдоль дороги шумел лес, ветер трепал на деревьях листья, и, однако, откуда-то неслись пули, смертельно жаля.

— А-а! — только и выкрикивал Масленица.

— Еще колонна, — сказал Петр Петрович, всматриваясь через бинокль в даль. — Видите?

На вторую колонну партизаны обрушились гораздо дальше, за мостом. И там машины вздыбились, как крупные звери. За этой колонной появлялись новые и

новые. Боясь боковинных дорог, гитлеровцы лезли вперед на шоссе — через обломки, через пылающий бензин. Иные из них прорывались и, завидя Бобер, неслись туда. Но и в Бобре их огнем встречали партизаны.

На третий день к вечеру все шоссе, кюветы на протяжении семи-десяти километров, центральная улица Бобра — все было завалено трупами, разбитыми, погоревшими машинами, повозками, а гитлеровцы все лезли, лезли и лезли. Видимо, ими овладела та самая паника, какая бывает на загоревшемся пароходе: люди кидаются в воду, хватаются друг за друга и тонут.

На четвертый день рано утром появились танки, самоходные пушки. Первый танк врезался в гору трупов и забуксовал, словно на топком болоте, — тогда другие ринулись стороной и все туда же — в спасительный Бобер. Но при вступлении в город их встретили пушки, умело расставленные Иголкиным. Пушки у партизан были маленькие, старенькие, те самые, которые в эту войну уже вышли из строя. Они старательно били по танкам, но снаряды, как горох от стены, отлетали от брони, делая незначительные царапины... и первая партия танков прорвалась через город, ушла туда — к Минску. После этого Иголкин приказал бить из пушек только по гусеницам. Пушки подкатили ближе к шоссе, и когда появилась новая партия танков, «пушкари» ударили по гусеницам. Передовые танки с сорванными гусеницами закрутились на месте, словно жуки с поломанными ножками. Со стороны казалось, а в другом месте, наверное, так бы и случилось, что танки раскололи бы эти пушечки, как молоток колет орехи. Но, видимо, и танки становятся бессильными, когда экипаж находится в паническом состоянии: немцы-танкисты неслись в Минск, зная, что позади идет всесокрушающая сила, перед которой им не устоять, поэтому здесь танки с подбитыми гусеницами долго крутились на месте, не стреляя по пушечкам... и вдруг замерли, открылись люки, показались руки с растопыренными пальцами, молящие о пощаде.

— Ага! — не закричал, а даже как-то завопил Иголкин, увидав эти руки. — Лупи по лапкам!

Николай Кораблев резко возразил:

— А помните, что сказал Громадин?.. Пленных не трогать: тех, кто одумался, пускайте в ход, а не в расход, а кто еще находится в чуме, отправляйте в плен: там одумаются и людьми станут.

— И то! — воскликнул Иголкин, к удивлению Николая Кораблева соглашаясь с ним. — Это во мне злость говорит, а не разум. Отменить! — крикнул он. — Кто лапки поднимет, принимать и не трогать.

И как только из первых с подбитыми гусеницами танков выбрались танкисты, на остальных танках тоже открылись люки и тоже вскинулись руки с растопыренными пальцами, молящие о пощаде.

Иголкин приказал очистить танки. А когда танкисты сгрудились в одном месте, он кинул клич по отрядам. Нашлись свои танкисты-партизаны, и тогда все машины были установлены вдоль шоссе, лобовой частью на восток.

— Теперь у нас не пушечки, а пушки! — радостно воскликнул Иголкин, одновременно видя, как среди партизан мечется и что-то кричит фашист. — Послушайте-ка, Николай Степанович, чего он тараторит?

Николай Кораблев прислушался и перевел:

— Кричит, что он ненавидит Гитлера... готов сесть в танк и бить гитлеровскую армию.

— Ну-у! Значит, этот одумался. Сажайте его вместе с нашими ребятами.

И потеряли партизаны счет дням... Люди неотрывно били бегущих гитлеровцев, засыпая только во время редких пауз, и то не сходя с места. Руки, спины и ноги гудели. Пылали ладони, будто обожженные на раскаленной плите. Слипались глаза... А гитлеровцы все лезли, лезли и лезли. Не имея уже возможности бежать через мост, потому что мост и шоссе были завалены трупами, подбитыми танками, грузовиками, гитлеровцы ринулись боковинами — через речушку, — нарываясь и тут на удары партизан... Уже около шести тысяч пленных солдат и офицеров отправлено Иголкиным в глубь Пинских болот, в распоряжение Гуторина, уже несколько сот немцев, ненавидящих Гитлера и всю его шайку, сражались в рядах партизан... а гитлеровцы все лезли, лезли и лезли...

Лезли на город Бобер...

Конечно, о том, что творилось в центральной Белоруссии, другими словами — в «минском котле», не знали ни Иголкин, ни Николай Кораблев, ни партизаны. На протяжении двухсот — трехсот километров — из-под Бобруйска, Могилева, Витебска — разбитые гитлеровские армии бежали так же панически, как и здесь — на Бобер. И там были свои «чарусы». В пути разбитые гитлеровские армии резались на «куски», и «куски» эти метались из стороны в сторону, намереваясь прорваться туда — на запад, домой.

Домой! Домой!

Более двухсот тысяч солдат, испытав на себе удары Красной Армии, неслись на запад — домой. Только домой! А гитлеровское командование еще пыталось из них создать «удар», «оборону», бессмысленно собирало их в «кулак», кидало в бой, превращая десятки тысяч людей, обманутых, умственно растленных, в пушечное мясо.

На восьмой или десятый день, когда счет дням был окончательно потерян и прервалась всякая связь с Громадиным, с отдаленными отрядами, Иголкину донесли, что на Бобер мчатся танки и грузовики с запада. Это были те танки и те грузовые машины, которые прорвались через Бобер в первый день. И тут, на перевале, в самом городе Бобре, началась та «катавасия», о которой потом партизаны долго рассказывали у себя в семьях. Несущиеся с запада танки, грузовики в центре города столкнулись с теми, кто бежал на запад. Те и другие, расчищая себе путь, начали безжалостно, так, как это делают разъяренные звери, мять, резать, убивать друг друга. Танки, вздыбливаясь, кидались друг на друга в лоб, словно быки. Разбивались грузовики.

Даже Иголкин, всегда спокойный, уравновешенный, и тот не выдержал, схватился руками за голову и закричал остервенело, до скрипа в голосе:

— Прекратить стрельбу! Сейчас огонь не нужен. Их надо водой разливать: обезумели.

Но в следующую минуту он и Николай Кораблев были удивлены и потрясены еще больше: со стороны,

обходя раздробленные, сожженные танки, грузовые машины, повозки, трупы, шла Елена Егорова, а за ней, окруженные четырьмя женщинами, плелись пятьдесят восемь немецких танкистов, несмотря на то, что женщины, как и Елена Егорова, были вооружены только палками.

— Что? Откуда? В каком болоте изловили этих чертяков? — радостно прокричал Иголкин.

Елена Егорова подошла к нему и рассказала:

— У Ерыклинского болота танки застряли в тине. Мы с женщинами шли в дальний отряд, чтобы помочь раненым... и натолкнулись на этих. Сначала перепугались, а потом выломали палки и пошли на них. Постучали по броне, прокричали: «Выходи, эй!» И они все, с поднятыми руками, остановились перед нами. Вот так мы их к вам и привели, — как о чем-то весьма простом и легком закончила Елена Егорова.

— Да-а, — протянул Иголкин, обращаясь к Николаю Кораблеву. — На что это похоже?

— Выходит, что когда танкист опускает руки, машина становится бессильной даже перед палкой, — ответил комиссар и невольно вскрикнул: — Еще!

Из низины на шоссе появились новые танки, забрызганные тиной, с большими вмятинами на боках, исцарапанные снарядами. Вырвавшись на шоссе, передний танк приостановился, заерзал, как жук, попавший лапами в горячую золу: впереди, особенно на площади городка Бобер, ведущие танкисты увидели странное зрелище — всюду громоздились раздробленные танки, грузовые машины, повозки, трупы. Увидав все это, танкисты окончательно растерялись, и машины замерли на месте.

Елена Егорова, не спрашивая разрешения у Иголкина, кинулась к первому танку, постучала палкой по броне и крикнула:

— Эй, шантрапа, вылазь!

Открылся люк, и оттуда вскинулись руки с растопыренными пальцами.

Но вскоре из той же низины за шоссе послышался приглушенный гул.

Николай Кораблев вскочил на перевернутый вверх

колесами грузовик и посмотрел в сторону низины: большая — не видать края — долина заполнена немецкими солдатами и офицерами. Почерневшие, в оборванных гимнастерках, многие без головных уборов, с сорванными погонами, они двигались медленно, будто ползли. В следующую секунду Николай Кораблев увидел партизан—женщин, стариков, даже подростков, вооруженных чем попало: вилами, топорами, палками, охотничьими ружьями.

— Что там? Что, Николай Степанович? — тревожно прокричал Иголкин.

— Ведут пленных. Очень много... А впереди Гуторин. Ох, сияет! — комиссар спрыгнул с грузовика, кинулся вперед и вот уже трясет руку Гуторину. А тот в самом деле светится, как подсолнух в цвету, и нежно, с белорусским акцентом, говорит:

— Привели... к вам... завоевателей мира.

Иголкин тоже подбежал к нему, крича:

— Да что же это вы? Мы к вам таких отсылаем, а вы к нам.

— По пути прихватили, товарищ полковник.

— Не усидели в Пинских?

— Не такие мы люди, чтобы отсиживаться. Выбрались оттуда, оставив небольшую охрану... и колотили на белорусских дорогах гитлеровскую нечисть.

А наутро, сбившись в группы, выкинув белый флаг, со всех сторон в Бобер потянулись немецкие пехотинцы, артиллеристы и шоферы.

— К нам отправляйте их, — говорил Гуторин. — Туда, в Пинские болота, — и, обратясь к Николаю Кораблеву, добавил: — Ну вот, Николай Степанович, Минск взят. Да! Взят. Вот так котелок устроили! Эх! — спохватился Гуторин. — Я совсем забыл. Пришло распоряжение от генерала Громадина: он вызывает вас в Минск.

— Зачем? — прислушиваясь к той тишине, какая наступила после многих дней грохота, гула, криков, лязга танков, спросил Николай Кораблев.

— Не знаю. Но завидую вам! Передайте, пожалуйста, генералу, что многие пали из нас, но честь защищена: на одного убитого партизана сотни фашистов.

И еще передайте, что я соскучился... и прошу меня забрать в дивизию.

«Может быть, вернулась Татьяна?» — мелькнула в эту минуту счастливая мысль у Николая Кораблева, и он снова обратился к Гуторину: — Почему бы и вам не отправиться к Громадину? Поедемте вместе.

— Нет, — со вздохом сожаления ответил Гуторин. — Нам здесь предстоит большая работа: надо распределить пленных на чистых и нечистых, — шуткой заключил он.

— То есть?

— Ведь среди них немало таких, которые ненавидят Гитлера.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Почти по всей Германии пылали города, села, фабрики, заводы, железнодорожные узлы. Пылали днем, ночью — беспрестанно. Казалось, вся страна превращена в единый костер. И появилась «новая» Германия, разбросанная по лесам, оврагам, забравшаяся в норки, блиндажи, домики-курятники из фанеры... а тут еще разнеслась весть о «минском котле», в котором погибли многие десятки тысяч немецких солдат и офицеров. И горох из гитлеровского мешка посыпался во все стороны: миллионы людей, загнанные в нацистскую партию путем угроз, обмана, насилия — по-разному, стали приходить в себя. Одни, главным образом вдовы, потерявшие мужей на фронте, и хрупкая интеллигенция, разуверившаяся в земных «идеалах», обратилась к боженьке, к Канту; другие — рабочие — заскрежетали зубами, поняв, как цинично обманул их Гитлер; третьи — крестьяне — стремительно стали распадаться на тех, кто нажился на войне и метил в помещики, и на тех, кто обнищал и кого нужда уже преследовала по пятам.

Совсем недавно Татьяна ехала из Познани в Штеттин через ту деревушку, где однажды ночевала вместе

с Васей у крестьянина Пауля Будберга. Зайдя в домик, она столкнулась с хозяйкой, и та сообщила:

— Я одна: сынки погибли под Орлом, а Пауль... бедный Пауль!.. Он сказал: «Вы не то делаете», — и его посадили в лагерь. Но меня утешает, что он там не один из нашего села: семнадцать человек, и не только мужчины... Меня утешал и Пауль. Он сказал: «Весь народ не посадишь!» Как вы думаете, разве можно народ посадить?

— Конечно, это невозможно, — ответила Татьяна и отправилась в Штеттин, в порту которого зародилась партийная организация.

— Вас там встретит человек с усами, — сказал Вася Татьяне.

Миновав пылающую развалину — Штеттин, она попала в бухту и долго ходила по набережной, всматриваясь в прохожих, отыскивая «человека с усами». И вдруг заметила, что около нее крутится мужчина в поношенном костюме, в старенькой шляпе и с палочкой-зонтиком. Сначала он крутился в отдалении, а потом стал все более и более навязчивым: неожиданно становился на пути, заглядывая в глаза, пытаясь о чем-то заговорить.

«Шпик», — решила она и зло посмотрела на него, собираясь его «отшить», как услышала позади себя:

— Татьяна!

Она вздрогнула, но не повернулась, а лишь невольно сбавила шаг, затем потрогала сумочку, в которой лежала конфеточка-яд.

«Значит, второй! И меня уже знают!» — но тот, кто произнес «Татьяна!», еще сказал:

— Мы сидели с вами около щита с оленем.

«Петер? Бывший шофер Бауэра? Как он попал сюда? Сломили его! Продает меня!» — и Татьяна, резко повернувшись, кинула взгляд на Петера — на его потрепанный костюм, на его лицо, секунду задержалась на рыжих, отросших усах, приподнятых кверху, и холодно, угрожающе произнесла:

— Что вы ко мне пристаете? Уходите. Не то я позову кого следует.

Обгоняя ее, будто не ей, а кому-то, Петер кинул:

— Здесь восходит солнце. Вечером на лодке в бухте, — и тяжелым шагом грузчика направился к пристани, уже не оглядываясь на Татьяну.

Проводив его взглядом, еще раз убедившись в том, что это настоящий Петер, «человек с усами», Татьяна пошла быстрее, спустилась по лестнице на шоссе и тут снова столкнулась с человеком, державшим подмышкой палочку-зонтик. Она хотела было пройти, не обращая на него внимания, но тот преградил ей путь. И Татьяна пустила в ход последнее средство: выхватив из сумочки удостоверение за подписью начальника гестапо Блюхера, она сунула удостоверение почти в нос человеку и произнесла тихо, но зло:

— Не мешайте мне! Что вам — делать больше нечего? Я могу вас отправить туда, где есть дело. Прочь с дороги, если хотите видеться с семьей!

Человек попятился, бледнея, царапая рукой щеку, и, круто повернувшись, кинулся в сторону.

— Шкурник! — ругнула его вдогонку Татьяна и улыбнулась: сколько раз она вот так сталкивалась с агентами гестапо, и всегда стоило только показать удостоверение за подписью Блюхера, как они в страхе отлетали от нее. «Нет, — злорадно подумала она, — и агенты гестапо ныне стали не те: бывало стерегли своих господ, как цепные псы, теперь заботятся только о собственной шкуре!»

2

Наняв лодку — шлюпку с крашеными, но уже облупленными веслами, Татьяна, минуя пароходы, пароходики, баржи, стоящие у причалов на якорях, оглушенная говором, криком, скрипом цепей, воем разгрузочных кранов, вскоре очутилась в открытой бухте. Здесь уже не плавали маслянистые нефтяные блины, не было гула и гомона, а вода, покрытая вечерней лиловостью, казалась большой колыбелью. И по-настоящему тут пахло морем, а далеко в Балтику опускалось раскаленное, огромное солнце.

Балтика. Балтийское море. Там где-то... Ленин-

град... и как недалеко от него Москва! На поезде «стрела» несколько часов — и в Москве.

Москва! Москва!

— Но нет лучше местечка на земле, как Кичкас на Днепре, — проговорила Татьяна и тихо рассмеялась: ведь это там, в Кичкасе, она в последний раз видела Николая Кораблева.

Он расстался с ней в первый день объявления войны. И что он тогда сказал ей на аэродроме, уже сидя в самолете, напялив на голову шлем, став неузнаваемым? Ах, да, он сказал: «Ну что ж, повоюем! Мы умеем не только строить, но и воевать. Найдутся наши друзья и в стане врага — рабочие, коммунисты, честные люди. Ничего, Таня, скоро увидимся! Ты заканчивай свою картину. Без тебя повоюем».

— Вот и не обошлось без меня! — тепло прошептала Татьяна. — А теперь? Теперь я вот где, а он на Урале. «Жив, здоров и люблю тебя». А почему он не написал: «Только тебя»? Ну, это ведь и так ясно: «Люблю тебя... люблю тебя...» — нараспев проговорила она. — «Люблю!» Затем положила весла на борта лодки и, задумавшись, не заметила, как легким дуновением ветра ее потянуло в глубь бухты.

Татьяна в это время совсем не думала о том, что лодочку может утащить ветром очень далеко и оттуда во тьме не найдешь причала или пройдет мимо корабль — и лодочку опрокинет волнами. Татьяна об этом не думала: она была далеко — там, у себя, на родине.

Вот Москва, Поволжье, Днепр, Урал, Сибирь...

Какая она огромная — родная страна! Огромная и еще не раскрытая. Недавно Вася сообщил, что подслушал по радио о том, как во время войны в тайге открыли рощи белой березы. А Татьяна, особенно ее мать, долгие годы прожила в тайге и не знала, что там растет белая береза... И сейчас, совсем забыв о том, что она находится в штеттинской бухте, Татьяна запела:

Широка страна моя родная,
Много в ней полей, лесов и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек... —

и, спохватившись, оборвала, оглядываясь по сторонам, испуганно произнося:

— Глупо! Очень глупо веду себя! Вон ведь кто-то едет!

Из лиловатых сумерек вынырнула лодка — сначала ее нос, потом корма, и Татьяна увидела троих. Трое? Ведь договорились, что Петер будет один. А тут трое... Значит, чужие. Плывут на нее. Она налегла на весла так, что они со стоном заскрипели, а вода под лодкой зашуршала, как шуршит шоссе под шинами автомобиля. В сторону! В сторону от этих! Но в эту минуту по воде еще донеслось слово, старое, хорошее и только во время войны получившее дурное значение: война породила в Германии обширную проституцию, распутство, и слово «барышня» то и дело слышалось на бульварах, в театрах, на тротуарах, и тут оно донеслось:

— Барышня!

«Ожиревшие кобели! — решила Татьяна и, положив на лавочку против себя пистолет, еще крепче налегла на весла. — Хоть бы Петера встретить! Уж не для разговоров, а для защиты!» — билось в ней, а уключины весел скрипели так, словно на их концах висели тяжелые гири, вода под лодкой жужжала, ладони у Татьяны горели, точно она держалась за что-то раскаленное, и, несмотря на столь опасное положение, однако чисто по-женски мелькнуло в ее уме: «Как я теперь с такими мозолями явлюсь в обществе!..» Но она тут же обругала себя: «Это баба в тебе заговорила! Надо, главное, убежать от этих», — и еще сильнее налегла на весла... И вон уже где-то за бугром воды мелькнули мачты кораблей, ранние огоньки. Скорее туда! Ближе к людям! Иначе придется стрелять!

Но те трое неслись быстрее и наперерез ей.

«Сейчас буду стрелять!» — и, бросив весла, она, взяв пистолет, наводя его на троих, что есть силы крикнула:

— Прочь! Стреляю! — и чуть было не спустила курок, но в эту секунду до нее донеслось слово «товарищ», и рулевой, перебегая с кормы на нос, еще крикнул:

— Да что вы, Татьяна!

Татьяне стало немного стыдно: она увидела Петера, быстро убрала пистолет, а когда лодка подошла совсем близко, заикаясь спросила:

— Почему вы не один, Петер? Ведь уговорились?

— Нет. Я вам сказал: в бухте, но сколько нас будет, не договаривались, товарищ Татьяна. Посоветовались — и решили тройкой. Давайте быстро, без подозрений!

3

Тот, кого первым отрекомендовал Петер, назвав просто Иоганном, настолько был тощ, что, казалось, кожа присохла на его лице, а на висках даже появились ямки, и Татьяна невольно, забыв о всякой предосторожности, участливо спросила:

— Болеете, что ли?

Иоганн показал четыре пальца:

— Четыре года в лагере на острове. Да не один, а вдвоем.

— Как? Только двое на острове?

— Нет. Вы, видимо, еще не все знаете. Они сковали меня цепью с моим другом: мы с ним принуждены были спать вместе, кушать вместе, работать вместе и все вместе. Понимаете? Неотлучно, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Я хочу повернуться ночью — и бужу его. Он хочет повернуться — будит меня. Подчинить настроение одного настроению другого и не дать нам умереть — это же сатана не придумает! А они придумали!

— А как вы были прикованы?

— В поясе. Стальные ремни и цепь. Мы любили друг друга. Очень. Это спасло. Но иногда во мне поднималось злое чувство к моему другу, у него — ко мне... Спасли любовь и надежда: солнце взойдет.

— И куда же делся ваш друг?

Иоганн долго думал. Его грустные, ставшие большими от худобы глаза смотрели куда-то в даль бухты, затем он со вздохом произнес:

— Я вообще никому об этом не рассказываю, но вы как-то сразу расположили к себе... вернее, не

просто вы, а вы, как живой человек Советского Союза, воспитанник товарища Сталина, — он снова задумался, на глазах у него навернулись слезы, но он подавил их и сказал: — Она умерла у меня на руках, прикованная ко мне цепью.

— Да разве это была женщина?! — в ужасе воскликнула Татьяна, хватаясь за борт лодки, будто ее опрокидывало бурей.

— Она была моей женой и другом по партии. Ох, если уж говорить, то скажу все! Они должны были нас расстрелять или повесить — их дело. Но они решили сделать хуже. Было бы легче, если бы нас вывели на расстрел или подвели к виселице. Ведь это пять минут. А тут год, второй, третий, четвертый... Хорошо, что любовь и вера в будущее не испепелились. У иных, таких же, как мы, испепелилось все, и те очутились в стане нашего врага. Не будем об этом говорить, товарищ Татьяна. Я только думаю: никогда в истории человечества еще не было столь ожесточенной классовой борьбы, как в эти годы: капиталист, вооруженный с ног до головы, обманул массы лживыми призывами, кинулся на мировой светоч социализма, на Советский Союз... и душит по пути все, что не угодно ему, — коммунистов в первую очередь, честных людей в первую очередь, а в целом — весь народ. Но народ задушить нельзя: народ вечен.

— И до вас дошли эти слова?

— Слова Сталина имеют крылья и проникают всюду, даже в лагерь.

Татьяна оглянулась: Петер и второй, по имени Субботка, во все глаза глядели в лицо Иоганна, восхищаясь тем, как умело, без криков, но с такой силой говорит он то, что было родным им обоим. И Субботка, на красивое лицо которого уже легли резкие морщины, произнес:

— Выстраданное убеждение — самое сильное убеждение на земле.

— Не только, — возразил Иоганн. — Есть убеждение не выстраданное, а подкрепленное радостью жизни, — это убеждение молодого поколения Советского Союза. Смотрите, как они храбро дерутся за

свое убеждение, то есть за свою жизнь, которая носит имя — социализм.

— Ну, а много ли у вас убежденных? — спросила Татьяна.

— Объединенных пока еще не так много, но разрозненных очень много, — ответил Иоганн. — Я работаю здесь — в бухте... я знаю много убежденных: если бы не они, я не мог бы тут работать. Товарищ Субботка работает в Бранденбурге, он знает много убежденных, иначе ему бы никто не передавал советы Тельмана из тюрьмы.

— А разве он там? — заинтересовалась Татьяна.

— Да. Его перегоняют из тюрьмы в тюрьму... Друг наш Петер работает в Свинемюнде — на севере, и он не мог бы работать, если бы не было убежденных. Наша задача — сделать всех убежденных объединенными. Точки — зернышки объединенных — есть в каждом городе, на каждой фабрике и заводе... есть они в деревнях, в лагерях. Надо умело собирать силы. Нам вот очень трудно проникнуть в Силезию и Восточную Пруссию. В Рур мы проникли, а в Силезию и Пруссию трудно: наступает огненный вал Советской страны, и гестаповцы в этой полосе расселились, как мошкара.

— В Силезию? Я могла бы. У меня там на одном заводе есть друг, — вспомнив о Петре Хропове, проговорила Татьяна. — Да, пожалуй, и в Восточную Пруссию могла бы проникнуть, — чуть погодя добавила она.

— Это было бы замечательно! Надо знать, где и какие силы. Следует разработать единый план действия. Например, гитлеровцы все заводы минировали. Нажать рубильник — и завод летит на воздух. Гитлеровцам это пустяки — взорвать завод: не строили. Для нас — бедствие: заводы созданы народом. Поэтому следует связаться с наступающей Красной Армией, всячески ей помогать и при вступлении ее на ту или иную территорию сдавать ей завод на полном ходу. Это наша главная задача: все сохранить для народа, все уничтожать, что в руках врага.

— Мы уничтожаем то, что в руках врагов, — вмешался Петер. — Ни один пароход, загруженный воору-

жением, не уходит от нас без мин. Пароход взрывается в море.

— А как гестапо? — спросила Татьяна.

— К нам в бухту они боятся сунуться: их тут уничтожают всюду — в квартирах, на улицах, в театрах. Всюду! — проговорил Иоганн.

— А сегодня... один преследовал меня, — глядя на Петера, сказала Татьяна, уже чувствуя: неладно она поступила с человеком, который ходил за ней, держа подмышкой палочку-зонтик.

Петер засмеялся, но не обидно, а ласково говоря:

— То наш человек. Вы насмерть перепугали его... своим удостоверением.

— Слушайте, Петер! — с тревогой воскликнула Татьяна. — Вы возьмите с него слово, чтобы он о том никому ни звука.

4

«Всюду точки — зерна. Выстраданное убеждение... а еще есть убеждения, подкрепленные радостью жизни... И какие они все трое чудесные, особенно тот, Иоганн! Да, его ничем не сломишь: четыре года прикован цепями к любимому человеку... это ведь все равно, если бы меня приковали к Николаю... Неужели бы у нас испепелилась любовь? Нет! Нет! Ни за что! «Жив, здоров и люблю тебя». «Жива, здорова и люблю тебя». Ведь всего-то несколько слов — это никогда не испепелится. Никогда. А какие картины я смогу написать, когда вернусь домой? Я напишу и эту картину — убежденные. Море. Лиловый закат. Две лодки. Их трое. Какие у них сильные лица!.. Да... и себя... наивная женщина в политике. Была наивная. Теперь я уже не наивная, — так думала Татьяна, въезжая в Берлин, намереваясь встретиться с Васей. — Ого-го! — сказала она сама себе. — А сердечко дрожит. Но ведь ты едешь к «мужу». Разве у какой-нибудь немки дрожало бы сердечко, если бы она ехала к мужу, да еще к такому, который служит в охране Гитлера?»

Въезжая в Берлин со стороны Штеттина, Татьяна заметила надпись на угловом доме: «Улица Геринга»

и, зло улыбаясь, обратилась к шоферу, мрачному инвалиду:

— Какую бедную улицу выбрал себе Геринг!

— Но самые богатые заводы и фабрики, — неожиданно ответил тот.

«Ого! Как он заговорил, этот мрачный Гофмейстер!» — и спросила:

— А вы знаете, кто я?

— Жена моего шефа. А что?

— Как же вы так говорите про Геринга?

— А разве он это скрывает? Не слышал. Я, например, знаю прекрасное имение Геринга... и он никому не говорит: это не мое. Он утверждает: это имение мое, это моя фабрика, это мой завод. Ведь на бланке стоит: «Геринг и компания». Какая компания, не знаю. Впрочем, всякие бывают компании. Говорят: ну и компания! Ох, уж это такая компания! Не знаю. Знаю одно — нам трудно будет пробиться к имперской канцелярии: кругом пылает. Ведь это я знаю. Гитлер и компания, тоже компания. Видите, какое значение имеет слово «компания». Так всю эту компанию и Гитлера из Пруссии провезли Берлином, чистым, не погорелым. Гитлер не видел, что творится в городе, и засел в подземелье. Ну, Гитлера провезли... или провели. Видите, и слово «провели» имеет всякий раз новое значение. «Я взял слепого за руку и провел через улицу». Или: «Он его провел, как слепого».

— О-о-о! Да вы настоящий философ!

— Нет. Я филолог. Так вот провели Гитлера. А Борман, заместитель Гитлера по партии, провел Геринга: он отшвырнул его от фюрера. Тоже провел. Так как же мне теперь вас провезти к имперской канцелярии?

— Честно, — сказала Татьяна, уже заливаясь звонким смехом. — А где вы учились, в каком университете?

— На фронте. Я там прекрасно научился разбираться в словах: филологом стал.

Они въехали в пылающий Берлин. Простым, даже не военным глазом было видно, что город бомбят поквартально: сначала один, потом второй, потом третий

квартал, — так долбят подряд, упорно, упрямо, как упорно и упрямо роют шахту, чтобы добраться до пласта угля.

— Точный, рассчитанный прием американцев и англичан, — сказал Гофмейстер. — Все заранее разработано: квартал за кварталом, квартал за кварталом. Так разрушат весь Берлин, потом лет пятьдесят будем вывозить обломки кирпича, железа. Вот какая кампания ведется! Но эта компания знает, что делает. Разрушают все, кроме района имперской канцелярии: там сидит он, которого «спас бог». Помните, как он возвестил: «Меня спас бог»? Но ведь англичане и американцы — не боги. А? Как вы думаете?

«Провоцирует или как Петер?» — подумала Татьяна и ответила:

— Я наивная в политике, особенно в военных делах. Мне бы увидеть мужа: соскучилась. «Грешно говорить об этом, когда все кругом горит», — хотите вы меня упрекнуть? Но я искренна с вами.

— Искренность — еще не правда: это я узнал на собственной спине. Я вот думаю, почему американцы и англичане разрушают квартал за кварталом центры наших городов? Почему этого не делают русские? Русские рушат военные объекты... и они, конечно, придет время, разнесут район имперской канцелярии. А почему те по-другому? Искренно они поступают? Ну, еще бы: вон доказательство — пепел от домов! Русские искренно поступают? Ну, еще бы: от их удара тоже пепел. А где правда? — говоря так, Гофмейстер, ежась, вел машину через пылающие кварталы, крутясь у куч обвалившихся стен, не узнавая обгоревшие и разрушенные улицы, временами шепча: «Берлин! Берлин! За нашу глупость ты пострадал. И еще пострадаешь: тебе устроят такой «минский котел», что ты навеки останешься развалиной. Это чувствует мое сердце, сердце шофера Гофмейстера!»

И вдруг он выскочил в зеленую зону: палисадники, заборы — все было увито диким виноградом, окутано ветвями деревьев — каштанов, акаций, лип.

— Фу! — отфыркнулся шофер. — Вот какой был Берлин, и вон таким он станет. Теперь мы быстро до-

беремся, — добавил он, прибавляя газ. — Еще немного. Доберемся, но выберемся ли обратно? — А когда машина выскочила на небольшую площадь и остановилась у здания, внешне похожего на большую конюшню, Гофмейстер произнес, показывая на черноватый дом: — Там живет и творит наш знаменитый Геббельс. О-о! Оратор! Что такое Демосфен перед Геббельсом? Перышко курицы, пущенное в воздух! Что такое Аристотель перед нашим Геббельсом? Капелька дождя из тучи: туча — Геббельс! — И нельзя было понять, то ли он восхищается Геббельсом, то ли издевается над ним, и поэтому Татьяна грубовато сказала:

— Ну, хватит, филолог-самоучка! Теперь проведите меня к моему мужу. Как пройти?

— Два входа есть, ваша милость, — подчеркнуто официальным шоферским языком заговорил Гофмейстер. — Один для военных, другой для партийных. Вы из каких, ваша милость?

— Не из тех и не из других. Тогда, что же, мне через окно? — смеясь, спросила Татьяна, уже по-теплому глядя в глаза шоферу, как бы говоря: «Не надо этого».

— Я лучше вызову шефа, — промолвил после этого Гофмейстер.

Вскоре выбежал Вася, без шофера, и, открыв дверцу, сев в кузове рядом с Татьяной, даже позабыв поздороваться, необычайно взволнованно заговорил:

— Я не ждал вас сегодня!

— И не рады?

— Нет. Очень рад. Но... «минский котел».

— Я не понимаю, почему это вас так беспокоит?

— «Чортолом» перестал верить Гудериану... и началась новая чехарда. «Чортолом» на всех кричит, отдает под суд, то есть под расстрел, а тех не расстреливают: ухитряются как-то бежать... и кара повисла над нами: не умеете-де работать. Блюхер мой ни живой ни мертвый! Он, кстати, вызывает вас к себе.

— Ох, — охнула Татьяна. — В тот ад? Боюсь.

— Нет. В подземелье вас не допустят. Нас и то с грехом пополам.

— А может, не надо, Вася? Я уеду.

— Да ведь все равно разыщет. Вы не беспокой-

тесь: все пройдет хорошо,— и шепнул ей на ухо: — Я на днях должен отвезти его золото в Швейцарию. Понимаете?

— Да. Однако боюсь.

— Ничего. Я вернусь скоро: закажу пропуск.

Татьяна осталась одна. Она долго наблюдала за тем, как к парадному подкатывали машины, из которых вываливались военные, довольно грузные и постаревшие, а главное злые, как осенние осы: лететь нет сил, но жалить охота. Вскоре поток машин оборвался, наступила тишина... и до Татьяны из отдаления донесся грохот — это, очевидно, где-то обваливаются стены домов. Грохот несется постоянно, то скрежещущий, то будто кто со стоном вздыхает.

Прислушиваясь к грохоту Татьяна думала: «Ах, посмотреть бы на беснующегося... как он там, в подземелье! А может, не надо? Ну, почему же?» — и, увидав Васю, выходящего из парадного, она чуть не кинулась ему навстречу.

Тот подошел, сообщил:

— Вас вызывает Блюхер. Но только наверх. В подземелье невозможно, Татьяна Яковлевна: нас все знают — и то всякий раз ощупывают.

— И на это согласна! — воскликнула Татьяна. — Но погодите. Я была в бухте. Там все очень хорошо. Дала им слово, что буду в Силезии и Восточной Пруссии. Как это устроить?

— Подумаем. Пойдемте. Держитесь официально, с оттенком презрения к часовым.

Несмотря на то, что Вася только что вышел из имперской канцелярии и при выходе его проверяли три пропускных пункта, несмотря на то, что с теми, кто его проверял, он разговаривал как с близкими знакомыми: шутил, подсмеивался, как и они шутили и подсмеивались над ним, — несмотря на это, при входе в здание его снова стали проверять, тщательно сверяя его удостоверение с копией, находящейся у часовых. После этого началась проверка документа Татьяны: ее удостоверение крутили в руках и так и эдак, сличали подпись Блюхера с подлинником и в то же время, узнав, что Татьяна, кроме того, что работает у Блюхе-

ра, еще и жена Васи, с завистью покачивали головами, причмокивали, на что-то намекали... и Татьяну пропустили внутрь имперской канцелярии.

Сначала они попали в первый зал — огромный, продолговатый. Пол мозаичный, довольно грубоватый, как и стены. Впереди нечто вроде церковного амвона — мраморные ступеньки, ведущие к довольно широкой двери. По обе стороны двери бронзовые бюсты Бисмарка и Гитлера. За дверью тянется длинный коридор, в конце которого висит гигантская люстра. Но Вася повел не к люстре, а направо в дверь, и Татьяна вскоре очутилась в колоссальной приемной фюрера, с окнами, выходящими в садик-парк. На полу во всю длину и ширину лежит ковер, в ворсе которого нога утопает, словно в приболотной травке. На стенах картины, и почти те же самые, как и по всей Германии: Фридрих Великий за столом в кругу своих единомышленников и другие. И еще довольно аляповатые, висящие на самом видном месте.

— Это «чортолом» нарисовал, — шепнул Вася.

Виднелись пустые столы, диваны, стулья, покрытые довольно толстым слоем пыли: от взрывов на все со стен сыпалась пыль, и ее никто не убирал.

— Похоже на склеп, который долго не посещают родственники, — тихо проговорила Татьяна и замерла.

В зал через дубовую дверь вошла женщина, напоминающая амазонку: на ней узкая юбка, куртка в обтяжку, лицо красивое, дерзкое. Выйдя из комнаты, она быстро окинула зал взглядом и повернулась. Следом за ней появился мужчина — неуклюжий, собакоподобный во всех своих движениях, с лицом широким книзу и пронзительно злыми глазами.

— Ева Браун и Борман, заместитель Гитлера по партии, — шепнул Вася. — Скрыться бы нам.

Татьяна вся мелко-мелко задрожала: ей показалось, что вот именно в этом Бормане и сосредоточена вся пакость, мерзость, бесчеловечность, весь цинизм гитлеровской партии.

«Страшный! Страшно!» — произнесла она про себя и невольно попятилась, скрываясь за спину Васи.

А Ева Браун гневно крикнула:

— Зачем вы его вытягиваете из убежища? Что вы хотите ему показать? Развалины? Зачем? Великий человек ничего не должен видеть: ему все подскажет интуиция!

— Я хочу показать фюреру мир, — грубо тявкая, заговорил Борман, пристально всматриваясь в Васю, который вытянулся так, как, казалось, и немыслимо. — Но вы больше меня, вижу, знаете фюрера. Пусть находится в подземелье. Я не возражаю.

— Попробуйте! — пригрозила Ева Браун и крупным мужским шагом направилась в другую дверь, ведущую в коридор, а за ней, по-лошадиному топая, тронулся и Борман, кинув Васе:

— Почему женщина здесь?

— Сотрудница Блюхера, — по-солдатски ответил Вася.

— А-а-а! — не засмеялся, а заклокотал Борман. — Сам только что отправился на юг уговаривать Геринга и вместо себя оставил женщину. Похвально!

— Бежим! — прошептал Вася, как только Ева Браун и Борман скрылись за дверью, и, крепко схватив руку Татьяны, потянул ее к выходу. — Я не знаю, чем это кончится... Но кончится плохо: Борман не любит женщин. Разве только благодаря той чехарде, которая сейчас происходит здесь, он забудет про то, что видел меня с вами.

И снова они прошли через то же «чистилище», и опять проверявшие офицеры шутили с Васей, завидовали ему, похлопывали по плечу, намереваясь похлопать по плечу и Татьяну, но тут он вдруг, весь ощетинясь, произнес:

— Знайте меру! — а сев в машину, тяжко вздохнув, сказал: — Ну, пробились через тупиц! Вот так у них все: лишь бы правильный был документ. А теперь? Как можно быстрее в Дрезден, к Вольфам!

5

Больше двух недель от Васи не поступало вестей, и Татьяна за эти дни истомилась. Временами ей казалось, что его арестовали, вот-вот агенты гестапо нагря-

нут к ней... и она не спала ночи, держа наготове конфеточку-яд. Иногда у нее появлялся порыв: уехать в штеттинскую бухту, к Иоганну, и она, советуясь со стариками Вольфами, примеряла простые платья старушки. И, однако, откладывала: а может, ничего не случится. Но под глазами у нее появились синие круги, прибавились морщинки над переносицей.

«Некрасиво. Нехорошо! — говорила она сама себе, глядя в зеркало. — И синь под глазами и эти морщинки. Надо уехать к Иоганну! Ведь он мне говорил: агенты гестапо боятся появляться в бухте. Уехать. Уехать!» — твердила она и не уезжала. Выходя со дворика Вольфа, она целыми днями бродила по Новому Дрездену, то и дело слыша разговоры о «минском котле».

— «Минский котел», — говорили фашисты. — Страшно!

— Но фюрер обещает новое оружие. Он грозит.

— Да. Он грозит.

— Если человеку нечем грозить, зачем он будет грозить?

— Конечно, конечно. Но у нас как будто из дома в дом убитые: то под Сталинградом, то под Орлом, то в Крыму, то под Корсунью. Это что такое: Корсунь? Что-то мы не слышали, чтобы в России был такой город — Корсунь.

— Ай-яй-яй! Иногда во время войны местечко превращается в город.

Но чаще говорили просто про «минский котел», без комментариев, без выводов, а как о катастрофе, о гибели полумиллиона человек, и в то же время часто упоминалось слово «Сибирь».

— Сибирь. Сибирь. Пленных угонят в Сибирь.

И вдруг вчера зазвонил телефон. Татьяна кинулась к аппарату.

Из Берлина говорил Вася:

— Все хорошо. Все отлично. Скоро увидимся, дорогая моя женушка! — Татьяну резануло такое обращение, но она закричала:

— Почему молчание? Почему такое долгое молчание? Я, наверное, за это время поседела!

— Был в отлучке. Потом расскажу. К тебе едут два лейтенанта — мои друзья и твои друзья. Ты познакомилась с ними еще в Кракове. Они отправляются в Чехословакию, поедут через Силезию. Прогуляйся с ними.

— Когда увидимся? — спросила Татьяна.

— Через неделю... другую.

Наутро приехали лейтенанты. Да, это были офицеры, с которыми Татьяна познакомилась в Кракове, и она приняла их, угостила завтраком и вместе с ними, но на отдельной машине, присланной Васей, ведомой все тем же Гофмейстером, отправилась в Силезию.

Машины понеслись из Дрездена на Лейпциг, из Лейпцига на Герлиц, Лигнец, отсюда к курортному местечку Ландэку, а тут свернули с основного шоссе на проселочную дорогу и вскоре очутились в густом сосновом лесу, где и расположился военный завод.

Татьяна всю дорогу молчала. Она все еще была удручена длительным молчанием Васи, и хотя он ей сказал: «Все хорошо», прислал машину, однако на душе у нее было тревожно. И только подъезжая к заводу, она спросила шофера:

— Что за завод, господин филолог-самоучка?

— Вы все еще не забыли?

— Нет. У меня память женская — долгая. Так что за завод?

— Работают тут немцы, видимо такие же филологи-самоучки, как и я.

— О-о-о! — воскликнула Татьяна.

— Но есть и русские. Немного. Пригнанные из Курска, Орла, — добавил шофер.

— Так давайте сначала в лагерь. Мне интересно посмотреть на самородков-филологов, то есть на таких, как вы, в лагере. Как они философствуют там?

— У вас прекрасный муж, почему вы такая... язвительная? — с горечью произнес шофер, затем, выбравшись из кабины, предупредил офицеров, что «барыня» хочет сначала попасть в лагерь.

И вскоре они очутились в лагере.

Заключенные немцы никак не походили на тех, которых Татьяна видела «в высшем слое германского

общества», румянощеких, с крепкими зубами, жрущих и пьющих. Это были почерневшие люди, со впалыми щеками, с глазами навыкате. Многие из них почернели от подземной работы на заводе, многие — от истощения, тоски. Большинство из них еле передвигалось, и все что-то бормотали, глядя в землю, особенно жадно — за колючую проволоку, где зеленела трава. Иногда кто-нибудь натужно нагибался, выковыривал из земли сухой корешок и тут же поедал его.

«Это мертвецы, ни на что не годные: всё выбили из них голодом и работой», — горестно подумала Татьяна, но когда она с офицерами приблизилась к группе заключенных, сидящих у барака, то увидела: глаза, до этого равнодушные ко всему на свете, кроме пищи, вдруг вспыхнули ненавистью и, казалось, кричали ей, именно ей, а не офицерам:

— Дрянь ты! Дрянь!

«Да. Я была бы дрянь, если бы была такая. Но я не такая», — и Татьяна украдкой кидала на них ласковые, ободряющие взгляды.

В этот момент со стороны, из домика, окруженного колючей проволокой, вышел высокий немец, и Татьяна ахнула, узнав доктора, с которым встретилась в лагере под Берлином, когда заезжала туда вместе с Отто Бауэром.

«Батюшки! Да ведь это Вормас!» — и она, улыбаясь, как это делают при неожиданной встрече со старыми хорошими знакомыми, решительно пошла ему навстречу.

— Ба! Ба! Где мы с вами встретились! Вы, наверное, совсем забыли про бедного профессора Отто Бауэра? — намеренно произнесла она, думая, что, возможно, Вормас не помнит ее, но, наверное, не забыл профессора Бауэра.

Вормас какие-то секунды смотрел ей в лицо и, вспыхнув, проговорил:

— Разве вас забудешь! Вы такая... такая!.. — и, не досказав, суховато, по-немецки, поцеловал ей руку, затем раскланялся с офицерами, осведомился, что их интересует, и, узнав, что они едут в Чехословакию на ликвидацию партизан и что по пути завезли сюда

жену своего друга, он успокоенно (он предполагал, снова приехала ревизия) сказал: — Очень хорошо. Ваш друг мог бы не тревожить вас: я весьма давно и близко знаком с его женой... Прошу. Прошу. Прошу! Помните, как говорил профессор Отто Бауэр? — обращаясь уже к Татьяне, беря ее под руку, проговорил он, приглашая осмотреть лагерь, тут же добавляя: — Я бы не пожелал быть здесь даже моему недругу: не хочешь, но непременно умрешь.

«Он стал циником, подобно Бауэру: положение усугубило то, что было в нем скрыто», — подумала Татьяна, но сказала другое, по-женски игриво:

— А вы пошли вверх: начальник лагеря, а не просто доктор!

— Доктор. Начальник временно: предшественник неожиданно скончался.

— Значит, два в едином лице. Вверх, вверх пошли!

— Когда поднимаются на эшафот, тоже идут вверх, — кинул он.

«Что-то он все какими-то загадками? На эшафот! При чем тут эшафот, когда сам превратился в палача?» — снова подумала Татьяна и проговорила:

— Подниматься на такой эшафот, на какой поднимаетесь вы, приятно. Мой муж недавно получил майора — это прелестно: значит, он идет вверх на свой эшафот и ведет туда меня, бедную бездельницу. Я, доктор, так ничему и не научилась.

— Зачем учиться таким красивым женщинам?

— О-о-о! Вы настоящий кавалер. Профессор Бауэр последние часы тоже стал кавалером... но бедный профессор!

— Да. Да. Я слышал: сгорел в собственной вилле.

— Интересный был человек.

— Очень. Немного помешался на кожах и жирах. Но знаменитый химик, прекрасно понимал свое дело. Теперь злые языки утверждают, что все открытия по химии не его: захвачено у других. Особенно много он забрал у краковского химика. Как его? Я трудно запоминаю польские фамилии: шипящие, как ужи.

— Профессора Пшебышевского, — поспешила Та-

тьяна и спохватилась, думая, что ей об этом не надо было говорить, но Вормас не заметил ее смущения.

— Да. Да. Шибешевский... нет... Пшебышевский. Теперь, после смерти Бауэра, этого самого Шибы.. Пшибы... ах, чорт бы его побрал с его фамилией, пригласили, привезли сюда к нам, в Центральную Германию. Лабораторию Отто Бауэра под Бранденбургом ведь разбомбили американцы. И как узнали, что там творится?

— А как же могли узнать про краковского профессора? — чтобы отвести разговор от бомбежки, Татьяна намеренно задала вопрос.

— Перебирая, кто из химиков, физиков был знаком с Бауэром, напали на этого... ну, с ужиной фамилией... чорт бы его побрал! — почему-то весьма зло произнес последние слова Вормас.

— И тот работает?

— У нас заставят работать: бездельников не любят.

«Бедный Станислав! Сидишь теперь где-нибудь в подземелье, а Лизу, наверное, пустили на перчатки!» — горестно подумала Татьяна и, поняв злость Вормаса по-своему, что ему неприятно говорить об этом, смягчила свои вопросы:

— А вы, доктор... Простите, что я вас так называю — доктором, а не начальником лагеря.

— Это для меня приятней: я доктор.

— Ну вот, милый доктор, простите, что я по наивности задала вам такие вопросы. А теперь хочу посмотреть ваших питомцев. Я женщина ужасная... ну, просто ужасная! — кокетничая, говорила она. — У меня столько любопытства. Ужас! Мне муж говорит: «Это у тебя от безделья». Я ему отвечаю: «Ну, дай мне дело. Возьми к себе в секретари, раз не пускаешь к другим». Он у меня ужасно ревнивый: если бы увидел, что вы ведете меня под руку, да еще такой статный мужчина, о-о-о, что было бы с ним! А я просто ищу в мужчинах друга. Мы с вами ведь можем стать большими друзьями? Не правда ли?

Вормас — он на голову выше ее, — чуть наклонившись, посмотрел на ее губы и сказал:

— С такой женщиной трудно иметь только дружбу: вы слишком красивы.

— О-о-о! Ну, вы действительно кавалер! А кто это? — Татьяна дрогнула: на нее из группы заключенных, сидящих у барака, смотрели серые, большие, но не злые, а улыбающиеся, радостно о чем-то кричащие глаза. Она дрогнула и в ту же секунду узнала Петра Хропова.

Тот сидел на ступеньках крыльца, в кругу пленных, обросший бородой, измученный, но глаза у него сияли, звали к себе, и Татьяна невольно еще раз спросила:

— Кто это?

— Русский. Военнопленный. Сумасшедший, уверяю вас, — подчеркнул Вормас.

— Ох! Я с такими еще не говорила. Разрешите мне, доктор, побеседовать с сумасшедшим. Это интересно. Ну разрешите, доктор! — по-детски стала умолять она.

— Боюсь: оскорбит вас, — помедлив, ответил растерявшийся Вормас. — Лучше не надо.

— Но ведь я вам говорила: я любопытна. Если вы мне это не позволите, я слягу в постель... нет, нет, я упаду прямо здесь!.. В пыль!.. Господа! — обратилась она к офицерам, идущим позади них. — Ну, просите доктора, просите!

— Если он оскорбит вашу гостью, — сказал один из них, выступая вперед и трогая кобуру, — я... я с удовольствием пристрелю его. Я берусь сопровождать жену нашего друга.

Вормас побледнел и стал походить на юношу. Потоптавшись на месте, видимо не зная, что предпринять, сознавая только одно — что офицерик, оскорбит или не оскорбит пленный Татьяну, все равно пристрелит его: из-за форса, из-за желания угодить красивой даме, — потоптавшись, он проговорил:

— Я думаю, не стоит марать оружие офицера о таких, — и, подозвав солдата, приказал: — Возьми вон того пленного из толпы, и пусть с ним поговорит наша гостья. Если она скажет тебе: «Стреляй!», тогда

стреляй. Только тогда! — подчеркнул он и еще больше побледнел.

«Непонятно ведет себя», — мелькнуло у Татьяны, и она, не дожидаясь солдата, кинулась к Петру Хропову, а тот пошел ей навстречу и здесь в стороне от группы военнопленных, доктора с офицерами, она прошептала:

— Скорее!

— Передам через Вормаса, — так же шопотом ответил он.

Солдат еще не успел подойти к ним, как Татьяна развернулась, и всем показалось, что она со всей силой ударила пленного по щеке. Но Татьяна на какой-то грани остановила руку, ласково провела ладонью по его щеке и, больше губами, произнесла:

— Родной мой, Петр Иванович!

— Браво! Браво! — заорали офицеры, а Вормас кинулся к ней, гневно глянул на нее, видимо намереваясь сказать что-то оскорбительное.

Но она, подхватив его под руку, тихо произнесла:

— Знаю все, знаю все.

Рука доктора дрогнула. Ожидая, что сейчас гитлеровские молодчики могут расправиться с пленным ради своеобразного форса, он приказал солдату:

— Отвести этого! Посадить — семь дней на воде,— остервенело добавил: — на соленой!

6

Офицеры, распростившись с Татьяной и Вормасом, уехали, а она «навязалась» к доктору ночевать, что он принял улыбаясь, говоря:

— Все гости ночуют только у меня. Видите, как мой домик огражден.

И вечером, закрыв окна, тщательно замаскировав их, Вормас пригласил Татьяну за стол.

— Ну вот... ешьте́, — сказал на ломаном русском языке и обрадованно добавил на немецком: — Часа два подбирал по словарю. Вышло ли?

— Почти вышло. Кроме ударения.

— Да. Ударения у вас другие. Я хочу сказать,

удары другие: наверняка и навсегда. Я часто думаю о вашем вожде — Сталине. И вижу, он умнейший, гениальный полководец: надо ведь суметь нанести такие удары гитлеровской армии, оснащенной первоклассной техникой.

— Вы коммунист? — спросила Татьяна.

— Нет, — ответил Вормас, покачивая головой.

— Социал-демократ? Ну, тогда все понятно.

— И опять нет.

— А кто же вы? — уже с испугом спросила Татьяна, посматривая во все стороны, думая: «А не подслушивает ли кто?»

Вормас некоторое время грустно глядел в тарелку, затем сказал:

— Я сам не знаю, кто я. Интеллигент. Я очень страдал, когда моя родина была унижена, придавлена Версальским договором. Вы ведь и представить себе не можете, что тогда происходило у нас. Матери, умирающие с голода, продавали на улицах Берлина своих несовершеннолетних дочерей... и покупали их англичане, американцы, военные хлюсты. Я страдал и думал, когда и кто придет к власти, чтобы восстановить достоинство моей страны. Приходили разные, и все оказывались болтунами. Откровенно вам говорю — вначале я поверил Гитлеру: он порвал унизительный договор. «Ну и хорошо, — сказал я, — мы теперь гордо поднимем голову». Но Гитлер кинулся на Польшу, затем на Францию, потом на Балканы, потом нарушил договор с Россией... и я понял: это империализм. Потом я нагляделся, что делается в лагерях, и возненавидел их — гитлеровцев. Кто я? Мне трудно сказать: я сам не понимаю. Вот ваш Петр Хропов — он все понимает. У него ясная голова. Ясная голова у немецких коммунистов. Их тут много. Да, вот вам, кстати, и записка от вашего друга, — и он подал записку.

Петр Хропов писал, что «почти все заводы находятся в руках коммунистов и честных социал-демократов... эти пришли в себя», что «надо предупредить Красную Армию, когда она войдет в Силезию, чтобы не рушила заводы: их передадим целехонькими. А вообще-то мне здесь делать нечего: пора бы к вам».

Прочитав записку, мелко изорвав ее, Татьяна, глядя в глаза Вормасу, сказала:

— Врачи все такие, как вы?

— Ну, нет. Иные стали верить в бога... и вернулись к Канту. Моя жена — тоже врач — каждый день посещает кирку. Вы представляете — врач, верующий в бога и попа?

— Я представляю — тупик, маразм. Все это я представляю. Но вот вы-то другой? Пригласите сюда Петра Хропова.

Вормас вскочил из-за стола, заходил по комнате, затем произнес:

— Вы по-настоящему дерзкая женщина.

— Нет. Не просто пригласите, а отпустите его со мной, — добавила она, не отрывая взгляда от лица Вормаса.

Тогда тот остановился, как вкопанный, и прошептал:

— А как отпустить?

— Отбыл наказание.

— У нас такого нет: все присланные сюда обязаны здесь и умереть... или должны стать мерзавцами, то есть предателями.

— Пусть вроде умрет.

Вормас засмеялся:

— Если бы я был один! Ведь всюду глаза!

— Обманите.

Лицо Вормаса болезненно передернулось:

— Это скверно — обмануть. Неэтично, если хотите знать.

— Да-а-а! — протянула Татьяна так же, как это делал Громадин. — Я тоже когда-то думала, что обманывать кого бы то ни было неэтично. Но потом я убедилась, что неэтично обманывать только народ, а врага надо не только обманывать, но и уничтожать. Хорошо. Вы считаете такой поступок неэтичным. Тогда я вот... — Татьяна достала из ридикюля удостоверение за подписью Блюхера и вручила его ошеломленному Вормасу.

Ознакомившись с удостоверением, Вормас сел за стол, обхватил голову руками и простонал:

— Значит, все! Значит, жена моя права: единственный спаситель — бог! Как глупо я попал!

— Куда попал? — и Татьяна звонко, искренно рассмеялась. — Я просто беру все на себя, раз вам кажется это неэтичным. Я забираю его с собой, к Блюхеру.

— Новый фортель, — так говорит моя дочка. Но послушайте, я ведь должен нарушить законы империи.

— Их нарушаю я, а не вы. Я по закону требую отдать мне Петра Хропова. Вот закон, — Татьяна снова протянула ему удостоверение. — Вы еще политический чудак, дорогой доктор! — добавила она. — Вы еще не испытали на своей спине того, что испытывают люди, находящиеся в вашем лагере.

Вормас чуть погодя сказал:

— Я в вас могу влюбиться.

— Это делу не поможет.

7

Наутро Татьяна, получив письмо от Вормаса к знакомому доктору в курортный городок Ландэк, вышла из квартиры и села в машину, где уже находился со связанными руками Петр Хропов. Прощаясь, Вормас шепнул:

— Ваш образ навсегда останется в моей душе.

— Дай бог! — полушутя, смеясь, ответила она. — Вы перешагнули довольно глупую интеллигентскую черту — понятие о морали вообще, — и это хорошо. Шагайте дальше — будете по-настоящему жить. Я уверена: мы с вами встретимся в новом Берлине, — и, сев в машину рядом с шофером, она посмотрела на Петра Хропова, который улыбался во все лицо и намеревался было что то сказать, но Татьяна ему кинула. — Есть поговорка: «Держи язык за зубами, будешь есть пироги с грибами».

Машина, ведомая шофером Гофмейстером, тронулась со двора лагеря. Как только они отъехали километров десять, Татьяна приказала шоферу остановиться, затем пересела в кузов, развязала руки Петру Хропову и сказала:

— Здравствуйте, Петр Иванович, — и к шоферу, который удивленно смотрел на нее: — На Ландэк, филолог-самоучка.

— Но я все понимаю, — ответил тот.

— Это очень хорошо, когда человек все понимает. Понимайте, но не болтайте... а то мы имеем возможность отправить вас на тот свет: я очень хорошо вижу ваш затылок, а наш «пленный» прекрасно умеет вести машину, — и опять к Петру Хропову: — Ну что, Петр Иванович? Намучились?

— Было дело.

— И потянуло вас?.,

— К партизанам: душой отдохнуть!

— Вот видите, а вы говорили когда-то, что я наивная: а ведь везу вас к партизанам.

— Куда, Татьяна Яковлевна?

— К чехословакам.

— Я бы к своим: измотался.

— Но ведь своих-то, наверное, уже нет: вся страна от гитлеровцев освобождена.

— Ах, верно, верно!

Когда машина выбралась на перевал, ведущий в городок Ландэк, они вышли из нее, и перед ними открылась огромнейшая долина, усыпанная домами с черепичными крышами, прорезанная шоссейными, гудронированными дорогами, усаженными по обеим сторонам деревьями, совсем еще не тронутая бомбежками, пожарами.

Петр Хропов сказал:

— И какого чорта они на нас полезли?

— Они не лезли: их фашисты гнали. Так вы хотите сказать, Петр Иванович?

— Конечно. Военная машина — страшная штука: честного человека ввинтят, как винтик... и не выкрутится, пока другие не разрушат машину.

— Но ведь на заводах-то?

— Там дело другое. Тоже сложное, однако в затылок не метится гитлеровец. В армии за каждым солдатом следит фашист... он в любую минуту может пристрелить.

— А вы заметили, большинство рабочих, обеднев-

ших крестьян не интересуется судьбой Третьей империи.

— Абсолютно. Наоборот, ненавидят. Гитлер даже не представляет, какой костер разжег под собственными ногами.

— А я вот недавно прочитала в «Правде», что Паша Ангелина... Ну, наша знаменитая трактористка... эвакуированная в Казахстан, на колхозных полях заработала пятьсот пудов хлеба и все отдала в фонд Красной Армии, то есть государства, за что и получила благодарственную телеграмму от товарища Сталина.

— Когда немецкий народ создаст свое государство, то будет относиться к нему, как Паша Ангелина, — заключил Петр Хропов.

Когда они сели в машину, шофер Гофмейстер, не понимавший русского языка, однако сказал:

— Я вижу, вы друзья.

— Да еще какие! — ответила Татьяна. — Мы оба работаем у Блюхера, заместителя Гиммлера, как вам известно.

— Заместитель — от слова замести: начальник что-то наделал, заместитель обязан замести. Я так понимаю.

— Опять филология?

— Не могу от нее отстать: в печонки въелась.

...И вот Татьяна снова сидит в комнатенке виллы Вольфов. Со стариками она очень сдружилась, особенно с Матильдой. Они целые вечера проводят с ней на веранде, и Татьяна каждый раз рассказывает о Советском Союзе. Матильда, несмотря на то, что была коммунисткой с большим стажем, в какой-то степени под влиянием пропаганды Геббельса имела представление о России как о стране отсталой, со слабо развитой индустрией. Но когда Татьяна сообщила ей, какая гигантская промышленность выросла в Советской России за последние годы, сколько школ, вузов, что среди населения ликвидирована неграмотность, что все женщины допущены к труду и что этим самым навсегда разрешен вопрос о женском равноправии, Матильда, выслушав, облегченно воскликнула:

— Это хорошо! Без индустрии — Гитлера победить нельзя: он захватил промышленность почти всей Европы. Страшно сказать!

Старик Вольф все больше молчал и, будто знающий человек, слушая высказывания Матильды, укоряюще покачивал головой и только иногда произносил:

— Вот я тебе говорил, что Геббельс плетет чушь. Приказал нарисовать картиночки и развесить в каждом доме. Про Украину, про Белоруссию, про Кавказ. Чушь! Ерунда! Картиночки висят, а кругом костры, костры, костры... Удары. Разве лаптями русские бьют Гитлера? Костры горят — и вспыхнет всеобщий народный пожар, я в это, Матильда, верю, как в нашу с тобой любовь.

— Ох, если бы! Если бы! — вздыхала та.

— Верь. Я тебе об этом говорил. Вот скоро приедет Базиль, и он расскажет все.

Вася приехал к вечеру, со всеми шумно поздоровался, подарил Матильде черную шляпу, старику Вольфу — новую трубку и пачку табаку, а когда остался с Татьяной вдвоем, сказал:

— Простите меня, Татьяна Яковлевна: долго не писал, не звонил. Было препаршивое дело.

— А что? Что?

— Борман не мог забыть вашего посещения имперской канцелярии. Вечером того же дня он вызвал меня к себе и сказал: «Одна женщина завелась здесь — Ева... Не зря Ева, она даже Адама соблазнила... теперь вы ввели вторую женщину. Посмотрим. Может быть, она сможет отбить фюрера от этой Евы. Пусть подерутся две собаки. Подать ее сюда!» — приказал он. Ну как я мог «подать» вас такому псу? Рискнул и сказал: «Сегодня еду в Швейцарию, везу золото, завтра могу ваше требование выполнить». О-о-о! Он задрожал, как боевой конь, услышав музыку злата, и нетерпеливо спросил: «Чье?» И я пошел ва-банк. Говорю: «Везу золото Гиммлера и Блюхера в банк. Хотите: отвезу и ваше?» И купил. На это я потратил две недели — отвез в банк слитки золота на имя Блюхера, на имя Гиммлера, на имя руководителя нацистской партии Бормана... и все загладил.

— Ах, вон что у вас было! Ну, а «чортолома» видели?

— Опять женское любопытство?

— Ага! Я ведь все равно, Вася, осталась женщиной. И вы расскажите, какой он из себя. Такой ли, как на портрете, или какой?

Вася, подумав, сказал:

— Вблизи я его видел раза три... и всякий раз опускал глаза.

— Боялся?

— Нет. Не его боялся, а того, как бы мои глаза не выдали всю ненависть к нему. И, однако, я заметил: он весьма плюгавенький, прихрамывает, носик остренький, как конец топорика, которым печники обрабатывают кирпичи, глаза шустрые, шныряющие: он, видимо, принимает кокаин или морфий. А впрочем, чорт его знает, какой он! Мне хочется всякий раз убить его на месте.

— Нет, Вася, — перебила его Татьяна. — Убить его должен народ. Его надо посадить в клетку и возить по странам, показывать как самого страшного преступника в истории человечества!

— Ну, нужен-то он очень! Я бы его убил, да боюсь, генерал Громадин тогда мне голову оторвет: разоблачил себя. Ведь сказано: таись, как таится песчинка в горе песка. Думается мне, неумный он, Гитлер.

— Почему?

— Кричит. Часто я слышу его визг в кабинете. А раз кричит, значит неумный: умный человек кричать не будет. А жулья около него! Ох, сколько! А шпионов, ох, сколько! Первый заместитель Гиммлера — английский шпион. И все хапают, тащат, воруют!

— А он сам как... жадный?

— На картины. Все знают: чтобы ему угодить, надо подарить картину-уникум. Мой шеф через это к нему проник: выкрал из Дрезденского музея две картины Рубенса и подарил их фюреру, за что и попал к нему в личную охрану.

— Но, позвольте, Вася... ведь картины Рубенса

известны всему миру. Как же он принимает ворованные из музея Германии?

— Смотрит на это вот так, — Вася приложил руку к глазам и посмотрел через пальцы. — Ну, шут с ним, пускай больше ворует! Теперь о деле, Татьяна Яковлевна. С генералом Громадиным я связался. — Вася не сказал ей, что за это время видался с Громадиным. — Он уже командует Пятой дивизией. Партизаны все влились в регулярные войска. От вас, конечно, передал: «Жива, здорова и люблю тебя».

— Вот спасибо! А от него, от Николая Степановича?

— И от него: «Жив, здоров, люблю тебя и скоро увидимся».

— Ой! — воскликнула Татьяна и вся зарделась. — Так стосковалась я по нем, Вася! Если бы я сейчас встретилась с ним, я согласилась бы год, два жить на острове, никого не видать, а только его! — и она засмеялась тепло, как может смеяться мать.

— Я верю в это... в вашу любовь и в вашу чистоту, Татьяна Яковлевна... Но теперь, — он тоже тепло засмеялся, — вот какое задание от генерала. Вам надо начать серьезную работу в лагерях военнопленных — готовить восстание. Восстание готовится всюду: в лагерях, среди насильственно угнанных. Гигантское восстание! — Глаза у Васи загорелись, и он даже встал, прошелся по комнате и воскликнул, потрясая кулаком: — Спартаковское восстание! Помните, какое восстание поднял Спартак? Ну, куда ему до нашего восстания!

— Вася, — перебила его Татьяна. — Да как это я смогу? Я? Да что вы, с ума спятили вместе с генералом? Чтобы я организовала восстание? Ведь за мной и так уже по пятам ходят гестаповцы...

— Ну, — проговорил Вася, — от гестаповцев вот вам, — он вынул новое удостоверение и положил его перед Татьяной. — От самого Гиммлера, за его подписью и за его печатью... вы отныне его личный секретарь. Стоило недорого: три мешочка золота, положенного в Швейцарский банк на имя Гиммлера.

— Вот вы артист! — не без зависти сказала

Татьяна, рассматривая и брезгливо вертя в руках удостоверение. — Это его подпись?

— Самая настоящая, — и он снова загорелся. — Взорвать гитлеризм изнутри!

— Вася! Вы возмужали за это время и...

— И поглупел?..

— Нет. Это грубо. Романтики в вас стало много. Давайте лучше ближе к делу. Организовать восстание я неспособна. Ведь их сколько по Германии, лагерей?

— Зачем же вам все? Одного хватит. Тут недалеко от Дрездена есть «Центральный лазарет», самый страшный лагерь: под видом лечения туда гонят всех, кто не сломился в других местах, и уничтожают. И если вы хотите... — Вася не успел договорить: снизу раздался тревожный голос старика Вольфа:

— Вы бы сошли! Вы бы посмотрели, что творится.

По улице гнали военнопленных. Впереди колонн гарцовали на жирных, с раздвоенными крупами, короткохвостых конях полицейские и вяло кричали:

— Вот русские! Забраны под Прагой! Варшавской Прагой! Скоро все красные будут в плену!

На их крик жители выбегали за ворота или высовывались из окон и смотрели на пленных. Пленные шли по пять человек в ряд, шаркая деревянными колодками о гудрон, шли, еле волоча ноги, поддерживая друг друга, измученные, запыленные, закоптелые, в рваной одежонке, многие без головных уборов, давно не бритые, обросшие бородами. А полицейские все гарцовали и кричали:

— Вот русские! Скоро все будут у нас в плену! Взяты под Прагой! Под Варшавской Прагой! Хайль Гитлер!

Кто-то было откликнулся:

— Хайль Гитлер! — но его слова повисли в воздухе так же нелепо, как если бы кто-нибудь во время похорон крикнул «ура».

Большинство жителей молчали, с сожалением и грустью смотрели на пленных, а когда взоры жителей устремлялись на конников, то глаза загорались той ненавистью, какой в последний миг горели глаза Пауля. Временами вырывался всеобщий стон — это

когда раздавался выстрел: полицейский пристреливал пленного, который не в силах был двигаться дальше.

«Люди говорят глазами», — мелькнуло у Васи.

Прошла первая партия, оставляя после себя трупы и полосы от деревянных колодок на гудроне. За ней потянулась вторая, потом третья, четвертая.

И не заметила Татьяна, что в шестой партии, рядом с Сиволобовым, по улице Нового Дрездена в этот день прошел и Николай Кораблев. Она не могла его заметить не только потому, что он был неузнаваем в этой пестрой измученной толпе военнопленных, но еще и потому, что глаза у нее были заполнены слезами.

8

Войдя наверх, они долго молчали, удрученные виденным. Потом Вольф закурил трубку, сел к окну и, глядя на улицу, сказал:

— Ну вот, я говорил, — никто из присутствующих не понял, о чем он говорил, а он, пыхнув дымом, сердито добавил: — Долго ли это будет продолжаться? И неужели под Прагой забраны русские?

Вася пояснил:

— Ложь. Разве вы не видели: на пленных ничего военного не осталось — значит, они в лагерях не первый год. И чего кричать про Прагу, когда вот-вот падет Варшава! Дело в том, что не так-то давно в Москве, по Садовому кольцу, было проведено до шестидесяти тысяч немецких военнопленных. Впереди шли генералы. Геббельс, видимо, решил собезьянничать, но погнал старых военнопленных. Я уверен: их собрали по лагерям, привезли в Старый Дрезден и оттуда погнали через Новый Дрезден в «Центральный лазарет».

— Ты уверен? — спросил старик Вольф и сразу, не дождавшись ответа, повернулся к Матильде: — Ну вот, я говорил.

— Но что-то надо делать, старик, — проговорил Вася. — Я скажу вам, где «Центральный лазарет», — он раскрыл карту и подозвал всех. — Вот где. Неподалеку от этой станции.

— Здесь у меня хороший знакомый... Генрих Ротштейн, — Вольф сунул трубкой в карту. — Не знаю, жив ли. Хороший человек. Мастер, слесарь. Может, осатанел.

Вася внимательно посмотрел на старика, затем произнес:

— Пленные связаны с миром только через похоронное бюро. В каждом лагере есть бюро — оно из пленных же. Этих людей выпускают за колючую проволоку — на кладбище. Через них можно познакомиться с остальными пленными. Слышите, Татьяна Яковлевна?

— Это должен сделать я, — с гордостью заявил Вольф, — довольно мне здесь сидеть. Если хочешь, пойдем и ты, Матильда.

— Ну вот вас уже трое, Татьяна Яковлевна, — подхватил Вася. — Следует купить участок картошки. Понимаете? Где-нибудь поблизости от могилок. Встретиться с людьми из похоронного бюро. Сначала менять картошку на барахло... а потом видно будет.

Матильда в страхе воскликнула:

— А где мы возьмем столько денег, Базиль, чтобы купить участок картошки?

— Народ богатый. Я в это верю, — утвердительно кинул Вольф, а Вася добавил:

— Денег достанем. Итак, союз четырех! — И, достав из чемодана бутылку вина, открыл ее, разлил по стаканам. — За победу, товарищи!

— Вася, вы научились пить? — отхлебнув из стакана вина, спросила Татьяна.

— Нет. Но железо скоро буду грызть: уж очень мне тяжко там, Татьяна Яковлевна. Итак, не унывать — и к делу. Значит, дорогой мой отец, вы отправляетесь к своему знакомому, связываетесь там с теми, кто нам нужен. Татьяна Яковлевна и моя дорогая мама будут наезжать к вам... но жить только здесь.

— Почему, Вася?

— Единственный город, который не бомбят, — Старый Дрезден: здесь нет военных объектов, это город древней культуры, и его незачем бомбить.

Татьяна глазами сказала Васе, что ей нужно пого-

ворить с ним наедине, и тот, улыбаясь, простирая руки к Вольфу, произнес:

— Мой дорогой папа! Я скоро уеду, и мне надо побыть с женой.

— О! Это естественно. Это нормально. Пойдем вниз, моя Матильда.

А когда старики спустились в нижний этаж, Татьяна спросила:

— Скажите мне, что творится там? Слухи ходят разные.

— А какие?

— Будто бы Гиммлер, Риббентроп и другие, награбив миллионы за время войны, уже отделились от Гитлера и поглядывают в сторону американских и английских фашистов. Но вы мне расскажите, что произошло двадцатого июня в Пруссии, почему Гитлер переехал в Берлин? Ведь в Пруссии, говорят, ему было прекрасно: рыбу ловил.

— Сразу ответить трудно, — подумав, заговорил Вася. — Империалисты Германии, да не только Германии, подняли на высоту Гитлера... но потом некоторые из них стали убеждаться, что этот головорез проигрывает войну и готов отрубить головы и тем, кто его приподнял... А кроме того, у империалистов есть свое понятие о родине, хотя бы такое, как у волков о своей стоянке. А у Гитлера и у тех, кто его окружает, и такого понятия о родине не существует: это бандиты, награбившие за время войны гигантские состояния, думают только о себе, о своем награбленном.

— Да неужели и Борман? Ведь он фактически руководитель партии?

— Этот «строитель социализма», как в насмешку называют его, уже нахватал пять имений. Но он ничто по сравнению с теми, кто больше его кричит о «социализме»: Геринг, Риббентроп, Гиммлер и прочие, прочие. Эти «тихо» отходят от Гитлера. Им где ни быть: в Швейцарии ли, в Англии ли, в Америке, — лишь бы быть: на «пропитание» средств хватит. Но пруссаки думают о другом: Гитлер не оправдал их надежд. Он та кость, которую следует бросить империалистам других стран... и пока они грызутся из-за этой кости,

собрать кое-какие силы и не пустить нас в Германию. Ведь все же рушится от ударов Красной Армии, особенно после минского поражения. Это хорошо видят Шахт, крепко связанный с американскими империалистами, не родственными узами, а финансовыми; доктор Гедлер, бургомистр Кельна, работающий в английской разведке, и другие так называемые гражданские лица, вплоть до Луи-Фердинанда Прусского, которого метили в монархи. Со стороны военных в группу заговорщиков входили генералы, фельдмаршалы. Ну, например, генерал-фельдмаршал Витцлебен, командующий всеми резервными армиями Германии, полковник Остер, начальник центрального управления германской контрразведки. Все эти лица были тесно связаны с американской и английской разведкой... и Гизениус, который до сих пор не открыт и теперь еще является заместителем Гиммлера по гестапо. Вот все эти и еще многие другие лица и решили: Гитлера убрать. Конечно, это делалось в полном согласии с американцами и англичанами. Но двадцатого июня бомба, подложенная буквально под ноги Гитлера, неудачно взорвалась, и Гитлер уцелел. Вот почему он ускакал из Пруссии в Берлин.

Они долгое время молчали, затем Татьяна задумчиво произнесла:

— А вы всё знаете?

— Не всё, но многое, — уклончиво ответил Вася. — Ну, мне пора отправляться, Татьяна Яковлевна. Что передать Николаю Степановичу?

— Да то же, — вспыхнув и привскочив с дивана, сказала Татьяна. — И еще, — она вдруг вся поникла, на глазах навернулись слезы: — ...Вася, может быть... может быть, это возможно передать: «Жива, здорова, люблю тебя и... будет у нас ребенок».

Усаживая Васю в машину, Татьяна рассказала ему о том, как провела время в Силезии, что там видела и как переправила Петра Хропова к чехословацким партизанам.

— Очень хорошо: это нам очень пригодится. А Николаю Степановичу я ваши слова непременно передам, — сказал Вася и отправился в постоянно пылающий Берлин.

9

Шестая группа военнопленных, в которой находился Николай Кораблев, к лагерю, или, как официально называли фашисты, к «Центральному лазарету», прибыла только через три дня утром.

Николай Кораблев и Сиволобов влились в эшелон военнопленных еще в Познани. Отсюда их всех на поезде переправили во Франкфурт, высадили на вокзале, прогнали по улицам города, извещая население, что все эти пленные захвачены под Варшавской Прагой, потом снова посадили в вагоны, перевезли в другой город, прогнали по улицам и опять на станцию. Так вплоть до Старого Дрездена. Отсюда уже пешком в «Центральный лазарет». В пути Николай Кораблев и Сиволобов перезнакомились с большинством военнопленных. Оказалось, что все это те, кто прошел «огни и воды», побывав во многих лагерях, сумев миновать бани с удушливым газом, «душегубки».

И вот теперь, стоя перед воротами в лагерь, Николай Кораблев с щемящей тоской подумал:

«Переступим за ворота и вернемся ли оттуда?» — и впервые за эти долгие, томительные, голодные дни почувствовал, как у него задрожали ноги в коленках. — Это от недоедания, — решил было он, но на сердце у него так заныло, что он даже покачнулся, приваливаясь к плечу Сиволобова, но, заметя, что тот стоит тоже бледный, шепнул:

— Не падайте духом, Петр Макарович!

— Ноги не держат на земле чужой, да еще будем за колючей проволокой.

— Вот еще что выдумал: мы там хозяева.

— Хозяева? Вон какая шея-то у вас стала, вроде из мочалки скрутили. Хозяева!

— Напрасно так думаете. Лучше присматривайтесь. А то ведь на волю теперь скоро не попадешь. Заметили, неподалеку от станции в лесу постройки? Видимо, военный завод. Наверное, туда гоняют на работу.

— Это так. Действительно, мы всюду должны быть хозяевами, — ответил Сиволобов и, подняв голову, осмотрелся.

Ворота были из толстых бревен, переплетенных колючей проволокой; дальше проволока тянулась в три ряда, высотой до двух-трех метров. Около самых ворот телефонный столб, с высокой подпоркой, с перекладиной в середине. На перекладине ветер трепал петли из тонких, почерневших от дождей веревок.

«Значит, тут для показа вешают», — решил Сиволобов и хотел было об этом сказать Николаю Кораблеву, как послышалась команда: «Смирно!»

Пленные, несмотря на усталость, от окрика подтянулись. Над всеми прошел гул, похожий на вздох. А к воротам из глубины лагеря вышел фашист, довольно пожилой, с отвислыми щеками, как у старой легавой собаки. Глаза у него небольшие, свирепо злые, брезгливые. Рядом с ним второй гитлеровец — высокий, с маленькой головкой. Он часто вкривь и вкось взмахивал руками. По всему видно, он весьма пьян. Первый же, широко расставив ноги, помахивая сосновой суковатой палкой, закричал голосом, идущим откуда-то из живота:

— А-а, ню-ю! Рюсь! Пять-пять-пять, — и, растопырив пальцы на руке, крикнул: — Переводчик!

К нему подбежал переодетый в форму полицейского переводчик. Сначала Николай Кораблев и Сиволобов не обратили на него внимания. Ну, переводчик и переводчик. Мало ли их встречалось в пути! Но вскоре они оба отшатнулись: перед ними стоял Зеленый.

— Может быть, у меня глаза устали, Николай Степанович, — шепнул Сиволобов. — Он это или не он?

— Он. Что будет, если узнает нас?

Зеленый, щеголевато поправив на себе ремни и ремешки, выступил вперед и прокричал, показывая сначала на пожилого немца:

— Это, да будет вам известно, начальник «Центрального лазарета», господин Аксман, а рядом с ним господин Отто Нейман, начальник разведки! Он маленечко выпил, но это для вас, русских. А теперь становись по пятку. Ну, шевелись!

— Ай! — тоненько вскрикнул Сиволобов. — Я бы с живого с него не слез!

Пленные встали по пятку. Тогда снова раздалась

команда, и люди двинулись через ворота во двор лагеря. Аксман стоял у столба и, суковатой палкой стукая по плечу крайнего, отсчитывал ряды, произнося на ломаном русском языке:

— Все равно сдохнут, Вашка, — обратился он к Зеленому. — Раз-раз, — и добавил по-немецки: — Считай, сколько голов.

— Иваном его звать, Зеленого, по-деревенски Вашка. Вишь ты, как его тут величают! — прошептал Сиволобов, идя рядом с Николаем Кораблевым, стараясь не смотреть на Зеленого, и, однако, неотрывно смотрел, готовый кинуться на того и придушить. — И чего это у меня злости на таких даже больше, чем на фашистов? — спросил он Николая Кораблева.

— Молчите. Нам бы лишь проскользнуть!

Когда вся партия прошла через ворота и остановилась у длинного барака, Аксман, узнав о том, что в партии пятьсот тринадцать человек, покачал головой так, что опущенные щеки затряслись.

— Несчастная цифра, Вашка! — сказал он, погрустнев. — Тринадцать — несчастная цифра! А? Отто?

Отто пьяно помахал руками, что-то пробормотал, улыбаясь, как будто ему сулили что-то хорошее, а Зеленый, выхватив пистолет, успокаивающе произнес:

— Это легко устранить, господин майор, — он почему-то подул в дуло пистолета, затем навел его на ближайшего пленного и выстрелил тому в лицо, после чего, повернувшись к Аксману, услужливо улыбаясь, сказал: — Теперь двенадцать. Апостолы.

— Ух! Отто! Молодец Вашка! Из него выйдет хороший палач! — похвалил Аксман и скомандовал: — По баракам! Но прежде всего надо инструкцию выполнить. Этот скот опаршивел дорогой, — добавил он и направился в глубь «лазарета».

Аксман когда-то мечтал стать «знаменитостью»: добиться министерского портфеля, приобрести фабрику или завод. С этой целью он сблизился с Карлом Каутским, стал его учеником, затем участвовал в убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург, после чего перескочил к Шейдеману, получил министерский портфель, но уж очень открыто воровал, за что был сме-

щен, а с приходом гитлеровцев попал в немилость самого фюрера... и начал действовать: находясь в лагере, выдал честных социал-демократов, а когда был назначен начальником «Центрального лазарета», то в течение года свел в могилу до сорока тысяч военнопленных, отдав приказ отправлять в рвы полуживых и заявляя:

— Все равно, где подыхать: тут ли, в бараке, там ли, в канаве. Тащи! Новых гонят! Освобождай бараки.

— Да-а,—протянул Сиволобов.—Здесь мясорубка, самое губительное место,—и посмотрел во все стороны.

Двор был огромный — не видать конца, — огороженный в три ряда колючей проволокой. По углам — вышки, на них — часовые и пулеметы. По правую сторону за колючей проволокой метров в пятьдесят прогон, такой же, как в лесу для скота, потом опять проволока, а за ней тоже бараки. Оттуда несутся звуки духового оркестра, слышны удары в теннисный мяч, грубые выкрики на незнакомом Сиволобову языке.

— Там-то кто? — спросил он.

— Англичане. Музыка. Теннис. Интересно! — ответил Николай Кораблев.

И вот кто-то со стороны англичан швырнул на территорию лагеря русских пленных банку с консервами. Группа оборванных, измученных людей, идущая в ногу, увидав, как запрыгала по земле банка, вдруг рассыпалась, метнулась на банку, сплетаясь в клубок. Замелькали руки, ноги, головы, слышались стоны, крики... и вон самый сильный, сбросив с плеч остальных, держа высоко над головой банку, побежал прочь, а за ним кинулись все остальные, ругаясь, грозя... А у колючей проволоки стоят англичане и хохочут.

— За одной банкой и столько людей: вот что голод сделал, — проговорил Сиволобов.

— Да. Потеряли человеческое достоинство. Это самое страшное — потерять человеческое достоинство. А те потешаются! — и Николай Кораблев зло посмотрел на англичан.

Прежде чем разместить пленных по баракам, которые здесь назывались блоками и были занумерованы, вновь прибывших пропустили через «медицинский» осмотр и «парикмахерскую». Парикмахерская помеща-

лась тоже в бараке, где во всю длину тянулся деревянный стол, отшлифованный человеческими телами. Пленные подходили, раздевались, клали на пол скудные пожитки и ложились поперек стола. После этого по очереди к каждому из них приближались доктор и две сестры — немки. Они бесстыдно осматривали человека, и если, не говоря уже о чесотке, которая свирепствовала среди пленных, находили на теле какое-либо пятнышко, хотя бы от укуса комара, то по приказанию доктора такой «больной» немедленно отправлялся в пятнадцатый блок-барак. Пятнадцатый блок, покрашенный в серый цвет, стоял в центре лагеря. Сюда сводили всех: туберкулезных, сумасшедших, больных дизентерией, с пятнышками на теле. Из пятнадцатого блока, окна которого были всегда открыты, день и ночь неслись стоны, крики, речи сумасшедших. И все пленные знали, что из этого блока один путь — в ров за колючей проволокой.

После «медицинского» осмотра к делу приступили четыре парикмахера. Они пошли с обоих концов стола попарно навстречу друг другу: один стриг голову, подмышками, другой стриг остальные места. Стригли рывками, торопясь, подгоняемые начальством, причиняя боль пленным, но те, сцепив зубы, молчали, уже довольные тем, что не попали в пятнадцатый блок.

Когда все это бесцеремонное безобразие кончилось, раздалась команда:

— В баню!

Пленные вдруг скучились, встали плечо к плечу, поднялся гул, переходящий в рев: они по опыту знали, что такое «фашистские бани», и каждый из них уже имел возможность побывать в такой «бане», но спасся, и вот теперь снова приглашают туда, где непременно разденут, введут в помещение для мытья и отравят.

— Не пойдем!

— Не пойдем!

— Убивайте уж на месте! — вырвалось из общего гула-рева.

Тогда перед ними выступил банщик, тоже пленный, и сказал:

— У нас не такая баня, а честь по чести. У нас людей морят по-другому, будьте спокойны.

Но люди все равно наотрез отказались итти в баню. И когда об этом донесли Аксману, он кинул:

— Чорт с ними: скорее в пятнадцатый блок попадут!

За всеми этими делами — «медицинский» осмотр, парикмахерская, уговоры пойти в баню, распределение по баракам, предварительная переписка — прошел весь день, и только поздно вечером Николай Кораблев и Сиволобов попали в барак-блок номер семь. Он был длинный, с нарами в два этажа. Пахло карболкой и иодоформом. В потолок за решетками ввинчены электрические лампочки так, чтобы часовому было видно все, что делается на нарах.

Николай Кораблев намеренно лег к стене, рядом с Сиволобовым, и тут же, утомленный и голодный (их весь день не кормили, потому что они еще не попали в «инвентарную книгу»), уснул, но вскоре очутился в том мучительном состоянии, когда кажется, что все тело спит, не спит только голова.

— А надо спать, спать, спать: сон здесь — лекарство, — проговорил он, в то же время чувствуя, что тело куда-то утонуло, исчезло и осталась только одна голова... и вот он уже в машине, старом «газике», несется в Минск... Как напоказ, выставлены по бокоовинам дороги, на самой дороге, на полянках, у опушек леса, в лесу битые, изуродованные танки, пушки, автомашины, телеги... десятки тысяч тонн металла, тысячи убитых немцев: эти уже не встанут, не поднимутся, не увидят своих родных.

Вот и Минск. Горят дома, здания, зияют воронки на площадях, улицах, еще где-то гудит голос войны, а жители уже вставляют стекла в окнах, поправляют ворота, заборы, — это, конечно, орудует Уваров... Указка-дощечка, на ней жирно написано «Луна» и стрела — путь в армию Анатолия Васильевича, к Громадину. Миновали город. Указка повела вправо, в лес. Тут снова битые танки, пушки, автомашины, трупы гитлеровских солдат.

И на фоне всего этого вдруг всплывает радостная мысль:

«Татьяна! Наверное, приехала Татьяна!»

Но вместо встречи с Татьяной новое задание: пере-

правиться через линию фронта, влиться в группу военнопленных, пробраться в лагерь и организовать восстание.

— Тяжелая работа, — проговорил Громадин, опустив голову, не глядя на Николая Кораблева: ему по-человечески было жаль с ним расставаться. — В Москве сомневались, надо ли посылать вас туда, не лучше ли отправить на завод. Но я убедил, я виноват... Не всякого ведь можно послать в тот ад, Николай Степанович. Ну, а что передать Татьяне Яковлевне? — неожиданно спросил он.

— Да то же самое, — думая о предстоящем деле, почти невнятно произнес Николай Кораблев и вздрогнул: откуда-то на него навалились стоны, скрежеты зубов, оханье, крики.

Стонали пленные.

— Тяжело нам тут будет! — в полном сознании произнес он.

10

Часов в шесть утра раздалась команда:

— Вставай! За кипятком!

Люди, разминая больные ноги, спины, кряхтя и проклиная все на свете, сползли с нар, вышли на двор и тут, построившись, двинулись за пятнадцатый блок, откуда непрестанно неслись душераздирающие крики, стоны, песни, речи сумасшедших. Вскоре «новички», растянувшись цепочкой, стали в очередь к белосияющему огромнейшему баку, к которому уже тянулась цепочка пленных «старичков». Было бы целесообразно иметь ведра или чайники, разбить пленных на группы, и тогда один или двое принесли бы кипяток на артель, чем вот так стоять всем с банками из-под консервов, с блюдами, вообще со случайной посудой. Но администрация разрешала пленным держать все, вплоть до перочинных ножей и веревок (можешь зарезаться или повеситься, твое дело!), но не разрешала иметь чайник или ведро. Над людьми и здесь издевались: часа полтора стой в очереди, тебе плеснут стакан кипятку. Если можно было бы считать песок, наверное заставили бы делать и это. После кипятка, который выпивался плен-

ными тут же, снова раздавалась команда: «Стройся!» — и люди, построившись, расходились, кто на военный завод, где делались разнообразные гильзы для снарядсв, или в лес — на пилку дров, или на рытье канав-могил, или на уборку умерших. Часа в четыре дня снова все выстраивались около походных кухонь: здесь выдавалось по половнику какой-то бурды и кусочек хлеба с опилками. От такого хлеба делались запоры, переходящие в понос, что и называлось дизентерией. Подобного больного непременно отправляли в пятнадцатый блок: тут он заражался дизентерией или туберкулезом. Часов в восемь вечера люди становились в очередь за ужином, потом, в десять, их разводили по баракам. В двенадцать ночи все засыпали тревожным, больным сном.

Так изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Впрочем, год тут редко кто выживал: если не умирал в пятнадцатом блоке, его убивали...

Пока стояли в очереди за кипятком, Николай Кораблев присмотрелся к «старичкам». Казалось, те были настолько разрозненны, что даже не знали единого языка: каждый из них горящими глазами смотрел на бак, видимо боясь, что не хватит кипятку, каждый стремился пробиться вперед, но, теснимый другими, ворчал, злился, говорил срывка, грубо. На «новичков» они смотрели снисходительно, как иногда опытные мастера смотрят на подростков, хотя эти «подростки» прошли огни и воды. Присмотревшись к «старичкам» — а это в большинстве были люди среднего возраста, с крепкими зубами, худые и вымотанные, — Николай Кораблев спросил своего соседа по очереди справа:

— А вы давно здесь?

— В раю этом? — снисходительно заговорил сосед, подергивая верхней губой, как это делает слон кончиком хобота. — Юбилей скоро: год. Нас сюда пригнали одиннадцать тысяч железнодорожников. Я-то из-под Минска, а остальные — с разных концов: кто из Ростова, кто из Курска. Пригнали нас сюда, назад бы надо, на железную дорогу, а начальство свое: «Слышь, разнесут весть о нашем «рае» по всем местам. Долой!» Ну и остались.

Николай Кораблев с надеждой воскликнул:

— Значит, вас тут одиннадцать тысяч железнодорожников?

— Одиннадцать? Ух ты! — удивленно оборвал железнодорожник. — Трое нас осталось — от одиннадцати-то тысяч! Остальные все там — за проволокой, в канавках!

— Вон как! — не выдержав, со злобой кинул Николай Кораблев.

— Так-то вот, новичок, — тихо продолжал железнодорожник, советуя: — Ты злость свою тут не раскатывай, а то сразу в пятнадцатый попадешь, а то вон и перекладина. Союзнички наши ладно живут: как на даче... баб только еще нет... и тех иной раз привозят, положим пакостных... А «Красный крест» посылками заваливает. Музыка у них, игры разные. Слышишь: оркестр — это значит, подымайся, ради бога, за кофий садись, ради бога, а то можешь похудеть, а то и болезнь прикинется, ты уж нас не подводи, будь здоров... гут морген — значит доброе утро по-ихнему. Я тут нахватался разных слов, и немецких и английских, и еще чорт их знает каких, чтоб им околеть!

— Сам-то как живой остался?

— Как? На пакостном деле. Всю жизнь, если домой вернусь, себя проклинать буду.

— На каком это?

— Своих товарищей в ров закапываю.

— Ну, тех закапываешь, а сам-то как жив остаешься?

— Меняем. Штаны, рубашонку сдерешь с мертвого, выстираешь, и на обмен немцам. Берут. А то по миру.

— И подают?

— Раньше туго, теперь подают малость. Не то трухнули, не то в сознательность входят: у них у каждой церквушки, кирки по-ихнему, столько новых крестиков появилось, ужас! Означает: погибли на русской земле... и мы рады тому.

— А как же вы там «по миру-то»? — сдерживая дрожь, проговорил Николай Кораблев. — Одни ходите или солдаты вас сопровождают?

— Одни. Ну, где солдатам!

«Чорт возьми, какой пропуск в мир!» — подумал Николай Кораблев и неосторожно торопливо спросил:

— А вас как звать-то?

— А что? Донести хочешь? Я те донесу — до рва! Гляди, все одно в моих руках будешь! — со злом кинул железнодорожник и отвернулся.

— Да нет! Что вы? Мы к вам хотим определиться на работу. Подыхать неохота, — намеренно с крестьянским выговором произнес Николай Кораблев. — Тоже ведь люди. Зачем подыхать? А работа, что ж, не мы и не вы ведь убиваете людей. Конечно, жалко.

— Ну, это дело другое. А то сволота стала разводиться среди нашего брата, особо среди новичков! Как поглядишь, смотришь: провокатор, на твое место норовит. Сам ведь с собой я только советским-то остался. А так, рви, давай, не то самого в канавку. Митрич я. Так и зовите, если хотите знать, — сказал он и окончательно отвернулся от Николая Кораблева.

После этого Сиволобов, стоящий в очереди позади Николая Кораблева, сказал:

— Зачем это вам, Николай Степанович, к мертвякам-то?

— За колючую проволоку попадем...

11

После «чая» новичков всех выстроили по колоннам во дворе на песке.

Из конторы управления вышел Аксман, а с ним вместе и Зеленый. На Аксмане был все тот же военный костюм, но теперь можно было рассмотреть, что рукава костюма, особенно в локтях, ловко подштопаны, очевидно заботливой женской рукой.

«Возможно, что у этого зверя есть жена — любимая женщина и, наверное, есть дети — тоже любимые и любящие. И не знают, сколько он людей погубил. А может быть, знают и считают, так надо: «Германия, побеждай», — думал Николай Кораблев, глядя на Аксмана.

Сегодня Аксман еще более злой и чем-то встревожен: он все время посматривал на восток.

«Ничего нам неизвестно. Но наши, очевидно, взяли Варшаву. Вот он и кидает взгляды в ту сторону. Узнать бы!» — подумал Николай Кораблев и снова дрогнул, видя, как Зеленый, о чем-то переговорив с Аксманом, вышел вперед, крикнул:

— Советский народ, не разевай рот! Кто куда, а я в сберкассу! — был он не то весел, не то перепуган чем-то и уже подхалимствовал вот перед этими невооруженными, измученными людьми. — Песню спел бы, да времени нет!

— От твоей песни уши лопнут! — крикнул кто-то зло. — Давай уж, что у тебя там в твоей поганой пасти застряло. А еще русский! Эх, ты-ы!

Зеленый вначале будто захлебнулся и заговорил трусливей:

— Сейчас начнется распределение. Кто куда? На завод — гильзы делать, в лес — дрова пилить, двор убирать, в похоронное бюро — пленных хоронить. Кто куда, а я в сберкассу! — опять довольно глупо пошутил он, заискивающе поглядывая на военнопленных.

«Лишь бы не узнал нас! — подумал Николай Кораблев, глядя себе в ноги, и вдруг невольно поднял глаза: Зеленый в упор смотрел на него, и их глаза встретились. — Узнал! Значит, тебя надо скорее уничтожить! — и глаза у него стали настолько злы, что Зеленый отвернулся, потом еще раз глянул, уже молящий, жалкий. — Вдобавок еще и трус несусветный! — заключил Николай Кораблев. — Именно такой и выдаст!»

12

Только наутро их вместе с Митричем выпустили за колючую проволоку: весь день три немца переписывали новых военнопленных, вносили в «дополнительную инвентарную книгу», где уже требовалось указать год и место рождения, фамилию, имя, отчество, коммунист или беспартийный. Все оказались беспартийными, рядовыми, на что Аксман тоже сказал:

— Все одно подохнут, коммунисты или не коммунисты!

Николай Кораблев записался под фамилией

матери — Пряхин, Сиволобов — Лобов. Затем с них взяли расписки, что они не убегут, будут правдой и верой служить «Великой империи», не станут посещать даже ближайшие деревеньки... Одним словом, обязаны только рыть траншеи-могилы и закапывать в них тех, кого сюда доставят из пятнадцатого блока. В расписке так и было напечатано: не «умерших», а «кого доставят из пятнадцатого блока». Аксман давным-давно вычеркнул графу умерших и заменил словами «кого доставят».

Кладбище находилось километрах в трех от лагеря, в сосновом бору, куда проведена узкоколейка. По ней вручную катят вагонетки, заполненные теми, «кого доставят из пятнадцатого блока».

Николай Кораблев шел рядом с Митричем и только теперь по-настоящему рассмотрел его лицо: у него на постаревшем лице удивительно молодые голубые глаза. Они временами просто сияли, и тогда он походил на юношу.

— Ну что ж, Митрич, так-таки и бываешь советским человеком только сам с собой?

— Эдак выходит, — ответил тот, поблескивая голубыми глазами. — С волками жить — по-волчьи выть.

— Думаешь, и я волк, и вот Лобов — волк... и ты, стало быть, волк?

— Волк — не волк, а хуже! Пес знает кто!

Когда они перешли поле, пустое, заросшее сорняками, и снова очутились в сосновом бору, Митрич сказал:

— Подходим к окаянному месту. Видишь, бугры длинные какие. Их уже девятнадцать — считай, около ста тысяч народу закопано. Вот оно что значит ныне плен! Умри на поле брани — почет и память о тебе в веках, а тут сдох, как собака, и вспомнить некому! Так уж лучше смерть в бою, чем плен, — верь мне.

Вскоре они вышли на поляну, где люди копали рвы, длинные, метров по двести. В стороне виднелась возвышенность из досок, вроде трона. На «троне» сидел человек с большой, окладистой черной бородой.

— Свистунов — начальник над нами. Нас тут сто двадцать, так он над нами начальник, — тихо произнес Митрич. — Смотри, сидит, как Стенька Разин. Гроза

кажется, а ведь иногда по ночам плачет и говорит мне: «Митрич, не вытерплю, скоро повешусь». А я ему: «Сиди на троне, не то другого какого-нибудь зверюгу приставят, тогда и нам всем погибать». Так-то вот. А энти вон — на углах-то с автоматами — гитлеровцы. Одного мы Сорокой зовем: все тащит, другого — Акулой, тоже все тащит. Впрочем, все они шайка-лейка, в одной подлой куче с нами, — с омерзением закончил он.

— Что за куча?

— Да ведь мертвых-то обдираем и тряпье отправляем в обмен. Немки хватают — на хлеб, на картошку, на марки. Мы это все сносим к ногам Свистунова. Он делит — половину Аксману, из второй половины — половину охране, остальное нам. Достается, конечно, по кусочку хлебца, по картошечке.

— А себе берет Свистунов?

— Не-ет. Наравне с нами: кусочек, картошечку.

Николай Кораблев более внимательно посмотрел на Свистунова, думая:

«Значит, еще не сгнил на корню, раз так ведет себя», — и хотел было подойти и поговорить, но тот сам позвал:

— Митрич! Поди-ка сюда, — а когда тот робко приблизился, Свистунов, глядя тоскующими глазами куда-то в сторону, добавил: — Аксман недоволен вчерашней подачкой. Прошу тебя, выдели сверх плана из своей бригады человека три и пошли в деревню. Тряпья нет, пускай по миру, что ль.

— Вон ведь чего, — растерянно пробормотал Митрич и, подойдя к своей группе, произнес: — Ребята, придется волю Егора Егоровича выполнять. Кто в деревню направится?

— Я, — сказал Николай Кораблев.

— Ты? — удивленно воскликнул Митрич. — Ну! Ну! Сразу — и за пакостное дело!

— С волками жить — по-волчьи выть.

— Глупость говоришь.

— Верно, глупость. Но отпусти меня, Митрич. Раскаиваться не будешь.

— Я-то отпущу, а как ребята?

Из группы выступил ледащий мужичонка. Смор-

щив губы, посмотрев снизу вверх на Николая Кораблева, мертвенным голосом кинул:

— Тебе не подадут: ты вон какой верзила, и цвет в лице есть. А потом — покопай сначала, с мертвяками повозись. Вот как, ядрена палка!

— Что там за шум? — крикнул Свистунов. — Эй, кто там порядки наводит? А-а-а? Ты? Новичок? Иди-ка сюда!

Николай Кораблев направился к Свистунову. Сиволобов хотел было последовать за ним, говоря:

— Не шумите, Николай Степанович, — но Николай Кораблев, остановив его, сказал:

— Я один, — и, подойдя к Свистунову произнес: — Сойдите-ка сюда. Чего оттуда разговариваете, как с горы.

Свистунов долго молчал. Черные, большие глаза его то суровели, то в них брызгали искорки доброго смеха, затем они заполнились тоской, и он, кивая на канаву-могилу, проговорил:

— Туда хочешь?

— Нет, — спокойно ответил Николай Кораблев. — И тебе не советую. Кем в армии был?

— Майором.

— Встать! — тихо, но настойчиво произнес Николай Кораблев. — Встать! — еще раз приказал он.

Майор Свистунов повиновался, а Николай Кораблев еле слышно добавил:

— Мне очень надо потолковать с вами. Пройдемся.

Они вдвоем обошли весь кладбищенский участок, побывали на опушке леса, за которой тянулись картофельные поля, а дальше, на пригорке в зелени поблескивали черепичными крышами деревушки. Осмотрев все, они присели на пнях, и Николай Кораблев заговорил:

— Вот что, Егор Егорович, вижу — вы остались советским человеком. Весь порядок, какой есть, сохраните: пусть меняют, пусть долю отправляют Аксману — и чем ни больше доля, тем лучше. Я ваш помощник... Но... вы понимаете, какой я помощник?

— Очень понимаю, — ответил Свистунов, внимательно всматриваясь в него, но уже чувствуя, что со стороны пришла помощь всем военнопленным.

— Прекрасно, — говорил Николай Кораблев, — но я слышал, хоронят живых. Это недопустимо. Давайте организуем в лесу нечто вроде лазарета: больных будем отправлять туда, достанем кое-какие медикаменты. Выживет — переправим к партизанам. Тут ведь неподалеку Саксонская Швейцария, горы. Не может быть, чтобы там не было партизан. Нет? Организуем. Второе. Если нам удастся кое-кого переправить в горы, тогда надо под видом умерших изъять из лагеря верных людей. Проверить человека, затем... ведь достаточно появиться на теле пятнышку, чтобы человек очутился в пятнадцатом блоке. Оттуда к нам! Так ведь?

— Да-а. Очень так, — и вдруг Свистунов сказал с тоской и грустью: — Тяжело очень.

— В тяжелую минуту и в минуту радости — постоянно помните Ленина, Сталина, наш героический народ, наших бойцов. А теперь идите, садитесь на свой трон, а я отправлюсь в деревни. У меня тут есть верный друг — Лобов. Положитесь на него. Еще знаете переводчика у Аксмана?

— Долин? Юркий такой?

— Нет. Он не Долин. Он Зеленый, и не Зеленый, а Кампотов. Он сбежал от партизан. Его надо как можно скорее уничтожить. Придумайте что-нибудь.

— Придумаю. Митрич! — крикнул Свистунов. — Давай, он пойдет в деревню, — и шепнул: — Столкните переводчика Долина в сортир. Ну, подкараульте и столкните. Понятно, нет ли? Впервой, что ль?

13

На следующий день, распростившись с Васей, Татьяна и старик Вольф, уговорив Матильду домовничать, выехали в Саксонскую Швейцарию, чтобы ознакомиться с партизанскими группами, но, убедившись в том, что в горах большинство не партизаны, а немецкие дезертиры, Татьяна отправилась в Ландэк, намереваясь проникнуть в горы, и если удастся, то отыскать Петра Хропова и через него связаться с партизанами Чехословакии, слава о которых уже гремела по

всему свету. А старик Вольф направился в район «Центрального лазарета» и остановился в деревушке, где жил его друг, бывший социал-демократ Генрих Ротштейн. Ротштейна он застал за крестьянским делом: тот во дворе, под навесом, чинил хомут и, поздоровавшись с Вольфом, проговорил:

— Видишь, на что пригодилось мое мастерство? Каждый человек должен по-настоящему клевать за правду, как ты думаешь, старина?

— Если она осталась на земле, правда, то пусть каждый по-своему клюет за нее, — присаживаясь рядом с ним, закуривая трубку, ответил Вольф.

— А разве из тебя ее выбили? — спросил Генрих, проницательно глядя в глаза Вольфа. — Правда, братец, живет в сердце: выкинул правду — значит, выкинул сердце.

— Во мне, Генрих, сердце большое, — уклончиво ответил Вольф, хотя уже понимал, что Генрих остался все таким же страстным, честным человеком. — Но ты попроси хозяйку, пусть угостит нас, стариков, кофе.

— Настоящего нет. Эрзац.

— Мне не привыкать, Генрих: я не нажился на войне, да и еще, говорят, нынче заборы стали иметь уши. Правда, нет ли?

Когда они вдвоем остались за кофе, Вольф сказал:

— Не поможешь ли мне приобрести на корню картофель? Здесь. Лучше ближе к лагерю русских.

Генрих склонился над чашкой кофе: ему стало стыдно за своего друга.

«Значит, и этот погряз!» — подумал он и, подняв глаза, произнес:

— Ради прежней дружбы я мог бы сделать все, но этого я не сделаю, хотя у меня у самого есть участок картофеля совсем рядом с лагерем.

Они помолчали. Вольф тоже подумал о своем друге.

«Значит, погряз! Но, может быть, за большие деньги продаст?» — и, глядя Генриху в глаза, предложил:

— Я дам тебе большие деньги.

— А сам получишь много тряпья с мертвых рус-

ских? Недалеко от Лейпцига есть памятник, поставленный русским за то, что они когда-то спасли нашу страну от Наполеона... Ныне мы посадили их за колючую проволоку и с мертвых тащим тряпье. И ты просишь меня, чтобы я помог тебе в этом? — выкрикнул Генрих.

— Как раз не это, — тихо возразил Вольф. — Как раз для того, чтобы помочь русским.

— Один ты не поможешь, — чуть погодя проговорил Генрих. — У тебя кишка слаба: там, говорят, пятьдесят тысяч.

— Пусть каждый по-своему клюет за правду, Генрих.

— Я не понимаю наших женщин, — спустя некоторое время снова заговорил Генрих. — Их будто кто подменил за эти годы! О-о-о! У Ленина есть хорошие слова про крестьян. Он говорит, у крестьянина две души: одна душа собственника, который может, добавляю я, покупать тряпье с русских мертвых, и душа труженика. Наци расшевелили в наших женщинах душу собственника: покупают у пленных тряпье... жадно, зло, остервенело!

— Да ведь и не все такие наши крестьянки.

— Конечно. Что удивительно — богатые рвут. Ты что-нибудь слышал о Тельмане?

— Слыхал. Тельмана перевели в бранденбургскую тюрьму.

— Иди и покажи мне твой картофель... Или тебе жалко?

— Жизни не жалко, как можно жалеть картофель?

— Тогда, значит, верно: солнце всходит над нашей землей, так говорят теперь все честные люди. А Красная Армия приближается к логову фашистов. Хорошо сказал Сталин: «Логово фашистов»!

— Пусть взойдет солнце над нашей страной. Я даже молился богу, старина, а я социал-демократ.

— Богу молиться не надо, давай работать — поднимать солнце, Генрих, — и оба, допив кофе, вышли из домика и направились в поле, ближе к лагерю, где уже созрела картошка Генриха Ротштейна.

Участок картофеля находился вблизи лагеря, отсюда было видно, как пленные копали рвы-могилы, даже слышались голоса и окрики охраны. Стоя около картофельного поля, Генрих сказал:

— Разве эта картошка спасет их? Нет, старина... а вот недавно я встретил русского: собирал подаяние. Высокий, могучий — настоящий богатырь. И я ему: «Собирать подаяние стыдно», а он мне на чистом немецком языке ответил: «Стыдно грабить своих братьев, а собирать подаяние не стыдно: это заставляет голод». Ого! Как верно сказал!

— А тебе не было стыдно?

— Мне было очень стыдно, старина. Ох, как стыдно! Я подумал про себя: «Ты читал Маркса, Энгельса. Ты читал Ленина. Ты читал Сталина... тогда как же ты допустил, чтобы в твоей стране прохвосты взяли власть?» А ведь и я виноват в этом. И ты, старина, виноват в этом.

— Хватит каяться, Генрих. Ты лучше скажи: так и отпустил русского?

— О-о! Нет! Он почти каждый день бывает у меня. Я его угощаю кофе. Не в столовой. Нет. На это еще не хватает смелости, да и не надо: могут подсмотреть. Я ему даю бутылку и бутерброд. Он уходит за угол конюшни, пьет, кушает и бутылку возвращает мне. И мы говорим.

— И только? Говорите?

— Старина, не выматывай у меня. Одно скажу: этой картошкой всех не накормишь. Еще день-два — она созреет, и ее можно отдать им — по одной картофелине на человека. Это не спасет их.

— Я знаю, что спасет их, Генрих, — осторожно произнес Вольф.

— Знаешь?

— Угу.

— А почему не скажешь?

— Автоматы, гранаты еще лучше.

— Мудрое решение! Но... картошку в автоматы и гранаты не превратишь.

Так, обсуждая ряд вопросов, они открывались друг перед другом, и под конец Вольф сообщил:

— Одна женщина отправилась за оружием к чехословацким партизанам. Его надо умело передать через твоего богатыря пленного. Как звать его?

— Николай, так он назвал себя.

— Пусть Николай ведет дело. Мы с женщиной были в Саксонской Швейцарии, в горах. Но там дезертиры.

— Тот, кто сбежал от Гитлера, — не дезертир, старина. Но тут есть еще дело. Николай сообщил мне — они уже приготовили партию пленных. Под видом умирающих их переправляют в ближайший лес. В какой лес, не сказал. Но теперь таких набралось уже человек триста — четыреста. Куда нам их деть, скажи, старина?

— Да-а, тут сложная задача, — высшая политика, как высшая математика. Расселить по крестьянам? Но на сотню крестьян найдется один подлец и выдаст. Не выйдет. Надо подумать. Вот приедет женщина. Я жду ее.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В тысяча девятьсот сорок четвертом году Красная Армия нанесла врагу десять жесточайших ударов, в результате чего гитлеровцы были вышвырнуты с советской земли, а Красная Армия с боями вступила в Румынию, Венгрию, Болгарию, Чехословакию, Польшу, Восточную Пруссию, Норвегию.

Блок Гитлера развалился: бывшие союзники — Румыния, Венгрия, Финляндия, Болгария — объявили войну Германии.

Видя победоносное шествие Красной Армии и понимая, что она без поддержки американцев и англичан может расправиться с гитлеровцами, Черчилль наконец-то «пришил последнюю пуговицу на шинели солдата» и открыл второй фронт.

Этот «старый боевой конь» ринулся в Европу, крича на весь свет, что идет на выручку Красной Армии...

и нарвался на врага в районе Арденн. Здесь немцы прорвали фронт, намереваясь разгромить первую американскую армию, выйти к Антверпену, отрезать девятую американскую армию, вторую британскую, первую канадскую и таким порядком устроить второй Дюнкерк, чтобы вывести Англию из войны... И «старый боевой конь» захромал на все четыре ноги: он тайно, весьма секретно послал Иосифу Виссарионовичу Сталину умоляющее письмо такого содержания:

«На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Согласно полученному сообщению наш эмиссар, главный маршал авиации Теддер вчера вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно затянулась не по Вашей вине. Если он еще не прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января, и любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным».

Товарищ Сталин ответил Черчиллю:

«Получил вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года.

К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер еще не прибыл в Москву.

Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный

огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам».

В ответ Черчилль писал девятого января:

«Я весьма благодарен Вам за Ваше волнующее послание. Я переслал его генералу Эйзенхауэру только для его личного сведения. Да сопутствует Вашему благородному предприятию полная удача!»

Желая ускорить помощь союзным войскам на западе, Верховное Главнокомандование советских войск решило передвинуть срок наступления против немцев на советско-германском фронте с двадцатого января на двенадцатое января. И двенадцатого января тысяча девятьсот сорок пятого года было приведено в движение сто пятьдесят советских дивизий, с большим количеством артиллерии, авиации, которые прорвали немецкий фронт на протяжении тысячи двухсот километров, от Балтики до Карпат. Красная Армия взломала мощную оборону немцев, которую они создавали в течение ряда лет, и быстрыми, умелыми действиями отбросила врага на запад и этим самым выручила из беды Черчилля — этого «старого боевого коня».

Так в январе тысяча девятьсот сорок пятого года у Гитлера не осталось почти ни одной столицы «завоеванных» стран. Красные войска вошли на Балканы, вторглись в Пруссию, заняли Варшаву, Краков, стали перед стенами Данцига, Кенигсберга, Познани, Бреславля, Штеттина, готовя сокрушительный удар на Берлин.

Перед этим в Германии снова была объявлена всеобщая мобилизация — под ружье поставили старичков и юнцов, из которых были созданы своеобразные ополченческие полки, и печать закричала о новых, доба-

вочных силах, о том, что «Германия — сплошная неприступная крепость, особенно Восточная Пруссия», что «Гитлер в ближайшее время снова поведет армии на штурм мира», что «скоро будет пущено в ход новое секретное оружие», что «Гитлер сказал: «Да простит меня бог, но я сожгу Москву!» Во всей этой шумихе верным оказалось только одно: Восточная Пруссия действительно представляла собой неприступную крепость. За последние десятилетия здесь все строилось, приспособляясь к военным целям: хутора воздвигались не в низинах, а на возвышенностях, причем обязательно обносились колючей проволокой, рвами; нижние этажи домов, конюшни строились так, чтобы в случае чего немедленно превратить их в огневые точки, а самый хутор или поселок — в круговую оборону. К круговой обороне были приспособлены имения, замки, города. Граница Пруссии была так замкнута, что казалось, ее никому и никогда не преодолеть. Но Красная Армия в течение нескольких дней вдребезги разнесла хваленую оборону Пруссии, вторглась на ее территорию, расширила фронт направо и налево, создавая своеобразный «прусский котел». Это в первую очередь поняли «мирные» жители и, снявшись с насиженных мест, где больше ста лет не появлялась чужая нога, хлынули в Центральную Германию. Часть из них сумела прорваться, но большинство было отрезано с запада войсками Василевского, с востока — войсками Черняховского. Тогда жители метнулись на побережье Балтики, заполняя города, села и особенно Кенигсберг.

2

Армия Анатолия Васильевича Горбунова после штурма Бобруйска несколько раз переходила то в распоряжение Рокоссовского, то Василевского, то Баграмяна, а перед наступлением на Пруссию снова перешла в распоряжение Рокоссовского; с ней вместе перешла и Пятая Орловская дивизия, которой теперь командовал генерал-лейтенант Громадин.

Громадин, по совету Анатолия Васильевича не

вводил в бой свою дивизию ни за Прагу, ни за Варшаву: его дивизия после «минского котла» была пополнена партизанами. Это были люди храбрые, преданные, но, однако, еще не имели опыта и навыков регулярных войск. Они мастерски наносили удар врагу в лоб и скрывались в болотах, делали лихой налет на немецкий гарнизон и прятались в лесах, в любое время умели достать «языка», незаметно пройти линию фронта. Но здесь — в дивизии — нужно было и другое: стойко выдержать натиск врага в открытом поле, подпустить танки и всеми видами оружий «раздолбать» их, под убийственным огнем противника форсировать реку, взять штурмом город, уметь вести уличные бои. Всему этому партизаны еще не были обучены, и Громадин обучал их на мелких стычках с врагом.

Иголкин, Пикулев, Масленица, Яня Резанов и многие другие, с которыми Громадин сдружился за эти годы, теперь находились в его дивизии, и каждый занимал положенное место.

Первое время Яне было очень трудно: он не знал немецкого языка, да и тропы, леса, земля — все для него было чужое. Но вскоре нашел и здесь русских людей, насильственно угнанных из Советского Союза. С первым таким он встретился случайно. Тот, высокий, вихляющийся и тощий, копался на старом картофельном поле и пел степную заунывную, похожую на татарскую, песню. Яня в это время лежал под кустом, глубоко забившись под старый пень, согреваясь собственным теплом, как заяц. Услыхав песенку, он встряхнулся, сбрасывая с себя колючую серебристую изморозь.

«Ай-яй, длинный какой!» — и, поднявшись, пошел прямо на человека, издали кивая и приветствуя его левой рукой, пряча правую в кармане, придерживая острый сапожный нож.

— Здравствуй, здравствуй, земляк! — кричал он и, подойдя почти вплотную, спросил: — Откуда будешь, длинный такой, и как звать тебя?

— Неон, — ответил тот, спокойно рассматривая Яню. — Из Обояни я, под Курском. Знаешь?

— Курск знаю. Обоянь — нет. А отчего такое название чудное: Неон? Что за Неон, сроду не слыхал.

— Когда родился, отец подошел посмотрел на меня и сказал: «не он», — так и в загсе записал. С тех пор — Неон и Неон.

— Ревнивый, значит, отец-то?

— Эдакий. А ты откуда явился: из-под земли, что ль, да еще в лаптях?

— С той стороны, — сообщил Яня и многозначительно подмигнул.

— Эх! — наконец удивился Неон. — Это ведь километров пятьдесят, а то и больше. Куда ты залетел?

— Залетишь, ежели велят. Ты вот что, Неон... Фу — чудное звание! Вот что, домой тебе охота?

— Кому не охота! Пешком бы убег! Только скажи: «Неон, беги домой» — и припустился бы, аж пятки бы засверкали.

— Ишь ты, герой какой! Нет, ты допрежь заработай, а потом домой. Не то они опять вернутся к тебе домой. Тут нам надо с моим генералом полную разруху им произвести: окопались, черти полосатые!.. А вот стереть их укрепления с лица земли и ты давай помогай, тогда я генералу скажу: «Он-де, Неон, способствовал мне в делах великих, потому полное право имеет шагать домой». Много вас у хозяина-то работает?

— Да немало... четырнадцать человек: шесть нас, остальные — бабы, девки. Целый колхоз!

— Целый — не целый, а много. Ты вот что, Неон. Ты должен мне служить душой и телом, — сказал Яня словами генерала. — Мы тут с тобой организуем штаб! Эх, как я рад-то — натолкнулся на тебя! Верно, имя чудное, но, видно, душа хороша.

Вскоре Яня через Неона связался с русскими в Пруссии и перед дивизией Громадина расставил людей вплоть до старинного приморского города-крепости, дав каждому особое задание: одни должны были только собирать сведения, другие — готовиться к тому, чтобы во время отступления гитлеровских частей поджигать мосты, имения, рвать железнодорожное полотно, третьи — давать условные сигналы ракетами. —

то есть Яня перенес сюда все приемы партизан Белоруссии и сам уже не рыскал по разным местам, а жил на конюшне в имении генерала Фрисмана, того самого Фрисмана, который сдался красным войскам еще под Минском.

— Штаб наш тут! — не без гордости говорил Яня и отсюда управлял партизанами, через них же передавая донесения генералу Громадину.

А когда части маршала Рокоссовского разгромили оборону на границе Пруссии и хлынули на ее территорию, Яня врыл на боковине шоссе столб, прибил фанеру и написал: «Вот она, проклятая земля!», потом кто-то добавил черную стрелу, указывающую на Пруссию.

В прорыве линии обороны Восточной Пруссии приняла участие и дивизия Громадина. Бойцы, бывшие партизаны, сдружившиеся уже в регулярной армии — взводах, ротах, батальонах, полках, дрались смело, стойко отбивали яростные атаки врага, героически врывались во вражеские траншеи, окопы, били врага врукопашную, но через несколько дней Громадин, подсчитав «выбывших», ахнул, потому что дивизия уменьшилась больше чем наполовину: одни пали на поле брани, другие были ранены и отправлены в госпитали... И Громадин задумался: не было еще у него такого, чтобы через два-три дня боя из строя выбывало столько бойцов, а кроме того, когда из рядов партизан кто-либо выбывал, то его место немедленно же заполнялось людьми из народа — «животворящего источника партизанского движения». Стоило, бывало, Громадину кинуть клич, как со всех деревень, сел шли люди, брали в руки винтовки и становились на место погибших. А тут? Здесь пополнение надо будет просить у командарма, на что тот может сказать:

— Ты чего же это, вояка: арбузы, что ли, тебе люди?

Но Анатолий Васильевич, когда ему Громадин осторожно по телефону намекнул на убыль в дивизии, сказал совсем другое:

— Наступай. Наступай, генерал, без оглядки!

— Да я без оглядки, товарищ командарм.

— В голосе слышу оглядку! Наступай! И наступай главным образом ночью!

— А почему ночью, товарищ командарм? — растерянно спросил Громадин.

— Немецкие солдаты — дисциплинированные: днем они видят позади себя офицера и делают то, что им прикажут, а ночью не видят.

— Ну и что же? — все еще не догадываясь, спросил Громадин.

— Экий ты, а еще партизан! Ночью, стало быть, они смелее лапки поднимают. Понял? Ну и лупи в хвост и в гриву, пока лапки не поднимут!

— Но ведь товарищ командарм... лупить-то лупить, да чем лупить? — заикнулся было Громадин, решив в открытую сказать о том, как за эти дни поредела дивизия, предполагая, что это еще неизвестно командарму.

— Знаю. Все знаю: сколько убитых, сколько раненых. Но ведь основное сделано: прорвали оборону. Теперь лупи. Артиллерии подброшу.

3

Ждал ли кто-нибудь того, что случится, когда красные воины вступят на территорию Пруссии? Вряд ли. Верно, бойцы поговаривали:

— Ворвемся — и камня на камне не оставим!

— Мы их отучим соваться на советскую землю.

Но того, что случилось в первый же день, как только красные воины вступили на территорию Пруссии, никто не ждал. Вдруг всех бойцов, командиров, политработников обуяла безмерная ярость.

Даже такой человек, как Иван Кузьмич Замятин — мирный по своей натуре, любитель собирать грибы, бывший начальник моторного цеха, — и тот сорвался: подчиняясь чувству мести, он кинул танк на первый попавшийся домик, проломил его, откатил танк и снова кинул на второй домик. Он об этом не договаривался ни с Ахметдиновым, ни со Звенкиным. Не помня себя, только чувствуя одно — как в нем

неудержимо клокочет ярость, он начал мять и давить, «утюжить» кирпич, выбитые балки, мебель, в гуле мотора, в хрусте выкрикивая одно и то же:

— А-а-а! Мокрицы! А-а-а, погань! А-а-а, мокрицы!

Ахметдинов с силой вырвал у него руль, отвел танк к леску, на поляну. Тут они вместе, всем экипажем, выволокли Ивана Кузьмича через люк наружу и, бьющегося в судорогах, положили на порыжевший снег. Затем долго растирали ему виски спиртом, а когда Иван Кузьмич пришел в себя, приподнялся и еще непонимающе посмотрел во все стороны, Ахметдинов покачал головой и укоряюще сказал:

— Ах, товарищ майор! Плохо будет, полковник узнает. Сам вчера на митинге сказал: «Рука советского воина должна быть благородной». Что сегодня сделал? Ай-яй!

Иван Кузьмич сел на хрупкий снег, долго по привычке тер большим пальцем ладонь, затем раздельно произнес:

— Себя не помню. Это не я был.

— Майор должен всегда себя помнить, особенно командир танка. Как себя нельзя помнить! — Ахметдинов снова печально покачал головой, но на него прикрикнул всегда молчаливый Звенкин; вскинув длинные руки, как всегда, повторяя одно и то же, он закричал с визгом:

— Рвы, рвы забыл! Рвы! Дети там! Женщины! А ты забыл? Забыл! Рвы! Забыл!

— Я? Нет. Рвы не забыл. Детей, женщин не забыл. Но ведь наша рука должна быть благородной?

— Благородная! Благородная! Должна! Ну, должна! А они дави — и все, дави — и все!

— Не скандаль с ним, Звенкин, — приказал Иван Кузьмич. — Прав он, Ахметдинов. Рука у нас должна быть благородной: мы миру свет несем. В бою мни и дави, а тут... Зря. Нехорошо.

Как всегда во всяком движении — положительном или отрицательном, — один поступок вдруг становится выдающимся, — так получилось и тут: то, что сделал Иван Кузьмич, сразу всплыло на поверхность, стало угрожающим и очутилось в центре внимания не только

командира Добровольческого уральского танкового корпуса полковника Ломова, но и командарма Анатолия Васильевича.

Анатолий Васильевич срочно созвал штаб армии, пригласив полковника Ломова и представителей всех звеньев. Командиры и политработники, спеша на совещание, уже знали, в чем дело: «Командарм поставит вопрос о том, как утихомирить разбушевавшуюся ненависть». Когда все собрались и Галушко усадил приглашенных за длинный стол, покрытый все тем же зеленым сукном, из соседней комнаты вышел Анатолий Васильевич — напряженный, постаревший. Вынув из кармана листовку, где была опубликована статья под названием «Уничтожь немца!», командарм аккуратно разгладил ее и в тишине произнес:

— Печать — великая сила. Печать — помощник нашей партии. Но... но кто написал такое «Уничтожь немца!»? Подряд? Без разбору? Вот я стою на квартире у крестьянина. Четверо ребятишек. Старуха. Две вдовы. Что ж, давайте выведем их во двор и царап-царап. Так, что ли, товарищ редактор?

Все молчали, хмуря лбы, понимая нелепое содержание статьи, а редактор украдкой ухмыльнулся: он перепечатал статью из фронтовой газеты, а фронтовая газета для него являлась непререкаемым авторитетом, и он уже предвкушал, как сейчас станет неловко командарму: в то же время ему не хотелось ставить его в смешное положение, и он, попросив разрешения, подошел к Анатолию Васильевичу и шепнул на ухо, но шепнул так, чтобы слышали все:

— Эта статья перепечатана из фронтовой газеты, — и, пристукнув каблуками, громче добавил: — Разрешите сесть, товарищ командарм?

— Удивил! Слышали, удивил нас редактор! Ну что ж, раз во фронтовой газете опубликована сия штука, то давайте подряд уничтожать немцев. Давайте! Ну, Галушко! Выводи всех немцев из хаты во двор, редактор уничтожать их будет. Прекратить! — вскрикнул Анатолий Васильевич, расправляя могучие плечи. — Прекратить! Листовку изъять! Полковник Троекратов, — обратился он к начальнику политотдела

армии, человеку небольшого роста, с мягкими чертами лица и бархатным голосом. — Прекратить! Мы армия, несущая миру свободу, счастье и радость. Культуру! Понимаете, культуру, настоящую культуру!

Троекратов скрытно улыбнулся, но Анатолий Васильевич уловил эту улыбку и вспомнил, как однажды поспорил с ним о немцах. Это было еще под Орлом. Тогда Троекратов выдвигал как раз вот то, что сейчас сказал Анатолий Васильевич. Теперь, улыбнувшись, Троекратов поднялся и произнес:

— А помните, я говорил: немецкий народ — иное дело.

— У нас на земле не было немецкого народа, — зло кинул Анатолий Васильевич. — Был враг. А сейчас мы врага выгнали с нашей земли и пришли к немецкому народу. Вы долго думаете. Вроде диссертацию пишете. А политическое колесо быстро вертится. Эко до чего дошли — танком дома крестьянские рушить. Это, кажется, у вас, полковник Ломов?

— И очень хороший танкист, товарищ командарм, — встав, ответил Ломов.

— Чем? Отутюжил крестьянские домики? Вояка!

— Нет, это очень плохо: отутюжил. Но он добровольно вступил в танкисты, в бою прошел от Орла со своим экипажем. Несколько раз награжден, недавно ему присвоено звание майора, а вы подписали представление его к высшей награде — на Героя Советского Союза...

— И знаю! — прервал Анатолий Васильевич. — Вы думаете, я Ивана Кузьмича Замятина не знаю? Награждал, дескать, не зная человека, подписал представление, не зная человека? Знаю Ивана Кузьмича Замятина! Весь его экипаж знаю! И вот тут-то и беда, что именно такой благородный человек, как Иван Кузьмич, начал безобразным делом заниматься! Галушко! — позвал Анатолий Васильевич, а когда тот «вырос» перед ним, командарм сказал, сдерживая какую-то внутреннюю боль: — Полковник Ломов, рекомендую Ивана Кузьмича Замятина с танка снять. Отдать под суд. Галушко, представление о присвоении Героя Советского Союза Замятину задержать. А вы, полков-

ник Троекратов, перестаньте по всякому случаю писать диссертации. Сегодня же всюду оповестить коммунистов, что мы пришли к немецкому народу, а с народом надо вести себя как с народом, а не как с врагом. Понятно? Желаю успеха, товарищи...

От Анатолия Васильевича Ломов поехал отыскивать Ивана Кузьмича. На душе у полковника было тяжко: он прекрасно понимал, какое чувство побудило того кинуть танк на домик, и был уверен, что сам Иван Кузьмич уже раскаивается в своем поступке. Все это он прекрасно понимал и знал всего Ивана Кузьмича: его душевную теплоту, его мягкость, его преданность делу партии, его бесстрашие перед врагом. Но Анатолий Васильевич, прощаясь, еще сказал:

— Беспощадно боритесь с подобными безобразиями, особенно с мародерством, насилием. Дошли до меня сведения — шоферня занимается насилием. Расстреливайте таких перед фронтом! Беспощадно! А Ивана Кузьмича и мне жаль. Да ведь ничего не поделаешь: пожалеешь одного — погубишь тысячи, у нас дело такое, — командарм круто повернулся и, глядя на Троекратова, сказал: — А вам следует вести работу не только в армии, но и среди народа. Народ надо пожалеть, открыть перед ним путь к лучшей человеческой жизни. Ведь почти все живут в лесах, оврагах. Следует вернуть людей в настоящее жилье, рекомендовать выбрать бургомистров, открыть школы, магазины, общественные учреждения. Пусть народ видит, что мы настоящие друзья и помощники.

— Слушаюсь, товарищ командарм, — ответил Троекратов, — предложения разумные.

— А вы, полковник Ломов, разыщите Замятина... и скажите ему — иначе мы поступить не имеем права.— С этими словами Анатолий Васильевич и покинул комнату.

Все танки стояли в укрытии, только один, на борту которого было выведено «472» и мелом «Мстим за Саню!», серел на открытой поляне, а неподалеку от него под деревцем сидел весь экипаж во главе с Иваном Кузьмичом и молча пил чай. При появлении пол-

ковника все встали, поздоровались, а тот махнул рукой, сам первый присел и попросил:

— Налейте-ка, знаменитые чаевники. Не от чаю ли грех-то сотворили? — проговорил он, смеясь, приготовляя Ивана Кузьмича, смягчая удар.

— Да, сотворил уж, товарищ полковник, — ответил Ахметдинов, быстро наливая чай и тут же заваривая новый. — Чай здесь не тот. Чай надо с богородской травкой — от чай! А то еще с вишней. От чай! А то с изюмом, с курагой! Наши казанские татары всегда любят с курагой, товарищ полковник, — и, видя, что его никто не слушает, и предчувствуя, что полковник привез что-то страшное для всего экипажа, Ахметдинов сказал: — А они этого и стóят, товарищ полковник: их надо мять и давить. Где встретил, там мни и дави!

— Ишь ты, повернулся как! Повернулся как! Как повернулся! — удивленно проговорил Звенкин.

Ломов отодвинул кружку с горячим чаем, посмотрел на экипаж и остановился на Иване Кузьмиче, подмечая, что тот осунулся, постарел: у него даже глаза потемнели.

— Обсуждали, значит? — спросил он Ивана Кузьмича.

— Да, — Иван Кузьмич долго смотрел в ладонь, растирая ее пальцем, потом кинул, точно вбивая гвозди в дуб: — Не могу к своим товарищам танкистам подойти: вроде заразный стал. Эх!

Ломов помолчал, отхлебнул из кружки чай, затем глухо, не глядя на танкистов, произнес:

— Приказ есть приказ, Иван Кузьмич.

— Понимаю, — смиренно ответил тот. — Все понимаю, товарищ полковник. Набедокурил — получай.

— Я думаю вот что, — чуть спустя, отхлебывая из кружки чай, заговорил полковник. — Вы со своим экипажем давно в бою... не отдыхали. Ну-ка, в самом деле, какое расстояние прошли и сколько раз в боях были! Отдохнуть надо. Приказ приказом, а человек человеком. Откатите танк в тыл, отдохните, а там видно будет.

— Это вы большой урон хотите экипажу нанести, —

бледнея, возразил Иван Кузьмич. — Нет уж, я набедокурил, я и перед лицом суда встану. Карайте меня, товарищ полковник, а не всех.

— Карайте! — закричал полковник. — Карайте! Легко сказать, карайте! Вот я бы такое сделал, вы бы легко меня карали, Иван Кузьмич?

Иван Кузьмич снова посмотрел в ладонь, затем сказал:

— Своего человека карать трудно, тяжко даже, но государственные дела превыше всего.

4

Армия Анатолия Васильевича Горбунова, развернувшись на десятки километров вправо и влево, двинулась на приморский город — древнюю крепость. А здесь, в тылу (Ивану Кузьмичу даже казалось, что его танк ушел за тысячи километров), здесь, в тылу, догорали пожары, появились из лесов и оврагов мирные жители, вставляли стекла из осколков, затапливали печи, и жизнь снова водворялась в городах и селах: всюду возникали стихийные митинги, на которых выступали люди подполья и те, кто до сих пор говорил только глазами.

Иван Кузьмич в ожидании суда жил в том же доме, в котором квартировал Анатолий Васильевич, — у лавочника Рудольфа Клебера. У него две снохи, молодые, румянощекие, Анна и Марта. Мужья у них убиты в «минском котле». Эти слова вдовы выучили по-русски и произносили так: «миниски котел». Но они, видимо, недолго горевали о погибших мужьях, потому что жировали, как телицы на весеннем выгоне, не брезгуя ни немцем-калекой, ни прохожим. Больше интересовались, конечно, теми, от кого кое-что перепадало.

«Ну и суки!» — подумал Иван Кузьмич, наблюдая за ними, и однажды сказал старику Рудольфу Клеберу:

— Да на какой пес они, потаскухи такие, у тебя? Задери им юбки, всыпь хорошенько! — и показал, как это надо делать.

Рудольф Клебер вполне понял его и стал объяснять, покачивая головой, морщась, что, дескать, самому брать нельзя: собственность неприкосновенна... но если это берет и дает другой человек, тогда можно.

— Пакость какая в ваших башках завелась! — ответил на это Иван Кузьмич и, сплюнув, перестал беседовать с Клебером, только думал: «Экий! Дескать, от снох не убудет, а у меня в доме прибудет! Ну, ну! Цивилизация!» — и снова затосковал, не зная, что делать, куда себя деть, ожидая, что через день-два состоится суд: вчера с Ивана Кузьмича сняли погоны, хотели было забрать ордена, но он их отвинтил сам, завернул в суконку и произнес:

— Это умрет со мной!

— Ну что вы, Иван Кузьмич! — воскликнул следователь, молодой лейтенант, чем-то очень похожий на погибшего еще под Москвой сына Ивана Кузьмича Саню, имя которого и было написано на борту танка.— Что это вы сразу и за смерть! А может, ничего и не будет. Преступление, конечно, подлежит каре, но, однако, принимая во внимание, и прочее, и прочее. Знаете ведь?

— На войне «прочего, прочего» нет, дорогой товарищ младший лейтенант. Пример я показал нехороший, и на мне могут показать пример, чтобы больше таких примеров не было. — Иван Кузьмич запутался в «примерах» и покраснел, добавляя: — Что-то говорить я стал, как Звенкин.

Ивану Кузьмичу казалось: суд будет жестокий. А главная тяжесть — отстранен от битвы. От последней битвы. Люди скоро сядут за стол Победы, а Иван Кузьмич?

— Эх! Эх! — вздыхал он, шагая из угла в угол по комнате, припоминая председателя военного трибунала Сухова.

У Сухова длинные пепельные усы, и он поводит ими свирепо, как черный таракан. И голос у него грубый, глаза сердитые, и, несмотря на свою фамилию — Сухов, он довольно полный и сырой... И еще томила Ивана Кузьмича тишина: отгремели раскаты артиллерии, выстрелы, разрывы бомб, лязг танков... На

кирке сегодня утром ударили в колокол. Звенькает колокол, бренчит как-то... и жируют вдовы Рудольфа Клебера, а сам Клебер радуется: много натаскали к нему в дом вещей. Он чинит их, клеит рамы, подшивает ковры, выправляет беленькие детские коляски. Зачем ему столько колясок? Уже девять натаскали! Конечно, потом продаст тем же, у кого стащили.

«Что за человек такой? Страну разносят вдребезги, а он коляски собирает, снохи жируют!» — думает Иван Кузьмич, не только удивляясь, но и не понимая, как можно так вести себя, когда на родину упал смертельный огонь.

И тишина нарушилась...

Из Москвы прибыл, остановившись на пару дней, полк пехотинцев, предназначенный форсировать Одер перед Штеттином. Все это были молодые люди, прекрасные пловцы, большинство — кавалеры ордена Славы, побывавшие в пекле войны, затем собранные под Москвой, где они детально «разобрали» реку Одер, не раз «форсируя» ее и «штурмуя» Штеттин.

Сухов все эти дни ворчал на следователей, на членов трибунала, как человек, больной хроническим насморком, но, узнав о прибытии полка, возрадовался:

— Везет нам! Везет! Есть публика! — и тут же отправился к командиру полка, прося у него, чтобы тот наутро выстроил полк на окраине леса, где Сухов будет «судить преступников».

— Шофера за изнасилование немок и майора за нарушение Устава. Пусть это послужит примером, — доказывал он командиру полка, человеку лет тридцати пяти, но тот сморщился, сказал:

— Для моих бойцов не нужны примеры: они уже видали виды.

— Били фашистов? — спросил Сухов.

— Били.

— И насиловали?

— Этого не было.

— Но у вас все же молодежь, которую учить надо. Вспомните свои молодые годы, — и Сухов повел усами.

Командир полка намеревался было выругаться, затем, увидав, как смешно поводит усами Сухов, сказал:

— Хотите коньяку? Из Москвы везу. «Арарат». А есть и «ОС».

Но ни «Арарат», ни «ОС» не соблазнили Сухова: до войны он был прокурором и любил произносить зажигательные речи.

5

Наутро батальон пехотинцев — герои ордена Славы — выстроился на опушке соснового леса. Они стояли молча, сурово и недовольно посматривая на стол, за которым уже восседали Сухов, члены трибунала и молоденький секретарь. Сухов, вооружившись очками, артистически то снимая, то надевая их, просматривал какие-то бумаги. В стороне от стола, при часовых, стояли Иван Кузьмич и шофер Елисеев. Иван Кузьмич был хмур. Елисеев, наоборот, весело посматривал на всех, пытаясь насвистывать, что ему не давал делать часовой.

«Да. Да, — думал Сухов, просматривая «дело», — сейчас я покажу симфонию. Я покажу им всем, какая это музыка, тем более — материал блестящий! Начну с шофера. Экий вертлявый!»

Первым к столу подвели шофера. С ним вместе прихватили и Ивана Кузьмича, но поставили чуть поодаль, на виду у пехотинцев. Иван Кузьмич весь задрожал, сгорая от стыда: лучше бы уж сразу засудили, чем вот так выставили на глазах у молодых бойцов. А Елисеев держал себя так же, как и до этого, вихляясь на длинных ногах, стараясь что-то насвистывать, махал руками, заговаривал с часовыми, а когда Сухов посмотрел на него, он небрежно козырнул, затем шагнул вперед и хотел было присесть рядом с членами трибунала, но часовой рванул его за рукав и, сдерживая злобу, сказал:

— Стой-ка и отвечай! — и тут же с упреком кинул Ивану Кузьмичу: — Ну, шоферня — известное дело, да еще молодой, а ты-то как влетел? Эх, ты!

«Да, так и есть, и меня считают насильником, — подумал Иван Кузьмич, и с этой минуты ему стало еще тяжелей. — Скорей бы кончали!» — с тоской решил он.

И суд начался.

Сухов спросил Елисеева, как его фамилия, как звать, отчество, сколько лет, где родился, какова профессия, кто родители. Елисеев на все это отвечал отрывисто, то и дело сплевывая в сторону, как бы говоря: «Чушь какую второй раз спрашивают», — а когда майор, член трибунала, задал ему вопрос, давно ли он работает в качестве шофера и сколько лет на войне, Елисеев искривил губы, хотел было сплюнуть, но сдержался, сказал:

— А ну, сворачивай! Давай настоящую дорогу, товарищ майор! Нечего морочить! Давай сворачивай!

— Он, во-первых, вам не товарищ, а гражданин, — поправил его Сухов, удивленно глянув Елисееву в пустые, как кисель, глаза и почему-то с тревогой думая: «Ну субъект! Откуда такой выискался? Впервые вижу! Сорвет мою симфонию!» Он заранее приготовил речь, в которой бичевал все пороки мира, и ждал, что подсудимый будет просить прощения, плакать и тогда Сухов добавит к своей речи, что-де вот как «закрался капитализм в душу юноши и толкнул его на не присущее ему преступление», а тут стоял «цельный капиталистический элемент», и Сухов, смутившись, спросил:

— Скажите, подсудимый, вы с умыслом или без умысла свершили тягчайшее преступление, изнасиловав четырех немок?

— Тормоза сдали.

— То есть, не понимаю?

— Колодки спалил.

— Тоже не понимаю.

— Ну, на каждой машине есть тормоза-колодки. В голове у человека, как я полагаю, тоже есть тормоза-колодки! Понесся и — хлоп, спалил колодки. Такое бывает и с первоклассными шоферами, а я имею второй разряд. Вдруг раз — и обратно колодки спалил.

— А вы понимаете, как опозорили нашу армию?

— Чем это... колодки спалил?

— А тем, что надругались над женщинами.

— Что ж им, песенки, что ль, петь?

— Да-а-а! — протянул пораженный Сухов. — За-

конченный элемент! — и, спросив членов трибунала, есть ли у них вопросы, на что те ответили отрицательно, предложил: — Выносим приговор!

Вскоре приговор был зачитан перед фронтом, и когда прозвучало слово «расстрел», пехотинцы облегченно вздохнули, и кто-то даже крикнул:

— Таких гадов надо без суда и следствия в расход пускать. Вон еще стоит! Чего время тратить, обоих разом прикончить!

А Елисеев, услышав слово «расстрел», сплюнув, сказал:

— Шуточки!

Но его отвели от стола. Исполнитель поставил осужденного лицом к овражку, вынул наган и выстрелил в затылок. Показалось красное пятнышко. И Елисеев, схватясь руками под коленки и падая на спину, как-то осторожно согнул голову к груди, словно боясь зашибить затылок.

Его столкнули в овражек и быстро закопали.

6

«Позорный конец! Куда лучше умереть на поле брани, чем вот с таким позором!» — подумал Иван Кузьмич, в ужасе представляя, что вот скоро и его отведут к тому же овражку, так же исполнитель вынет наган, выстрелит ему в затылок и он так же схватится руками под коленки и, падая, будет беречь затылок. И перед Иваном Кузьмичом заново пронеслась вся его жизнь: Красная Пресня, где он бегал по закоулкам, отец — бородатый Кузьма, погибший на баррикадах в тысяча девятьсот пятом году, подмосковная деревня, куда после смерти мужа переехала мать, и опять завод... Революция. А вот он уже взрослый человек... Начальник цеха. Два сына: один инженер, другой летчик. Гибель сына Сани... И ни одного черного пятна в жизни...

Сухов спросил, как его звать, где родился, кто родители, женат ли, давно ли в армии, то есть он спрашивал о том, о чем уже расспросил следователь, но тот

задавал вопросы мягким голосом, вселяя в Ивана Кузьмича надежду, а этот пронзает его серенькими маленькими и до чего же злыми глазками!

— Считаете ли вы себя виновным в своем тягчайшем преступлении? — долетели до Ивана Кузьмича слова Сухова.

— Да. Признаю, — глухо ответил он и тут же добавил: — Но то был не я.

Наступила тишина.

Пехотинцы, стоявшие под соснами, не договариваясь, один за другим приблизились к столу и плотным кольцом окружили его.

— Значит, не вы, а кто-то другой кинул танк? Кинул — и давай мять. Так, что ль? — строго спросил Сухов и, еле слышно засмеявшись, добавил: — Каждый преступник свое преступление старается на кого-то или на что-то свалить. Это еще сказано в римском праве. Отвечайте, подсудимый.

— Римского права не знаю... но никогда не лгал, это знаю.

— Значит, что ж, кого-то судить нам, а вас отвести вон к бойцам? Так, что ль? — еще суровее спросил Сухов и зашевелил усами.

— Вам дано право судить, а я подсудимый: что сделал, то сделал... а что не делал, того не делал, — вскипел было Иван Кузьмич, но тут же одернул себя: «Не горячись. Ты виноват, ты и ответ держи».

— Ну и говорите прямо, — прервал его Сухов.

— Говорю прямо: достоинство терять неспособен даже перед смертью. Говорю: виноват. Говорю: не помня себя, свершил преступление.

Среди пехотинцев пошел гул, говор. Все громче и громче, и вдруг все это слилось в одном слове:

— Родионова! Родионова! Родионова!

Тогда из толпы вышел молодой боец с глубоким шрамом на щеке и, заикаясь, выкрикнул, обращаясь к Сухову:

— Разрешите выразиться?

— Митинг тут, что ли? — оборвал его Сухов.

Тогда из рядов пехотинцев полетело:

— А зачем же нас сюда выставили?

— У него душа горит, у Родионова. Дайте ему слово!

— Значит, вроде свидетеля хочет выступить? — произнес Сухов, когда крики смолкли. — Можно.

Родионов вздохнул, разгладил грудь и начал:

— У меня была сестренка... Нюра. Такая маленькая — на горбу я ее все носил. Куда пойду — ее на горб — и пошел себе, пошел.

— Любил, значит! — сказал кто-то из толпы. — Слушайте, слушайте, товарищ председатель воентрибунала!

— Да и как не любить: сестра. Эх! — подхватил еще кто-то.

— Так вот. Выросла она. Десятилетку окончила. Шутка, десятилетку! Ну, мы с мамой ее в институт направили — на доктора. Учись, Нюра, радость ты наша! Два года проучилась. Красавица! Нос такой вздернутый, задорный, глаза голубые, все на свете знает: хотите, про человека, строение его, хотите, про землю: про руду там, про уголь, про нефть и всякое прочее. Ну, война. Нюра: «На фронт пойду». Говорю ей: «Нюра, я иду, хватит. А ты учись. Доктором будешь. У нас в роду Родионовых, кроме пастухов, никого не было, а тут доктор, понимаешь ты, величие какое». А она свое: «На фронт». Не сдержать, — Родионов скрипнул зубами: — В Орле с виселицы я ее снял. Повесили, гады, Нюру! Жизнь оборвали!.. И я вас... я тебя, отец, понимаю: месть неудержимо вскипела! — вдруг неожиданно закончил Родионов и шагнул к Ивану Кузьмичу, хотел было пожать руку, но так разволновался, что промахнулся и пожал руку выше ладони.

Иван Кузьмич дрогнул, глотнул слезу, сдержался, а Сухов обратился к Родионову:

— Что ж, стало быть, пленных надо уничтожать?

— Пленных — нет. Однако, товарищ председатель воентрибунала, всегда в озноб меня кидает, когда увижу их, и рука сама к автомату тянется.

— А приказ — не трогать?

— Вот это и удерживает: дисциплина.

— А подсудимый нарушил дисциплину.

— Не он. Месть нарушила дисциплину. У отца, наверное, горести и мести на душе в тысячу раз больше, чем у меня.

На поляну выскочила легковая машина, остановилась неподалеку от стола. Открылась дверка. Вышел Галушко и, привалясь к крылу, пристыл. Все недоуменно посмотрели на него, а Сухов, узнав в нем адъютанта командарма Анатолия Васильевича, весь собрался, поправил пальцем воротничок, затем поднялся и произнес речь. Говорил он хорошо, образно, развивая то, что сказал недавно на совещании Анатолий Васильевич, подчеркивая все это так, чтобы дошло до Галушко, и особенно крепко «насел» на статью «Уничтожь немца!», в точности повторяя сказанное командармом. Речь его была правильная, образная, действительно «симфония», но она никого не волновала, в том числе и Галушко. Пехотинцы перешептывались, произнося одно и то же: «Дисциплина. А если бы не она, то полетели бы с врагов башки!» Сухов говорил, то и дело поглядывая на Галушко, а тот стоял, будто замер, затем оттолкнулся от крыла, подошел к столу и произнес:

— Подсудимого майора Ивана Кузьмича Замятина требует к себе маршал Рокоссовский. Как нарушить суд не знаю, и ждать не могу.

— Мы закончили, — торопясь, ответил Сухов и, поводя усами, обратился к членам трибунала; пошептавшись минут пять, он поднялся, а секретарь зачитал приговор, в конце которого было сказано: «Дело подсудимого Ивана Кузьмича Замятина передать на новое рассмотрение».

Иван Кузьмич весь сжался, подумав:

«Эх, затянется теперь!» — и только в эту секунду до его сознания дошло, что его вызывает Рокоссовский.

7

Стальное кольцо вокруг приморского города — древней крепости — сжималось с неумолимой силой и присущей войне жестокостью.

Анатолию Васильевичу через Громадина было из-

вестно (а Громадин все это знал по донесению Васи), что восточнее приморского города, в районе Либава — Виндава, все еще стоит пятисоттысячная армия немцев, что она настроена панически и устремилась к морю — на корабли, стараясь как можно быстрее перекинуться в Центральную Германию, хотя приказа на это от Гитлера еще не получала. Было известно и другое: начальник генерального штаба Гудериан несколько раз предлагал Гитлеру перебросить эти войска ближе к Берлину, на что последний или отмалчивался, или истерически кричал: «Вы вмешиваетесь в мои функции!» Яня Резанов собрал сведения другого порядка: в приморском городе-крепости до ста тысяч немецких солдат и офицеров.

— А главное, — докладывал он, — все улочки, переулочки, площади, дома, подвалы — все забито женщинами, стариками, детьми и барахлом на беленьких детских колясках, — его больше всего поражало, что коляски беленькие.

Анатолий Васильевич в согласовании с маршалом Рокоссовским, не желая напрасного пролития крови, особенно мирных жителей, направил коменданту приморского города ультиматум о сдаче в течение трех дней всего гарнизона. В ультиматуме было указано, что жизнь и честь жителей, солдат и офицеров будут полностью сохранены, офицеры останутся при холодном оружии, а пленным будет предоставлено все, что полагается по международному праву. С ультиматумом послали переодетого в офицерскую форму — что он, конечно, давно заслужил — Яню Резанова.

На эти три дня смолкли советская артиллерия, минометы, пулеметы, застыли на своих местах танки. Все полагали, что комендант приморского города окажется разумным человеком и примет ультиматум.

В ожидании ответа советские войска, однако, готовились к штурму крепости: командиры дивизий, полков, батальонов приводили в порядок свои подчиненные части, производя полный и точный подсчет наличия живой силы и техники.

Громадин был весьма расстроен: живой силы, спо-

собной носить оружие, в его дивизии осталось четыреста двенадцать человек. Верно, очень много было пушек, танков, минометов, пулеметов.

— Почти на каждого бойца пушка или пулемет, — докладывал он Анатолию Васильевичу, — но нет бойцов, товарищ командарм... четыреста двенадцать. Разве это дивизия?!

Анатолий Васильевич за это время очень устал: он вел бои главным образом ночью. Надеялся отоспаться днем, но каждый раз находилось столько дел, что было не до сна. И теперь ему очень хотелось спать, потому он, отмахнувшись, сказал:

— На Одере получишь, генерал. Давай спать.

Из этого Громадин понял, что ему еще придется драться на Одере и что от командарма здесь он не получит пополнения. Распростившись с командармом, пожелав ему «спокойного дня», он отправился к себе в штаб, расположенный на окраине городка, уцелевшей от бомбежки и артиллерийских снарядов.

Штаб помещался в двухэтажном доме, довольно обширном, но сам Громадин занимал только нижний этаж, верхний держал на всякий случай для командарма: Анатолий Васильевич иногда заезжал к нему и, как шаловливый мальчик, говорил:

— Убег я от своих! Схорони меня, генерал, дай поспать часа два-три. Выпил бы я сейчас, да зарок дал: в Берлине выпью.

— Для пользы дела можно и сейчас, товарищ командарм, — уговаривал его Громадин, ведя в «укромный уголок», где уже была приготовлена постель.

— Нет. Для пользы дела надо всегда держать слово, — произносил Анатолий Васильевич и, раздевшись, валился на кровать, говоря в шутку: — Поехал к Морфею, богу сна.

И теперь Громадин, приближаясь к своему местожительству, думал:

«И я сейчас отправлюсь к Морфею. Греки, видно, спать тоже любили, если бога сна придумали», но, войдя в квартиру, столкнувшись на пороге с Масленицей, он грубовато, в чем, однако, слышались любовь и дружба, прикрикнул:

— Катись! Катись на перекладных! Дай поспать.

— Да я бы, товарищ генерал, с полным удовольствием, но дело-то такое — не частое, а самое что ни на есть редкое.

— Ну, говори, да и валяй.

— Татьяна Яковлевна оказалась тут. Замок неподалеку: она, стало быть, в замке вроде в плену, а с ней вместе и хозяйка, баронесса какая-то.

Громадин все это вначале слушал через дрему, которая целиком овладела им, но под конец встряхнулся, взял за локти Масленицу и спросил:

— Ты не спишь? А?

— Да я отоспался сегодня, товарищ генерал.

— Значит, Татьяна Яковлевна? Праздник! Вот это праздник! Садись в машину и немедленно доставь ее сюда, — а войдя в комнату, басом грохнул: — Прибрать все! Вычистить! Цветов! Ах, чорт, где теперь возьмешь цветов?.. Ну, китель мне новый! Побрить меня! Эй! Адъютант! — растерянно присел за стол, снова ощутив совсем не командирское чувство к Татьяне, и оно на какие-то минуты тепло овладело им.

«Старый дурак, чего ты!» — обругал он себя, но чувство жило в нем, как солнце на небе — не уберешь, не погасишь, — и, чтобы подавить это чувство, он стал с тревогой думать о другом. Вася уже давно сообщил ему, что Николай Кораблев и Сиволобов успешно ведут работу в «Центральном лазарете», неподалеку от Дрездена, что к этому же «Центральному лазарету» прикреплена и Татьяна. «Знает ли она о том, что Николай Степанович там? Какой чудак Вася, почему он мне не сообщил? А вдруг она не знает, что Николай Степанович там. Сообщу — она и полетит туда сломя голову: женщина, долго не видевшая любимого человека, способна переплыть океан. А вдруг так: я ей скажу: «Николай Степанович на Урале», а она мне: «Ай-яй, генерал! Да мы виделись с ним». Эх, ты! Вот задача!»

Парикмахер его брил, как всегда, но ему казалось, что он все проделывает весьма медленно.

— Скорее!.. Что ты ползешь, как плесень! — гово-

рил он, думая: «Войдет Татьяна Яковлевна, а я за бритьем! Еще подумает: «Для меня бреется старый дурак!»

Во время бритья ввалился было в комнату Иголкин, намереваясь о чем-то доложить, но Громадин кинул:

— Что у тебя, горит? Распорядись лучше, чтобы ко мне никого не пускали.

Побрившись, переодевшись в новый костюм, он хотел было нацепить ордена, но раздумал: «Скажет, нарядился!»

8

Татьяна вошла не одна. Она вела впереди себя крупную женщину, очень похожую на бабу, какую ребята лепят из снега: круглая и толстая, щеки свисали и тряслись, а на всем этом — толстом и дряблом — красовались шелка, кольца, янтари и шляпа с широкими полями. Татьяна шла за баронессой, поддерживая за локоть. На ней тоже были шелка, браслеты, янтари, шляпка, но все это украшало ее — румянощекую, смеющуюся одними только глазами.

Когда они вошли в комнату и когда Громадин, встав из-за стола, шагнул навстречу, намереваясь дружески обнять Татьяну, она, опередив его, низко кланяясь, подмигивая, сказала:

— Господин генерал. Я русская. Судьба забросила меня в Германию. Но я и моя гостеприимная баронесса никогда не приветствовали Гитлера.

Услышав слово «Гитлер», та затрясла щеками, произнося:

— Найн. Найн. Гитлер — найн.

«Ишь ты! — подумал Громадин. — У всех теперь Гитлер — пес!» — и, вполне понимая игру Татьяны, сказал на ломаном немецком языке, обращаясь к баронессе:

— Мы победили. Но мы благородные люди. Чем могу служить, баронесса? — и отвесил ей низкий поклон.

— О-о-о! Вы знаете, генерал, наш язык? — удив-

ленно протянула баронесса и запыхтела, отыскивая в ридикюле платок.

— Ух, как вы по-немецки научились! — тихо смеясь, на русском языке проговорила Татьяна и, кивая на баронессу, добавила: — Это моя зацепка. Я только через нее могу теперь попасть в Германию. Уж очень стремительно вы наступаете: и меня в плен захватили.

— Что же теперь с ней делать? — спросил Громадин.

— Она очень любит спать. А эти дни было не до сна. Прикажите, чтобы ее отвели куда-нибудь в тихое место: ляжет и проспит дня два. Может, у нее это болезнь: спит и кушает, как корова.

«Да. Что же делать? Наверх: там две кровати. А вдруг командарм нагрянет? Что же делать?» — подумал Громадин и предложил:

— Там, наверху, есть место. Идите и ведите свою куклу.

— Очень хорошо. Я, конечно, побуду там, пока она не уснет, потом разрешите доложить вам?

— Конечно. Конечно.

А когда Татьяна и баронесса поднялись на второй этаж, Громадин подумал: «Да ведь она стала еще красивей... и умнее... Ну, ну, старый дурак! Чего расхваливаешь!» — и он зашагал из угла в угол, громко покашливая, слыша, как наверху топают дамские каблучки. Покрутившись по комнате, он, как вкопанный, остановился перед окном: к крыльцу подкатила машина, из нее выскочил сначала Галушко, а затем и командарм.

— Вот те раз, спать приехал! — воскликнул Громадин и кинулся встречать Анатолия Васильевича.

Вскоре они вошли в комнату, и Анатолий Васильевич начал было по-мальчишески озорно:

— Убег я, генерал, от своих!.. Клади меня в постель, поеду к Морфею.

— Да-а, — смущенно протянул Громадин. — Клади... Было бы куда, товарищ командарм!

— А что? Клопы? Чорт бы их побрал, немцев: на весь мир кричали, что у них нет клопов, а везде клопы!

— Клопы что, товарищ командарм: покусают и бросят. А тут дело такое: Татьяна Яковлевна заявилась.

— Кто это — Татьяна Яковлевна?

— Жена Николая Степановича Кораблева. Помните, у вас в армии гостил?

— Ну? — и Анатолий Васильевич тяжело присел. — Явилась? И где она?

— Там, — Громадин махнул рукой в потолок. — Не одна, с баронессой. Вы ей насчет Николая Степановича ни гу-гу. Так, приглядимся, прошу вас.

— Дела-а-а!.. Значит, и у тебя не посплю. Дела-а-а! А про Николая Степановича, конечно, ни гу-гу. Фронт у тебя, генерал сложный!

— Еще бы, — серьезно подтвердил Громадин. — Может, они уже там встречались: рядом ведь работают, а мы тут бухнем что-нибудь такое. Да вон она, кажется, и идет. Слышите, топает каблучками.

Татьяна не вошла, а вихрем ринулась к Громадину и, целуя, воскликнула:

— Кузьма Васильевич! Я ведь только теперь вся своя! Батюшки, как я рада! Как я рада видеть вас! — и оборвала, глядя на Анатолия Васильевича, который отошел в сторонку и оттуда изучающе рассматривал ее.

— Ну вот она какая, товарищ командарм... Татьяна Яковлевна. Знакомьтесь.

— Это вы наш командарм? — уже серьезно проговорила она, подавая руку.

— Зовите меня Анатолием Васильевичем, — отвечая на ее пожатие и глядя в глаза, произнес командарм. — Понимаю. Понимаю, почему вы так безраздельно любите друг друга.

— Кто? — дрогнув, показывая на Громадина, спросила Татьяна. — Мы?

— Ну что вы! Даже намека нет. А Николай Степанович?

— А вы разве его знаете? — Татьяна шагнула к командарму.

— Гу-гу! Гу-гу! — как бы напевая, прогремел басом Громадин.

— Да. Конечно. То есть... — Анатолий Васильевич

спутался: он был уже готов рассказать ей о том, как Николай Кораблев гостил у него в армии, что они говорили о Татьяне, но услыхав «гу-гу», смешался, сказал: — Я, конечно, знал его... еще до войны. На Урале.

— Батюшки! Как меня волнует, когда я встречаю просто знакомых Николая Степановича! — Она присела, но тут же, что-то вспомнив, спросила: — До войны? на Урале? Но ведь он там не был до войны. Вы, Анатолий Васильевич...

— Хотите сказать, говорю неправду, — укоряюще посмотрев на Громадина, произнес командарм. — Да. Неправду говорю. Я его видел под Орлом... в армии. Приезжал он искать вас. Жил у меня. После взятия Орла отправился в село Ливны.

— В Ливны? — с дрожью в голосе сказала Татьяна.

— Да. А потом... потом я не знаю, — сердито закончил Анатолий Васильевич. — Потом у Громадина спросите.

— Ох, ох, ох! — заохал Громадин. — А потом... потом на Урал отправился, — уже понимая, что Татьяна не виделась под Дрезденом с Николаем Кораблевым, продолжал он.—И вот недавно прислал: «Люблю тебя». Ну что ж, может домой, Татьяна Яковлевна? Командарм даст самолет — и за один день вы на Урале, — испытующе, весьма сердито и недовольно предложил Громадин. — Мы довоюем тут, а вы — домой.

— Домой? Ах, как хочется домой! Но, товарищи... разрешите мне так называть вас?.. Давно не произносила я этого слова... товарищи. Красивое слово! Доброе! Домой?— задумчиво и с грустью произнесла она и, вдруг тряхнув головой, закончила: — Нет. Довоюем! Ведь скоро победа? Там, в Германии, этого многие ждут: коммунисты, рабочие, вообще все честные люди.

— Все ждем, — любуясь ею и видя в ней что-то общее со своей женой Ниной Васильевной, проговорил Анатолий Васильевич.

— Ждем! Ждем! — грохнул басом Громадин так, что Татьяна вздрогнула, затем залилась звонким, заразительным смехом, произнося:

— А голосок-то у вас все такой же!

— Да-а, не провоевал! — Громадин прикрыл ладошкой рот и, кивнув в потолок, сказал: — Как бы барыньку не разбудить!

— Ну-у! Она спит — из пушек пали. Так, значит, Анатолий Васильевич, вы видели Николая Степановича?

— Видел. Беседовал.

— Можно его любить? — спросила Татьяна с детской откровенностью.

— Другого нельзя, Татьяна Яковлевна. Ну, а как вы там жили? — участливо проговорил Анатолий Васильевич, все собираясь сказать ей, что она чем-то напоминает ему его жену.

И Татьяна рассказала все: и то, как она попала в Пруссию, как спаслась, вывесив всюду красную материю в замке, как жила эти годы в Германии, какое там настроение, потом перешла к военнопленным, сообщив о том, что в ряде лагерей уже произошли восстания.

— А я? Я прикреплена к «Центральному лазарету» — это самый страшный лагерь в Германии. Я в нем еще не была: работаю со стороны. Но там действует мой друг, старик Вольф. Он мне сказал, что военнопленными руководит кто-то из русских — «человек огромного роста и с железным сердцем», как выразился Вольф. В этом лагере все наготове. Тысяч пять пленных уже переправлены в горы, главным образом к чехословацким партизанам, где, кстати, находится и Петр Иванович Хропов.

— Надо торопиться с восстанием, — подхватил Громадин, дабы вселить в Татьяну еще бо́льшую веру. — Поднять всех и стремительно двинуться к Праге. Гитлеровцы скоро оттуда побегут — тут их и бить.

— Легко сказать: бить. Ведь они, очевидно, не вооружены, пленные? — спросил Анатолий Васильевич.

— Ну, нашего человека выпусти на волю — он оружие найдет! — твердо и с гордостью произнесла Татьяна. — Но и теперь уже тысячи четыре вооружены. Партизаны их снабдили. Вооруженные бьют бегущих гитлеровцев, отнимают оружие и передают тем, кто не

вооружен. Там все идет хорошо, — оживленно добавила она. — А вот как я теперь переправлюсь на ту сторону? Я хочу вместе с баронессой, у меня ведь вот что есть. — Она пошарила в сумочке, вынула удостоверение за подписью Гиммлера и подала Громадину.

— Э-э-э! — воскликнул тот, подвигая удостоверение командарму. — За какой подписью! Сколько стоит?

— Вася платил. Не знаю, — смеясь, ответила Татьяна. — Мне бы только на ту сторону пробраться!

— Яню Резанова пошлю с вами. Хорошо бы влиться в поток беженцев, — предложил Громадин. — Да где его теперь возьмешь?

— А у нас их ведь много, беженцев. Пустим тысяч десять, пусть идут домой, — предложил Анатолий Васильевич и, еще раз внимательно посмотрев на Татьяну, сказал: — Помнится мне, вас наградил товарищ Сталин?

— Сталин? — вспыхнув, затем побледнев, спросила Татьяна. — А откуда он меня знает?

— Он знает. И вас и Николая Степановича... Труден ваш путь, Татьяна Яковлевна, но благороден, и цель близка, уверяю вас.

«Сталин! Сталин! Обо мне заботится Сталин! Родной Сталин!» — думала в эти минуты Татьяна, не слыша того, что говорил командарм, и не видя, как Громадин вышел из комнаты, вскоре вернулся и положил на стол коробочку, в которой рядком светились три ордена — Отечественной войны, Красного Знамени и Красной Звезды.

— Вот, — баском кинул Громадин. — Но я вам их сейчас не дам. Потом.

Татьяна очнулась, посмотрела на ордена и, гладя их пальцами, спросила:

— И все товарищ Сталин? За что же?

— Вот этот, — начал объяснять Громадин, — за вашу деятельность в селе Ливны, за переход через болото. Этот — за ваш поступок под Бранденбургом. То, что там профессор Бауэр выделывал сумочки, — дело, конечно, пакостное и, как выяснилось, его личное предприятие. Но в глубине подземного городка вы вскрыли важнейшее — изготовление особого химического веще-

ства. Этот — Звезда — за вашу работу среди подпольных организаций... И я думаю... как вы думаете, товарищ командарм?

— Я думаю, генерал, как и вы: здесь рядом скоро ляжет орден Ленина... а может быть, и еще — Золотая Звездочка.

— И опять Сталин? — тихо спросила Татьяна.

— Непременно Сталин, — Анатолий Васильевич хотел еще что-то сказать, но встревоженно прислушался к отдаленному нарастающему гулу.

9

Комендант приморского городка-крепости генерал Шпиллер отверг ультиматум. И не просто отверг, а с присущей гитлеровцам заносчивостью: ознакомившись с требованием советского командования, он выстрелил в лицо Яне Резанову, затем выбежал на балкон, выходящий на площадь, которая вся была занята беженцами, и прокричал, потрясая бумагой:

— Позор! Слушайте, какой нам предлагают позор. — И когда на площади водворилась тишина, он, передав содержание ультиматума, разорвал бумагу, кинул клочки вверх и взвизгнул: — Хайль Гитлер!

Но с площади ему никто не ответил, только раздался сдержанный стон, потом поднялся плач детей. И генерал Шпиллер, скрывшись у себя в кабинете, подумал о том, как бы побыстрее выбраться на побережье Балтики, где наготове стояла подводная лодка.

— Ну, подожду. Еще немного подожду, — решил он, глядя, как из кабинета выносят убитого Яню Резанова. — Я подожду час-другой, чтобы дошло до фюрера — генерал Шпиллер отверг ультиматум и собственноручно убил русского парламентера... Пусть думают так, а я в подводную лодку и — в Норвегию...

Не удалось ему сбежать в Норвегию...

Весть о том, что комендант города бессмысленно отверг ультиматум, молниеносно разнеслась по площадям, улицам, улочкам, подвалам, забитым мир-

ными жителями, по окопам и казармам. В ответ на поступок Шпиллера по городу понеслось:

— Убийца хочет предать нас смерти!

И десятки тысяч мирных жителей, не договариваясь, хлынули из подвалов, с улиц и улочек, площадей на советскую сторону, бросая детские беленькие коляски с узелками, унося только детей, уводя больных и стариков.

Узнав об этом, генерал Шпиллер приказал бить из артиллерии — по детям, по женщинам, по старикам и больным, но люди, несмотря на то, что некоторые нарывались на мины, повисали на колючей проволоке, падали под ударами артиллерии, — все шли и шли...

Этот нарастающий гул и ворвался в комнату, где находились Анатолий Васильевич, Татьяна и Громадин... Они вышли на крыльцо, и перед ними открылось потрясающее шествие: измученные, залитые кровью женщины несли перепуганных или мертвых детей, вели стариков, больных, и все в безумии кричали одно и то же:

— Он предает нас смерти! Он предает нас смерти!

Увидав на крыльце генералов, передние ряды дрогнули, приостановили бег, и матери, упав на колени, протягивая на руках детей, закричали:

— Генераль! Генераль! Генераль!

— Ничего не понимаю я в этом ужасе, — проговорил Анатолий Васильевич.

Тогда, пробившись через толпу, к нему подступил Масленица и объяснил все, что случилось в городе с мирными жителями, как Шпиллер отверг ультиматум, убив Яню Резанова, и как после этого мирные жители хлынули на советскую сторону.

— Просим прощения, товарищ командарм, — бледнея и волнуясь, закончил Масленица. — Но советские воины расступились перед ними: ведь тут женщины, дети и старики.

— Ну что ж... ну что ж... ну что ж... — проговорил Анатолий Васильевич и, сложив руки на животе, склоняя голову то на правое, то на левое плечо, попытался было пройтись на крыльце туда-сюда, но места тут для этого не было; покрутившись, он поднял го-

лову, обращаясь к Масленице: — Что ж, это благородно. В этом и есть достоинство советского человека. Скажите этим, Татьяна Яковлевна: пусть идут по домам. А на тех, — он повернулся к Громадину, — мы сегодня обрушим сокрушающий огонь.

В эту минуту, раздвигая толпу, к парадному подкатила легковая машина, и из нее вышел Галушко, докладывая:

— Все сделано, товарищ командарм: Иван Кузьмич здесь.

— Ага! Хорошо. В штаб! — приказал Анатолий Васильевич и, сойдя с парадного крыльца, сев в машину рядом с Галушко, сказал через открытую дверцу: — Мы с вами еще увидимся, Татьяна Яковлевна. Подъезжайте ко мне, — а когда машина тронулась, он воскликнул: — А-а-а, Иван Кузьмич! Придется вам поговорить с маршалом. Нужен ему зачем-то. А зачем, не знаю, — и Анатолий Васильевич весело и успокаивающе засмеялся.

10

Штаб-квартира командарма обосновалась в старинном, случайно уцелевшем от пожарищ и бомбежек замке, расположенном на горе, в дубовом лесу.

Подъезжая к замку, Анатолий Васильевич сначала увидел обычную картину: около штаба, прячась среди оголенных дубов, стояли грузовые, легковые ободранные, поношенные машины и верховые — все это было привычное для командарма: в машинах и на конях сидели люди, дожидаясь приказов штаба.

Но у парадного подъезда, охраняемого каменными львами, поблескивали на солнце еще две машины, весьма знакомые Анатолию Васильевичу по своей окраске. Увидав эти машины, он заволновался, потянулся, сбрасывая с себя всякую дрему, и, повернувшись к Ивану Кузьмичу, сказал:

— Ну вот! Сам пожаловал сюда! Маршал. Подождите. Когда надо будет, позову, — и, стройный, твердо ставя ногу на мраморные ступени, пошел внутрь замка так, как будто на него смотрели сотни людей.

Штаб-квартира расположилась в нижнем этаже, хотя все уверяли, что гораздо уютнее в верхнем. Но у Анатолия Васильевича за последнее время «шалила» правая нога. Доктора определяли: сужение сосудов, радикулит, поражение переферической нервной системы, ревматизм, — другими словами: что ни доктор, то новый диагноз. И Анатолий Васильевич, махнув на всех рукой, сказал:

— Лучше всего лечиться у земского врача: тот пропишет так уж пропишет... А эти все об ответственности больше думают. — Однако нога болела и подниматься в горку или по лестнице ему было трудно, вот почему он, не давая объяснения, приказал: — Штаб-квартиру организовать в нижнем этаже... и всегда теперь в нижнем.

А сейчас, пройдясь по-военному, с выправкой, с легким ударом каблуков о паркетный пол, с позвякиваньем шпор, он направился в кабинет и около двери спросил дежурного майора, который понимал его с намека:

— Как?

— Мрачный, товарищ командарм.

Анатолий Васильевич на какую-то секунду задержался, затем весь как-то устал — это было видно даже по согнутой спине, вяло опущенным рукам — и вошел в кабинет.

— Разрешите, товарищ маршал? — проговорил он тоненьким голоском.

Рокоссовский сидел на диване, привалившись в уголок, и сладко подремывал: на лице его блуждала та светлая улыбка, какая обычно бывает у детей, когда они еще не проснулись, но уже просыпаются от здорового сна. И Рокоссовский от слов Анатолия Васильевича легонько дрогнул, оторвался от мягкого уголка дивана, посмотрел на командарма светлыми, счастливыми, но еще ничего не видящими глазами, затем потер ладонью подбородок и сказал:

— Ах, да, да! Анатолий Васильевич. Хозяин — и «разрешите»? Ну как, старый солдат, дела? Ох! Вот что, — и, окончательно просыпаясь, входя в мир реальный, Рокоссовский быстро мрачнел: счастливая улыбка

на лице заменилась сначала легкой хмурью, и вдруг нижняя губа, обычно тонкая, надулась, глаза сузились. — Отклонил ультиматум?

— Да, товарищ маршал, — ответил командарм, не решаясь еще сесть.

— Уж сколько мы с вами, старый солдат, видели крови... и нормальной, с нашей, военной, точки зрения, и бессмысленной. Казалось мне, им приятно пускать бессмысленно кровь других народов. А тут ведь свои: женщины, дети.

— К нам перешли женщины, дети, товарищ маршал, — и Анатолий Васильевич рассказал о том, что он только что видел у штаб-квартиры Громадина. Однако лицо командарма тоже потускнело, стало каменным, злым. — У фашистов основное: «После нас хоть потоп», — закончил он и, не дожидаясь разрешения Рокоссовского, присел за стол, на свое обычное место.

— Ни ума, ни сердца! — проговорил Рокоссовский, выслушав Анатолия Васильевича. — Остальное — тоже бессмысленная кровь, но мы вынуждены. Что ж, старый солдат, придется замкнуть круг — перерезать путь на побережье... Перережьте вот так, — и Рокоссовский свел на руке большой и указательный пальцы, как бы делая клещи. — И как только это будет совершено, тогда три-четыре налета авиации... и штурм. Ну, с этим у нас покончено. Теперь, командарм, готовьтесь на новое дело.

— Слышал, товарищ маршал. На Одер? Штеттин?

— Нет. То есть мы — на Штеттин, а вы — на Берлин.

«Ага! Вон чего он ко мне заглянул», — наконец догадался Анатолий Васильевич и, светлея, сказал:

— Что ж, нам ведь с вами не впервой!

— Не впервой, не впервой, Анатолий Васильевич! Уехал я от своих к вам... хотя на пару часов — отдохнуть.

Анатолий Васильевич звонко рассмеялся.

— Вы что? — спросил маршал. — Серьезно: минуты покоя нет. Во сне только и сплю. Нет, правда, правда.

Прилягу на полчасика, и мне снится — сплю будто я уже подряд третий день... и так мне хорошо!

— Я это понимаю, Константин Константинович. И смеюсь вот почему: вы бежите поспать ко мне, я — к Громадину. Громадин — к какому-то полковнику, полковник — к комбату, комбат — к комроты. А солдат куда бегает спать? Прикорнет в окопчике — и все. Эх, легок на помине! — И, видя, как у парадного остановилась машина, из который вышли Громадин и Татьяна, Анатолий Васильевич проговорил: — Комдив прибыл, и не один.

— А что за женщина? — вынимая платок и протирая глаза, спросил Рокоссовский.

— Татьяна Яковлевна. Жена Николая Степановича Кораблева. Да-а, — заторопился Анатолий Васильевич. — Вы ей, пожалуйста, о Николае Степановиче ни гу-гу.

— Хорошо. Ни гу-гу, — согласился Рокоссовский, глядя на Татьяну. — Ведь он у нас гостил еще под Орлом, как помнится мне?

— Вот-вот. Кстати, и Иван Кузьмич Замятин здесь. Вам он зачем, Замятин?

— Мне нужен комендант Штеттина. Вот его и хочу.

— А вы слышали, как он тут сыграл?

— Да. Слышал. Но это, по-моему, не он сделал.

— Он так же объясняет: не я.

— Вот теперь испытал — значит, будет держать себя в руках.

— А справится ли?

— Справится. Надо по-советски относиться к немцам, а не рычать на них. Рычать — самое легкое дело. Есть у нас такие «герои», рычат! Так вы, Анатолий Васильевич, пригласите ко мне Замятина... А уж насчет сна-то... видимо, во сне посплю. Так я пойду. Куда бы мне?

— Напротив, товарищ маршал, спальня, в которой я почти не сплю.

Входя в штаб-квартиру, Громадин заметил, как в двери направо мелькнула спина маршала.

«Эге!» — сказал он про себя и хотел было постучаться в кабинет командарма, как на пороге появился

Анатолий Васильевич, приветливо протягивая руку Татьяне.

— Очень рад... очень, Татьяна Яковлевна... принять вас в своем замке, — полушутя говорил он, пропуская ее в кабинет, а за ней и Громадина. — Иди, иди, генерал!.. Замок завоевал ты, а живу в нем я. Да только временно: уж чувствуется в воздухе, придется менять квартиру. Галушко! — крикнул он.

И Галушко, как всегда, будто вынырнул из-под земли.

— Обед! Хороший обед... на... пятерых!

— Нет. Уж обед-то придется отменить, товарищ командарм, — возразил Громадин.

— А что так?

— Так вот.

— Галушко! Делай, что приказано! — проговорил Анатолий Васильевич и, когда тот вышел, спросил: — Что? Чем так оба встревожены?

Громадин посмотрел на Татьяну, и та объяснила:

— От немок я узнала, что в крепости осталось еще тысяч двенадцать—пятнадцать женщин, детей, стариков; комендант, когда все хлынули на нашу сторону, приказал бить по людям из огнеметов... и огнем отрезал тех, кто теперь задержан в городе.

— Значит, не только артиллерия, но и огнемет! Вот это зверюга!

— Таких поискать. Впрочем, они большинство такие, товарищ командарм. А Татьяна Яковлевна предлагает вот что... Она нашла среди немок четырех женщин — бывшие коммунистки, как уверяют они... и Татьяна Яковлевна предлагает, а я подписываюсь... Ну, ваше слово, Татьяна Яковлевна! — Громадин внимательно и с какой-то внутренней скорбью посмотрел в лицо Татьяны.

— Я... мы, — путаясь, начала она. — Я думаю, Анатолий Васильевич... мы с этими женщинами переправимся в крепость и там поднимем всех немок... и заставим солдат сложить оружие.

Анатолий Васильевич долго молчал, расхаживая по кабинету, склоняя голову то на одну, то на другую сторону. Громадин и Татьяна напряженно следили за

ним. Наконец он остановился посредине кабинета и раздельно произнес:

— Такого у нас еще не было. Ну, а если те немки приведут вас в город и выдадут гестапо?

— А у меня вот, — и Татьяна показала удостоверение за подписью Гиммлера.

— Я вижу, вы согласны... а мы спешим... и обед перенесем до победного конца. В Берлине пообедаем вместе, — пошутил Громадин и поднялся с кресла. — Разрешите итти, товарищ командарм?

— Что ж, не могу задерживать, хотя очень бы хотелось. Надо спешить. Не то вот-вот наша авиация обрушит на крепость сокрушительный огонь. Желаю вам счастья, Татьяна Яковлевна! Когда вернетесь оттуда, прошу ко мне. Возможно, к этому времени приедет моя жена Нина Васильевна... Никак не пойму, но вы чем-то походите друг на друга. Это, между прочим... — он хотел было сказать: «Это, между прочим, говорил когда-то и Николай Степанович», но во-время спохватился, сказал: — Это, между прочим, вы сами скоро увидите.

— Вряд ли, Анатолий Васильевич. Я думаю оттуда переправиться в Центральную Германию. Ах да, товарищ генерал! — обратилась она к Громадину. — А что мы будем делать с баронессой? Ведь теперь она мне не нужна.

— Не беспокойтесь: пошлем ее дороги чинить, букли-то и слетят. Я заметил, что у нее на голове чужие волосы. Вот облысеет! — И Громадин так захохотал, что Анатолий Васильевич замахал на него руками.

— Что ты, генерал! Маршал, видимо, прилег поспать, а ты своим басом можешь не только маршала разбудить, но и замок разрушить! Да и еще — опять на «вы» перешел. Ведь уж договорились на «ты».

Они вышли из кабинета и в просторной приемной вдруг неожиданно столкнулись с Рокоссовским и Иваном Кузьмичом.

— Спасибо, товарищ маршал: избавили вы меня от процедуры. Постараюсь оправдать ваше доверие... Этого со мной никогда не было, чтобы я доверие не оправдал. Но справлюсь ли? Заранее об этом говорю.

Комендант города, да еще такого, как Штеттин, — штука не легкая.

— Поможем, Иван Кузьмич. А погоны наденьте, — советовал Рокоссовский, ласково посматривая на него. — Сын-то, Василий Иванович, очень похож на вас. Он к Штеттину приближается. Свяжусь с ним, передам от вас поклон.

— Об этом очень прошу. Да еще скажите, мы его начинание на Урале применили. Дошло до него или нет, так передайте.

— А чего мы стоим? Давайте присядем, Иван Кузьмич. Какое начинание Василия Ивановича?

— Применение токов высокой частоты в термическом деле. Он до войны разрабатывал с Николаем Степановичем Кораблевым, директором нашим.

— Ой! — вскрикнула в эту минуту Татьяна и пошла вперед, протягивая руки, падая, ища опоры у Ивана Кузьмича.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Пожалуй, самое страшное на земле — это голод. Надо иметь стальную волю, чтобы не сломиться перед ним: он опустошает в человеке все лучшее, превращает его в зверя-одиночку, не думающего ни о прошлом, ни о будущем, тупого и злого, готового на любое преступление. Все это подкатывается постепенно, но упорно, властно — и человек теряет достоинство. Он и внешне резко меняется: на лице пропадает улыбка, вытесняемая тоскливой хмурью, глаза становятся шныряющими, губы плотно сжимаются, на щеках появляются провалы... и вдруг в какой-то момент человек начинает по-собачьи щериться, говорить отрывисто, как косноязычный, и тогда все отодвигается: родственные чувства, чувство долга, любовь к ближнему, соотечественнику, законы морали, и остается одно — страстное желание жить. Не желание смерти. Нет. Жить. Физически жить, потому что духовно такой

человек уже давно умер. А в лагере каждому было позволено только умереть. Любым способом: можешь броситься на колючую проволоку, повеситься, зарезаться, отравиться, кинуться в ров, чтобы тебя закопали вместе с мертвыми. Ведь здесь все было направлено на то, чтобы уничтожать людей... и все-таки никто не покончил с собой. Люди умирали ежедневно сотнями, но никто не повесился, не зарезался, не отравился: такова была власть жизни над человеком.

Николай Кораблев иногда сам чувствовал, как эта власть овладевала им. Тот скудный паек, который выдавался ему, как и всем в лагере, поедался молниеносно и утолял голод так же, как если бы человеку, долго блуждавшему в пустыне, дали чайную ложку воды. Верно, ему каждый день Генрих Ротштейн преподносил бутылку желудового кофе и бутерброд; верно и то, что он мог бы есть больше, лучше, чем другие. Но он понимал: отсюда может начаться падение. Сначала лучше других есть, потом лучше других спать, потом лучше других одеваться, а потом — почему бы не перейти на сторону гитлеровцев? Ведь он прекрасно знает язык, инженер.

«Это будет падение. Ведь они всей своей системой на такое и толкают нас», — но тут кто-то другой назойливо шептал ему: «Ты обязан сохранить себя для большого дела. Тебе, а не кому другому, поручено организовать восстание, и ты не должен морить себя голодом. Ты на это имеешь право». — «Нет!— твердил Николай Кораблев. — Я на это права не имею — на падение, я обязан поднять всех на восстание, разбудив в них чувство человеческого достоинства».

Англичане ежедневно, потешаясь, перебрасывали через прогал банку с консервами и, стоя у колючей проволоки, глядя на то, как русские пленные, свиваясь в клубок, рвут друг у друга банку, хохотали.

Николай Кораблев, посоветовавшись с Сиволобовым, Митричем и Свистуновым, распространил по всему лагерю клич: «Советский человек не кинется на консервную банку», а англичанам передали: «Если не прекратите шуточки, мы вас подожжем».

Англичане не поверили и на следующий день пере-

кинули новую банку... но она до вечера пролежала в пыли: никто на нее не кинулся. А утром загорелся крайний барак у англичан, и им еще пригрозили: «За каждую переброшенную банку будем сжигать по бараку».

— Значит, люди советские, — сказал после этого Николай Кораблев Сиволобову.

— Конечно, советские, — согласился тот. — А если бы не это — ложись в ров с мертвяками. Всех держит на ногах советское.

— Разбудить в пленных достоинство советского человека, тогда мы сломим все. Вы посмотрите: лагерь охраняют ну от силы сто солдат, а нас здесь до пятидесяти тысяч. Да ведь мы плевками убьем, если соберемся.

— Да-а,— протянул Сиволобов.— Можем собраться и плевками убить охрану. Только как собраться?

Тогда Николай Кораблев распространил по лагерю: «Красная Армия приближается к Берлину. Советский человек должен быть всюду воином».

Об этом донесли Аксману. Тот ответил:

— Я не буду искать того, кто такое сказал. Пускай будут воинами. Вот как я поступаю с воинами: хоронить начну по баракам. Сначала первый барак в ров, потом второй, потом третий и так далее. Нечего с ними возиться и ждать, когда подохнут. Закапывай!

И наутро солдаты стали приводить в исполнение дикий приказ Аксмана. Из первого барака пленных не выпустили на работу, затем заставили раздеться донага и погнали к вагонеткам. Пленные выполняли все молча, но когда их подвели к узкоколейке и приказали ложиться в вагонетки, начали буйствовать; и тогда со стороны раздался жесткий треск и пулеметы скосили всех.

— Теперь будут спокойней, — сказал Аксман. — Складывайте и отправляйте. Завтра новый барак — второй.

— Он не спятил, Аксман? — спросил Николай Кораблев Свистунова. — Вы бы сходили к нему и поговорили.

— О чем же я с ним буду говорить? Он пристрелит меня — и все. Надо нам самим что-то придумать. Так, конечно, он недели за три всех закопает.

На следующий день случилось то же самое: по приказу Аксмана у вагонеток было расстреляно еще пятьсот человек. Николай Кораблев, не зная, что предпринять, чувствуя и свою какую-то вину и все свое бессилие, ушел в деревню к Генриху Ротштейну и тут впервые встретился с Вольфом. Они сели под черепичным навесом и после сообщения Николая Кораблева долго молчали; затем Вольф сказал:

— Значит, мясорубка. Пятьсот человек в день. А расплачиваться придется нам: русские не простят.

— Русские — люди разумные, — возразил Ротштейн. — Они понимают, кого надо бить. Однако это потом. А сейчас надо думать. Пятьсот человек в день? Значит, выведут из барака, разденут и из пулемета? Мясорубка. Да еще двести—триста умирают в пятнадцатом блоке. Ах! А я ведь знал этого Аксмана: он был учеником Карла Каутского. Первый ученик стал первым прохвостом и убийцей, — и старики заспорили о том, каков был Карл Каутский, что собою представляла в Германии социал-демократия, как надо было держать себя перед приходом к власти гитлеровцев, болен или здоров Гитлер.

Николая Кораблева такой спор стал раздражать, и он грубовато прервал:

— Вы спорите так, как будто сидите за кружкой пива. Часы летят, и скоро будет расстреляно еще пятьсот человек. Что делать? Жаловаться некуда, некому, — это только приветствуется. Убить Аксмана? Завтра явится новый и более жестоко расправится с пленными. Позвать на восстание, сказать: «Лучше смерть, чем плен!» — думаю, пока еще люди на это не приготовлены: получится суматоха, крики — и всех расстреляют. Что делать?

— Русские — сильные духом, — промолвил Генрих.

— Духом против пулемета не сладишь, старина, — возразил Вольф.

— Фу, чорт бы их побрал, опять заспорят! — на русском языке проворчал Николай Кораблев, и тут

ему пришла дерзновенная мысль: «А что, если посоветовать, чтобы люди не сопротивлялись, ложились бы в вагонетки, а на кладбище мы их снимем, отправим в лес... Ну, а как переправлять дальше такие огромные партии, да еще каждый день... да еще голых? Ведь нам их одеть не во что».

А старики уже «дискуссировали» о том, можно или нельзя «одним духом воевать против пулеметов». Николай Кораблев снова оборвал их:

— Надо вопрос решать практически и быстро. Вот вы, Генрих, говорили мне про какую-то женщину, которая помогает нам. Почему ее нет?

— Она отправилась в Восточную Пруссию, — ответил Вольф. — Если была бы здесь, то мы, наверное, быстро нашли бы выход. А теперь... — Он безнадежно развел руками и закурил свою постоянную трубочку. — Не надо было нам допускать Гитлера к власти, тогда ничего бы этого не случилось.

— Это верно, старина, — подтвердил Генрих. — Мы сами виноваты в том, что Гитлер пришел к власти. Если бы мы...

«Милые люди, но... болтуны какие», — и Николай Кораблев, не дослушав Генриха, произнес:

— Сможем ли мы ежедневно пятьсот — шестьсот человек переправлять в горы, хотя бы в Саксонскую Швейцарию? Ведь тут недалеко.

— Только переправься через Эльбу. Теоретически это мыслимо, — подтвердил Генрих.

— А практически?

— Практически? Следует обдумать. Ну как вы, например, проведете их мимо пулемета? Вы сами говорили: одним духом против пулемета не устоять.

— Я думаю, надо сказать людям, чтобы они не сопротивлялись около вагонеток. Ложились бы смиренно, а когда их подвезут к канавам, мы их отведем в лес и отсюда переправим в Саксонскую Швейцарию.

— Голых?! — изумленно воскликнул Вольф. — Вы представляете? По дороге идут голые. Да ведь и холодно: зима, перемерзнут.

И опять Николай Кораблев попал в тупик, но через минуту сказал:

— А население? Оно не сможет пожертвовать то, что годами скупало у пленных?

— Э-э-э! Немка еще не дошла до социализма: у нее раскаленными клещами не выдерешь то, что она приобрела за картошку. Да и шумно. Ведь это не иголка — одеть десять—пятнадцать тысяч пленных.

— Хорошо. Мы приведем их одетыми. Я сделаю так, что протест поднимут англичане, — сказал Николай Кораблев. — Но как наших потом отправить?

— Одетых? Это уже будет проще, — согласился Вольф. — Ведь почти ежедневно гонят пленных. Пять-шесть солдат с автоматами и сотни пленных. Те товарищи, которые уже в горах, могут днем перегнать всех под видом пленных.

— Это нахально — днем, — запротестовал Генрих.

— Дерзновенно, хотите сказать? — спросил Николай Кораблев.

— Да. Это вне всяких правил.

— Давайте нарушим всякие правила, была бы правда. Вы, Вольф, сейчас же отправляйтесь в горы, отберите десять вооруженных автоматами немецких партизан и русских, расскажите, что им предстоит делать. Я отправлюсь в лагерь — к англичанам. Вы, Генрих... дайте мне мою порцию кофе, — бледнея, закончил Николай Кораблев.

Генрих сбегал в домик, принес заготовленную бутылку кофе, небольшой бутерброд и, видя, как все это Николай Кораблев быстро уничтожил, сказал:

— Почему вы отказываетесь от дополнительной пищи? Ведь я могу хорошо накормить: у вас большое тело, и оно требует больше кушать.

— Чтобы не пасть духом, — ответил он и, поднимаясь, добавил: — А теперь за дело! Кстати, Вольф, нельзя ли все-таки связаться с той женщиной? Где она живет постоянно?

— В Новом Дрездене.

— А-а!.. Помню. Нас перегоняли через этот город еще в сентябре.

— И вы были в той партии, которую перегоняли по нашей улице?

— Да. Я был в той партии.

— А мы стояли у ворот и смотрели на вас... и та женщина плакала. Молча плакала. И я плакал. Молча плакал. И моя старушка плакала. Молча плакала. Все мы молча плакали. Да-а... А нынче уже весна идет на двор. Русские очистили Пруссию...

— И немецкий народ приходит в сознание. Вы напрасно о своем народе так плохо думаете. Ныне он не тот, что два года тому назад... Так вы разыщите, Вольф, ту женщину и передайте ей такое слово: «Пора».

— Что такое «пора»?

— Она русская и поймет. Запомните — пора. Повторите.

— Пора, — повторил Вольф, внимательно всматриваясь в лицо Николая Кораблева, затем произнес: — Вы настоящий русский богатырь.

2

В начале апреля Татьяна прибыла в Новый Дрезден к старикам Вольфам, уставшая, душевно надломленная, снова находящаяся на грани того безумия, в какое она когда-то впала при переходе через болото в Брянский лес к партизанам.

В приморском городе-крепости ей удалось поднять женщин, стариков — десятки тысяч беженцев, и те, подхватив на руки детей, хлынули в казармы, в окопы, на передовую и, падая на колени перед офицерами, солдатами, умоляли:

— Бросайте оружие!

— Спасите нас!

Солдаты колебались. Разъяренная толпа женщин хлынула в комендатуру, выволокла оттуда генерала Шпиллера и со связанными руками передала его солдатам... И тогда из гарнизона, имевшего более ста тысяч, восемнадцать тысяч сдалось в плен.

В этот день Громадин был занят подготовкой к штурму города-крепости и сидел в своем кабинете один, изучая план города; к нему ворвался растерянный Масленица и, не спрашивая разрешения, закричал:

— Товарищ генерал, пленные!

Громадин не сразу ответил, он сердито посмотрел на Масленицу и кинул:

— Ты что? Еще будешь мне докладывать, когда тебе надо... умыться? Не знаешь, что делать с пленными?

— Да ведь их восемнадцать тысяч с лишним, товарищ генерал!

Тогда побледнел и Громадин: у него в дивизии насчитывались теперь лишь сотни бойцов... а тут восемнадцать тысяч пленных.

«Да ведь кулаками могут нас перебить. Что же делать? — с тревогой подумал он. — Что делать? Что делать?» — и прошелся, растер щеки ладонями, посмотрел в зеркало, сказал сам себе: «Эх, какое измученное лицо! Да. Что же делать? Ах, Яня, Яня! Он бы помог», — теперь всегда в трудные минуты он вспоминал Яню Резанова и всегда горевал о его гибели так же, как горюет отец о погибшем сыне. «Яня, Яня! Он бы мне помог. Все Масленицы пальца его не стоят. Да, помог бы. Ну вот, как теперь быть? Восемнадцать тысяч? Ах, да!» И тут вдруг пришла ему спасительная мысль. Он повернулся к Масленице и приказал:

— Ступайте к Иголкину, вызовите Пикулева и скажите немцам, чтобы выделили из своей среды сорок офицеров. Сорок. Не больше и не меньше. Далеко они?

— Да здесь, в лесу. Прочернели все.

— Ну, ничего, теперь просветлеют... у нас. Через час доставить сюда офицеров.

И через час перед штабом Громадина выстроились немецкие офицеры. Они стояли, повесив головы, а неподалеку от них грудились Иголкин, Пикулев и Масленица. Они о чем-то перешептывались, пожимали плечами, видимо еще не понимая, для чего понадобились офицеры генералу. А тот, выйдя на парадное крыльцо, кинул оглушительным басом:

— Смир-р-рно-о-о!

Офицеры дрогнули, как от удара кнутом, вытянулись, и генерал на ломаном немецком языке передал:

— Я не могу поручить моим бойцам сопровождать вас и ваших солдат: ненависть в них вы своими

поступками разбудили великую... Поэтому предлагаю: поделить солдат — пятьсот на каждого офицера — и два офицера для связи. Каждому офицеру выдам пропуск... и итти дальше по указанному маршруту. Вот так! Полковник Иголкин! Заготовить пропуска. Связаться с нашими тыловыми частями. Направить всех через сорок минут. Пусть сначала пройдут по этой улице: хочу видеть. Затем на шоссе — и в Польшу. А там наши знают, куда их деть, — и Громадин, посмотрев на часы, не спрашивая офицеров, понятен или непонятен им приказ, повернулся на каблуках и скрылся в доме.

Вскоре через улицу потянулись немцы, по партиям в пятьсот человек. Впереди офицер, держащий над головой пропуск, позади солдаты.

Из всей этой громаднейшей почерневшей толпы Громадин оставил у себя только коменданта города-крепости генерала Шпиллера, тоже почерневшего, оборванного, исцарапанного. Посадив его на стул среди комнаты, он долго кружился около него, сжав кулаки, как бы отыскивая место, куда нанести смертельный удар. Покружится, покружится, сядет. Потом опять встанет, опять начинает кружиться, приговаривая:

— Яню! Вот этот убил Яню Резанова. В лицо выстрелил. Ах ты, гнида чумазая! Казнь ему придумать. Какую же, ребята? — обратился он к Иголкину, Пикулеву и Масленице, забыв о всякой субординации. — Какую казнь мы ему придумаем? Помогайте. А что, если так... — Но в эту минуту раздался звонок, Громадин взял трубку и весь вытянулся: — Слушаю, товарищ командарм. Пленных? Отправил. Да на каждого офицера пятьсот солдат. Нужда выучит. А что же делать? Не снимать же бойцов с передовой? Спасибо! Спасибо, товарищ командарм! Комендант? Вот здесь. Перед нами сидит. Что думаю делать? Да придумываем ему казнь за Яню Резанова, — и Громадин пригнулся, заговорил не так громко: — Слушаюсь. Слушаюсь. Ваша воля, товарищ командарм. Ваша воля. Подчиняюсь. Нет! Нет, что вы! Живым доставлю. До свиданья, товарищ командарм, — и, положив трубку,

еще раз посмотрел на коменданта, сжимая и разжимая кулаки, как бы ища для удара смертельное место. Затем, горестно вздохнув, сказал: — Опоздали, ребята! Долго думали. Командарм предложил доставить эту гниду в штаб армии... живым...

Конечно, Татьяна ничего подобного не знала, как она не знала и того, что вскоре после ее отъезда на приморский город-крепость обрушилась советская авиация, артиллерия, после чего советские войска двинулись на штурм и захватили в плен еще около восьмидесяти тысяч солдат и офицеров... Татьяна знала другое — более страшное.

Из города-крепости удрал полк эсэсовцев во главе с генералом Рудольфом Тиссеном. Пробившись через кольцо армии Анатолия Васильевича, потрепанный, он вышел на побережье Балтики, где у причала стоял пароход, переполненный беженцами — женщинами, детьми, стариками, инвалидами войны. Не спрашивая разрешения у капитана, Тиссен приказал солдатам грузиться, и эсэсовцы ринулись на пароход — с пушками, пулеметами, минометами и так перегрузили его, что он, как только отошел от причала, так тут же и сел кормой на мель. Тогда капитан заявил:

— Я не смогу тронуться с места. И вообще я не тронусь в море, пока вы не разгрузите пароход.

Генерал Рудольф Тиссен, человек маленького роста, седенький и косматенький, как болонка, выхватил пистолет, навел на капитана, сказал:

— Моя рука с удовольствием просверлит ваш пустой лоб.

— Я вижу, вам этому не учиться, — ответил капитан. — Но пароход я не поведу в море. Если вы, генерал, разумный человек, то должны понять, что нелепо отправляться в море: погибнем все, в том числе и вы.

Рудольф Тиссен спрятал пистолет, крикнул начальнику штаба:

— Проверить у всех документы!

И началась перетасовка беженцев: тех, у кого не было документов, отводили в одну сторону; тех, у кого были документы, — в другую; тех, у кого документы подозрительные, — в третью. Беженцев было много —

тысячи, и когда начали их перегонять, одних в трюм, других из трюма на палубу, поднялись суматоха, плач, крики. За таким делом прошла вся ночь, а пароход все еще стоял на мели. На рассвете показались самолеты — тяжелые, груженые. Их обвивали легкие истребители. И вдруг все эти страшные птицы направились на пароход. Генерал Рудольф Тиссен приказал всем солдатам скрыться в трюме. На верхней палубе остались только беженцы. Вскоре низко над пароходом пронесся советский истребитель. Прореве́в и сделав над пароходом еще круг, он удалился, и вся громада бомбовозов направилась в другую сторону. Из груди беженцев вырвался благодарственный стон:

— Это русские!

— Разве им надо убивать нас и наших детей?

— Русские летчики — гуманные. Вот если бы англичане или американцы — те не смотрят, кого бьют.

После этого из трюма снова появились солдаты, и опять началась проверка документов, перетасовка беженцев. Но это уже не тревожило людей: что ж, пожалуйста, проверяйте. Конечно, иные поступили нехорошо: ушли из дому, не взяв документов. Разве можно жить без документов? Нет! Нет! Это не поощряется.

Начальник штаба, полковник, проверяя документы у Татьяны, увидав удостоверение за подписью Гиммлера, козырнул ей и сказал:

— Прошу вас отделиться. Идите в капитанскую рубку: вам там будет спокойней... и безопасней, — он почему-то заговорщицки подмигнул и добавил: — Ведь иногда вместе с водой можно выплеснуть и ребенка.

Татьяна поднялась на капитанский мостик и оттуда в течение трех-четырех часов наблюдала за тем, что творили эсэсовцы во главе с генералом Рудольфом Тиссеном.

Беженцы без документов ничего не подозревали, когда их всех согнали на корму парохода. Ну что ж, можно и на корме ехать. Лишь бы ехать. Лишь бы не налетели англичане или американцы. Русские, конечно, бомбить пароход не будут: налетали уже и повернули в другую сторону. Вот англичане и американцы — эти не повернут.

А когда на пароходе улегся гомон и беженцы вздремнули, генерал Рудольф Тиссен во весь голос отдал приказ:

— Всех, кто без документов, вышвырнуть за борт!

Беженцы сначала не поверили такому; некоторые из них, особенно старики, направились было к генералу с протестом:

— Нельзя пугать людей. Ведь у нас дети!

Но генерал еще крикнул:

— Выполнять мой приказ!

И солдаты, угрожая автоматами, двинулись на беженцев.

Те сначала застонали, потом стон перешел в душераздирающий вой... женщины, старики, инвалиды войны, дети — все полетели за борт.

Корма чуточку приподнялась, но пароход все еще не мог тронуться с места. Убедившись в этом, генерал Рудольф Тиссен еще приказал:

— И с документами за борт!

3

Пароход тронулся...

Море поблескивало на солнце. Казалось, солнце купается в обширных водах: то появится во всем своем круглом ярком облике, то вдруг рассыплется на миллиарды блесток, то начнет золотистыми лапами чеканить поверхность моря... и на такой поверхности всюду плавали дамские шляпки всех фасонов и цветов, мужские шляпы, детские чепчики, пилотки инвалидов войны.

На пароходе осталась единственная женщина — Татьяна Половцева, и та, не выдержав, пошатнулась и упала на руки капитану.

— Бедная женщина! Несчастный народ! — проговорил капитан, когда в его каюте доктор начал приводить Татьяну в чувство. — И такие уверяют нас, что они защищают нашу родину. Я этому не верю, доктор.

Доктор, человек с наплывшим на глаза лбом,

облысевший и сухой, показывая на Татьяну, тихо, но весьма внятно сказал:

— Личный секретарь Гиммлера. Вы, капитан, теряете рассудок.

— Я их здесь не боюсь: в море я хозяин. Нажму рубильник — и пароход взлетит в воздух. Но с парохода на землю не сойду.

Татьяна оправилась только перед Свинемюнде. Она сошла на землю и почувствовала, что ноги у нее подкашиваются. Она хотела было разыскать Петера, чтобы передать через него Иоганну о том, что видела в Силезии и Пруссии, но не смогла: горечь, тоска беспросветная, омерзение — все давило сердце, и Татьяна, чувствуя, что с ней может случиться то же самое, что случилось тогда при переходе через болото, позвонила в Берлин Васе, и когда тот прислал за ней машину все с тем же шофером «самоучкой-филологом», она сказала:

— В Дрезден, и как можно скорее.

В таком состоянии, душевно потрясенная, она и прибыла в Вольфам, где ее, к ее радости, встретил Вася. Войдя наверх в комнату, она прилегла на кушетку и еле слышно сказала:

— Вася! Я чувствую, что у меня силы надорвались. Да что же это за люди? — Она отрывисто, перекидываясь с одного на другое, забывая о сказанном, передала Васе о том, что видела на пароходе. — Ведь свои... Соотечественники.

Вася присел к ней, положив ей руку на лоб, и с дрожью в голосе произнес:

— Не надо. Не надо, Татьяна Яковлевна! Не надо. Люди? Да какие это люди? А если бы вы посмотрели на тех, кто около Гитлера: ведь у них нет ни рода, ни племени, ни идей, ни мечты...

— Да. Но детей в море, Вася! «За борт!» За борт женщин, стариков, инвалидов и детей! За борт! Какое ужасное слово! С ума схожу. Мне все кажется, плавают, как живые, детские чепчики... и мелькают ручонки. Их детские ручонки над головой утопающей матери! Мать тонет и поднимает над собой ребенка... и детские ручонки, маленькие, трепетные...

— Не надо. Не надо, Татьяна Яковлевна! — И Вася крепко погладил лоб Татьяны. — Ведь... — Он хотел было сказать: «Ведь вашему мужу приходится еще тяжелей», но во-время сдержался, подумав: «Узнает, что он здесь, и может случиться удар». — Ведь другим еще тяжелее приходится, чем нам. Представляете, как тяжело пленным, например. Вы видели, что делается в лагере — в Силезии? Нам с вами предстоит большая работа. Что будет, если и мы падем духом? А скоро победа — я это чувствую, вижу по тому, что творится в имперской канцелярии. — И тут Вася рассказал Татьяне о том, что Красная Армия уже ворвалась в Штеттин, форсировала Одер, что Васе удалось добиться того, что начальника «Центрального лазарета» Аксмана сменили и что на его место Вася рекомендовал Бломберга. — Ну, того самого, с которым мы встретились в Варшаве... гарцовал на коне.

— А-а-а! Тот самый. Все-таки ему удалось устроиться в гестапо?

— Пролез и уже получил полковника. Я вот думаю, как только он поедет принимать дела, отправиться бы туда и вам, изучить внутренние порядки лагеря и кое-что узнать. Время ли устраивать восстание? А оно очень нужно: гитлеровцы побежали из Праги к американцам, — перехватить и перебить эту дрянь.

— А вы возмужали, Вася, — сказала Татьяна.

Вася сначала растерялся.

— А вы все такая же — женщина.

— И хочу ею остаться. А вам что это на ум пришло?

— Да вот, говорили о восстании, а вы ввернули о другом — возмужал.

— Но ведь вы возмужали. Почему об этом не сказать?

— Не возмужал, а очень устал. То, что вы видели на пароходе, страшно. А я ежедневно вижу гораздо страшнее: миллионы людей выбрасывают за борт.

Вскоре в комнате появилась Матильда. Она бегала — доставала продукты на завтрак — и теперь не вошла, а ворвалась в комнатку, оттолкнула Васю,

присела сама на кушетку, то прикладывая, то отнимая ладошки от плеч Татьяны, и все говорила, говорила.

— Да вы приготовьте нам кофе, — попросил Вася, — и где мой дорогой отец?

— Он прибыл. Только что прибыл. Он деятель, знаете? Говорит: «Мне теперь предстоит прожить еще сто лет, потому что я сделал большое, хорошее дело: я опять превратился в могильщика капитализма».

— Так где же он, могильщик капитализма?

— Он сейчас предстанет: бреется.

Вскоре они все сидели за столом, и Вольф не без гордости рассказал о том, как идут дела в «Центральном лазарете».

— Пленные превращаются в партизан. О-о-о! Это такие партизаны, которых ничем не сломишь: берет палку и идет на пулемет и бьет палкой пулемет. Но Аксман — сумасшедший: он приказал хоронить бараками. Сегодня один барак, завтра другой... расстрелял больше тысячи человек. Но мы перехитрили его: англичане запротестовали... не против расстрела, нет, а против того, что людей перед расстрелом раздевают... Аксман боится англичан, сказал: «Хороните одетыми». Ну, мы всех, предназначенных для расстрела, принимаем на кладбище, а потом отправляем в горы. И что удивительно: народ пришел в сознание. Ведь гонят по улицам пленных, и многие знают, куда их гонят, — молчат, а иные выносят хлеб, картофель, молоко. Это удивительно! Так многие отправлены в Судетские горы, к чехословакам. Там какой-то русский — Петер Хропкинд.

— Петр Хропов, — вся засияв, подсказала Татьяна.

— Петер Хропкинд. Он принимает пленных, вооружает. А как? Выходят на дорогу, по которой бегут гитлеровцы, бьют их, а оружие передают партизанам. Вот как!

— И все это делаешь ты, мой дорогой отец! — сказал Вася.

— Я не могу сказать: «я», как не может сказать и мой друг Генрих: «я». Нет! Мы честные — это да. Но

одной честностью врага не одолеешь, как сказал нам русский богатырь, товарищ Николай.

Вася дрогнул, дрогнула и Татьяна, а старик Вольф умиленно и радостно говорил:

— О-о-о! Он умеет работать, товарищ Николай. Мы рассуждаем, спорим с Генрихом... забираемся в такие теоретические дебри, а он оборвет и практически предложит: надо делать то-то и то-то. А когда последний раз прощался со мной, сказал, чтобы я передал вам, товарищ Татьяна, одно русское слово. Ну вот и забыл. Но я припомню. Я обязательно припомню. Он сказал: «Передайте, Вольф, — он меня так и зовет — «Вольф», — передайте той женщине, — старик посмотрел в потолок, как школьник, не знающий урока. — Передайте ей такое русское слово: «Пра». Да. Да... так и сказал: «Пра». Он попросил меня повторить, и я повторил: «Пра».

Вася и Татьяна недоуменно переглянулись.

— Что такое «пра»? — спросил Вася.

— Пра? На Волге сокращенно говорят не «правда», а «пра». Но к чему тот сказал: «Пра»? — и Татьяна повернулась к старику Вольфу: — Вы говорите, что его зовут Николай. А какой он из себя?

Вася в эту минуту побледнел и завозился на стуле, а Вольф продолжал все так же словоохотливо, возбужденно и радостно:

— О-о-о! Красавец! Высокий, стройный. Да я не умею передавать. Если бы его увидела моя Матильда, она в точности разрисовала бы его.

— Но вы все-таки расскажите, — настойчиво потребовала Татьяна.

— Высокий, стройный, красивый. Голова на плечах не только умная, но и гордая. Он ее держит, знаете ли, вот так: чуть набок. Это интересно. Но еще интересно: голова вся седая, а глаза совсем молодые, карие.

— Карие? — с тревогой воскликнула Татьяна.

— Точно. Карие — я ручаюсь... и такие, как у вас говорят, бездонные: ума в них много и силы, — ответил старик, а Вася, чтобы замять этот разговор, торопливо предложил:

— Давайте разберемся в слове «пра». А может, не «пра», отец? Вспомните.

Вольф сбавил пыл, затем, вылезая из-за стола, кряхтя, добавил:

— Похожее. Но я сам думаю, а может, не так. Постойте! Я отметил в евангелии, — он сходил во вторую комнату, принес оттуда маленькое евангелие на немецком языке, пошарил по страницам, отыскал подчеркнутые буквы, прочитал: — «Пора». Гга! Вот какое слово: не «пра», а «пора».

— Ну, это другой коленкор! — смеясь, облегченно воскликнул Вася и, встав из-за стола, взволнованно заходил по комнате. — Значит, пора. Пора поднимать восстание. Когда он это вам сказал, отец?

— Пожалуй, дней десять прошло.

— Почему же не передали мне или Татьяне Яковлевне?

— Где я вас мог найти? Один в Берлине, другая в Пруссии.

— Значит, пора. Завтра за вами, Татьяна Яковлевна, заедет Бломберг. Прошу: отправьтесь в лагерь, посмотрите — и «пора». Наши люди в Силезии уже передали несколько заводов Красной Армии. Геббельса это очень бесит.

— Еще бы! Из-под ног табуретку выбивают, — проговорила Татьяна.

Старик Вольф добавил:

— А петля на шее.

Татьяна, хотя и смутно, отдаленно, но с радостным чувством подумала: «А не Коля там... высокий, сильный... голова гордая, карие глаза? Но ведь он не седой. И как он мог туда попасть?»

4

Красная Армия, очистив от гитлеровских войск Балканы, Польшу, Восточную Пруссию, в ряде мест форсировала Одер — предпоследнюю оборону, «стальное кольцо», как называли ее фашисты, и могучий, все нарастающий удар сосредоточила на Берлине, куда

Гитлер стянул довольно большие силы из отъявленных головорезов, тех, кто ждал жесточайшей расплаты за все свои преступные деяния: за грабежи, убийства мирного населения, поджоги, насилия. Эти молодчики дрались так, как дерутся окруженные бандиты, зная, что им при сдаче не миновать виселицы или расстрела. Вот почему на Берлин двинулось со стороны Советской Армии: 41 000 стволов артиллерии и минометов, 8400 самолетов, сопровождавших с воздуха удар артиллерии, более 6300 современных танков... Однако гитлеровские части, расположенные вне Берлина, потрепанные и поверженные, стремительно неслись на запад, чтоб сдаться в плен американцам или англичанам, которым без боя уже сдавались дивизия за дивизией. Но на всех путях и дорогах их встречали бывшие пленные и насильственно угнанные русские, превратившиеся в своеобразных партизан, а с ними вместе и французы, болгары, румыны, венгры, чехи, словаки. Гитлеровцев били всюду: на тропах, дорогах, в лесах, на автотрассах. Особенно сильно действовало партизанское соединение, которым руководили словак Готвальд и Петр Хропов. В это объединение из «Центрального лазарета» уже влилось до семи тысяч человек — людей отборных, прошедших через все испытания гитлеровского режима.

Время неслось стремительно, события развивались молниеносно.

Горох из гитлеровского мешка посыпался во все стороны неудержимо. С юга, куда он удрал, Геринг прислал фюреру радиотелеграмму с требованием передать всю власть над «государством» ему, Герингу. Вначале Гитлер заплакал, потом начал бесноваться, как он бесновался всю жизнь.

Гитлеризм издыхал в районе имперской канцелярии.

Казалось, и союзники должны были бы направить свой удар именно на Берлин, особенно на район имперской канцелярии, где сидел Гитлер вместе с Евой Браун, Борманом, Геббельсом... Но рано утром Васю, Татьяну, Матильду (сам Вольф еще с вечера отправился к Генриху Ротштейну) разбудил потрясающий

грохот. Он их не просто разбудил, а подбросил в постелях, осыпая осколками стекла из окон, и они все трое, кое-как одевшись, выбежали на балкон и отсюда увидели страшную картину: над Старым Дрезденом, городом культуры, университетов, музеев, старинных особняков, неслась громада американских «летающих крепостей». Они шли потоками, серые до черноты. Шли низко, потому что в Старом Дрездене не было зениток, и самолеты беспрепятственно сбрасывали бомбы, обычно в тонну-две весом. Сбрасывали равномерно, по заранее намеченному плану, руша квартал за кварталом. Следом за первой партией «летающих крепостей» появилась вторая, потом третья... и за какой-то час город рухнул, погребя под обломками до трехсот-тысяч мирных жителей...

Вода в Эльбе закипела...

Потом наступила звенящая тишина, и гарь, удушливый трупный запах окутали Новый Дрезден...

Все это было бессмысленно и нелепо: Старый Дрезден никакой опасности в военном отношении не представлял. Но так сказал свое первое слово новый президент Соединенных Штатов Америки Трумэн. По договоренности на Ялтинской конференции, Старый Дрезден отходил в сферу влияния Красной Армии, и Трумэн дал приказ разрушить город культуры, музеев и университетов.

Взрывы потрясли всю округу: земля под ногами дрожала, будто перепуганный конь под седоком. Все это: грохот, гул, крики людей — сотни тысяч людей в безумии кричали во время бомбежки, — все это докатилось до «Центрального лазарета» и подняло всех на ноги.

Николай Кораблев не ночевал в бараке. Он всю ночь вместе со Свистуновым провозился около Сиволобова, который не то сам чем-то отравился, не то его отравили. С вечера у него появилась сильная рвота, под утро успокоилась, но начались боли в области живота, да такие, что он, весь сжавшись, катался по земле, стонал, прося:

— Пристрелите! Ну, пристрелите!

— Чепуху мелешь! — оборвал Николай Կораб-

лев. — Такое каждый из нас может сделать. Надо уметь жить — что здесь гораздо труднее.

В этот момент и раздался первый взрыв. Потом волны взрыва докатывались периодически, одна за другой, одна за другой, — так около часа.

— Неужели союзники? — проговорил Николай Кораблев.

Из-за сосен вынырнул старик Вольф. Ни с кем не здороваясь, бледный, заговорил:

— Вероятно, бомбят Дрезден. Наш Дрезден! Мирный Дрезден! Это зачем, а-а? Там и та женщина, которая помогает нам.

— Не следует волноваться понапрасну: у нас и так нервы натянуты, — посоветовал Николай Кораблев. — Надо все выяснить. Вы передали ей мое слово: «пора»?

— Да. И она ответила: «Пора». Через день-два она должна быть в лагере, с новым начальником. Назначили нового начальника, полковника, а этого с повышением переводят в Берлин. Видали: наш бывший социал-демократ Аксман заслужил, наконец-то заслужил палача, — и старик пустился в рассуждения о том, как предатели докатываются до палача и какие дикие вещи бывали в этом «разрезе». — Например, — говорил он, захлебываясь дымом трубки, — Шейдеман. Кто такой сначала был Шейдеман? Или тот же Гитлер? Кто такой вначале был Гитлер?..

— Самый подходящий момент для восстания, — не слушая его, обращаясь к Свистунову и Сиволобову, проговорил Николай Кораблев. — Самый лучший момент — во время смены властей. А у нас главный заболел. Эх, Петр Макарович!

— Не упрекайте!

— Да я не упрекаю, а жалею. Что мы без вас будем делать? Как без рук!

Сиволобов за эти месяцы вошел в полное доверие к окружающему населению, а главное — «сдружился» с часовыми, особенно с теми, кто посменно дежурил на вышках около пулеметов. Все это были инвалиды войны, но деморализованные всей гитлеровской системой: они брали взятки открыто, цинично, как берут

проститутки плату, могли пристрелить любого за потрепанную рубашку, штаны, содранные с умершего пленного.

Сиволобов каждое утро разносил одежонку с умерших по вышкам и кричал:

— Эй! Шакалы! Нате, подавитесь! — при этом наивно улыбался.

Часовые сбегали вниз, деля одеяние, часто спорили, а иногда и дрались. Затем подходили к улыбающемуся Сиволобову, хлопали по плечу, считая его дурачком: как же, такое добро и бесплатно таскает каждое утро! Вот почему они охотно подпускали его к вышкам и на вышки — к пулеметам. А иногда оставляли одного, а сами уходили, чтобы спрятать «от жадных глаз Аксмана» барахло. Было их — таких законченных мародеров — шестнадцать, и дежурили они попарно на каждой вышке. Вскоре Сиволобов привлек из военнопленных еще пять человек, людей преданных, и сказал им:

— Таскайте этим каждый день барахло. Прикидывайтесь дурачками — щерьтесь, смейтесь, эти идиоты не разберутся, — и, расставив своих людей по вышкам, скрытно прикрепил у барака сирену.

План восстания был разработан Николаем Кораблевым, Свистуновым и Сиволобовым. Он был прост: в назначенное время раздается сирена; те, кто прикреплен к вышкам, убивают часовых, захватывают пулеметы; а военнопленные кидаются в три стороны через колючую проволоку, предварительно забросав ее тюфяками, одеялами, шинелишками, и бегут в лес, где их будет поджидать вооруженный отряд партизан и оружие.

Восстание решено было поднять днем, во время обеда.

И вот заболел Сиволобов.

— Да вы, Николай Степанович, скажите мне час восстания, я на карачках доберусь, — простонал он.

— На карачках не доберешься. Вы уж лучше соберите все силы и еще раз примите вот это — белладонну.

— Спирту бы! Дайте мне спирту чистого полстакана, и я всю дрянь из себя изгоню.

— Не знаю такого лекарства. Хоть камни грызи, а вставай! — невольно зло кинул Николай Кораблев.

К ним подбежал взволнованный Митрич и еще издали закричал, обращаясь к Свистунову:

— Аксман прибыл... вместе с Отто. Тебя ищет, Свистунов.

5

Ничто не поколебало душевного состояния Аксмана — ни то, что Красная Армия уже форсировала Одер, подступает к Берлину, ни то, что сегодня утром разбомбили красивейший в Европе город — Старый Дрезден. Взволновало его другое. Вчера поздно вечером получил приказ: теперь он подполковник, и еще — его переводят с повышением в Берлин.

— Значит? Значит, все простили — даже Каутского и то, что я был министром при Шейдемане. Что ж, это грехи молодости!

Сегодня рано утром, когда все были разбужены взрывами, он, узнав о том, что Дрезден рухнул, вызвал к себе Отто и, оттопыривая губу, чопорно возвестил:

— Я уже не майор, Отто. Подполковник. И перевожусь в Берлин с повышением. Я теперь все время пойду с повышением: заслужил.

Отто уже был пьян.

— Повышайся, Аксман, повышайся. Когда будешь очень богатый, угости меня лучшим ромом. Лучшим, какой когда-то пил Вильгельм. О-о!

— Я угощу. Непременно, Отто! А теперь пойдем прощаться. Они хотя и не друзья мне, но многое дали, — с этим всегда надо считаться. И ты никогда не обижай тех, кто тебе дает. Ты каждый день пьян, а откуда? Они тебе дают. Чем больше умирает, тем больше перепадает нам. Это великолепно!

— Этт-т-то великолепно! — пьяно вскрикнул Отто.

И вот они прибыли к «могильщикам», вызвали

главного «могильщика» — Свистунова, и Аксман сказал ему, так же топыря губу:

— Я есть! Я буду! А теперь, переводчик... — обратился он к новому переводчику, Сане, которого подставил ему Николай Кораблев, и заговорил по-немецки: — Собрать передо мной все наличие. Хочу знать отношение ко мне.

И когда все выстроились у рва, где лежали еще не засыпанные трупы военнопленных, Аксман добавил:

— Я покидаю вас. Я уверен, вы довольны мной.

— Как же, как же! — закричал Свистунов. — Премного довольны, господин подполковник! И поздравляем вас. Так вы скоро и генерала получите. Генерал Аксман. О-о-о! Как звучит!

Выслушав через переводчика то, что сказал Свистунов, Аксман еще больше выпятил нижнюю губу:

— Еще бы! Непременно Аксман будет генералом. А теперь вот что: я доволен. Очень! И чтобы осталась самая хорошая память обо мне, я сегодня скажу: «расстрелять тысячу пленных...», и все с вами пополам. Нет. Я себе беру одну треть. Отто тоже едет со мной. Отто! Ты чем хочешь: барахлом или марками?

— Марки! — прохрипел тот. — Еще лучше — виски. У англичан хорошее виски. Ой!

— Дайте ему виски, — покровительственно произнес Аксман. — А я прикажу пригнать сюда тысячу пленных. Их надо расстрелять. Все равно им подыхать, а не жить. Хайль Гитлер! — и он вскинул вверх руку.

— Вот так сволочь! — покатилось от пленных.

Аксман вернулся в домик вместе с Отто, сел за стол и потребовал прощальный завтрак с ромом и виски. Но, чокнувшись с Отто, прокричав еще раз положенное «хайль Гитлер», выпил и вдруг почувствовал, что какая-то злая тревога закрадывается ему в сердце.

«Что? Чего? Ну еще! — крикнул он про себя, а тревога все вползала, душила, давила сердце. — Ну, еду в Берлин. Что-о-о? — рассуждал он сам с собой. — В Берлин? Позволь! Дрезден разбомбили за сорок минут. Дрезден — и сорок минут. Триста тысяч жителей под обломками. А Берлин? Он давно пылает.

Эге... Мне-то вообще здесь, в лагере, очень хорошо: хочу — казню, хочу — милую... И марки идут каждый день: больше смерти — больше марок. Ого! Я стал говорить, как Ницше, — афоризмами. Больше смерти — больше марок».

В Берлин? Вызывают в Берлин. Но ведь Аксману в Берлине вообще не везет: он был первым учеником у Каутского, первым министром у Шейдемана... и как потом за это пострадал! Так почему же ему теперь ехать в Берлин?.. И сгореть там? Не лучше ли переправиться на ту сторону Эльбы, где у Аксмана есть свой прекрасный дом, двое детей, жена... и сколько коров, лошадей, какая земля! Ведь это почти имение. Есть и марки. Много марок — мешки кожаные. Разве Аксман будет держать марки в простых мешках? Нет, в кожаных мешках марки... Аксман еще выпил. Потом еще... и, оставив за столом пьяного Отто, забыв отдать распоряжение о расстреле пленных, сел в машину и укатил по ту сторону Эльбы, в свое «почти имение»...

Впоследствии он выплыл «на свет божий» и работал рука об руку по ту сторону Эльбы с таким плутом и пройдохой, как Шумахер.

Узнав о бегстве Аксмана, Николай Кораблев приказал:

— Завтра в обед поднимемся все.

6

И вдруг все перевернулось...

Часа через два после бегства Аксмана в лагерь примчался новый начальник разведки. Арестовав Отто, он отправил его куда-то, затем пригласил врачей, сестер, администрацию, сообщил им о том, что вот-вот прибудет начальник «Центрального лазарета» и «будьте наготове». После этого он созвал солдат, что-то передал им, и они вышли от него бледные, растерянные, но тут же всех пленных загнали во двор, в том числе и «могильщиков» — Свистунова вместе с Николаем Кораблевым, Сиволобовым и Митричем.

А вскоре явился батальон солдат-эсэсовцев. Они, по-военному расположившись за колючей проволокой, расставили пулеметы, минометы и даже огнеметы.

Так русские военнопленные были отрезаны от мира... Только из лагеря англичан все еще неслась музыка духового оркестра, и она раздражала всех до безумия, особенно Николая Кораблева. Он, встревоженный и ничего не понимающий, переходил от группы к группе пленных и все расспрашивал, намереваясь узнать, в чем дело. Ему никто ничего путного сказать не мог. Но вскоре его разыскал переводчик Саня и сообщил:

— Новый начальник разведки привез приказ: всех военнопленных расстрелять.

— Когда расстрел?

— Вот приедет новый начальник лагеря.

Николай Кораблев крупным шагом направился к той группе военнопленных, в которой находились Свистунов, Сиволобов и Митрич.

— Закончились часы сволоты, — сообщил он.

— А бледность на лице отчего? — спросил Сиволобов, еще не совсем оправившийся от болезни.

— Доказательство тому тяжелое... — Николай Кораблев подождал, обдумывая, передавать ли то, что сообщил ему Саня, и как передать: чтобы докатилось до всех или тихо, лишь бы знали Сиволобов, Свистунов и Митрич? Он долго смотрел на пленных. Те сидели все так же, каждая группа у своего барака, напряженно сосредоточенные, недоуменно поглядывающие за проволоку, где спешно дооборудовались огневые точки. «Нет. Не сказать им — значит, не предупредить их. Надо сказать», — решил он и громко проговорил, обращаясь к Свистунову, Сиволобову и Митричу: — Доказательство тяжелое: привезен приказ — всех нас расстрелять.

Близсидящие дрогнули, потянулись к другим, и через какие-нибудь десять — пятнадцать минут по всему лагерю полетело:

— Лучше умереть на проволоке, чем под расстрелом!

— Ну, теперь нам ждать нельзя! — проговорил

Сиволобов. — На нас все глаза обращены, промедлим — такая катавасия поднимется: ринутся все на колючку. Давайте клич!

— Как? — раздраженно спросил Николай Кораблев. — Можно так: передать нашим, чтобы они напали на эсэсовцев, отвлекли бы их от нас, тем временем мы ринулись бы по старому плану. Но как? Как пробраться за проволоку?

— Ну, а если нам просто ринуться во все стороны... Сорок тысяч не перестреляют, — сказал Свистунов.

— Нелепо и бестолково, — торопко возразил Николай Кораблев, уже понимая, что такое настроение не только у Свистунова, но и у всех военнопленных, — ринуться во все стороны, и что будет то и будет, — нелепо и глупо.

— Но ведь лозунг-то вон какой: «Лучше умереть на проволоке, чем под расстрелом!» — произнес Сиволобов.

— Руководитель не всегда должен подчиняться стихийному лозунгу. Умереть на проволоке? Экая героика! Надо выжить и бить врага — в этом героика. Пустите-ка в ход такое: «Советский человек не тронется с места, пока не будет команды».

Свистунов, Сиволобов, Митрич передали эти слова, и они быстро облетели весь лагерь. Тогда оборвался гул, разговоры, и все молча и напряженно стали ждать команды. А Николай Кораблев тяжко подумал:

«Один мой необдуманный шаг приведет к гибели, одно глупое слово — к панике. Надо кого-нибудь переправить на ту сторону», — он хотел было предложить Сиволобову попытаться пробраться за колючую проволоку, как от англичан через прогал перелетела и закружилась на земле банка консервов.

— Опять кидаются, — сказал Митрич и скрипнул зубами. — Ну, я за это у них пять бараков сожгу.

А банка все еще подпрыгивала, вертелась и наконец легла у ног военнопленных. У кого-то было потянулись к ней руки, кто-то было привскочил, но, видимо, вспомнили лозунг: «Советский человек не кинется на банку».

— Озоруют, — зло сказал Сиволобов.

— Этого не может быть: ведь мы договорились. Тут что-то другое, — и Николай Кораблев, огромный, высокий, тощий, на виду у всех поднял банку, затем вскрыл, высыпал из нее песок. Вместе с песком на землю упала записочка. Он прочитал: «Идите на англичан. Все подготовлено. С т а р и к». Николай Кораблев, подойдя к тройке, передал содержание записки.

— Ну вот и выход! — воскликнул Свистунов.

— Опять торопитесь. Нет. Надо так: мы сейчас все двинемся к проволоке, усядемся там, а вы подкопайтесь... и проверьте. Ведь может быть и провокация.

— Могу, конечно... а что это?

Со стороны англичан к колючей проволоке приблизились пленные. Они встали стеной, а на проволоку, обмотав руки тряпкой, взобрался Вольф. Затем кто-то взмахнул палочкой, и из сотен глоток вырвались слова популярной во всех армиях песенки:

Выходила на берег Катюша,
Выходила на берег крутой.

Русские, не договариваясь, подхватили песенку.

7

Вечером снова раздался звонок телефона. Звонил Вася из Берлина, и, не называя, как обычно, Татьяну женушкой, он говорил открыто и прямо:

— Творится такое — дышат на ладан. Бломберг сегодня выедет к вам. Пробиться трудно. Но он пробьется. Ему обещали генерала, если он выполнит то, что поручено. А поручено ему — расстрел всех военнопленных.

— Вы так откровенно говорите.

— Некому подслушать: все рушится. Выполняйте быстрее «пора».

Бломберг приехал утром. Когда машина вкатила во дворик и когда он, осанистый и чопорный, выбрался из нее, красуясь «убранством» полковника, Матильда страшно перепугалась, а Татьяна сказала:

— Не бойтесь: это наш старый знакомый.

Бломберг в эту минуту сказал адъютанту, который хотел было вынести из машины чемодан:

— Не трогать! Постараемся сегодня же отправиться на место. А если нет, будем спать в машине. Надо быть на страже: всюду бомбят. Фронт есть фронт.

«Нашел фронт — на вилле стариков», — подумала Татьяна.

Следом за этим Блюмберг поднялся наверх; ступеньки скрипели под его ногами, как под тяжестью слона. Поднявшись наверх, не видя Татьяну, он требовательно прокашлялся и сел на стул, расставя ноги, положив на них отяжелевшие и красноватые руки. Затем произнес:

— Разве я бездельник, чтобы ждать? — и тут же вскочил, расшаркался: перед ним стояла Татьяна. — Мы старые знакомые. Как теперь редко приходится встречаться со знакомыми: одни навсегда ушли, другие навсегда расстались... А для такой красавицы, как вы, я готов ждать у дверей хоть год. Хотите два... нет, три?

Татьяна, любезно улыбаясь, произнесла:

— Что тогда было бы с войной, если бы вы, полковник, три года стояли у двери такой красавицы, как я... А вы ведь почти генерал. Я знаю, вам сулят генерала. Мне только что звонил муж из Берлина и уверял: вам дадут генерала.

— Да. Вы видели меня в Варшаве майором, а теперь я уже полковник. Еще одна ступень — и я генерал, — неуверенно сказал он, о чем-то задумавшись, и вдруг крикнул своему адъютанту, чтобы тот внес чемодан наверх.

«Ну и нахал!» — подумала Татьяна, но сказала другое:

— Я сейчас скажу маме, чтобы она вам приготовила вот эту комнатку... нашу священную комнатку, где была проведена наша первая ночь с Базилем, — тут подумала: «Экую пакость я порю... но это его стиль», и продолжала: — Нам тогда Геббельс прислал

книгу фюрера «Майн кампф» с надписью: «Мы смотрим в будущее, и для нас море, даже океан пролитой крови — ничто». Замечательные слова, не правда ли?

— Угу, — буркнул Бломберг, постукивая ладошками по ожиревшим коленям.

— И вот уж я на седьмом месяце беременности, — вдруг бухнула Татьяна, одновременно думая: «С нахалом и надо быть нахальной».

Бломберг с недоумением посмотрел на нее. Потом, поморщась, прошелся, выглянул в окно, как бы о чем-то раздумывая, проговорил:

— А может, нам поехать в лагерь? В самом деле, я не должен стоять у двери красавицы: я скоро буду генерал, — и, не дожидаясь согласия Татьяны, крикнул адъютанту, чтобы тот не поднимал чемодана наверх. — Надо ехать, пока не поздно.

«Вот так-то тебя, губастая свинья», — злорадно подумала Татьяна и вся взвихрилась, говоря:

— Конечно, конечно! Иначе вы можете потерять генерала... из-за какой-то красавицы.

— Угу, — снова буркнул Бломберг. — Но не будем пикироваться. Вы давно знаете нашего Гиммлера?

— А разве я обязана вам об этом говорить, господин полковник? Ведь моя работа самая секретная, и вдруг я вам выбалтываю.

— Нет. Я не об этом. Я хотел просить вас, чтобы вы попросили своего мужа, чтобы тот попросил своего шефа...

— Сколько «попросить» в вашей речи, полковник! Хорошо, я сама попрошу, чтобы вам скорее дали генерала.

— О-о! Вы умная женщина.

— Неглупая!

Прощаясь внизу с Матильдой, Татьяна шепнула:

— Что-то мне сегодня страшно: еду с таким бульдогом.

— Нервы, доченька. Нервы, — впервые называя ее «доченькой», ответила Матильда. — От нахала ты отобьешься, знаю. Но крысы бегут с кораблей, и в это время они жестоко кусаются. Их берегись! Прощай, доченька. Да поможет тебе Сталин.

— Спасибо. Сталин всегда нам помогает... и Ленин! — Татьяна забралась в машину, ожидая, что Бломберг устроится с шофером, но полковник сел рядом с ней и крикнул:

— Тронемся!

...Они въехали в лагерь как раз в тот момент, когда все заключенные пели песенку «Катюша».

— О-о! — воскликнул Сиволобов. — Едут. Новое начальство.

Николай Кораблев повернулся и увидел, как из машины вышли полковник и какая-то женщина, а в это время англичане, закончив песенку «Катюша», вдруг запели популярную в Европе и в Англии песенку о Степане Разине: ее всегда распевали шарманщики.

— «Вольга! Вольга!..» — неслось над лагерем.

Бломберг вначале окрысился, но, поняв, что песню поют англичане, столпившиеся у колючей проволоки, по-собачьи улыбнулся в их сторону, приветливо помахал рукой.

А Николай Кораблев в это время подумал:

«Значит, не провокация. Хорошо... — и дрогнул: рядом с полковником шла женщина, всем своим видом — походкой, глазами, движением рук, голосом, смехом — разительно напоминавшая Татьяну. — Боже мой! — воскликнул он про себя. — С ума схожу! Ведь это она... только вот эта шляпка не ее, только вот эти длинные по локоть перчатки не ее, только вот эти туфли на пробковой подошве не ее... но это она... она... она... только вот этот игривый смех не ее... и не может она вести его под руку. Нет! Нет! Нет! Это не она», — и, весь дрожа, стал ловить глаза Татьяны: ведь они не обманут, их нельзя ничем прикрыть — ни шляпкой, ни перчатками, ни игривым смехом.

Татьяна вдруг отшатнулась от Бломберга. Она даже оттолкнулась от него, как это делает человек, резко почувствовавший омерзение к тому, с кем шел под руку. Оттолкнувшись, она, еще ничего не понимая, с испугом поглядела во все стороны и задержалась на больших карих глазах. В эту секунду какая-то острая искра пронзила ее и Николая Кораблева, а Татьяна воскликнула про себя:

«Да кто же это? Кто? Кто? Что за испытание? Неужели он? В таком месте... под расстрелом? А почему у него седые волосы? Да ведь тут поседеешь! Но как он попал сюда? Ведь это его глаза... Я сейчас упаду... Упаду... и тогда все пропало. Все...»

Песня оборвалась, и Татьяна все еще стояла и смотрела в глаза Николая Кораблева, не в силах оторваться от них.

«Это он! Он! Он! Коля, родной мой!» — уверенно кричал ее внутренний голос, и она, теряя власть над собой, шагнула было к нему, протянула руки и хотела было что-то крикнуть, забыв о всякой предосторожности, но он не пошел, а пополз между пленными, от кого-то прячась.

Николай Кораблев узнал Бломберга и кинулся от него. А Татьяна, увидев, как человек с такими же глазами, как и у ее мужа, уползает от нее, дрогнула, глубоко вздохнув, подумала:

«Экая! Мало ли на свете карих глаз? Разве Коля покинул бы меня?» — и снова, взяв под руку Бломберга, игриво смеясь, произнесла:

— Полковник, вы совсем забыли меня!

— Как — я? Вы забыли... вы чем-то увлеклись.

— Видом пленных.

— Да-а! Они не встают: я иду, они сидят. Ну, ничего: скоро лягут.

Татьяна ничего не слышала: перед ней горели карие, большие, впавшие глаза Николая Кораблева, и как раз сейчас, несмотря ни на что, она была уверена, что это его глаза: единственные глаза во всем мире. И вечером, заявив Бломбергу, что у нее «свои дела», она вышла из лагеря и направилась на кладбище и тут встретилась со стариком Вольфом.

— Покажите мне вашего Николая! — настойчиво потребовала она.

Старик Вольф покачал головой:

— Его видеть сейчас никак нельзя: он очень занят важными делами. Ведь сегодня на двенадцать ночи назначено «пора».

— Нет! Нет! — почти закричала Татьяна. — Покажите мне его. Немедленно. Я ничего не могу делать,

пока не увижу его. Вы говорили, что у него карие глаза... Да ведь такие глаза у моего мужа.

— У Базиля? Что вы!

— Ох! Нет, Вася — мой друг. У меня есть муж. Николай. У него карие глаза.

Вольф по-стариковски обнял ее, посадил на пенечек и раздумчиво проговорил:

— В такое тяжелое время многие теряют рассудок. Ну, как это: был муж Базиль, теперь Николай?

— Нет. Вы не понимаете. Такие глаза могут быть только у него.

— Вот вы и увидите его завтра, — согласился, чтобы успокоить ее, старик. — А сегодня, если я ему скажу: «Товарищ Николай, бросайте все дела, одна женщина хочет видеть ваши глаза», он назовет меня «кружкой пива». Он всегда, когда мы начинаем болтать, говорит нам: «Вы — кружка пива».

«Очень похоже на него: он может так сказать — «кружка пива». И если это он, я завтра увижу его», — радостно подумала Татьяна, а Вольф еще сказал:

— Вы лучше займитесь вот чем: Бломберга следует сегодня отсюда увезти, я так думаю. Ах, Дрезден, Дрезден! Уже знаю: страшная могила. Но как там моя Матильда? Перепугалась?

— Еще бы! А это очень надо — увезти Бломберга?

— Очень. Он же приехал, чтобы выполнить приказ — расстрелять всех пленных. Уедет — без него не будут расстреливать. Нам час дорог. Ведь Николай сказал: сегодня в двенадцать ночи восстание.

— Как мне ни тяжело сегодня заниматься Бломбергом, но я сделаю все, чтобы увезти его отсюда. А завтра вы покажете мне Николая? Вы даете слово?

— Даю слово. Но он может вместе со всеми отправиться к партизанам, чтобы там встретить бегущих гитлеровцев.

— Нет! Вы скажите ему, что я хочу его видеть. Скажите, не то я сейчас пойду туда и разыщу его.

— Это не надо. Не надо! — запротестовал Вольф.— Он назовет вас: «Кружка пива».

— Нет! Он не назовет меня «кружка пива». Нет!

Татьяна отправилась в лагерь и, необычайно воз-

бужденная, вошла в домик, где обосновался Бломберг.

Он сидел за столом, просматривая списки военнопленных, кого-то выделяя «птичками» на полях.

— А вы уже трудитесь, полковник? — вскрикнула Татьяна, садясь за стол.

— Да-а! — важно протянул он. — Мы, немцы, народ педантичный: любим точность и порядок.

— А над чем вы трудитесь?

— Я просматриваю... Ведь мне приказано сегодня расстрелять русских. Расстрелять надо умело, чтобы не было беспорядка. Но не всех. Вот мне дали список тех, кто служит нам. Не вижу таких. Хотя и отмечаю. Я думаю: все русские — наши враги.

Татьяна побледнела и вцепилась руками в стол.

— Что с вами? — спросил Бломберг.

— Я ведь... я ведь вам сказала — на седьмом месяце... и прошу вас, проводите меня в Дрезден.

Бломберг прошелся по кабинету, затем сел в кресло против Татьяны, постучал о пол каблуком.

— А чем вы меня удовлетворите?

— Вы нелюбезный, полковник. Вы забываете, что генерала часто получают через женщину.

— О да! — воскликнул он и снова постучал каблуком о пол. — Отложим дело до завтра, а сегодня я ваш кавалер.

8

Ровно в двенадцать ночи раздался вой сирены.

За несколько минут перед этим люди из боевой бригады Сиволобова выключили свет в лагере, сняли часовых на вышках, перебили прислугу, а в двенадцать завыла сирена, и пленные, захватив с собой тюфяки, одежонку, ринулись в сторону англичан, всем своим натиском срывая и сминая колючую проволоку.

Эсэсовцы дали очереди по заранее намеченным направлениям, ударили из минометов, огнеметов, предполагая, что пленные побегут именно здесь, но, заслыша гул, крики в лагере англичан, сами перепугались и кинулись в разные стороны. А русские, ворвавшись в лагерь англичан, обнимая их, похлопывая по плечам,

целуясь, возбуждая на подвиги и их, вместе с ними метнулись в лес, где их уже ждал отряд партизан. И отсюда все русские тронулись на дороги, тропы добивать бегущих из Праги гитлеровцев. По пути люди вооружались всем, что попадало под руку, — кольями, вилами, топорами, — забирая все это у населения, а с ними, с пленными, бросились и немецкие крестьяне, рабочие помогать бить гитлеровцев.

Наутро в Новый Дрезден прибыл Вольф. Он ворвался в столовую и тут увидел Бломберга, Татьяну и расстроенную Матильду.

Говорил Бломберг, глядя куда-то туманными глазами:

— Аксман прав. Надо заботиться о себе. Я после Варшавы работал в русском городе Бобер. Хороший город! Из него тащили все. Даже фон Шрейдер, владелец нескольких замков, и тот тащил — мебель, ковры. Я тоже мог тащить. А почему не тащить, раз завоевано? Но я не успел: приехал генерал Фогель и меня снял, заменив Раушенбахом. О-о-о! Тот был акула: он глотал целые имения. А я? Почему я не имею фабрики? Но я буду генералом и фабрикантом!

Татьяна почти не слушала его. Она думала о своем — постоянно, непрерывно:

«То был он, Коля, родной мой. Вот скоро-скоро мы с тобой увидимся. Скоро! Восстание, наверное, свершилось. И ты организовал его. Ты, Коля, родной мой! Но почему ты не узнал меня? Неужели я так изменилась? — Она то и дело посматривала в зеркало, висящее на стене. — Нет, нет. Я уж не так изменилась. Но глаза-то ведь у меня твои. Разве ты их не узнал?»

— Теперь, — долбил Бломберг, — Аксман сбежал к американцам или англичанам, и он будет жить. А как же? Он нажил состояние, и почему ему не жить? Жить — это нажить.

«Чего он мелет? Жить — это нажить», — думала Татьяна и сказала:

— Вы философ, полковник, а когда будете генералом, вам просто надо все записывать, как когда-то записывал Кант, ваш бог.

— И вы думаете, мне тоже надо вести научный

дневник? За него ведь потом можно получить золото.

— Обязательно: у вас такой чудесный слог, — и Татьяна повернулась к двери, где на пороге стоял Вольф, возбужденный, раскрасневшийся. — Отец! — крикнула она и кинулась к нему. — Где он? Вы привезли его с собой?

— Вы что, в уме? — сердито оборвал ее Вольф, и, обратясь к Бломбергу, произнес: — Господин полковник, я сейчас проезжал мимо «Центрального лазарета». Вы, кажется, там начальник... и сидите, распиваете тут кофе! Там восстание: пленные ушли и перебили всю прислугу!..

Бломберг мгновенно осунулся. Глаза у него вылупились, щеки впали, и даже волосы на голове будто поредели: они приподнялись, как приподнимается шерсть у собаки. И он не спросил, а захрипел:

— Ка-ак? — и, выскочив из-за стола, даже не простившись с Татьяной, выбежал во двор, сел в машину, толкнул шофера в плечо, приказал: — Молнией в лагерь!

А Татьяна снова вцепилась в Вольфа.

— Где он? Где Николай? Я ведь сделала то, что вы просили, — увезла Бломберга. Покажите мне Николая!

— Он, наверное, уже бьет гитлеровцев: весь лагерь снялся и ушел.

— Тогда поедемте за ним! Поедемте! Разыщем! Я вас прошу! Достаньте машину — и догоним! Поймите, я не могу... Жить не могу, если не увижу Николая!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Тридцатого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года, несмотря на то, что война еще бушевала над Берлином, ряд городов и сел пылали, миллионы советских воинов находились под ружьем, — несмотря на все это, московские женщины, словно договорясь, на-

рушая все правила маскировки, сдирали наклейки, чистили окна и весело перекликались — верхние этажи с нижними, нижние — с прохожими. А вечером всюду — на улицах, улочках, переулках, на площадях, в домах и домиках, — вечером всюду вспыхнул электрический свет и затопил столицу.

Так в Москву ворвался *мир*.

В эти дни фронт в Берлине приблизился к имперской канцелярии на пятьсот — шестьсот метров; советские войска наступали через пожарища, дым, копоть, развалины, удушливый трупный запах. Шли на решительный, ожесточенный и последний штурм. Узнав о том, что русские мастерски используют туннели метро, заходя немецким частям в тыл, Гитлер отдал приказ — открыть шлюзы. Ему кто-то робко сообщил, что в туннелях находятся тысячи немецких раненых солдат, но он, как всегда, высокопарно ответил:

— Мы смотрим в будущее, и для нас море крови — ничто!

Вася, узнав о приказе, немедленно отправился в дивизию Громадина, которая со стороны рейхстага очищала от гитлеровцев путь к имперской канцелярии.

— А, Вася! — встретил его Громадин, измученный, измотанный, казалось, до невозможного, но обрадованный появлением Васи. — Как «фюрер» твой?

— Вот какой приказ отдал! — и Вася почти слово в слово пересказал приказ.

— Вон что! — баском воскликнул Громадин. — Хочет залить метро. Но ведь в секторе имперской канцелярии, в туннелях, как мне известно, тысячи раненых немецких солдат.

— На это он ответил: «Мы смотрим в будущее, и для нас море крови — ничто!»

— Ну! Ну и бандит! — И Громадин, связавшись по полевому телефону с Анатолием Васильевичем, сообщил о приказе Гитлера.

Вскоре советское командование взорвало два входа в метро, прилегающие к району имперской канцелярии, и этим самым оборвало доступ воды в остальные туннели. Раненых немецких солдат спасти не удалось:

они были все затоплены (потому что для Гитлера море крови — ничто).

Двадцать девятого апреля Вася снова пробрался в имперскую канцелярию. Ему было грустно: во-первых, потому, что не удалось «прихватить» своего шефа, Блюхера: тот сбежал на юг, к Герингу, а во-вторых, и главным образом, он грустил потому, что Татьяна выехала отыскивать Николая Кораблева. В тот день, когда она хотела вместе со стариком Вольфом кинуться следом за мужем, Вася убедил ее этого не делать.

— Оставьте свои семейные дела на время, — впервые грубо сказал он. — Красная Армия сейчас наступает на Берлин, ей нужны люди, знающие предместья и улицы города. Вы это знаете. Пойдемте туда: вы спасете от смерти тысячи людей.

И тогда она согласилась, недели две работала в дивизии Громадина и как переводчик и как своеобразный проводник. А вот теперь, когда уже не нужны были проводники, она ринулась на поиски.

«Разыщет его, узнает, что мы с ним были связаны и ей не говорили... как тогда ей смотреть в глаза? Конечно, генерал прав, ей нельзя было передавать, что Николай Степанович в лагере: вон что было, когда увидела его глаза! Однако, может быть, было бы лучше сообщить ей», — так думал Вася и вот такой, грустный, поздно ночью вышел из подземелья в тот самый зал, где его и Татьяну однажды увидел Борман.

Зал при тусклом освещении был пуст: ни столов, ни картин, ни диванов, ни стульев — только в ряде мест на потолке обвалилась штукатурка и, казалось, потолок зиял черными ранами, да кто-то наполовину скатал гигантский ковер. Он скатан был неровно, извивами и напоминал громадного удава, легшего во всю длину зала.

И вдруг, как привидение, из боковой комнаты вышел Гитлер, а следом за ним — Борман. Гитлер не шел, а шлепал ногами, словно они у него были туго перетянуты в коленях. Сначала фюрер невидящими

глазами посмотрел во все стороны, затем глаза вспыхнули, и он, как всегда чопорно, произнес:

— Борман! Видите этот ковер?

— Да, вижу, фюрер, — ответил тот придавленным рыком.

— Мне Геббельс говорил, у Клаузевица, великого военного теоретика, есть такое место: ковер скатывается — это страна накапливает силы, накопит — ковер развернется и смертельно хлестнет врага. Смотрите на этот ковер, он скатывается.

Борман, мрачный, как будто природа навсегда лишила его улыбки, тут улыбнулся и кинул:

— Дорогой мой фюрер, но у нас с вами, кроме этого ковра, ничего не осталось.

— Только? — недоуменно спросил Гитлер.

— Только. И еще вот что, — и, подойдя ко второй двери, он показал в даль коридора, где на толстой цепи, опущенная до полу, висела хрустальная, огромнейших размеров люстра.

Гитлер еще больше обвис и, шлепая ногами, спустился в подземелье, заглянул к своей овчарке и, осведомившись о том, что щенята живы и здоровы, что удушливый смрад подземелья пока на их «самочувствие» влияния не имеет, отправился в свой кабинет и, вызвав Еву Браун, с которой за несколько дней перед этим «сочетался браком», сказал:

— Ева! Все! — и, сев за стол, написал завещание; оно начиналось так же высокопарно, истерично, как и все выступления Гитлера.

«Я свершил то, что не под силу человеку», — затем в завещании он кому-то грозил, что «ухожу с этой земли», потом проявил заботу о том, чтобы картины, наворованные им в том же государстве, которым ему пришлось несколько лет управлять, чтобы картины эти передали в музей городка, где фюрер родился; дальше пошли проклятия — Гиммлеру, Герингу, Риббентропу и прочим, прочим, тем, кто сбежал от него. Написав завещание, возложив «все руководство государством» на Геббельса, он передал ему завещание и добавил:

— Мы уходим. Я и Ева.

Это было в три часа утра тридцатого апреля.

Через час Геббельс тоже составил завещание и, предварительно отравив своих дочерей и жену, отравился сам.

Часов в пять утра Вася увидел мертвых дочерей и жену Геббельса. Сам Геббельс, наполовину сгоревший, лежал на столе, очень похожий на маленькую, худенькую обезьянку. После этого Вася решил покинуть имперскую канцелярию и через развалины, под артиллерийским огнем направился к Громадину, намереваясь обо всем виденном доложить комдиву и испросить у него разрешения отправиться на розыски Татьяны, чтобы помочь ей встретиться с Николаем Кораблевым.

2

Татьяна разыскала Петра Хропова только через несколько дней, что далось ей с большим трудом: она всюду наталкивалась на разрозненные, казалось самостийные и руководимые только единой целью и устремлением — бить гитлеровцев — партизанские отряды. Партизан — русских, чехов, словаков, венгров, французов, англичан, румын, болгар — всюду население встречало с хлебом-солью, угощало вином, но к Татьяне, вернее к ее костюму, модной шляпке, все относились отчужденно, а некоторые — даже озлобленно.

— Мне бы Петра Ивановича Хропова, — заявляла она всем одно и то же.

Партизаны знали Петра Хропова, и каждый из них, подозрительно глядя на Татьяну, тихо произносил:

— Видно, царапнуть хочет нашего Петра Ивановича. Ишь ты, вырядилась! — а иные добавляли: — Вздернуть ее на осину, тогда поглядим, как на ней ленточки-то затреплются! — но простые, ясные глаза, теплый дружественный голос, в котором порою слышалась мольба, покоряли всех, и Татьяна переходила от отряда к отряду, пока в Саксонской Швейцарии, в старинном замке, не столкнулась с Петром Хроповым.

Тот, неузнаваемый в военном кителе, обрадовался

ее появлению, при всех кинулся к ней, расцеловался. После этого познакомил ее с руководителем партизанского объединения Готвальдом, который так и впился в нее, когда узнал о том, что она больше двух лет проработала в Германии. А на лице у Петра Хропова появилась какая-то скрытая озабоченность, в движениях — ненужная суетливость, спохваченность: сидит или стоит, как бы застыв, и вдруг спохватится.

— Да как же это вы... вот такая... и на глазах у немцев? — удивленно спросил Готвальд.

— Под видом беженки из России, — не открывая всего, ответила Татьяна, одновременно наблюдая за поведением Петра Хропова, уверенно думая: «А ведь он так ведет себя потому, что не знает, как мне сказать о том, что Николай здесь. Он, видимо, предполагает, что я не знаю об этом. А я знаю! Я все знаю. Знаю», — и про себя, воздерживаясь спросить Петра Хропова о Николае Кораблеве, тихо смеялась. Она решила: «Ну, еще подожду... минутку подожду! Как наш милый Петр Иванович несуразно ведет себя! Вот опять чего-то спохватился!»

Готвальд заметил, что Татьяна живет в двух планах: она отвечает ему хотя и с охотой, но односложно, все время украдкой посматривая на Петра Хропова.

— Мы неразумные люди, товарищ Татьяна: вы столько натерпелись, а мы держим вас около себя. Идите отдыхать. Я так думаю, Петр Иванович, прикажите отвести лучшую комнату, — предложил Готвальд.

Татьяна, глядя из сводчатого окна замка вниз на Эльбу, на рыжие глыбы берега, уносилась на Днепр под Кичкас, где такие же рыжие глыбы украшают берега. Порой она вдруг ярко представляла себе первую встречу с Николаем Кораблевым... Она сидит на берегу, поставив перед собой треножник с полотном, и старательно, уже в который раз, рисует быстро текущие воды Днепра. Она тогда писала картину «Днепр». И неожиданно услышала позади себя:

— А это очень... очень хорошо!

Татьяна повернулась: скрываясь наполовину за камень, окатанный водами, стоит человек без фуражки, и ветер треплет на его голове густые, кудлатые

волосы, — это и был Николай Кораблев. А сейчас, услыхав от Готвальда предложение отправиться на отдых в какую-то комнату и чересчур оживленное согласие Петра Хропова, она перепуганно вскочила:

— Да что вы? Я вовсе не устала!.. Я... Петр Иванович! Вы молчите... а я ведь знаю!.. Ну и покажите мне его! Вы понимаете, как я соскучилась по нем!

Лицо Петра Хропова не просто побледнело — оно покрылось синевой. Он часто заморгал, растерянно развел руками и кинулся к двери, говоря:

— Я вот сейчас! Сейчас приведу его ближайшего друга, Петра Макаровича Сиволобова! Вот сейчас! — и скрылся.

Татьяна сначала недоуменно посмотрела на присмиревшего Готвальда, потом на окно, на Эльбу, на ее рыжие каменистые берега, затем на то место, где только что стоял Петр Хропов, и вдруг почувствовала, как сердце болезненно заныло.

Петр Хропов и Сиволобов долго не появлялись. Долго молчала Татьяна, ощущая, как больно у нее ноет сердце, уговаривая себя:

«Да зачем такая боль! Ведь это будет радость — большая радость! Вот сейчас он войдет, и я кинусь к нему! Я посмотрю в его глаза и скажу: «Я видела! Видела твои глаза: такие глаза ведь единственные в мире!»

Долго молчал и Готвальд: он только после ухода Петра Хропова догадался, что Татьяна — жена Николая Кораблева. Под конец, постукивая карандашом по крышке огромного старинного стола, он произнес:

— Великий пожар! И сколько лучших людей сгорело в нем!.. И, к сожалению, это не последний пожар: к нам английская и американская разведка уже засылают своих агентов. Уговаривают перейти на их сторону, сулят молочные реки. А зачем это им? Ведь они союзники Советского Союза. Выходит, союзники до поры до времени...

Татьяна и это не слышала: она думала только о своем и смотрела на дверь, как смотрит человек,

посаженный в камеру, но оправданный и ждущий: вот-вот откроется дверь — и его выпустят на волю.

И тяжелая дверь, обитая почерневшим серебром, отворилась, на пороге первым появился Сиволобов, а за ним — Петр Хропов.

3

В час восстания, когда около сорока тысяч человек, прихватив тюфяки, одежонку, шинелишки, метнулись через колючую проволоку в сторону англичан, Николай Кораблев, вдруг подчинившись непреодолимому желанию увидеть женщину, похожую на Татьяну, кинулся к домику, где обосновался Бломберг, намереваясь убить его, а одновременно и ту женщину.

«Если это Татьяна... и стала такой, я убью ее! Я посмотрю ей в глаза и скажу: «Ты самая злая преступница! Это не ты сообщала: «Жива, здорова и люблю тебя». Нет, не ты». Но если это не она? Я все равно убью ту за то, что она похожа на мою Татьяну!» — но, ворвавшись в домик, видя на пути перебитую прислугу — солдат, врачей, он вдруг почувствовал, как его снова будто кто-то ударил молотком по голове.

— Не надо! Не надо! — закричал он и, не в силах удержаться на ногах, упал.

Это был третий и самый жестокий удар.

Таким, распластанным на полу, его и застал Бломберг. Он примчался в лагерь взбешенный, намереваясь расстрелять всех военнопленных, но, увидав, что бараки пусты, проволочное заграждение смято, окутано тряпьем, больные из пятнадцатого блока расползлись, сумасшедшие взобрались на столбы, вышки и оттуда произносят громовые речи, — Бломберг скрипнул зубами и сказал:

— Вот тебе и генерал! — а войдя в домик, сначала отшатнулся, потом воскликнул: — Карл! И ты здесь? Как ты сюда попал? — Опустившись на колени, он прислушался и прошептал: — Дышит. Еще живой! Но почему он так поседел? И что с ним? Ага! Болезнь — припадки, что я хорошо знаю. Контужен, — он под-

нялся, сел за стол, вцепился руками в голову и застонал: — Что делать?

Бывает так: охотники нападают на волчицу, в это время щенята разбегаются во все стороны. Но потом волчице удается вырваться из круга охотников, она возвращается на старое место и подает голос; тогда щенята снова сбегаются к ней. Так и тут: узнав о том, что в лагерь примчался полковник Бломберг, часть эсэсовцев вышла из леса и подступила к домику, понуро глядя себе в ноги. И Бломберг воскрес. Он величественно вышел на крыльцо и крикнул:

— Вас следовало бы всех расстрелять! Почему покинули пост? Но интересы империи выше этого. Сейчас же все стащить сюда — пулеметы, минометы, огнеметы! Тех, кто расползся из пятнадцатого блока, пристрелить!

И машина заработала: домик и два прилегающих барака были превращены в круговую оборону, больные пристрелены, к Николаю Кораблеву вызвали врача из соседнего села, и тот, уложив больного на диван, через два-три часа привел его в чувство.

Очнувшись и увидав сидящего за столом Бломберга, Николай Кораблев пришел в ужас и снова чуть не впал в забытье.

— Карл? Вам тяжело? Может быть, дать спирту? Этим, помните, лечились Орлов-Денисов и Бенда? — вкрадчиво спросил Бломберг.

«Выдать себя за Карла? — подумал Николай Кораблев. — Ну, а если он уже знает, что я не Карл, и с целью так называет меня? Подожду», — и закрыл глаза, застонав.

— Карл стонет, как мальчик, — проговорил Бломберг, и какое-то скрытое злорадство послышалось в его голосе.

Николай Кораблев снова застонал, решая:

«Подожду. Может, выболтается. Но... как я сюда попал? Ага! Я шел, чтобы убить его и ее... и со мной удар. А что с теми, с нашими? Ушли ли они? Если ушли, очень хорошо: они непременно вернутся, чтобы выручить меня. Обязательно! — и эта надежда придала Николаю Кораблеву силы. — С Бломбергом я еще

поборюсь. Верно, трудно бороться со зверем, находясь у него в лапах. Но... терпения у меня хватит».

Послышалось кряхтенье, потом шаги: Бломберг приближался к Николаю Кораблеву. Но тот не открыл глаз, хотя легкие мурашки побежали по всему телу.

— Ты! — вдруг грубо, сунув кулаком в плечо, прокричал Бломберг. — Карл? Какой ты, чорт, Карл! Ты Николай... Пряхин. Вот ты кто! И не Пряхин, а другой. Кто? Ну! — и снова ткнул его в плечо.

«Груб, — неприязненно подумал Николай Кораблев и еле сдержал себя, чтобы наотмашь не ударить Бломберга. — Пристрелит сразу. Зачем мне это? Надо перетерпеть», — и опять застонал громко, с удушьем.

— Карл? Я вижу, какой ты Карл! Ты и не Пряхин. Ты — Кораблев, вот кто ты! Ну, нечего трепаться! Подпиши заявление. Мне больше ничего не надо. Тут был Отто, дурак и пьяница. Ему давно донесли, какой ты Пряхин. Вот дело! — Бломберг сунул палец в папку. — Какой ты Карл, и какой ты Пряхин! Ты был директором на Урале, но этого для меня мало. Ты член Политбюро коммунистической партии. Прибыл сюда, организовал восстание. Но, главное, намеревался проникнуть в имперскую канцелярию и убить фюрера. Ну-у-у! — нетерпеливо закричал он. — Когда фюрер простит меня, я прощу тебя... и оба — наживем. Ну! Подпиши!

Николай Кораблев непонимающе вертел перед глазами заготовленное заявление, однако успел его прочитать.

«Зеленый донес. А этот хочет, чтобы я объявил себя членом Политбюро. Да у нас в стране членов Политбюро не только по фамилии, но и по имени все знают!.. Однако для спасения своей шкуры требует, чтобы я подписал», — и снова промолчал.

— Я заставлю говорить! — пригрозил Бломберг.

«Не буду! Ни слова!» — со злостью решил Николай Кораблев и хотел было повернуться лицом к стенке, но Бломберг хлопнул в ладоши, вошли солдаты, и он им приказал:

— Свяжите его! Вот так, руки выставить! Вот так!

Николая Кораблева связали, подвели к столу, усадили на стул, заставив положить руки на стол.

— Шило есть? Ну, сапожное шило? — спросил Бломберг.

Солдаты засуетились, забегали и все-таки шила не нашли.

— Плевать! — Бломберг взял из чернильницы ручку, вытянул на руке Николая Кораблева указательный палец и всадил под ноготь перо.

От зудящей пронизывающей все тело боли у Николая Кораблева брызнули слезы.

— Что? Мне слезы не нужны. Нужно слово. Одно слово! Подпиши! — вскрикнул Бломберг и всадил перо под ноготь мизинца.

— Ох! — охнул Николай Кораблев и, собрав все силы, протянул Бломбергу вторую руку, подумав: «Все это я вытерплю... Но перо грязное, может произойти заражение крови. Он меня не убьет: ему нужно мое согласие. И это — самое мучительное, что он не убьет меня сразу!»

Увидав перед собой на столе вторую руку, Бломберг вскипел и, привстав, с размаху всадил в ладонь ручку. Она от удара треснула, разлетелась, из ладони брызнула кровь, а Бломберг с остервенением закричал:

— Я тебя всего изуродую! Всего! Подпиши, или я тебя изуродую! Ну!

«Да. Изуродует. Такие свой народ изуродовали: миллионы в крови утопили. Теперь рушится у них все, и они становятся еще злее», — промелькнуло у Николая Кораблева, и пронеслись перед ним шрейдеры, раушенбахи, аксманы, фогели... все, все, и он снова подумал: «Как же это такие смогли овладеть Европой, вторгнуться в нашу страну? Ведь у них ни культуры, ни морали — ничего нет. Бандиты! Но вооруженные бандиты. Я ведь вижу, знаю цену этому хлюпику Бломбергу! Но он вооружен, а я нет».

— Изуродую! Ну-у! — остервенело кричал тот над ухом.

Николай Кораблев открыл глаза, и в них вспыхнул свет, говорящий Бломбергу, что с этим челове-

ком можно сделать все: расстрелять, повесить, изуродовать, но он все равно не сдастся: он — победитель.

Увидав такой свет, Бломберг даже растерялся, но тут же снова рванулся и кинул солдатам:

— Он намеревался убить фюрера!.. Столкнуть его на пол! Тяните за руки, за ноги, рвите его, как лягушку!

Солдаты скинули Николая Кораблева на пол и, схватившись за ноги, потянули в разные стороны. Снова резкая боль прошла по всему телу, но он рванулся, и солдаты отлетели.

— Здоровый! — сказал один из них, почесывая затылок.

— Еще четырех солдат! — приказал Бломберг.

И наступили страшные дни.

От пыток Николай Кораблев часто впадал в мучительный кошмар, забытье и в минуты просветления осознавал, что Бломбергу надо одно: подписанное заявление, с которым он ускачет в Берлин, доложит фюреру, и тогда ему все простят, а его, Николая Кораблева, конечно, расстреляют, да еще с шумом, с помпой.

«Конец, конец, конец!» — твердил он про себя, не отвечая на вопросы Бломберга, стараясь думать об Урале, о заводе. Это было трудно — думать об Урале и заводе: боли, причиняемые солдатами, то и дело отвлекали его. Но он все равно, напрягая все силы, думал о заводе, о людях завода... невольно о Татьяне и восклицал про себя: «Нет, нет! То была не она!»

И вдруг все куда-то исчезало: он терял сознание. Врач снова приводил его в чувство, и он опять слышал, как Бломберг, отдав приказание, чтобы все покинули комнату, моляще просил:

— Ну что тебе стоит подписать? Почему ты не хочешь вытащить меня из петли? Разве тебе надо, чтобы меня повесили? Ну, сделал свое дело, наверное имение или фабрику получил, теперь помоги мне!

Николай Кораблев молчал.

— Может, он онемел? — вызвав в комнату врача, перепуганно проговорил Бломберг.

— Нет, он не потерял дар речи. Вы же слышали, он говорит... в бреду... по-русски.

— Ага! Тогда вот что надо сделать: привяжите его к столбу против моего окна, лицом к солнцу. Затем мы его оскопим. Потом придумаем еще что-нибудь, но заставим говорить...

Николая Кораблева вытащили из комнаты, привязали к столбу, лицом к солнцу.

«Ослепну, а говорить не буду!» — с величайшим упорством и гордостью решил он и впервые взволнованно прошептал:

«Товарищ Сталин! Ты видишь меня? Я твой ученик. Я хотел бы быть на торжестве вместе с народом... Ну что ж? Пусть я отойду к тем, кто погиб за коммунизм. Но... мне очень хочется жить, товарищ Сталин!»

4

Когда вся лавина военнопленных вышла из лесу и, вооружившись винтовками, автоматами, топорами, вилами, кольями, встала на пути бегства гитлеровцев из Чехословакии, то Сиволобов, первым получив автомат, забыл обо всем на свете, кроме одного — что гитлеровцев надо бить беспощадно. И убивал он их по выбору, самых злых эсэсовцев, и чувствовал, как душа его освобождается от той ненависти, которую он накопил в лагере. И только на третий день, когда уже почти некого было бить, потому что десятки тысяч немцев сдались в плен, он вдруг спохватился и спросил Свистунова, который, видимо, находился в том же состоянии, как и Сиволобов:

— А где же Николай Степанович? — и они оба отправились к Петру Хропову, а когда нашли того, Сиволобов сказал: — Не у вас ли Николай Степанович?

— Да нет.

— Как же это так?

— А может, он получил какое-нибудь новое задание от Громадина? — неуверенно произнес Петр Хропов и дал распоряжение поискать Николая Кораблева в партизанских отрядах, а когда оказалось, что его нигде нет и что его никто за эти дни не видел, Петр Хропов, Сиволобов и Свистунов всполошились и, ис-

просив разрешение у Готвальда, подобрали человек сто надежных партизан и отправились в лагерь...

В лагере они застали вот что: больные из пятнадцатого блока были пристрелены, бараки пусты, а в комнате, где заседал Бломберг, на столе лежала толстая папка с делом Николая Кораблева и заготовленное заявление. На уголке заявления рукой Бломберга написано: «Срочно расстрелять». Тут же лежал и протокол, в котором записаны только вопросы Бломберга и ни одного ответа Николая Кораблева. Затем справка врача: «Подсудимый не лишен дара речи. Он просто не хочет говорить, несмотря на все меры, принятые полковником Бломбергом».

Петр Хропов, Сиволобов, Свистунов и весь отряд долго искали труп Николая Кораблева среди убитых военнопленных и не нашли. Тогда Петр Хропов папку «Дело Николая Степановича Кораблева», протокол и заготовленное заявление с резолюцией Бломберга направил в Москву, и в центральной газете появились портрет Николая Кораблева и некролог за подписью видных деятелей партии и правительства.

И сейчас, войдя в комнату, где сидели Татьяна и Готвальд, Сиволобов невольно тронул газету, скомканную в кармане пиджака, и, шагнув к Татьяне, от волнения закашлявшись, хрипло произнес:

— Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!

— Вы знаете, где Николай Степанович? — еще ничего не понимая, но чувствуя, что произошло что-то страшное, спросила Татьяна, не отрывая глаз от лица Сиволобова.

И Сиволобов бесхитростно, но, видимо, намеренно смягчая удар, рассказал ей, как он впервые встретился с Николаем Кораблевым на фронте, как ходили в атаку, как потом попали в село Ливны, как потом... Но когда он дошел до рассказа о лагере, вдруг начал нервно икать.

— И что же? И что же? — вскрикнула Татьяна.

И тогда Сиволобов, почему-то кинув злой взгляд на Петра Хропова, все так же нервно икая, вытащил из кармана газету, разгладил ее на столе перед Татьяной, сказал:

— Вот! — и, громко, захлебывающе рыдая, выбежал из комнаты.

Татьяна увидела портрет и черную рамку, в которой четко было отпечатано: «Николай Степанович Кораблев».

— Нет, нет, — сначала еле слышно произнесла она, но тут же закричала, отталкивая от себя газету. — Нет! Нет! Этого не может быть! Рядом со мной! Я ведь его видела! Это ведь были его глаза! Его, его, его! — и, будто кто-то ее толкнул, она упала на старинный, изъеденный временем пол.

5

Вася разыскал Татьяну числа пятого мая. Она лежала в комнате замка, который окружали молчаливые, убитые горем партизаны. Петр Хропов, встретив Васю в нижнем этаже, сказал:

— Страшно, Вася, страшно! Она опять в том же состоянии, как и тогда у нас на становище. Твердит одно и то же: «Где же? Где? Где?»

— Я только по дороге узнал о гибели Николая Степановича. А она узнала здесь?

— Да. Тридцатого. Нам газету из Москвы доставили на самолете. Что же делать, Вася?

— Надо сообщить генералу, — и Вася, сев в машину, помчался к Громадину, дивизия которого, уже освобожденная от боев, стояла на берегу Эльбы, неподалеку от Бранденбурга.

Когда Громадин из газет узнал о гибели Николая Кораблева, то почти весь день проходил из угла в угол кабинета. Ходил и тяжко вздыхал.

«И что теперь делается с Татьяной Яковлевной? И где она? — Иногда он порывался вызвать машину и отправиться на поиски Татьяны, но откладывал, не зная, куда за ней ехать, как при ней себя держать, каким словом и поступком утешить ее. — Что я ей скажу? Ну что я ей скажу?! — кричал он сам себе, останавливаясь перед зеркалом, — Ну что?» А когда перед ним появился Вася и сообщил ему о том, что Татьяна находится в замке и что было бы хорошо,

если бы сам генерал поехал туда, Громадин даже как-то обрадовался этому и, испросив разрешение у Анатолия Васильевича, вместе с Васей направился в Саксонскую Швейцарию.

Татьяна эти дни находилась на грани безумия, и военные врачи, опасаясь за ее жизнь, предлагали разное: одни — немедленно отправить в Москву, другие — применить к ней такие-то и такие-то препараты, третьи — сделать операцию на основе нейрохирургии. Петр Хропов все это решительно отводил, говоря:

— Приедет генерал, тогда разберемся.

— А он что, ваш генерал, с медицинским образованием? — не без ехидства спрашивали врачи.

— С медицинским! Да еще с каким! Вот увидите. Нечего вам стало делать, что вы и готовы кинуться на любого, лишь бы применять препараты да резать! — грубо оборвал их Петр Хропов.

Увидав Васю и Громадина, Татьяна поднялась с постели и, протянув к ним руки, рыдая, произнесла:

— Зачем? Ну зачем на меня такая беда обрушилась?

Тут не выдержал и, впервые за время войны, заплакал и Громадин. Маленький, измотанный боями за Берлин, он плакал, громко бася, приговаривая:

— Страшное! Это страшное, Татьяна Яковлевна!.. Ну... ну, вся наша любовь вам. Вся, без остатка. И я, и Вася, и командарм... И все, все. Страна вся! Мы... Мы вам любовь свою отдаем! Ну... ну... не знаю, что еще!

Татьяна быстро оделась, сказала:

— Поедемте. Поедемте туда. И почему, почему вы мне тогда не сказали, что он там? Я ведь видела его! Видела! Его глаза видела!..

— Вы вправе гневаться на нас, Татьяна Яковлевна. Но разве я мог перед вами открыть Николая Степановича? Вы бы сразу выдали себя и его. А он ведь спас около сорока тысяч человек. Кинул их в бой, и они в бою заслужили прощение родины.

— Да, да, — торопливо ответила Татьяна. — Я это понимаю... умом, но не сердцем: он мне дороже всех на свете.

— А вы для нас дороже всех на свете! — Громадин взял ее руку и поцеловал. — Вот если бы вы сказали: «Генерал, мне нужна ваша жизнь», отдал бы я ее без остатка!

— Мне ваша жизнь не нужна, — резко произнесла Татьяна и, спохватившись, добавила: — Простите меня. Но, право же, мне не до вежливости. Поедемте туда. Я хочу видеть его, хотя бы мертвым!

— Но вы не гневайтесь на меня, на Васю. Не гневаетесь?

— Я не гневаюсь и понимаю: государственные дела превыше личных. Не гневаюсь. Но если бы вы знали, как мне тяжело! Я только теперь по-настоящему осознаю: Грибоедов женился на грузинке, и она после его трагической кончины осталась вечной вдовой. Вечная вдова.Поедемте! Я хочу посмотреть на него!

6

Где-то еще красные части добивали гитлеровцев: в Свинемюнде, на островах Балтики. Еще не было перемирия, а здесь, в стране, пешим ходом, с детскими колясками входила мирная жизнь: тысячи беженцев туда и сюда двигались по автостраде, по проселочным дорогам, тропам, уходя из лесов, нор, блиндажей, везя на детских колясках утварь, вселяясь в свои дома или садясь у пепелища, горевали, затем принимались собирать остатки хозяйства и снова закладывать жизнь на руинах.

Люди шли со всех сторон, навстречу друг другу, переплетаясь на перекрестках, и на лицах у всех были написаны страшное безразличие, смертельная тупость, и, казалось, все лица кричали:

«Нам все равно: мы испытали такое, тяжелее чего на земле уже нет!»

— Мерзавцы! — произнес Громадин.

Татьяна, подумав, что генерал мерзавцами назвал идущих из лесов, спросила:

— Кто? Они?

— Нет! Что вы! Они несчастные люди. Я про тех,

кто привел немецкий народ к трагедии. Знаете, стреляются, вешаются, травятся. Я стою в доме одного полковника. Повесился. В чем дело? Ведь если бы у нас в стране такое случилось, да разве бы я повесился? Да как же это? Я бы ушел к партизанам, в леса: у меня есть идея, есть уверенность, что народ меня не проклянет, не выдаст. И мы бы еще сто лет воевали, пока не освободили бы свою родину. А эти боятся народа: врали, врали ему — и что Россия страна лаптей, страна неграмотных, и что там нет индустрии! А наши танки пришли в Берлин, а наши люди разнесли вдребезги гитлеровские полчища! Да как же теперь им сунуться к народу? Придушат их там! Вот и кончают самоубийством.

Они проехали, крутясь среди развалин, Старым Дрезденом. Палило солнце весны. Обильные лучи лежали на развалинах, как белесая пыль, почему-то напоминая Татьяне пустыню. И отовсюду тянулся удушливый трупный запах... А в палисадниках Нового Дрездена, вдоль дорог, буйно цвели черешни, вишни, набивались куколки каштана, вились над озерами, прудами селезни. Весна шла торжественно, могуче, независимо от того, что творили люди на земле.

«Заехать бы к Матильде! Я к ней потом заеду... а то страшно!» — подумала Татьяна, когда машина промчалась мимо виллы Вольфа.

Громадин сказал, глядя на дымку цвета вишни, черешни:

— Какой разрыв! Природа живет сама по себе: цветут вишни, черешни, каштаны набивают куколки-свечи, птицы поют! Все идет нормально, только жизнь ненормальна на этой земле.

— Да и вишня, товарищ генерал, цветет не так, как у нас. И небо тут не то.

— Э-э-э, Вася! Домой захотелось?

— Домой? Ясно. Но, право же, здесь все как на сцене: сосенки растут рядочками, вишенки — рядочками, черешни — рядочками! Куда ни глянешь — все рядочки и рядочки! А у нас? Ну, например, на Волге простор-то какой! А в лес зайдешь — малины! Сто лет ешь и не съешь! Даром!

— Это верно, у нас страна богатой природы. Я, например, на Кавказе видел целые рощи чинары. Идешь — и сам весь розовый. А в одном месте попал в рощу грецкого ореха. Под ногами ореха насыпано — ужас! Или в Абхазии. Знаете, сколько там ежевики? Тысячи тонн. Подходи, рви, ни копейки не плати. А тут все на марки.

— У нас еще есть, товарищ генерал, — снова вступился Вася, искоса посматривая на задумчивую Татьяну, — у нас согласованность человека и природы: человек овладевает природой, подчиняет ее себе.

— Ишь ты, закрутил какое! А верно. Но Татьяна Яковлевна у нас молчит.

Татьяна в самом деле ничего не слышала и не видела: в глубине ее души билась надежда, что Николай Кораблев жив, возможно он лежит где-то больной, может быть там, в лесах около лагеря, и ждет помощи.

«Бломберг, Бломберг! Его надо было бы тогда же убить, на вилле Вольфа», — а когда вдали показался лагерь, она вцепилась рукой в плечо Громадина, прошептала:

— Вы помогите мне: у меня подкашиваются ноги.

А жизнь шла своим чередом.

Лежали в руинах тысячи городов, сел, фабрик, заводов; зарастали пыреем, полынью миллионы гектаров пахоты; лились слезы вдов, сирот, а жизнь шла своим чередом: за несколько дней немцы растащили бараки на постройку хибар, размотали колючую проволоку, и лагерь стал походить на пустырь, заваленный обломками, на обширном кладбище в бору, под руководством советской комиссии, отрывались длинные траншеи, они раскапывались по годам, и на площадках стояли столбики с надписями: «1942 год. Двадцать семь тысяч убитых», «1943 год. Тридцать шесть тысяч убитых», «1944 год. Восемнадцать тысяч убитых», «1945 год. Две тысячи убитых».

«Сорок четвертый и сорок пятый годы — это работал Николай Степанович. Как он снизил смертность!» — думал Громадин, ведя под руку Татьяну.

На площадке сорок второго года виднелись скелеты, главным образом горы черепов. И Татьяна, волнуясь, вся дрожа, брала черепа в руки, приближала их к глазам и, плача, произносила:

— Смотрите! Смотрите! Какие у них крепкие зубы! Молодежь! Только у некоторых нет передних, наверное выбили прикладом.

Сорок третий год — это были трупы, обтянутые еще кожей, на некоторых даже виднелись остатки одежды. Но вот площадка сорок четвертого года. Тут трупы еще свежие. Вон один убитый — совсем еще юноша. Человек этот перед смертью, видимо, только что побрился, усики, ровно подстриженные, лежат на верхней губе... В какую минуту застала его смерть! Татьяна кидалась из стороны в сторону, плача, отыскивая Николая Кораблева, прикасаясь к убитым. Громадин, боясь, что она может заразиться трупным ядом, снова взял ее под руку и произнес:

— На площадке сорок четвертого года его не может быть. Надо смотреть сорок пятый год.

— Да-а? Но ведь это все наши товарищи, — возразила она и пошла на площадку сорок пятого года.

Трупа Николая Кораблева нигде не оказалось.

И Татьяна, обессиленная, не села, а упала в машину, сказав только одно:

— К Ивану Кузьмичу! В Штеттин!

Громадин хотел было завезти ее к Анатолию Васильевичу, армия которого стояла на Эльбе.

— Нет! Вы меня к Ивану Кузьмичу: мы с ним самые родные. Я одна поеду.

Но Громадин решительно запротестовал:

— Что вы, Татьяна Яковлевна! Да разве мы допустим, чтобы одна!

7

Берлин лежал в руинах и пылал. Особенно страшно торчали оскалы развалин неподалеку от рейхстага, по реке Шпрее. Улицы невозможно было узнать: всюду виднелись груды обломков, погнутые железные балки. Только в одном месте Татьяна вдруг

вспомнила, как тут, на лавочках, в скверике, сидели мамаши и нянюшки в чепчиках, держа на руках грудных ребят, подставляя их солнцу. Тогда Отто Бауэр сказал:

— Растут воины. Мальчик или девочка — все равно воины.

А у Татьяны поднялась такая злость, что ей хотелось крикнуть:

— А! Мерзавки! Рожаете, плодите подлецов!

Да. Да. Это было вот здесь, на Вильгельмштрассе. Теперь — обломки, гарь, копоть и трупный запах. А вот и площадь Победы. Золоченому ангелу на высокой башне кто-то прострелил снарядом бок. Аллея героев — в обломках: «герои» или валяются на земле, или стоят с отломанными руками, отбитыми головами, носами. По Берлину ходят бойцы — русские, казахи, армяне, грузины, татары, украинцы, белорусы, евреи, и каждый из них снимается. Вон красноармеец забрался на плечо к Бисмарку и кричит фотографу:

— Сними меня, победителя, на плече Бисмарка!

А внизу на памятнике крупно мелом написано:

«Не забывайте, что сказал Бисмарк: «Русские медленно запрягают, но потом быстро скачут». Видите, куда мы прискакали и как?»

В имперской канцелярии в первом мозаичном зале крыша провалена, на полу толстый слой пыли, а у ступенек валяются две бронзовые полые головы: голова Бисмарка и простреленная в лоб голова Гитлера. Все, кто подходит к голове Гитлера (на Бисмарка никто не обращал внимания), трогают ее, перекатывая из стороны в сторону ногами. Татьяна хотела было взять в руки эту голову, нагнулась, но почувствовала резкое омерзение и тоже потрогала ее ногой.

Берлин пылал в руинах, и генерал Громадин воскликнул:

— На сто лет теперь им хватит все это только расчищать! Вот как мы им дали!

А Татьяна на все эти развалины, на пожарище смотрела сквозь пелену слез и шептала:

— А его нет! Нет! Нет! Коля, родной мой! И что я теперь без тебя буду делать на земле?!

Штеттин тоже был почти весь разрушен. Кое-где уцелели стены домов. И странно было смотреть на то, как на них зеленел дикий виноград. Птиц уже не было. Торчали обгорелые каштаны. Они таращились черными рогульками во все стороны, и смотреть на них было тоже страшно.

И Татьяна вспомнила, как она тогда вместе с Васей, Петром Хроповым первый раз въехала в Штеттин. Им тогда всем казалось, что город, закованный в цемент, бетон и железо, построен навечно, навечно легли мосты через Одер, а теперь быки мостов развалились, как гигантские головы сахара, переплеты осели в воду, дома разрушены и все превращено в руины.

— Жестокая война! — вымолвила она, глядя на развалины, на зеленеющий дикий виноград, на черные рогульки каштанов. — Жестокая!

— Это им за Сталинград, — ответил Громадин, хотя ему было жаль домов, превращенных в груду кирпича, мостов, переплеты которых сунулись в Одер, деревьев. — Я же разрушал... и мне же все это жаль. То есть я не пацифист, а просто по-человечески рассуждаю: не надо бы войны на земле. Не надо. Иные сейчас утверждают, что война — школа. Какая же это школа! Война — это тяжесть для народа, — добавил генерал.

— К Ивану Кузьмичу! — почти не слушая Громадина, твердила про себя Татьяна, ощущая, какое глубоко родственное чувство растет в ней. — К Ивану Кузьмичу! Ведь он сколько лет вместе с Колей проработал на заводе! И как часто мне Коля говорил: «Люблю я его, Ивана Кузьмича: он мудрый человек».

Комендатура находилась на окраине города, уцелевшей от бомбежек и пожаров. Здесь все буйно зеленело: каштаны, черешни, вишни, липы, всюду прыгали дрозды, скворцы и какие-то маленькие пичуги.

В комендатуре Васю и Татьяну встретил адъютант Ивана Кузьмича Замятина. Он был в лакированных ботинках, в новом, сшитом в талию кителе, светящихся погонах старшего лейтенанта. Усиленно натирая ногти о сукно стола, он с нескрываемой надменностью проговорил:

— Комендант занят большими общественными делами. Видите, в каком положении город. Надо хотя бы улицы расчистить, школы открыть и всякое прочее. И теперь у коменданта сидит бургомистр и просит совета, как и что.

Это была правда: в кабинете у Ивана Кузьмича действительно сидел бургомистр города Штеттина Субботка, тот самый Субботка, с которым Татьяна когда-то встретилась в штеттинской бухте.

— Иван Кузьмич, — говорил он на ломаном русском языке. — Надо что-то делать с городом. Ведь ни пройти, ни проехать.

— Надо, конечно, — отвечал Иван Кузьмич, — но ведь мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела.

— Вы не вмешивайтесь. Не надо. Вы посоветуйте.

Иван Кузьмич задумался. Посоветовать, как восстановить жизнь в городе? Да ведь Иван Кузьмич сам впервые сталкивается с таким трудным делом.

— Ну, как бы поступили советские люди? — донимал Субботка.

При словах «советские люди» Иван Кузьмич загорелся.

— Они... Они от мала до велика вышли бы расчищать улицы. Восстановить город? На это вам понадобится лет десять — пятнадцать. А вот улицы расчистить, трупы убрать, школы заставить работать, магазины и прочее — дело другое. Какое число населения вернулось?

— Не больше половины: часть мобилизована, часть — буржуи, как они назывались у вас, — сбежала в Берлин и дальше — к американцам, часть убита при бомбежке.

— Так вот и надо людей уговорить, чтобы шли расчищать улицы. Впрочем, дорогой мой, тут поблизости в лесу стоит полк. Я переговорю, и, возможно, недельку поработает полк.

На этих словах Ивана Кузьмича прервал стук в дверь. Он посмотрел в сторону стука и устало произнес:

— Кто это еще там? Войдите.

На пороге вырос адъютант. Здесь он уже был совсем не тот: вытянулся, замер и, только кивая головой в открытую дверь, отчеканил:

— Разрешите доложить? К вам ваши знакомые прибыли. Генерал Громадин, какой-то Вася и... Татьяна Яковлевна.

Иван Кузьмич сначала сжался, точно ожидая, что на него сейчас же обрушится потолок, затем еле слышно прошептал:

— Татьяна Яковлевна? Громадин? Где они?

— Прошу извинения, но я их свел в комнату для гостей.

— Правильно сделал. Правильно... Товарищ Субботка, мы завтра договорим, — и, машинально простившись с бургомистром, зашагал из кабинета, произнося одно и то же: — Татьяна Яковлевна! Татьяна Яковлевна!

Казалось, по всей субординации, он должен был в первую очередь поздороваться с генералом, но, позабыв об этом, он протянул руку Татьяне, со скрытой грустью сказал:

— Ах, Татьяна Яковлевна! Татьяна Яковлевна! Пойдемте ко мне. Пойдемте наверх. А вы, товарищ генерал, извините меня, — спохватился он.

Наверху были обширные, заставленные мебелью, но не обжитые комнаты.

— Мало я тут бываю, Татьяна Яковлевна. Мало. Ну, еще раз здравствуйте! Садитесь. Сейчас я прикажу, чтобы нам подали обед. Генерал протестовать не будет?

— Да нет! Что вы, Иван Кузьмич! Вон вы какой! Тогда я вас, около Рокоссовского-то, не смогла рассмотреть: дела было много.

Пока накрывали на стол, Вася, Громадин и Татьяна смотрели в окна. Перед комендатурой виднелись небольшая площадь и кирка. Это было все обычное. Но необычным казалось другое: вокруг кирки в одну ниточку протянута на шатких колышках колючая проволока, при входе стоит человек, видимо красноармеец, но без гимнастерки, и копает землю обнажен-

ной шашкой, а во дворике, обведенном ниточкой колючей проволоки, полно немецких солдат.

— Что это у вас, Иван Кузьмич? — удивленно спросил Громадин.

— Сами выбрали место. Вечером отправлю в плен, а наутро смотрю — новыми весь дворик забит. А тот, с шашкой-то, Звенкин. Попросили у меня караул, а где я им возьму? Звенкин согласился — вот и бродит с шашкой наголо. Сами солдаты сказали: если кто нарушит порядок — бежать там вздумает или что, — бей, слышь, шашкой прямо в лицо. Только этого не приходится — бить: все послушные, как овечки... И даже не подумаешь, что это было когда-то зверье.

За обедом Иван Кузьмич долго разливал вино. А когда разлил, поднял свой бокал, протянул его Татьяне.

— Давайте... да, давайте, Татьяна Яковлевна: родной был всем.

— Да. Давайте. Вечная память, — тихо произнес Громадин.

— И слава! — добавил Иван Кузьмич. — Слава! А вам жить, Татьяна Яковлевна. Жить! Вы теперь куда?

Татьяна чуточку отхлебнула из бокала и тихо произнесла:

— Туда, Иван Кузьмич, на Урал. В другом месте жить не смогу: там ведь все свои, родные.

— Конечно... в Чиркуль... Там родные... Все родные, Татьяна Яковлевна. Что же, может, вас прямо на самолет? У меня есть хороший летчик — Миша Кукушкин. Вот я ему позвоню...

— Ну, а как вы тут, на новом поприще? — намеренно задал вопрос Громадин: ему не хотелось вот так, просто отпускать Татьяну, да и с Анатолием Васильевичем он еще не посоветовался; а может, тот предложит ей что-нибудь другое, — может быть, ее теперь не следует отрывать от армии: уедет на Урал, да там и зачахнет; почему это она раза два за столом, ни к кому не обращаясь, сказала: «Вечная вдова», — вон ведь куда потянуло!

И Громадин снова спросил:

— Ну как вы тут, Иван Кузьмич, на новом поприще?

— Трудновато, товарищ генерал. Трудновато: немцы выбираются из нор своих, из лесов, а хлеба нет, сахару нет, мыла нет. Детей-то кормить ведь надо, да и взрослых! И другое: с ними сейчас обращаться положено как с больными, а иной налетит, такой, значит, ну как и я однажды налетел. Что с ним делать? Вот и кручусь на новом поприще. Все думаю — когда меня на завод отпустят. Соскучился, — и, заметив, что Татьяна вовсе не интересуется их разговором и находится где-то вне этой комнаты, а на улице уже ночь, он, как хозяин, поднялся первый и проговорил: — Вы, товарищ генерал, конечно и Вася, переночуете здесь. Татьяну Яковлевну даже не спрашиваю об этом: моя гостья, и комната ей приготовлена. Пойдемте, Татьяна Яковлевна.

А когда гости улеглись, утомленные пережитым, Иван Кузьмич разыскал Мишу Кукушкина, и тот скоро прибыл к нему, уже в форме подполковника, но все такой же обгорелый. Верно, у него подросли брови, глаза стали смотреть веселей и оживленней, но на лице были все такие же сизо-розовые пятна, пальцы на руках, после вторичной операции, укоротились и без ногтей напоминали култышки. Но пожатие крепкое, шаг твердый, сам он — налитой энергией. Войдя, Миша запросто поздоровался с Иваном Кузьмичом и, как отцу, сообщил:

— В Воздушную академию меня направляют, дядя Ваня!

— Ну! Радость, Миша! Хорошо!.. Василий тоже отписал мне, что его вот-вот отпустят на Урал. Заеду, слышь, отец, к тебе. Жду, жду. Нет. Где-то застрял. А Саня, значит, лег костьми. Хороший парнишка был! Забыть не могу! Всю войну от матери носил тайну на сердце... теперь придется открыть. Да. Так. Пойдем, перекусим, Миша. Там и скажу, зачем звал. А то по глазам вижу: спрашиваешь!

Стол был заново накрыт на три человека. На нем виднелись закуски, вина и даже водка.

Миша, войдя, воскликнул:

— Дядя Ваня! А чай? Чай, стало быть, побоку?

— Всему свое время: когда надо чай, значит — только чай. А теперь что ж, победили: вот-вот и мир подпишут. Ну, садись. Эй, друг ситный, входи! Караул в единственном числе! Это я Звенкина. Пленных немцев караулит, а Ахметдинов в лазарете: поранило его.

Из соседней комнаты вышел Звенкин, все такой же высокий, худой, малоразговорчивый, но улыбающийся во все лицо. Подойдя к Мише, он поздоровался с ним, повторяя одно и то же:

— Так вот где мы! Так вот где мы! Так вот где мы!

— Ну, наговорился? — дружески прикрикнул на него Иван Кузьмич. — Наговорился, теперь садись, ужинать будем. Чего тебе налить? Водки, что ль?

— Ну ее, ну ее, ну ее!

— Эх, тебе, друг ситный, речи только бы произносить, вон как шпаришь! На Урал скоро приедем, речь перед народом закатишь?

— А как же! А как же! А как же!

— Налью-ка и себе рюмочку. Ты, Миша, сам наливай, — и, налив рюмку водки, Иван Кузьмич, держа ее как фонарик, проговорил: — Давно не пил этой влаги. Последний раз на новоселье: домик нам на заводе вместе со Степаном Яковлевичем Петровым отвели. Николай Степанович на новоселье пришел. Ну, Кораблев, — ответил он на недоуменный взгляд Миши. — Вот тогда выпили! Да-а. Много времени прошло. Страшно подумать, что гитлеровцы были под Москвой, под Сталинградом, чуть в Баку не просочились! А теперь наши вон где, на Эльбе! Да. Так вот я за него — за Николая Степановича! Нету его. Погиб героем.

Они выпили, погрустили, и вдруг тишину нарушил Звенкин:

— Таких не найти! Таких не найти!

— Директоров-то? Умный был мужик. Да-а! Так вот, Миша, зачем вызвал тебя. Здесь у нас в доме жена Николая Степановича. Заслуженный человек. Вот ее бы отправить на самолете... на Урал, в горо-

док Чиркуль. Там, положим, теперь, наверное, целый город: автомобили уже выпускают. При нас выпускали, Звенкин, только моторы, а теперь автомобили.

— Угу-угу-угу! — обрадованно воскликнул Звенкин.

— Ну как же, Миша, окажи уж нам всем такую услугу.

— Командарм разрешит? Я теперь в его распоряжении. Самолет есть. Многоместный, в личном распоряжении командарма.

Иван Кузьмич долго тер пальцем ладонь, затем сказал:

— Думаю, разрешит, он человек благородной души. На это дело мы можем наладить генерала Громадина, гостит у нас тут.

Так они засиделись почти до рассвета и уже хотели было расходиться, как вдруг здание дрогнуло, задребезжали стекла и тут же грохнули выстрелы — из пушек, зениток, из винтовок, автоматов, пистолетов — и понеслись крики:

— Победа! Победа! Победа!

Громадин в ночной рубашке высунулся из окна и, паля из пистолета, тоже кидал басом:

— Победа! Победа! Победа!

В этот час по всей Германии гремели пушки, зенитки, танки, винтовки, автоматы, рвались гранаты, и все это слилось в один мощный гул, и гул сотрясал землю.

Спустя некоторое время Громадин и Вася, кое-как одевшись, вбежали в кабинет Ивана Кузьмича. Тут генерал потребовал, чтобы его связали с Анатолием Васильевичем, и когда тот подошел к телефону, Громадин начал было извиняться, но, услыхав звонкий голос командарма и его приветствие, крикнул:

— И я! И я стрелял! Всю обойму выпустил! И спохватился: оказывается, четыре года воевал и ни разу не выстрелил. И вы? Тоже ни разу, товарищ командарм? Вот так вояки мы!

А Иван Кузьмич, воспользовавшись случаем, начал нашептывать генералу о том, что Татьяну следовало бы отправить на Урал, что подполковник Кукушкин берется это выполнить на самолете командарма.

— Ах да, товарищ командарм! Еще одно дело. Дела потом? Нет, это весьма срочное... о Татьяне Яковлевне. Здесь. Тяжело. Она хочет на Урал... А я думал. Не думать мне, а пусть она делает то, что подскажет ей сердце! — Громадин помедлил и, искоса глядя на Ивана Кузьмича, повел рукой, как бы говоря: «Ну вот какой приказ от командарма», — и снова заговорил: — Летчик есть. Подполковник Кукушкин. Да, да. Тот самый. Говорит, ладно бы на вашем самолете. Ну, очень хорошо. Очень. Так выпьем сегодня, товарищ командарм. Как? Вдребезги разбили и вдребезги напьюсь! Ну, это вы шутите. Всего хорошего, товарищ командарм! — Громадин положил трубку, повернулся и в дверях увидел побледневшую Татьяну.

— Что это, выстрелы такие? — спросила она.

— Победа, Татьяна Яковлевна, — в один голос ответили ей.

Она, пошатываясь, подошла к столу и, уронив голову на ладони, охнула, но ничего не сказала, а только подумала: «Коля! Коля! Победа, а тебя нет!»

Вскоре они снова разошлись по своим комнатам, и все, кроме Татьяны, выпив по огромному бокалу водки, крепко уснули. Не спалось только Татьяне: она прилегла на неубранную кровать поверх одеяла, и слезы полились у нее неудержимо. Сквозь слезы она видела, как через прикрытые створки в комнату пробивались лучи солнца. Они то гасли, пропадали и вдруг снова вспыхивали узкими, острыми полосками, шаря по стенам, как бы кого-то отыскивая, и, не находя, сердились, гасли и снова вспыхивали — ярко, буйно.

«Тот, очевидно, и есть Миша Кукушкин, — думала Татьяна, глядя сквозь неудержимые слезы на пробивающиеся лучи солнца. — Весь обожжен. Видимо, горел в самолете. Одни горели, другие погибли. Боже мой! Сколько погибло людей — десятки миллионов, — и зачем? Зачем? Кому это надо? А надо жить. При всех условиях выбиваться и жить, — так говорил мне когда-то Коля. Коля! Родной мой, но как я буду жить без тебя? Да, начну рисовать. У меня много накопилось. Рисовать — продолжать твою жизнь. Умом. Но

сердце? Оно разрывается у меня! Ох! Если бы был жив Виктор!.. Витенька... и у тебя страшная смерть! Но его нет. Нет тебя, родной мой Коля... и вот я «вечная вдова».

Разорванные мысли бились в голове Татьяны. Так она пролежала, может быть, час, может — два. Лучи солнца уже не тускнели, не скрывались, они ворвались в комнату властно, всепобеждающе... и вдруг Татьяне послышалось, как откуда-то донеслось что-то такое, напоминающее морской прибой перед бурей. Вот он все нарастает, нарастает... и Татьяна вся задрожала: ей вспомнилась Балтика, огромный пароход, люди за бортом... и шляпки, чепчики, поношенные пилотки... Они расплываются по спокойному морю, как живые...

— Я не могу. Нет, я одна не могу! Я с ума сойду. Что-то такое там, почему прибой? — проговорила она и с силой поднялась с кровати. — Пойду к Ивану Кузьмичу...

Она вошла сначала в столовую, потом наугад постучала в дверь и, услыхав голос Громадина: «Кто?» — ответила:

— Это я. Я не могу одна. У меня сил нет. И мне все что-то кажется... Слышите, за окнами какой-то гул?

В столовой появились Громадин, Вася, Иван Кузьмич и Миша Кукушкин. Они тоже недоуменно прислушались к гулу, идущему откуда-то со стороны, затем Громадин открыл створку, толкнул раму окна. Вместе с обильным солнечным светом в столовую ворвался свежий воздух, и тут же все увидели: площадь перед зданием комендатуры вся заполнена немцами — грузчиками, рабочими, жителями города. Люди стояли плотно и гудели, как гудит морской прибой перед бурей.

И вдруг над толпой, кем-то вскинутый кому-то на плечи, появился, чуть склоняясь вперед, Иоганн — тот самый Иоганн, с которым несколько месяцев тому назад Татьяна беседовала на просторах штеттинской бухты. Сейчас его тоненькая фигурка взмылась над толпой, и отовсюду понеслось:

— Кто это? Кто?

И грузчик, взобравшийся на забор кирки, крикнул:

— Это Иоганн Прейск. Он четыре года на острове был прикован к своей жене! Она умерла! Иоганн сбежал! Я знаю его. Ему надо верить.

Люди повернули головы на грузчика, потом снова на Иоганна Прейска, а тот, выхватив из-под полы небольшой красный флажок на коротеньком древке, взмахнул им, и флажок блеснул на солнце, сочась радостью.

— Я берег это знамя десять лет, — произнес Иоганн. — Закончился кошмар — черное пятно в истории нашего народа. Много бед, много горя, море крови принес Гитлер и вся его шайка не только нашему народу, но и народам всего мира. Народы поймут нас и простят. Но надо решительно стать под это знамя и без колебания строить то, что нужно нам, трудовому люду...

Иоганн еще не успел кончить, как тысячи людей взорвались криками:

— Да здравствует Сталин! Сталин! Сталин!

— К нам пришел Сталин! Да здравствует Сталин!

А оратор снова взмахнул флажком, и, когда гул притих, Иоганн слабым, но всюду слышным голосом запел:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...

Тысячи людей вразнобой (многие, видимо, за эти годы забыли слова «Интернационала») подхватили гимн трудящихся и сурово зарыдали...

Так народ перестал говорить только глазами...

8

Анатолий Васильевич, отдав распоряжение о том, чтобы на самолете, находящемся в его личном распоряжении, отправили Татьяну на Урал, наутро спохватился: ему просто по-человечески стало нехорошо оттого, что он сам лично не простился с Татьяной. Вызвав Галушко, командарм сказал:

— Управлюсь с делами — и через полчасика в Штеттин.

— Есть, товарищ командарм, — как всегда, ответил тот, и через десять-пятнадцать минут машина уже дежурила у подъезда.

Но прошло не полчасика, а больше часа, пока Анатолий Васильевич управился с делами, да часа четыре ушло на дорогу: мосты на автостраде почти всюду были разрушены, и поэтому то и дело приходилось «плыть в объезды» — по проселочным дорогам, а иногда по новым, пробитым через леса. Таким образом, Анатолий Васильевич попал в кабинет Ивана Кузьмича только девятого мая к вечеру и, поздравив того с победой, спросил:

— А где же гостья?

— Еще утром выехала с Мишей на аэродром в Берлин, товарищ командарм.

— Жаль. Опоздал. Они, наверное, уже несутся где-то над Польшей. Хорошая женщина. И такое горе! Камень — и тот заплачет! — Анатолий Васильевич вынул платок и смахнул слезы...

Самолет в это время, ведомый Мишей Кукушкиным, в самом деле уже несся в голубом весеннем небе над Варшавой. Поднявшись с аэродрома, Миша сделал несколько кругов над Берлином — над его развалинами, которые таращились в небо причудливыми, страшными оскалами. Затем он сделал два круга над Штеттином — этот город тоже таращился в небо, потом завернул в Познань, из Познани — на Лодзь и Варшаву. Следы войны особенно ярко были видны отсюда, с высоты: все города, все крупные села были разрушены.

Татьяна весь путь просидела рядом с Мишей, глядя на запущенные поля, на разрушенные города, села, фабрики, заводы, изредка произнося:

— Страшная война!

— Да, — отвечал Миша, управляя самолетом. — Воевали четыре года, а восстанавливать придется сколько лет, — и когда самолет, заправившись в Минске, перелетел через разрушенный Смоленск, Миша предложил завернуть в Москву, но Татьяна, чего-то перепугавшись, сказала:

— Нет, нет! Я хочу скорее туда, в комнату, где он жил. Поймите меня. Мне сейчас нужны стены, которые видел он, и тишина, длительная, большая, может быть до гроба тишина.

И Миша повернул на Орел, Курск, Воронеж.

На следующий день утром они уже летели над заволжскими степями — ровными, гигантскими просторами. Под самолетом ползли города, городишки, села, деревеньки, болота, озера, извилистые проселочные дороги, поля — обширнейшие колхозные карты, тракторы, поднимающие чернозем, люди, работающие на полях, — и повеяло от всего родным, близким, дорогим и благородным.

К полудню самолет плыл над Уральскими горами, чернеющими девственными лесами, высокими сопками, ущельями, и Татьяна уже не отрывалась от окна и не слышала того, что говорил ей Миша.

«Скоро! Скоро! Вот скоро я попаду в ту комнату, где жил ты, родной мой Коля!.. Мой родной! Сколько ласки скопилось во мне и только для тебя! «Жив, здоров и люблю тебя». Ах, Коля, Коля! А вдруг он встретит меня?... Выбежит, протянет руки и вскрикнет: «Наконец-то прибыла, пропадущая!» И засмеется. Как он хорошо смеется... А я ему скажу: «Да ведь и ты пропадал, хороший мой!..» Мой хороший! Мой родной! Мой единственный в мире! Ну вот мы с тобой вместе! Теперь нас ничто не разлучит! А Виктор? Жаль до безумия... Но ведь у нас может быть новый Виктор. Новый. От тебя, родной мой!»

И эта болезненная мысль вошла в ее сознание как правда, как реальный факт, и она уже ярко видела перед собой Николая. Да. Да. Вот он появился на крыльце, протянул руки и на бегу кричит:

— Иди! Скорее! Иди! Ко мне иди!

Самолет накренился, упал куда-то вниз, сделал круг. Миша, напряженно всматриваясь, тревожно произнес:

— Иду на посадку. Ничего не понимаю. Пропасть народу. Видимо, кого-то встречают, начальство какое-то.

Но Татьяна и этого не слышала и ничего перед со-

бой не видела: она бродила вместе с Николаем Кораблевым по густым зарослям уральских лесов. И куда только они зашли! Дикие, нетронутые места, и какие яркие краски! Так бывает только во сне. А вот озеро, заросшее камышом, высоким, звонким, — кажется, лучи солнца, шурша в нем, переговариваются. А на середине озера рогатые листья лилий. Они поднимаются от ветра и шлепаются на воду, издавая звуки: «шлюп, шлюп».

Самолет стукнулся колесами о землю, подпрыгнул, еще стукнулся, еще и еще и мелко-мелко, успокаиваясь, задрожал.

— Прибыли, Татьяна Яковлевна, — тронув ее за руку, проговорил Миша. — Благополучно. Боялся, задену кого-нибудь... Народу... Смотрите-ка!

Татьяна еще не совсем пришла в себя и, глянув в окошечко, заторопилась. А спускаясь по лесенке, заметила, как к самолету спешит группа людей. Впереди всех Степан Яковлевич Петров. Вот он уже рядом. Протянул руки и взволнованно басит:

— Татьяна Яковлевна! Радость наша и горе наше! Иди! Иди к нам! — и, помогая ей сойти на землю, еще сказал: — Друг мой, Иван Кузьмич, сообщил: летишь ты — и смотри, как народ всполошился.

И только тут Татьяна увидела толпы людей, огромные, спешно нарисованные портреты, под которыми написано:

«Наша землячка Татьяна Яковлевна Половцева-Кораблева, Герой Советского Союза».

И перед Татьяной все зашаталось: зашаталась земля, лица, портреты, и она уже не осознавала, как к ней подбежали еще люди, как кто-то тряс ее за плечи, как рабочие, прорвав цепь, хлынули к самолету, и вот она уже на руках у женщин. Они несут ее куда-то, вскинув над толпой. И все что-то кричат — одним могучим голосом.

— Домой! Домой! Домой! — только и вымолвила Татьяна, теряя сознание.

1945—1949 гг.

Москва — Штеттин — Барвиха

ОГЛАВЛЕНИЕ

Редактор А. Семенов
Художник И. Николаевцев
Худож. редактор И. Царевич
Техн. редактор Р. Сквирская
Корректор Е. Фалеева

А-00913. Подп. к печати 22/II-52 г. Формат бумаги $84\times{}^{104}/_{32}$ *— 766 бум. л.=25,11 печ. л. Авт. л. 23,28. Уч.-изд. л. 23,65, Тираж 75000. Цена 8 р. 60 к. (по прейскуранту 1952 г.) Зак. 3654.*

Отпечатано с матриц тип. им. Володарского в 4-й типогр. им. Евг. Соколовой Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. Ленинград, Измайловский пр., 29.

IV. - 42.50

8 р. 60 к.